1 р. 80 к.

23-1-14

Индекс 73276



«Нева», 1991, № 3, 1—208

НЕВА 3/1991

3/1991

ISSN 0130—741X

С. ЛАСКИН
Вечности заложник
Роман-воспоминание

Ф. СВЕТОВ
Тюрьма
Роман

Нева

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
М. ХАРИТОНОВ
«Вернусь с того света...»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»
А. МАТЫШЕВ
Диктатор

В. СТАРЦЕВ
Политик и человек



«Зимний вечер. Адмиралтейский проспект»
Рис. Ю. КУЛИКОВА

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

3/1991

Выходит
с апреля
1955
года



Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Старшай технический редактор Г. И. Огородник
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

Сдано в набор 27.11.90. Подписано к печати 04.02.91. Формат бумаги $70\times108^{1}/_{16}$. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 25,96 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 762.
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Вадим ШЕФНЕР

◆◆◆

Дается жизнь не навсегда,
Жизнь — одноразовое чудо.
Мы все являемся сюда,
Чтобы навек отбыть отсюда.

И пусть, страшась нездешней тьмы,
Мы злимся на судьбу и тужим,—
Но если б вечно жили мы,
То нам, быть может, было б хуже.

Столыпинский вагон

Вагон — тюрьма, вагон — разлучник,
Непобедимая беда,
Он многих, даже самых лучших,
Отвез — вы знаете — куда.

Теперь, забыв про все вокзалы,
От магистралей вдалеке,
Он, одряхлевший и усталый,
Стоит в замшелом тупике.

Я вижу седину железа —
Наплывы ржавчины на нем...
— Ты будешь на куски разрезан,
Тебе пора в металлолом!

И слышу голос запредельный:
«Зря торжествуешь, пустозвон!
Вагончик болен не смертельно,
Ремонта ожидает он.

Знай: после всех благополучий
Нагрянуть могут холода.
Помалкивай на всякий случай,
Чтоб не уехать кой-куда!»

Совет историку

Суди спокойней, беспристрастней —
И ты поймешь в конце концов:
Просчеты мудрецов опасней,
Чем заблуждения глупцов.

◆◆◆

Принять на веру трудно то,
Чего нельзя измерить,—
Но лучше верить в ни во что,
Чем ни во что не верить.

Надежда

Путем дерзаний и провалов
Он шел — и, девственно-светла,
Ему надежда помогала,
Вела, в грядущее звала.

Идя за ней, он не боялся
Чужой душевной мерзлоты,
Над неудачами смеялся
И не стыдился нищеты.

И вот завершена работа.
Он признан! У него все есть!
Достиг он пышного почета,
В наградах вывалялся весь.

Все есть! Навек взята вершина!
Есть секретарша, кабинет,
Есть дача, личная машина.
Все есть — и лишь надежды нет.

От прочного его уюта
Неслышной поступью своей
Ушла надежда почему-то,
Ушла куда-то.
Ей видней.

Семен
ЛАСКИН

...ВЕЧНОСТИ ЗАЛОЖНИК

Роман-воспоминание

Памяти Геннадия Гора

Когда это началось?

В шестьдесят четвертом? Нет, пожалуй, весной шестьдесят пятого, уже более двадцати лет назад.

В журнале выходила первая повесть, пришли гранки, знакомые наставляли: пора позаботиться о книге.

Мои дела в издательстве тоже шли как по маслу и совершенно не были похожи на истории о замученных «начинающих». Рукопись прочли, поставили в план, а пока суд да дело, обязали меня «присмотреть» именитого писателя в Ленинграде («всегда желателен земляк, это убедительнее для напутствия»), который согласился бы написать предисловие.

Редактор терпеливо объясняла издательские установки. Рекомендующий должен отметить как большое достоинство повести — отсутствие в ней конфликта «отцов и детей» («в настоящее время именно это очень важно!»), а также подчеркнуть необходимую мысль о преемственности поколений.

Я послушно кивал. В ту пору я вообще никого не знал в литературном мире, а уж о том, чтобы отважиться диктовать будущему благодетелю свои условия — и подумать не мог.

Работал я врачом «Скорой», писал в свободное от дежурств время (иногда, впрочем, и на дежурствах), серьезно считая, что писательство — лучший отдых, нечто вроде разглядывания почтовых марок в альбомах моей тещи. Теперь-то я знаю, какая это ошибка!

И все же необходимого писателя следовало отыскать! Я стал расспрашивать докторов «Скорой», надеясь, что у кого-нибудь из коллег таковой найдется. И вдруг выяснилось, что, действительно, у одного сослуживца есть «девочка», а у той — «мальчик», который в свою очередь дружит с «девочкой», отец которой известный писатель. При этом утверждалось, что известный охотно помогает таким, как я, неизвестным.

Начались переговоры. И я получил приглашение в гости.

Следует признаться, что хотя я к этому времени уже написал повесть и несколько рассказов, но о художественной литературе имел самое скромное представление. Классику, конечно, читал, что же касается «текущей», то она как-то текла мимо меня.

Теперь-то я вижу, что эта ситуация остается типичной и по сей день. Молодые направляются к немолодому, частенько не имея даже малейшего представления о его книгах, заранее уверенные в том, что у немолодого, а значит, и более опытного, вполне хватит опыта и ума не спрашивать о своих книгах. В конце-то концов, кому еще должен подсказать опыт, что он не Толстой и не Чехов, а значит, и читать его не так обязательно.

Впрочем, это я сейчас говорю с иронией, а тогда едва не в последний день спохватился, что совершенно не представляю, о чем же пишет этот писатель. И кто знает, вдруг ему в голову придет спросить о собственных книгах?!

На следующее утро я направился в Публичную библиотеку и с пристальным интересом принялся рассматривать обложки будущего благодетеля.

На всех портретах писатель выглядел солидно. Высокий, лысый, в очках, стоял он на фоне книжных полок, огромное количество трепаных корешков виднелось за его спиной.

Насмотревшись, я наконец выбрал два самых коротких рассказа и добросовестно прочитал их. Оказалось, писатель работал в жанре фантастики, мало для меня интересном. Впрочем, в оригинальности ума ему отказать было трудно. В одной из новелл его герой настолько был ошеломлен пейзажем неизвестного живописца, что, разволновавшись, вошел в изображенный лес и там проблуждал долгие годы, не мог отыскать дороги назад в реальный мир.

———

Журнальный вариант.

Как это было далеко от меня! Повесть, которую я нес на суд, хотя и не была автобиографической, но написанное так или иначе касалось моей жизни, не зря главный персонаж был врачом. Сомнения — к тому ли иду?! — чуть потревожили меня, но выбора не оставалось.

В назначенное утро я загодя поехал на Петроградскую. Побродил около дома, осмотрел лестницу, точно готовился к возможному преследованию. Лифтом пренебрег, не дай Бог застрянешь в лифте.

Передохнув у высоких дверей, я позвонил. Время встречи было соблюдено точно. Аккуратность, как известно, вежливость королей.

Дверь распахнулась. На пороге возникла крупная женщина в длинной, до пола, шерстяной юбке, в кофте с закатанными рукавами, обнажившими сильные руки. Во всем ее облике чувствовалось нечто монументальное, укрупненное, сродни кубистическим женщинам Пикассо.

— Вот и писатель! — воскликнула она и отступила в сторону, явно имея в виду меня.— Мы совсем заждались! Будем обедать!

Я моментально растерял все приготовленные слова,— меня разоблачили. Никогда по отношению к себе слово «писатель» я не применял, даже в мыслях предназначал другим. Я был врачом, а *писатель* жил здесь, в этой квартире, его величественное появление только ожидалось. И, кроме того, я, конечно, не предполагал обедать, у меня была иная задача.

— Нет, нет! — залепетал я.— Вы ошиблись! Я не писатель...

— Не писатель? — удивленно произнесла женщина.— А кто же?

— Вернее, я действительно написал повесть, а мои друзья через дочь писателя договорились...

Господи! И теперь не могу представить, как эта женщина разобралась в моих булькающих звуках.

— Совсем меня сбил,— сказала она.— Я же и говорю, писатель. Кто же ты будешь, если написал повесть? Проходи. Мы ждем, не садимся обедать.

Видно, не так просто было сдвинуть меня с места. Теперь я занудно пытался объяснить, что недавно ел и у меня уже нет сил обедать во второй раз. Женщина с явным сомнением слушала.

— А где живешь? — вдруг спросила она.

— На Охте.

— Проголодался, пока ехал. Молодому можно и два раза! Выдержишь, не лопнешь!

И тут в коридор вышел небольшой человек, в котором с трудом можно было отыскать сходство с упомянутыми фотографиями.

Конечно, лысина сияла, куда ее денешь. Очки тоже. Но вот портретной величественности не было ни на каплю.

Теперь на меня глядел маленький, улыбающийся старичок, одна вторая собственной жены. О, мастерство фотографа! Возможности инженерии стали воистину беспредельны!

Даже лысина, которая хотя и была фактом, совсем мало напоминала тот фотоотпечаток. Там, на карточке, крупный лоб, продолжаясь, превращался в могучий череп, я же видел обычный лоб, словно бы отчерченный полоской редкой серебристой поросли. В коридоре стоял дедушка в стираной серой рубахе, с крупными, как на солдатских наволочках, белыми пуговицами. Брюки на нем висели. Острый угол гульфика выбился из-под ремня.

Дедушка с интересом изучал «новый объект» и, наконец, направился в мою сторону.

— Рад! Заходите! — заговорил он.— Сейчас будем обедать!

Я опять объяснял, что шел не обедать, да и как можно обременять заботами занятых людей, но он не слушал. Подхватил меня под руку и повел через кабинет в столовую.

— Что значит сыты?! — спрашивал с возмущением он.— Молодой писатель обязан быть голодным! Что же вы напишете путного, если вам не хочется есть?! А Бальзак?! А Некрасов?! Помните, корочки хлеба под газетой?! Литературой, мой друг, нельзя начинать заниматься сытым!

Я захихикал, пора было показать, что мы тоже не лыком шиты, понимаем юмор.

— А папку с собр-соч (не сразу и поймешь, что речь идет о моей повести) кидайте на письменный стол! Да не держите ее так крепко! Кому она нужна?! Станьте свободным, молодой друг! — он проследил взглядом за отброшенной папкой и успокоил: — Вот теперь вы есть пролетарий умственного труда!

Столовая поразила меня. Нет, не изысканностью. Если уж вспоминать про мебель, то и тогда, и в последующие годы она здесь вечно кренилась, скрипела, едва не валилась, но было в квартире нечто, отличающее это жилище от всех виданных мною раньше. И это «нечто» было *живописью*.

Нельзя сказать, что я раньше никогда не встречал интересных коллекций, случай то и дело забрасывал меня, врача «Скорой», в «солидные» дома, заполненные антиквари-

атом, посудой и бронзой, хрусталем и картинами в тяжелых золоченых рамах. Ничего подобного тут не было.

Холсты висели без рам, «голые». Гвозди загибались внутрь подрамников, материал бахромился, несколько картин были обиты рейкой. И тем не менее я не мог оторвать взгляда от живописи, оторопело глядел то на одно «странное» полотно, то на другое.

Молодому человеку конца восьмидесятых трудно понять молодого человека начала шестидесятых.

Что видел тогда мой одногодок? Передвижников на втором этаже Русского музея. Массу помпезных работ — на первом, в Советском отделе,— все выставленное объявлялось шедеврами, было награждено премиями и оплачено несусветными деньгами.

Но странно! Искусство тогда словно бы завершалось в конце девятнадцатого века, а затем, сделав перерыв в несколько десятков куда-то исчезнувших лет, снова возникало в конце тридцатых. Где пребывала живопись двадцатых, было неясно. Впрочем спрашивать об исчезновении как бы не рекомендовалось.

Здесь, в квартире писателя, живопись была не похожа на доступную посетителям современных музеев. Именно таким мне и представлялся тайный запасник.

В первые секунды я даже не понимал предметов, видел пятна. Цвет заполнял сознание. И только позднее воспринимал холст как целое.

Я и сейчас, спустя много лет, словно бы заново вижу цветовой спектр тех стен. Розовощекую даму в голубом капоре, лицо в профиль, указательный палец правой руки высоко поднят. Двоих влюбленных в обнимку: он в пиратской черной косынке, она в ситцевом розовом платье в цветочек — изделии «Москвошвея»: странное и парадоксальное соединение двух эпох. Упитанную загорелую девочку с острым колющим взглядом, женщину в зеленом испанском платье времен Эль Греко, но с лицом гипсовой скульптуры. Паяца в оранжевом колпаке. Краснолицего кудрявого мальчика — не ангела и не икону. Большое вертикальное полотно, супрематический натюрморт (слово пришло позднее!), плоскость с устойчивой черной трапецией. Затем неожиданный синий пейзаж, словно написанный ребенком, северные разноцветные всполохи, зеленый кустарник, превращающийся в чернеющий далекий лесок, река подковой, обрамляющая мыс, почти фиолетовая вода, на берегу человек, с колена стреляющий из ружья в пеструю огромную утку.

Теперь-то я знаю все имена этой коллекции: был здесь и холст Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, и его учеников Вячеслава Пакулина, Льва Британишского, Петра Соколова, были и живущие ныне художники, теперь широко известный Михаил Шемякин или таинственный и мало известный Геннадий Устюгов...

Я медленно переводил взгляд с одного непривычного полотна на другое, пока не остановился на том, вроде бы детском синем пейзаже с летящей уткой.

— Нравится?

Нельзя было не заметить вспыхнувшей гордости. Казалось, хозяин демонстрирует собственных детей.

Я признался:

— С такой живописью встречаюсь впервые.

— А где вы могли это видеть?! — не без гордости спросил хозяин.— Разве дороги к настоящему искусству открыты?!

Вошла жена, брякнула на стол сковородку, произнесла с сердцем:

— Хватит разговаривать! Будем обедать.

— Дарьюшка, ты мешаешь,— вежливо попросил хозяин. Он был обижен столь грубым вторжением в его «тему».

Жена расшевелила жареную картошку, стала перекладывать в тарелки, сверху утрамбовав гору мясными бомбошами.

— А кто у нас покупает мясо, не догадаетесь?! — спросила она так, как загадывают бабушки малолетним внукам, предполагая ответ в самом вопросе.

Старик распрямил плечи, стал похож на собственный портрет на форзаце книги.

— Лучше Николая Николаевича,— ласковый взгляд на мужа,— никто выбрать не может!

— Вот парадокс,— произнес старик так, словно и не было недавней обиды.— Мимо этой живописи вы не пройдете, она вас волнует, не так ли?

Я подтвердил.

— А давайте-ка помечтаем,— он подмигнул мне.— В один прекрасный день, то самое... что висит нынче в музеях, окажется...— И старик развел руками.— Одним словом, инакомыслие обернется мыслью, а то, что объявляется мыслью,— исчезнет.

И он рассмеялся, видимо, мысль и ему самому показалась невероятной, по крайней мере, достаточно фантастической.

Раздался телефонный звонок. Старик вздохнул, неохотно поднялся. Тапок обогнал его, завертелся у стенки.

Пока он шел к телефону, я снова разглядывал картины. Портреты буравили меня глазами. Раскормленная девочка с коричнево-красным загаром казалась иронично-

надменной. Грузин на низенькой табуретке сцепил крупные руки, пялился на нас черными острыми зрачками. Неведомый человек с красными кружками на щеках, в мундире павловского гвардейца был, наоборот, совершенно спокоен и отрешен от суеты этого мира.

В приоткрытую дверь было видно, как старик смешно переступает ногами, как пытается что-то втолковать позвонившему человеку и одновременно поймать отлетевший тапок.

— Наш редактор,— поняла жена.— Татьяна. Это надолго.— Заметила мое любопытство, показала на стены.— Мы всех знали. В молодости кто только у нас не был! Вот хотя бы...— Выбрала синий северный пейзаж с летящей уткой.— В один прекрасный день отец приводит парнишку.— Прищурилась, превратила глаза в щелки.— Чукча или ненец, одним словом, северянин. Корми, говорит, мать, это гений.

Я разглядывал картину. Действительно, в этом словно бы детском письме была недетская тайна.

— А мне все одно: гений — не гений, главное, не нахал, уважительный, симпатичный, тихий. А зовут, как наших: Панков Костя.

Помолчала.

— В тот год их с севера привезли учиться. Отец сразу от него был в восторге. Многие хороши, но этот, говорил, высшего класса!

Перевела взгляд на другую работу, не зная, что выбрать, на чем лучше остановиться.

— Кузьма Сергеич, тот был постарше, многие из наших у него учились. И Александр Николаич, и Лев Романыч, и Вячеслав Владимыч — все здесь перебывали, все отца ценили.

В комнату влетела внучка — худенькая, беленькая, как одуванчик, обогнула стол, раскрыла передо мной тетрадку.

— Пятерка!

— А бабушке отчего не покажешь? — укорил я.

— Бабушка читать не умеет.

— Вот дядя про тебя напишет в газету,— пригрозила беззлобно бабка.— Он не только читать, он и статью может.

— Ха-ха! — возмутилась внучка, но тут же исчезла.

Я опять поглядел на дверь: старик вел переговоры, что-то втолковывал редактору по телефону.

Я спросил осторожно:

— А над чем теперь работает Николай Николаич?

Она перевела взгляд на дверь, точно не могла решиться выдать не свою тайну.

— Да как сказать... Он не работает, думает больше...— И пояснила: — Думанья снаружи не видно, но я понимаю, нет его в доме, чего ни спросишь — не слышит.

— О чем же книга?

— Как раз о нем, о Панкове,— качнулась к картине.

И шепотом, как по секрету:

— Вместе гуляют...

— Панков жив? — Я удивился.

— Не в том смысле... Сам-то убит в сорок первом... Но мой как бы вместе с Панковым гуляет в пространстве картины...

Взглянула — не понял? Опять пояснила:

— Стоит здесь около этого стула, но вообще-то его нет, он там, в пейзаже.

И она опять показала на стену.

— Рассказ читал в книге: художник уходит в картину?

— Хороший рассказ.— Что-то стало для меня проясняться.

— Рассказ гениальный! Так вот...

Заскрипел стул, старик занял свое законное место. Жена замолчала.

— Понимаете, дорогой коллега,— как бы продолжил прерванную мысль писатель,— художники, занявшие места в музеях, пытались соревноваться с природой, а в действительности, в лучшем случае, занимались «никчемным удваиванием вещей», как говорил один мой умный знакомый. Где же истина? В чем цель живописца? Отвечу!

Я чувствовал себя как на уроке, это было забавно.

— Отвечу,— повторил он.— Мастер не имеет права повторять природу в точности на своих холстах. Натура нужна, бесспорно. Но нужна для того, чтобы выразить лучше мысль, замысел свой.

Я кивнул, мол, понял.

— Не торопитесь кивать,— он будто бы рассердился.— Читайте, смотрите, думайте, раз уж взяли перо в руки... А с рукописью я быстро.

Фраза была как прощание. Сковорода опустела, чай был выпит. Я поднялся.

— Звоните, мой друг, не стесняйтесь.

Жена вытерла о фартук руки.

— Он напишет,— сказала так, словно хотела заверить в хорошем исходе.— Молодых отец любит.

Я вышел на улицу, побрел по проспекту. В глазах стояли картины. И лысый старик, вещавший о живописи, как школьный учитель на важном первом уроке.

Недели две я терпел, не решался набрать номер. Друзья, занимающиеся наукой и, естественно, имеющие почтенных шефов, убежденно говорили, что звонить рецензенту раньше, чем через месяц, попросту неудобно. Я с грустью отсчитывал уныло текущие сутки.

И вдруг меня разыскали. Общая цепь знакомых и незнакомых заново повторилась. «Девочка» — отыскала приятельницу, которая знала «мальчика», а «мальчик» другую «девочку», мою коллегу.

В тот день я дежурил.

Волнуясь, я бросился к телефону, и теперь знакомый голос предложил приехать в любое удобное для меня время. Но ни сегодня (дежурство!), ни завтра (какой разговор полусонному человеку) я ехать не мог, сговорились на послезавтра.

Появляться к очередному обеду мне не хотелось, я уже знал их обычай, стал проситься на два часа раньше. Разрешили.

Конечно, примчался почти за три и теперь ходил вокруг дома, убивая время. «Как он отнесется?», «что скажет?» — это прокручивалось и повторялось.

Поймал я себя на той же мысли, когда нажимал на звонок. За дверями послышались шаги.

— А, проходи! — сказала хозяйка, радушно улыбаясь.— Сейчас блины будут, я затворила пораньше, к твоему приходу.

— Но я ненадолго!

Она уплыла в кухню.

Вошел писатель, широко распахнул объятия, но не обнял, затем открыл дверь кабинета.

— Все готово!

Поговорили для вежливости о погоде, пора было приступать к делу.

— Ну, что ж,— сказал наконец старик.— Поздравляю. Не худо... для первой книги. Активный герой, положительный, как принято называть, достаточно достоверный.

Какой-то подвох явно слышался в его фразах.

Впрочем, сомнения легко испарялись, когда писатель, приблизив к близоруким глазам листочки, стал зачитывать отзыв.

О, чарующая сила комплиментарных рецензий! Нектар славословий! Не можешь поверить, но веришь! Раз уж сказано, все прекрасно, то не станешь же ты сомневаться. Теперь-то я знаю: только в предисловиях к первой книге и на похоронах можно услышать такое количество превосходных оценок.

Он кончил читать, протянул отзыв. Все учел: и «преемственность поколений», и единство отцов и потомков.

— Спасибо!..— бормотал я.— Это щедро! Я не заслужил!.. («Заслужил, заслужил!» — успокаивал внутренний голос.)

Дарья Анисимовна внесла блины, поставила банку с вареньем, потребовала прекратить «умные разговоры».

Писатель отхлебывал чаек, а я проигрывал в памяти только что услышанное о своей книге.

— Мой первый роман был удивительно слабым,— сказал старик так, что я поперхнулся.— Самый худой роман,— прибавил он.— Но успех был грандиозный! Приходили мешки писем. Судили вроде бы неглупые люди, требовали, чтобы я роман тут же продолжал. И, представляете, я едва не поддался, соблазн гарантированного успеха всегда велик...

— И что же дальше?

Он негусто помазал сметаной блин.

— Дальше?! — улыбнулся.— Я попробовал сказать нечто более важное людям. Мне показалось, что, свободно владея стилем, писатель может дать читателю больше.

Старик хмыкнул.

— Ни отзвука, ни ветерка, ни звука! Меня словно забыли.

Я еще цвел лепестками его предыдущих хвалебных оценок, слушал вполуха, ничего серьезного в нашей беседе не предполагая. Он пресек мое благодушие взглядом.

— Думаю, вас ждет успех,— предупредил так, точно говорил о предстоящем провале.— Будьте готовы.

— Да в чем опасность?!

— Опасность есть! — Старик отклонился на спинку стула.— Клише, повторение будет приносить вам приличные деньги, не сомневайтесь. Но иногда неуспех большего стоит.— И старик многозначительно поглядел на свои стены.— Все эти люди могли без труда добиться успеха, но цена!.. Следовало поступиться принципами настоящего искусства.

Он вроде бы обличал меня. Но тогда к чему тот панегирик?! Я решил защищаться.

— Мой герой — врач. Я его не придумал. Это моя жизнь, если хотите. В подобных состояниях я бывал сотни раз.

Старик замахал руками.

— Конечно, конечно, не сомневаюсь! Я же написал, ваш герой убедителен и достоверен, но... я о другом. Как старший я призываю вас быть мудрее, философичнее, глубже...— Старик снова загадывал загадку.— Действовать, действовать — вот ваш принцип. А может, поразмышлять? Остановиться? Подумать?

Он так и не открывал карты.

— В вашей повести главный герой — врач, человек очень деятельный, так?

Я кивнул, все верно.

— В следующей вашей повести вы попробуете написать похожего человека, но сделаете его...— Он поискал на потолке ответа: —...ну, скажем, директором леспромхоза.— И объяснил: — Опять писать врача скучно. Захочется сменить профессию персонажу. Так?

— Возможно...

Кажется, я дал маху! Старик засмеялся.

— Что и требовалось доказать! — воскликнул он.— И вам это не страшно?

Блины уже остывали, есть не хотелось.

— А мне страшно! — почти закричал он.— Такой директор сразу же начнет перевыполнять планы, корчевать лес, истреблять природу. Экологическая катастрофа, о которой мы скоро заговорим, и есть результат действий ваших «положительных» героев. А ведь не так давно мир напугал некий купец Лопахин, который спилил пару десятков вишневых деревьев в саду Раневских, освободил место под дачи. Господи, да он ребенок! Никто не подумал, какой герой грядет! Что станет дальше?! А ведь там пустота, гибель, конец света!

Кажется, он почувствовал, что обижает меня, утешил.

— Нет, не сердитесь! Я теоретизирую, я вообще...

Он даже погладил меня по плечу, как ребенка.

— Вот что! — воскликнул старик, как бы прося мира.— В ближайшие дни я вас возьму к моим друзьям-живописцам! Это пожилые люди, и вы им будете полезны. Но и они вам нужны не меньше. Посмóтрите, как живут, почувствуете, какие петлистые дороги готовил им век двадцатый. Впрочем, там тоже не все однозначно, разные были судьбы. Пойдете?

— Спасибо.

Он повернулся в сторону кухни и радостно крикнул:

— Дарьюшка?! Нам еще по чашечке чая!

...Дружба с писателем стала и моей литературной судьбой, моим единственным университетом.

О скольких именах и книгах я, оказывается, никогда ничего не слышал! Да и где я мог это узнать, если бы судьба не подарила мне такой встречи?!

Да, он обожал русскую философию, русское искусство рубежа веков, не только знал, но и мог процитировать наизусть целые абзацы из статей мыслителей, имена которых, казалось, уже бесследно слизнуло со стола истории жестокое время. Вернадский, Федоров, Шестов, Розанов, Флоренский, Трубецкие, Франк, Степун, Бердяев,— массу поразительных книг я увидел у него впервые!

Теперь я и сам останавливался в букинистических магазинах у полок с затрепанными корешками и вдруг вздрагивал, обнаружив то, что он ценил.

Я бежал к автомату. Нужно было решить: покупать ли такую дорогую книгу?

Он кричал в трубку, нагоняя стыд:

— Вы с ума сошли, спрашивать?! Да берите, берите немедленно! А если денег нет, приезжайте! Случай больше не повторится! — И старик вешал телефонную трубку, явно опасаясь моих колебаний.

И все же фамилию писателя я назвать не решусь. Слишком близко я знал его, чтобы ручаться за каждое слово, чтобы не чувствовать той разницы, которая возникает между ним, подлинным, и тем человеком, которого я силюсь изобразить в этом рассказе.

Воспоминания в лучшем случае приближают к цели, но полностью с целью не совпадают. Реальный человек шире любого воспоминания, так не правильнее ли придумать герою вымышленное имя?

Итак, каким же путем сблизить человека подлинного и придуманного?

А если передать старику фамилию одного из его персонажей? Был в последнем его романе некий изобретатель Николай Николаевич Фаустов, вот и пускай так именуется мой главный герой.

Когда-то, придумывая Фаустова для собственной книги, старик максимально приблизился к самому себе. Может, и я, заняв фамилию, имя и отчество у его героя, приближусь к старику?

Но если я решился изменить фамилию писателя, то как быть с человеком, которого я никогда не видел, о котором узнал из рассказов? Разве справедливо шифровать имя, уже зашифрованное прошлым, давно поглощенное людской памятью?

Как исчез подлинный Василий Павлович Калужнин, мало кто и заметил.

Жил он почти сорок пять лет в Ленинграде, никуда не уезжал, разве на несколько дней в Москву в разные годы, но как-то так получилось, что знакомые все реже и реже его встречали на улицах, на вернисажах, пока, наконец, не привыкли к тому, что этого человека в городе, а может, и в жизни больше не существует. Жил, был, да, вероятно, умер.

А Калужнин между тем оставался все в той же своей квартире, трудился не покладая рук, вероятно, надеясь, что еще придет время, когда он сумеет свой труд представить на суд людям.

Конечно, если бы я не дружил с Фаустовым, я бы не бросился в столь неперспективный поиск. Мало ли кого запрятало, закопало, рассеяло в пыль наше время.

Крупные, как говорится, личности если и исчезали в застенках, то все же принадлежали истории. Где-то в архивах с грифом «секретно» жили, пылились их документы, но как же быть с теми, кто занимал лишь графу в домовых книгах? Жизнь их вполне умещалась в вычерк — выбыл.

Был? Возможно.

Выбыл? И тут ответ самый разный...

И все же тень человека зашевелилась, поколебала легкую занавеску истории.

Что это? Судьба? Мистика? Некая историческая справедливость? А может, всего-навсего *случай?*

Впрочем, *случай* — моя многолетняя вера.

В этот раз случай избрал скромное место: Книжную лавку у Аничкова моста, на Невском.

Было это сравнительно недавно, лет пять или шесть назад, Фаустов и его жена умерли, а я за немалые годы сам стал привечать молодых, время совершало свои обычные метаморфозы.

Итак, в день лета, скажем, одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года я стоял у книжного стеллажа просторного зала, над дверями которого висит предостерегающая табличка: «Отдел обслуживания писателей».

В моих руках была книга, пахнущая типографской краской, в которой рассказывалось о судьбе известного художника-ленинградца, начинавшего свой творческий путь в середине двадцатых, когда несколько молодых живописцев, отрицающих конъюнктуру, спекуляцию на актуальном и приспособленчество, объединились в группу, названную «Круг художников».

Благодаря Фаустову, я не только видел картины некоторых «круговцев», но и познакомился кое с кем из них,— разговор об этом еще впереди.

Репродукции в книге были прекрасны. Я с интересом перелистывал страницы — многое было знакомо — и, вздохнув, привлек взгляд близко стоящего соседа, известного искусствоведа, державшего в руках тот же том.

Говорить эмоциональному непрофессионалу с холодным профессионалом всегда опасно, сколько раз я ругал себя за несдержанность, но ошибки, как правило, совершаются в одном и том же месте.

— Какой молодец! Замечательное искусство! — пылко произнес я.

Я словно дожидался момента, чтобы высказать мнение.

— Чего уж вы так? — скептично, как мне показалось, отозвался искусствовед.— Конечно, талантливые люди эти «круговцы», но ведь еще мальчишки! Мы же говорим о двадцатых, не так ли? — И усмехнулся.— Впрочем, молодость не всегда считалась большим недостатком.

Пришлось поулыбаться.

— Кстати сказать, в их разрастающейся с годами группе были люди разных степеней дарований, а в дальнейшем и разных судеб. Как это у классика? «Одних уж нет, а те долечиваются».— Он хмыкнул, довольный шуткой.— Из «затерявшихся» я знал, мне думается, одного, пожалуй, выдающегося живописца... Василий Павлович Калужнин его имя.

Я насторожился, фамилия ни о чем мне, правда, не говорила. Но искусствовед произнес довольно высокий эпитет.

— Где же произошло ваше знакомство? — отчего-то я подумал об эвакуации, во время войны можно было в любом далеком поселке встретить переместившегося земляка.

Искусствовед сказал как само собой разумеющееся:

— Да здесь, в Ленинграде! — И тут же прибавил, как бы опережая возможные вопросы: — Но ни дома, ни улицы, хоть убейте, не помню. Вроде жил в центре. Хотя и в этом сейчас сомневаюсь. А вот ситуация не забылась.

Я с любопытством ждал пояснений.

— Знаете, я даже перепугался, когда зашел в его комнату. Грязь. Керосинка на подоконнике. Холод. И словно бы для контраста — огромное зеркало в перламутровой раме, след неведомой старой жизни. Присесть негде. Но главное место в комнате занимали картины,— они стояли в стеллажах, поднимались до самого потолка, были прижаты друг к другу. Огромное количество картин, целая жизнь...— Он уточнил обстановку.— Стеллажи были по правую руку, а по левую тоже картины, но на полу, повернутые изображением к стене. И вот как только я поставил на мольберт первый холст, я позабыл обо всем, кроме живописи. И бедность этого человека, и ветхость, все исчезло.

— Что же на холстах? — Я подавлял невольно вспыхнувшее волнение.

— Пейзажи, натюрморты, этого не передать словами. Но больше всего поразил блокадный город, пожалуй, вот это место на Невском. Такого города я ни у кого не встречал: истерзанная душа, невероятная боль...

Искусствовед вдруг повернулся ко мне.

— Я жил в Ленинграде и в сорок втором и в сорок третьем, и могу вас уверить, что никогда, *никогда* Ленинград не был таким болезненно красивым, как в блокаду. Безлюдные заиндевевшие улицы. И невероятная незащищенная красота.

На автобусной остановке мы стали прощаться.

— Но картины?.. Куда они могли деться?

Он ничего не знал:

— Художник показался брошенным, одиноким, нищим стариком.

— Предполагаете, умер?

— Ему было около восьмидесяти, значит, теперь было бы не меньше ста. А это для его жизни совсем нереально.

Показалось, искусствовед собирается уходить, я испугался.

— Но он что-то рассказывал о себе? Какие-то подробности?

Искусствовед задумался.

— Нет, ничего особенного не помню. Разве...

— Что?

— Да пустяк! — засмеялся искусствовед.— Но вот запомнилось, поразило... Показал едва заметную черточку в блокадном пейзаже, серо-зеленый штришок на обезлюдевшем Невском и прибавил: «Это я». Штришок как штришок, никакого сходства с человеком, но именно та косая черточка каким-то чудом и одушевляла его мертвый город.

Я подумал: ситуация напоминает сюжет из знакомого рассказа.

— Вы Фаустова не знали?

Вопрос был невпопад. Он удивленно поглядел на меня.

— Хорошо знал.

— У него есть история: художник уходит в собственную картину и оттуда не возвращается, не находит обратного пути. Может, это имел в виду ваш старик?

Искусствовед, видимо, уже раздумывал о другом.

— Конечно, следовало бы поискать картины,— как бы о своем ответил он мне.— Но заедает текучка, занят. Если бы найти адрес, где жил... Впрочем, думаю, ни родственников, ни близких у Калужнина не было... Такое осталось ощущение... А соседи? Помню, старик все время озирался, пока провожал меня в комнату, в глазах испуг, кого-то боялся, просил крепче затворить дверь...— Он вздохнул.— Обычная ситуация: считали городским сумасшедшим. Вероятно, крутили у виска и перемигивались, а умер — вынесли живопись на помойку. Вот зеркало, оно наверняка где-то стоит... Живопись-то денег не стоила, а зеркало — стоило, и немало.

— А если «рукописи не горят»?

Он пророкотал возмущенным баском:

— Горят! И хорошо горят, не сомневайтесь! Я сам видел эти костры. Не успокаивайте себя литературной притчей.

Мы распрощались.

— А если попробовать поискать? — крикнул я вслед, чувствуя, как мой знакомый через секунду исчезнет в черноте перехода.

Он замер, как в детской довоенной игре в штандер.

— Надо бы,— без особого энтузиазма согласился искусствовед, где-то могут еще храниться домовые книги, скорее это знает милиция.

Поднял руку, как бы подчеркивая свое нежелание заниматься художником дальше.

Через несколько секунд я увидел искусствоведа на противоположной стороне Невского — он быстро шел в сторону своей службы, к Русскому музею.

Я повторил: *Калужнин.* И сразу испугался, что сейчас, через минуту, забуду фамилию.

Бумаги не было. Я обшарил карманы, но почти тут же стал сомневаться, был ли художник Василием Павловичем или Василием Николаевичем? Наконец, сообразил про книжечку трамвайных талонов и на обратной их стороне печатными буквами начертил услышанную фамилию.

...Первое, что я сделал дома,— открыл томик повестей и рассказов Фаустова, разыскал тот, о художнике, и торопливо проглядел его, надеясь найти похожую фамилию. «Было бы здорово, если бы Калужнин. Даже не обязательно точно, пусть Калугин, Калужский, Калуцкий, это могло стать для меня приметой, указанием на то, что старик Фаустов и неведомый художник были знакомы».

Но какую бы страницу я ни открывал, совпадения не возникало. Правда, было иное: каждый раз палец словно бы отыскивал абзац, где автор вспоминал о блокаде, а то и о неком художнике, живущем в блокадном городе.

Фаустов писал:

«В первую блокадную зиму художник тоже работал и ослабевшей от голода рукой сумел отобрать от реальности как раз то, чем реальность не любит делиться с художниками, и сделал свои картины не только документами, а как бы самой жизнью, загадочно слившейся с кусками холста, одушевив полуослепшие дома, очеловечив бесчеловечную зиму, поселившуюся в этих домах и принесшую туда такую тишину, которая раньше только хранилась на дне замерзших рек.

Да, тишина на этих холстах, и рядом с ней скрип подошв и медленные шаги закутанного в шаль старика, бредущего в булочную. И в этом замедлении и стуже присутствует еще что-то, переданное цветом, то, что намного страшнее реальности, само небытие, отодвинувшиеся домв и сделавшиеся широкими улицы, чтобы дразнить ослабевшего пешехода этой страшной явью, притворившейся сном.

В те дни я уходил в булочную задолго до ее открытия, и дома вместе с улицей поджидали меня, и вдруг пространство становилось до того отчужденным, словно минута превратилась в век, и век сей снова превратился в минуту, и все кончится за следующим домом, дойдя до которого, я увижу, что булочная отодвинулась, сговорившись с коварным пространством, уже переставшим быть обычной реальностью, ставшим чем-то другим, незримо более ощутимым, чем та, разбавленная пополам с радостью, действительность, которая существовала до войны».

Странная проза! Фразы напоминали бормотание сомнамбулы, словно бы складывались в тягостном полусне.

О ком Фаустов думал? Кто тот Художник, переносивший реальность блокады на собственный холст?

Я глядел в свое охтинское окно, серое одеяло Невы, подернутое легкой рябью, лежало неподвижно передо мной. Сквозь пятиглавый купол Смольного собора текло облако, похожее на палитру, оно в короткий миг перекрасило синее и золотое в замутненное желтое.

И тут внезапно вспомнилось еще одно, совершенно забытое фаустовское наследие, однажды подаренное мне дочерью Николая Николаевича, его стихи.

Да, да, он к тому же был и поэтом, но был им очень недолго, всего один блокадный сорок второй год.

Я бросился к своим папкам с документами. После смерти старика я спрятал пожухлые листочки с фиолетовыми строками его стихов. Искать долго не пришлось. В первой же папке лежала стопка приметных (из давнего времени) страничек с текстами.

И тогда стихи поразили меня. Но сегодня я вдруг открыл для себя нечто новое, непередаваемое, живую кровоточащую рану фаустовской памяти:

Красная капля в снегу.
И мальчик с зеленым лицом, как кошка.
Вывески лезут:
«Масло», «Пиво», «Булка».
Как будто на свете есть булка?!
Дом раскрыл себя самого, двери и окна.
Но снится мне детство:
Гуси, горы, Витимкан...
Входит давно забытая мама.
Времени нет.
На стуле дама в желтом халате.
Он трогает четки рукой.
А мама смеется.
А время все длится,
все тянется.
За водой на Неву я боюсь опоздать.

Я всматриваюсь в эти ниточки букв. Вижу, как Фаустов постукивает пером о дно «непроливайки» и медленно, застывшими неотогретыми пальцами выводит шаткие буквы, такие же обессиленные, как и он сам. Буквы качаются от слабости и, чтобы поддержать их, Фаустов, закончив строчку, соединяет их черточками, точно привязывает друг к другу. Так он обеспечивает им не только устойчивость, но и вечность.

Тогда-то, неведомо зачем, я и выписал абзац, ту большую цитату из Фаустова, невольно соединив эти два имени. Листок положил в пустую папку, на которой красным фломастером вывел: *КАЛУЖНИН.*

Что означал мой интерес, сказать я не мог. Папка легла в стол, и долго-долго я ее не вынимал, не было в этом ни малейшего смысла.

Теперь-то я понимаю, как методично приобщал меня Фаустов к искусству. Для этого была у него, условно говоря, система «ступенек», с одной на другую переводил он, расширяя обзор.

Бывало, мы ходили к его друзьям — «круговцам», уже старикам. Я смотрел живопись, слушал их разговоры, если и не все понимал и оценивал, то всегда чувствовал серьезность совершавшегося события. Случалось, Фаустов звонил и возбужденно объявлял, что открыл неведомый миру талант, молодое подпольное дарование, непризнанную гениальность, и нам предстоит посетить эту «гениальность» в ближайшие дни.

Случалось так, что в высоких мансардах с длинными коридорами и серией дверей в мастерские скромный закуток молодого и непризнанного отделяла от шикарных хором признанного и немолодого одна капитальная стена. И если к признанному шли закупочные комиссии Союза художников, приобретая на корню и явно слабое и несделанное, то «непризнанного» признавал первым Фаустов, которого обычно сопровождали Дарья Анисимовна и я.

Хорошо помню первую «экспедицию».

Снарядились с великим волнением и суетой.

Вызвали такси. Но телефон Фаустова был сблокирован с телефоном словоохотливого соседа-литератора, который мог часами не опускать трубку. Ситуация, кстати, повторялась неоднократно.

— Это невозможно! — волновался Фаустов.— Такси никогда не дозвонится к нам! Мы не успеем!

Он то и дело подбегал к аппарату, поднимал трубку и с горестным разочарованием опускал ее на рычаг.

Наконец за дело бралась Дарья Анисимовна. Она направлялась к соседу и, как цербер, усаживалась около аппарата. Фаустов успокаивался.

В назначенное время мы начинали восхождение по черной лестнице семиэтажного дома, оказавшегося со стороны двора восьмиэтажным, не считая того чердака, который и был нашей целью. Поднимались цепочкой. Впереди Дарья Анисимовна, следующим шел Фаустов, замыкающим был я.

Перила на черной лестнице то прерывались, обнажая острые зубцы штырей, то так были согнуты, что держаться за них становилось неудобно. Сесть на подоконник и передохнуть тоже оказывалось непросто, слой пыли по мере подъема нарастал, грязь от этажа к этажу лежала все более толстым слоем.

Фаустов хотел двигаться быстрее, но Дарья Анисимовна укрощала его пыл.

Она стелила газету на подоконники и усаживала Фаустова передохнуть. Через пару секунд он вскакивал и требовал двигаться дальше.

Звонка на дверях не было — художник держал вход открытым.

Помню просторный чулан с мольбертом вблизи круглого чердачного окна, с двухэтажным стеллажом невостребованной живописи, с единственным торжественным и высоким креслом, напоминающим трон. Впрочем, судя по цвету сиденья, кресло было найдено не во дворце, а на одной из ближайших помоек.

Художник, молодой, рыжеволосый, веснушчатый, по имени Герман, метнулся в боковую дверцу чулана и тут же возник около меня с ящиком из-под фруктов, экспроприированным явно у черного хода продовольственного магазина. Затем застелил чистой газетой закапанную красками табуретку и широким жестом пригласил сесть Фаустова. Трон предназначался Дарье Анисимовне,— им, как следовало понимать, ей оказывалась королевская честь.

Пока шли приготовления, Дарья Анисимовна оглядывалась по сторонам, примеривалась к обстановке. Взгляд ее то и дело скользил по расставленным на полочках безделушкам, горшкам и сосудам для будущих натюрмортов, по мандолине без струн, по блюду с сушеными фруктами. Осмотрев все, Дарья Анисимовна сложила на животе большие крестьянские руки и будто застыла, превратившись в неподвижное изваяние наподобие полинезийских статуй, открытых ученым и мореплавателем Хейердалом. Казалось, ничто здесь больше не сможет ее растревожить.

Фаустов тоже пока сидел отрешенный.

Наконец из стеллажа выехал со скрипом подрамник, художник поставил холст на мольберт.

И тут началось! Фаустов будто бы подскочил на табурете, бросился в сторону, боковым зрением выбирая удобный ракурс. Остановился. Прицелился. Понесся назад, откуда обзор показался четче.

Теперь каждый новый холст заставлял его менять место. Он вскидывался и застывал, точно гончая перед дичью.

С какого-то момента я, видимо, отвлекся от живописи,— бегающий, охающий Фаустов был для меня более интересным. Впрочем, стоит признаться, тогда я был меньше всего подготовлен к такому искусству, я не все понимал.

Прошли годы, и теперь я нередко снимаю со своей книжной полки тоненькую брошюрку Казимира Малевича, чтобы зачитать в спорах: «Всегда требуют, чтобы искусство было понято, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию».

В отличие от мужа Дарья Анисимовна продолжала оставаться безучастной. Изображенное ее волновало не больше, чем меня.

Но было другое! Я видел прицельный лучик ее наблюдения. Взгляд Дарьи Анисимовны следовал за сияющим, бегающим, меняющим места Фаустовым, в каком бы углу мастерской он ни находился. И если я все же пытался собственное непонимание поправить его восторгом, то Дарья Анисимовна на живопись просто не смотрела: она пришла сюда для другого — наблюдать за мужем, а если потребуется, то и решить.

Видимо, ее час еще не настал, не пробил, но что-то в напряженном «слежении» подсказывало — слово ее впереди.

Так и случилось. Герман вытянул со стеллажа полотно — синий натюрморт с самоваром — и стал прилаживать на мольберте.

Пока художник не отошел в сторону, Фаустов поменял несколько «точек», обзор его не устраивал.

Наконец картина и Фаустов оказались друг перед другом. Фаустов замер, застыл, закатил глаза.

— О-о-о! — разнеслось вокруг.

Дарья Анисимовна подалась вперед,— стон Фаустова был для нее подобен звуку боевой трубы для гусара.

Фаустов молился. Он что-то шептал, глядя на натюрморт. И вдруг, скакнув к окну, стал разглядывать натюрморт сквозь сделанные из большого и указательного пальцев колечки бинокля.

Я повторил его жест.

— Чудо! — бормотал Фаустов, покрыв румянцем бледное лицо автора.— Идите, идите, друг мой, это единственное место, вам оттуда ничего не увидеть!

Пришлось подойти к нему, хотя меня не оставляли сомнения, что я смогу рассмотреть не меньше учителя.

И все же что-то произошло. Я глядел в самодельный «бинокль» и чем больше смотрел на синий натюрморт, тем яснее становились предметы. Словно бы спрятанные в сгущенном вечернем воздухе, они проступили из сумерек, занимали свои единственные места. Я вдруг понял, что хотя сейчас за окном яркий день, но на холсте первый рассветный час, то мгновение, которое с каждой секундой — чем дольше я смотрел — прибавляло цвета и света. Самовар, чайничек для заварки, фрукты в вазе, сама ваза, раздробленная первыми лучами на несколько плоскостей, словно бы просыпались, мастер уловил миг после сна, само пробуждение. Даже малюсенький листочек на коротеньком черенке зеленоватого яблока будто бы вытянулся, повернулся к лучу и качнулся...

В мастерской наступила томящая тишина.

Наконец художник взялся за подрамник, чтобы вернуть картину в стеллаж,— и тут Фаустов закричал:

— Не сметь! Не сме-еть!

Художник испуганно отступил, точно позволил бестактность по отношению к гостю.

Но и Фаустов спохватился.

— Не убирайте,— уже мягче попросил он.— Пусть постоит. Я еще хочу поглядеть, если можно...

И со сладким, неузнаваемым елеем в голосе, явно подлизываясь к жене, проговорил:

— Прекрасная вещь, Дарьюшка!? Правда, Дарьюшка?! — И ко мне: — У Дарьи Анисимовны исключительный вкус!

Дарья Анисимовна склонила голову, показав, что все слышит и согласна.

— Вижу, Николай Николаевич,— пропела она,— тебе эта картина нравится?

— Оч-чень! — по-детски выкрикнул Фаустов.

Можно было предположить, что театр начинается.

— Ну что ж,— после паузы сказала Дарья Анисимовна, покашляв для солидности в кулак.— Проси продать. Я у-добряю.

Не знаю, в каком месте Сибири прибавляется к некоторым словам это странное «у», но у Дарьи Анисимовны «у» бывало не только отчетливым, но и кстати. «Одобряя» Фаустова, она одновременно и «удобряла» решение, поддерживала, помогала, подкрепляла его мнение.

Фаустов распрямил плечи, поднял голову и этаким бойцовым петушком двинулся на Германа. Теперь это был уверенный в себе мэтр, законодатель вкуса, меценат, главнокомандующий искусств, а не канючащий конфетку ребенок. Да, он мог и возвысить художника и зачеркнуть его творчество своим непререкаемым авторитетом.

— Я хотел бы купить эту вещь,— решительно сказал он.— Конечно, квартира моя не музей, но зато искусство будет у меня работать на вас же, когда окажется рядом с не менее значительными и признанными вещами. Вы же знаете мое собрание?

Теперь, в конце восьмидесятых, не очень просто понять растерянность художника, у которого захотели купить картину.

Купить живопись казалось чем-то неприличным, это можно было сделать лишь «с жиру», воспринималось многими как бессмысленная трата денег. Искусство цены не имело.

— К-как купить?! — стал заикаться художник.— Я никогда не продавал... Я лучше подарю, Николай Николаич...

— То есть как «подарю»!? — возмутился Фаустов, переходя в наступление.— Говорите, сколько бы вам хотелось за живопись?!

Художник молчал.

— Я жду! — угрожал Фаустов.

— Сто! — с ужасом произнес Герман.— Если это, конечно, не слишком...

— Двести! — крикнул Фаустов.— Даю за картину двести!

— А что? Можем и двести,— сказала Дарья Анисимовна спокойно.— Деньги у нас не ворованные.

Дверь открылась. В мастерскую вошла худенькая женщина, заулыбалась доброй приветливой улыбкой, совсем не представляя, что здесь только что произошло.

— А мы у вашего мужа картину сторговали,— объявила Дарья Анисимовна.— За двести.

— Ой, бесстыдник! — как-то по-простому укорила жена.— Людей грабишь! Куда нам столько?!

— Как — куда? — возмутилась Дарья Анисимовна.— У вас детки, как это без денег? А мы книжку сдали, можем себе позволить...

Для натюрморта с самоваром нашли центральное место, потеснив другую, не менее интересную вещь. Но как младший ребенок нередко забирает долю любви старшего, так и новая вещь словно бы переключила на себя любовь Фаустова.

Каждого гостя Николай Николаевич сажал лицом к натюрморту и нетерпеливо спрашивал:

— Как?

Конечно, я мог бы придумать разговор Фаустова с каким-либо зашедшим искусствоведом, но, к счастью, сохранилась статья о Германе, написанная Николаем Николаевичем в те же дни.

«Пожалуй, ни один вид изобразительного искусства не требует от живописца такого лаконичного и точного мастерства, как натюрморт,— писал Фаустов.— Ведь художнику нужно вырвать вещь из самой сердцевины быта и времени и „пересадить“ на холст. Но и этого недостаточно! Он должен превратить холст в эквивалент бытия, дать зрителю почувствовать всю конкретность вещи, обретшей новое, теперь уже эстетическое существование.

Что же происходит с предметом, перенесенным из обстановки бытовой в обстановку эстетическую? Останется ли он равным самому себе, как в быту, как в повседневной жизни?

Нет, равновесие должно быть нарушено. На холсте должно произойти нечто вроде „чуда“. Вещь, безмолвная в жизни, на холсте как бы обретает дар речи. Правда, она говорит не словами, а цветом, формой, объемом. Она „рассказывает“ зрителю всё, что знал художник о предмете, и все, что он не знал о нем, не познал во время работы над картиной.

В художнике, пишущем натюрморт, должен раскрыться не только живописец, но и поэт, но и философ.

Каждый хороший натюрморт — это лишь попытка понять сущность предмета и через него глубоко почувствовать материальность окружающего мира...»

Трудно иногда оценить роль печатного слова. Небольшая публикация начинает работать как прожектор, статья, словно луч, обращает взгляды людей туда, где только

что они серьезного не замечали. Так было и в этот раз. Люди ахнули вслед за Фаустовым и заговорили о неведомом живописце.

Слово «неведомый» ему перестало подходить...

Дарья Анисимовна открыла неслыханный кредит доброжелательности. Под мою ответственность Фаустову разрешалось уходить из дома, при этом каждый раз нам напоминали о коварстве дорожных переходов.

Фаустов рвался вперед, когда перед ним была цель, не обращая внимания на «желтый» и «красный», я должен был удерживать его страсть. Я добросовестно выполнял указания Дарьи Анисимовны, понимая, что только тогда кредит будет неисчерпаем.

Художники, к которым мы направлялись, были разными. Но главными оставались друзья фаустовской молодости, люди теперь такие же (и более!) пожилые, иногда немощные, нуждающиеся во внимании.

Хитрость Фаустова я оценил не сразу. Он вел не только ученика, которому хотел показать настоящее искусство, тогда чаще именуемое «неофициальным», он вел к своим старым друзьям врача, которому верил, всегда ожидая некоего медицинского чуда, рисуя писательским воображением невероятные мои возможности по исцелению неисцеленных.

Каждый поход начинался с осторожного намека-прикидки.

Фаустов показывал портрет, подаренный ему лет тридцать назад, скажем, охристого цвета девочку с острым колючим взглядом, и осторожно интересовался:

— Нравится?

Мне нравилось.

Портрет я вспоминал неоднократно, и однажды во сне эта девочка долго сверлила меня испытующим глазом.

— Александр Николаевич — мой давний приятель, замечательный мастер! — восклицал Фаустов.— Был Лидером «Круга» в двадцатых, красавец! А теперь это старый больной человек.

— Больной? — настораживался я.— Чем он болен?

— Ах, мой друг, участковые врачи так мало знают! Жена художника мечтает проконсультироваться с серьезным специалистом, но кого порекомендовать?! Вот если бы вы посоветовали?

Наконец мне становилась ясна сверхзадача.

— Хотите, чтобы посмотрел я?

Лицо Фаустова озарялось.

— Это было бы прекрасно! Позвольте, я сейчас же наберу номер?!

Через минуту он уже бегал вокруг телефона, волоча за собой провод, волнуясь и поддавая ногой выскальзывающий непослушный тапок, и тут же подскакивая, и вгоняя в него ногу.

— Это и врач и писатель! — нашептывал он, прикрывая ладонью трубку.— Да, как Чехов! А что, разве вы не доверились бы Антону Павловичу?!

И смеялся, смеялся.

Впрочем, врачебное дело — я чувствовал — он ставил выше моего литературного.

— Ну-с! — восклицал он через минуту,— Откладывать нельзя. Когда же мы навестим больного?

— Готов в любое время, если Дарья Анисимовна вас отпустит.

Он немного смущался.

— А мы попросим! — И тут же несся в кухню хлопотать увольнительную.— Дарья Анисимовна,— уважительно начинал он, но она, мне кажется, сразу все понимала.— Ты отпустишь нас к Александру Николаичу? Очень болен старик, очень!

Дарья Анисимовна вытирала руки кухонным полотенцем и выходила в столовую. Внимательно глядела на меня, потом на притихшего, согласного на любое ее решение Фаустова, наконец милостиво кивала.

— Только чтобы не шли на «красный»,— предупреждала.— Мой так и лезет. Ты его держи на переходах, у-бещаешь?

Я поднимал руку в пионерском салюте.

Она благосклонно кивала и возвращалась к своим делам, но тут же выглядывала из двери.

— Лучше трамваем! — указывала мне.— Я метро не очень. Чего без нужды лезть под землю.

В сговоренный день мы выбрали удобное время — не час пик; вначале, как было обещано, ехали трамваем, пересекли Петроградскую, перебрались через Тучков мост, теперь с угла Среднего проспекта пошли пешком к переулку.

Часть домов в старом районе была огорожена, споро велась реконструкция этого уголка Васильевского.

Вот и дом! Поднимались высоко, долго,— обычное для художников дело: мансарда. На пятом этаже Фаустов примостился на подоконнике — отдых — и вдруг спросил, знаю ли я, что собой представлял «Круг художников» в Ленинграде,— идем все же к одному из его членов.

Оказалось, я знаю о «Круге» лишь приблизительно.

— Но вы же коренной ленинградец! — укорил он.— Какое вы имеете право не интересоваться собственной историей?!

Он был возмущен. В тусклом свете лестницы, когда-то, видимо, считавшейся «черной», лицо Фаустова показалось зеленовато-серым.

— Но откуда я мог знать? Кто писал об этом времени?! — оправдывался я.

Он погрустнел.

— А вот там,— он показал в просвет между перилами,— вас ждет выдающийся мастер. Когда-нибудь вы сумеете оценить сегодняшний наш визит...

Старик соскочил с подоконника и, уже не глядя на меня, не оглядываясь и не замедляя шага, стал приближаться к заветной двери. Поднял руку к старинному, совсем не встречающемуся теперь звонку и дернул цепь металлических передач. Показалось, что за дверями не один колокольчик, а несколько...

Высокая дама с красивым, немолодым лицом, грустными, усталыми глазами, не улыбнувшись, с неторопливым достоинством поклонилась нам, пригласила войти в глубь затененного коридора.

После тусклой лестницы зрение легче приспосабливалось к темноте. Мы прошли мимо полочек с керамикой, мимо холстов, видимо, давно натянутых на подрамники, но так и не тронутых кистью, остановились у следующей двери.

Дама отступила, пропуская нас в комнату, большую и тоже притемненную, с широкой тахтой и старой крупной мебелью.

Фаустов шагнул первым,— здесь он бывал неоднократно. Никого еще не увидев, я услыхал близкое хриплое дыхание, почувствовал резкий и такой знакомый запах лекарств.

— Александр, к тебе гости,— объявила жена.— Николай Николаевич с другом.

Фаустов отступил вправо. Старый измученный человек в полосатой пижаме сидел на тахте, упираясь руками в матрац. За его спиной лежали подушки, все, что были в этой квартире, диванные и с кровати. Стопы отекли, не вмещались в тапочки, поэтому он держал их поверх, губы были синего цвета, все это подсказывало диагноз: нарастающая сердечная недостаточность.

— Да ты большой молодец! — искусственно-бодрым голосом выкрикнул Фаустов, явно думая иначе.

— Болею, Коля,— прохрипел художник, совсем сбившись с дыхания.— Тяжело болею...

— Ерунда! — возмутился Фаустов, подталкивая меня к постели.— Сейчас мы тебя подправим! Ты даже не представляешь, какой чудо-врач со мной! Минуту — и тебе станет легче.

Я похолодел. Ничего, кроме металлического стетоскопа, доставшегося от деда, со мной не было. Фаустов допустил оплошность, это был явный и вредный перебор. Через полчаса станет ясно, что я так же беспомощен перед болезнью, как и многие предыдущие эскулапы.

А они здесь были! Гора битых ампул на столе подтверждала предположение.

Я присел на краешек тахты, расстегнул художнику пижамную куртку. Сердце стучало глухо, с перебоями, периодически будто бы переходило в галоп.

Нет, от меня не утаился его грустный взгляд, невысказанная мольба о помощи.

Принесли горячую воду для ног, поставили горчичники, удобнее переложили подушки,— это все, чем я располагал.

И тут к неожиданной обоюдной радости приступ начал отступать, словно бы подчинившись магической силе. Больной порозовел, приободрился, дыхание стало свободнее и чище.

Не знаю, сколько времени я крутился, но результат превзошел ожидаемое.

— А мне лучше,— без хрипоты вдруг заявил больной.

— Ну, какого мастера я к тебе привел?! — почти заорал Фаустов, невероятно радуясь моему магическому успеху.— Понял, какой для тебя подарок!? — И он весело стрельнул в меня взглядом.

Прошелся по комнате, как полководец, и неожиданно потребовал:

— Давайте-ка покажем нашему другу графику? Пусть поглядит, кого он спасал!

— Конечно, конечно,— сказала жена и сразу же поднялась.

— Несите лучшее! — крикнул ей вслед Фаустов.— Старенькое! Двадцатые годы!

Жена вышла в соседнюю комнату, там была мастерская, вернулась с большой серой папкой.

— Я объясню! — возбужденно предлагал Фаустов, посматривая на больного.— А ты помалкивай, набирайся сил.

Он притянул первый лист и тут же застонал, точно пронзенный острым.

— Какой художник! — разнеслось по комнате.— Ты замечательный мастер!

Пейзажи углем и тушью, бархатистые необозримые пространства с лесами, пашнями, деревенскими строениями, акварель и гуашь, натюрморты с цветами, с книгой, с балалайкой — все это ложилось перед нами, каждый раз вызывая у Фаустова прилив новых волнений.

— Что вы на это скажете?! — кричал он.

Художник покачивал головой, от фаустовских комплиментов ему становилось все лучше.

Жена вынесла новую папку. Держалась она величественно,— стройная, статная, вечная его модель,— и уже отметил во многих портретах сходство, повторяющийся тип женщины.

В ее осанке, в ее умных больших глазах, в овале лица, в прическе, собранной в узел, было нечто величественное и чистое.

Теперь на тот же столик ложились листы книжной графики, классика, осмысленная совершенно по-своему, знакомые персонажи Пушкина, Грибоедова, Салтыкова-Щедрина. Многое я видел еще в нерадивые школьные годы, но тогда фамилия художника меня не интересовала, я разглядывал иллюстрации не столько удивляясь, сколько невольно впитывая неожиданную, новую для себя точность, а поэтому и запоминая.

Впрочем, помнил я не одну «школьную программу», но и «Двенадцать подвигов Геракла» с его рисунками, книжки-малышки — их у меня было когда-то много,— и что поразительно, не только узнал «Медного всадника» из его детской книжки, но и две строки под рисунком вспомнил, хотя не видел книжку почти сорок лет.

— Неужели знали? — удивился художник.— Я ведь и детские стихи писал. Было, было такое!..

На тахте сидел человек, казавшийся теперь совершенно здоровым.

— Хватит на сегодня! — решительно сказала жена, закрывая папку с понятной мне торопливостью, хотя мы с Фаустовым не досмотрели до середины.— Александру Николаевичу трудно!..

Она уплыла в кухню, такая же величественная и гордая, какой показалась мне в первую секунду знакомства.

И тут я заметил, что Фаустов украдкой просматривает следующие рисунки, при этом как-то торопливо запихивая их в папку.

Странное дело! При всей малой моей подготовленности нельзя было не заметить, как слабеет дарование. Последующие листы казались написанными другим человеком, этакая сладость возникла в них.

— Сахар, настоящий сахар! — бормотал Фаустов, пользуясь тем, что жена подбивает художнику одеяло.

И вдруг сказал:

— А все же главные открытия были сделаны в двадцатые и в начале тридцатых, никуда от этого уже не деться!

Художник страдальчески поглядел на нас.

— «Круг» — это романтика,— буркнул он.— Фантазии, поиски, споры — интересны в молодости. Менялось время, менялись и мы. Приходилось доказывать, что мы не хуже других...

Фаустов вскинул голову.

— Не хуже кого?!

Он забегал по комнате, я уже знал подобные вспышки его волнений и гнева.

— Что, что ты доказал своим компромиссом?! Был прекрасен и самобытен, а стал «не хуже других»!

Синяя бледность опять расплывалась по лицу художника, он задышал тяжелее и чаще. Я понимал, если приступ начнется снова, то серебряной трубочкой больше не обойтись.

— А вот и чай! — крикнула жена, входя в комнату с электрическим самоваром.— Конец спорам! Ко-нец!

Она кинулась к мужу, стала гладить его по щеке. Он сбросил ее руку.

— Ему нельзя нервничать,— сказала она в пространство.

Это был упрек Фаустову.

— Я не люблю, когда люди говорит глупости,— буркнул художник и отвернулся.— В конце концов, время потребовало от нас быть такими, какими мы стали.

Жена снова бросила умоляющий взгляд на Фаустова.

— Выпьем-ка чаю! — повторила она.— А потом, Александр, я почитала бы гостям твою прозу. Доктор, наверное, даже не слышал, какие написаны тобой замечательные вещи! Александр Николаевич не только в живописи был прекрасен, но и в литературе.

Фаустов сопел, все еще переживая спор с художником.

— У Александра есть прелестный, хотя и неоконченный роман.— И она, повернувшись к мужу, еще раз спросила: — Не возражаешь, если я почитаю?

...Конечно, многое теперь забылось, даже не вспомнить имен героев. Остались в памяти двое: Он и Она, живописец и кукольница.

Ее куклы тоже жили в романе, в собственной кукольной сказке. Так и соединялись два мира: подлинный — голодный и черный, вымышленный — счастливый и голубой.

Денег не было, холста не стало, краски кончались, оставалась беленая печка, на ней и вынужден был писать художник. Его кисть продолжала рождать шедевры.

Был момент, к художнику заглянул человек, малограмотный новый чиновник, назначенный эмиссаром искусства. Все, что он говорил, было от лица грядущей эпохи. Только слово эпоха он произносил: *епоха.*

Оказывалось, художник писал, не понимая азбуки искусства. Епоха внушал:

— Не сомневайтесь, наша героическая *епоха* уже вынесла приговор загнивающему искусству. Базис один, остальное — надстройка.

В печке потрескивало последнее полено, крупы не было, в буфете чисто и пусто. И вдруг Художник увидел, как в печь полетели куклы, игравшие только что свой счастливый спектакль.

— Я не могу так жить! — кричала жена.— Я не хочу быть надстройкой!

Язык пламени уже съедал их веселые лица...

...Через несколько лет после смерти Александра Николаевича мы с Фаустовым собрались на ретроспективную выставку его работ в Русском музее.

Экспозиция занимала несколько залов. В первом было шумно, молодежь спорила около картин, восхищалась. Из запасника, наконец, извлекли «Кондукторшу», крепко стоящую на ногах, как на бетонных опорах, наполовину озаренную зеленой вспышкой пролетающей мимо неоновой рекламы.

Рядом «Метростроевки»; они казались эскизами фресок, как и следующие за ними лица молодых коммунаров. Затем знаменитая «Девушка в футболке», в которой художник сумел совместить классику и современность.

— Какое мастерство! Удивительный живописец! — неслось отовсюду.

— Шедевр! — ликовал Фаустов, волнуясь и показывая мне то одно, то другое — еще лучше! — полотно мастера. Я следовал за Фаустовым как тень.

Вошли в последний зал и остановились. Странная и неожиданная тишина поразила здесь. Голоса исчезли. Звуки споров сюда просто не долетали. Несколько человек с постными лицами прошли мимо развешанных крупных полотен, повернули к выходу.

Фаустов поглядел направо, налево — разочарование возникло в его взгляде.

...Бодро печатая шаг, двигались на нас счастливые физкультурники, а с трибуны махал им еще более счастливый человек, окруженный похожими друг на друга, такими же счастливыми людьми.

...Дама в широкополой шляпе являла неожиданную салонную красоту, чего совершенно не было в предыдущих залах. Ничего общего эта женщина не имела с той, которую мы с Фаустовым хорошо знали,— скромную, с большими печальными и умными глазами. Тихой тенью она проходила по вернисажу.

Фаустов заметался от холста к холсту, он словно пытался отыскать в этих вещах следы затерянного таланта. Нет, не нашел!

Подошли два старика, постояли около картины с красивым и громким — а в жизни строгим и тихим — поэтом, повернулись друг к другу.

— А ведь Александр был одним из самых талантливых в «Круге»,— сказал аккуратненький маленький в белоснежной рубашке и в галстуке. У старика были пухлые детские губы, которые он тут же сложил колечком, в его младенческих серых глазах недоумение соединилось с болью.

— Был, да весь вышел! — прогудел второй, огромный и лысый.

— Кузьма Сергеевич так в него верил! — сказал губастый.— Испугался, что идет не в ногу, вот и пошел в ногу.

Аккуратненький сложил снова губы колечком, круглое его лицо, засеянное веснушками, выразило печаль.

— Только что поглядел его графику. Каков Щедрин?! Кузьма Сергеевич называл эту серию конгениальной! — И поднял палец, точно гимназический учитель.

Они склонили головы, будто прощались с безвременно ушедшим другом.

— Выставка — его вторые похороны,— мрачно сказал лысый.

Оба повернули назад к выходу. Фаустов сел на пуф, опустил глаза.

— Рувим прав,— сказал Фаустов.— Это вторые похороны Александра. А ведь был, был, был,— трижды сказал он и ударил кулаком по колену,— был одним из ярчайших!

В тишине выставочного зала, со стен которого на нас смотрели, смеялись, кричали осанну счастливые и красивые муляжи-люди, я не выдержал и спросил у Фаустова:

— Почему в двадцатые, когда стояла разруха и голод, когда революция делала первые шаги, у писателей, артистов, скульпторов, педагогов и режиссеров все получалось?!

Странно ответил Фаустов:

— Двадцатый век принял своих ровесников и сам же их испугался. Еще бы! В мир пришла масса титанов! Средний человек был потеснен; нормой объявлялась яркая одаренность.

Он так и не поднял глаз на стены, покачивался на бархатном пуфе, как буддийский монах на молитве, думал о прошлом.

— Представьте, что было бы в жизни, если бы все заговорили своими естественными голосами?! Норма — гений! Исключение — бездарь.— И Фаустов рассмеялся.

Мне даже стало холодно от его саркастического смеха. Я спросил:

— Но ведь не все поддались Е-похе? Были, наверное, и другие?!

— Конечно. Только жизни «других» и складывались по-другому.— Тень пронеслась в его взгляде.— Когда Александр писал свою повесть, он не мог представить, что лет эдак через десяток Е-поха станет, как минимум, директором Русского или Третьяковки, превратится в грозную, почти неодолимую силу. И другой искусствовед будет уже никому не нужен.

Случай пришел ко мне сам.

Я сидел за письменным столом, работа не шла, с утра одолевала гнетущая вялость. Когда раздавался телефонный звонок, я с радостью хватался за трубку.

О, эти утренние птички — библиотекарши, организующие культурную жизнь собственных учреждений!

— Нам обещали писателя, но не дали,— объяснял мне тонюсенький, чуть не плачущий голос.— Посоветовали к вам обратиться, сказали, вы добрый, выручите...

Выступление не входило в мои планы, но лесть делала свое дело. Я дал библиотекарше повод к атаке.

— А когда нужно?

— Завтра в девять,— тут же выпалила она, не скрывая своей счастливой надежды.

— Утром мне неудобно.

— Но у нас именно в это время меняются наряды, замполит обещал собрать побольше народу.

— Какие наряды? — не понял я.— Куда вы меня зовете?

— В милицию,— сказала она.

— Но я никогда не занимался детективной литературой, о чем я могу рассказать?

Библиотекарша меня укорила:

— Милицию волнуют любые нравственные проблемы. Вы даже предположить не можете, какая благодарная аудитория вас ждет. А потом... несколько читателей уже разыскали книги, они вас читают...

— Вы так говорите, будто книги разыскивал ваш уголовный розыск.

— И они тоже! — она выигрывала торги.— Это лучшие читатели, вы убедитесь...

— Далеко ли ехать? — спросил я, надеясь, что удаленность от дома — тоже повод отбиться от неожиданной просьбы.

— Мы в центре,— тараторила она.— Вы не потеряете лишнего времени, обещаю...

И вдруг я подумал, что меня зовут в то отделение милиции, в районе которого мог жить неведомый художник. Может, судьба подбрасывает мне шанс?!

— Хорошо,— согласился я.— Завтра у вас буду.

Замполит — молодой офицер с университетским значком на лацкане форменного костюма, слушал меня с неподдельным интересом. Правда, не так много я мог ему рассказать о «Круге», о тех художниках двадцатых, среди которых и был забытый миром Василий Павлович Калужнин.

По моим представлениям офицер должен был сказать:

— Маловато фактов.

Но, к радости, он пообещал:

— Мы обязательно разыщем его следы.

Проводил до выхода, пожвл руку и с неожиданным подозрением произнес:

— Картины стали интересовать многих. Мы тут недавно раскрыли шайку. Шастают по старушкам, обирают бессильных. И, конечно, всегда за бесценок.

Я смутился, стал бормотать что-то в свое оправдание.

— Да я просто так, к слову,— успокоил замполит.— Как говорят, во-ще.

Телефон звонил, пока открывал двери. Я ринулся к трубке и сразу же узнал этот голос.

— Задание выполнено,— доложил замполит, точно я был руководителем опергруппы.— Передаю трубку лейтенанту, которому было поручено ваше «дело».

Пока лейтенант кашлял, подбирая слова «для отчета», я подумал, что, может, эта секунда и есть начало удачи, ниточка, хвостик, первый шажок, с которого мне откроются перспективы. Но я тут же себя одернул: мой поиск мог с этим звонком прекратиться.

— Докладываю,— сказал лейтенант.— Значит так, товарищ писатель, мы адрес Калужнина, конечно же, разыскали: Литейный, шестнадцать, квартира шесть. Родился он четырнадцатого декабря тысяча восемьсот девяностого года, умер в мае шестьдесят седьмого. Дом, где проживал художник, был на капремонте, но кое-какие жильцы вернулись, мы их уже опросили.

— Они помнят его? — я перебил лейтенанта.

Он замолчал. Не следовало своим нетерпением торопить рассказ.

— Фактов негусто, товарищ писатель,— сказал лейтенант.— В квартире шесть, где объект жил, старых жильцов не осталось. Но в квартире девять выявлен старик, знавший художника еще в своем младенчестве. Мама старика с этим художником дружила, и старик в бытность ребенком забегал к художнику из личного любопытства, нравилось ему смотреть, как тот рисует. Был Калужнин человек одинокий, детей обожал, вот что старик помнит.

— А знакомых Калужнина, его друзей называет?

— В доме кое-кого знал, но те померли, товарищ писатель, времени прошло немало. Да! — лейтенант, видимо, заглядывал в шпаргалку.— Да.— повторил он,— была старушка, жена часовщика, в квартире четыре, проживала в блокаду в номере шесть. Старик сказал, что он эту старушку уже лет пять не встречает, видно, и ее прибрало...

— А где картины — спросили?

— Спросил. Нет, про картины не знает, он про зергало помнит...

— Про что?

— Зергало было,— сказал лейтенант, выговаривая «г» вместо «к».— Большое зергало с потолка до полу, в перламутровой раме. За всю жизнь он такого больше не видел. Куда делось, тоже сказать не может.— И вдруг спросил: — Поискать или пусть пропадает?

— Зеркало меня не интересует.

Видимо, он собирался прощаться, информация исчерпалась.

— Но, может, старик что-нибудь рассказал вам о жизни художника?

Лейтенант хмыкнул.

— Ерунду. Слухи. А слухи, товарищ писатель, не пришьешь к делу, мало ли что нвыдумывают люди...

Я взмолился.

— Нет, скажите!

— Даже неловко.— Он помолчал.— Будто сестра художника была в Париже артисткой. Будто она приезжала на похороны. Это, товарищ писатель, чушь, невозможно. В шестьдесят седьмом на похороны никого из капстран не пускали. Впрочем, если хотите, мы можем и этот вопрос отработать.

Я поблагодарил своего Шерлока Холмса. Сведений поступило не густо, но все же, все же...

Как говорится, жил-был на Литейном художник, да и помер. В целом сегодняшний день у меня оказался удачным. Появились адрес, первые очевидцы. Сестра в Париже, артистка,— не так уж мало.

Теперь за дело! Есть художники, искусствоведы, коллекционеры, которые должны Калужнина помнить. Не мог только один человек видеть его картины.

«Круг»? «Круг художников»?

Слово нравится мне, кажется, оно имеет легкую тонкую замкнутую форму.

Слово подкинул Фаустов, затем многократно его повторяли другие.

Лысый громогласный Фрумак, как и маленький аккуратненький старичок с коричневыми пятнышками на лице Вербов, стали моими поводырями, с ними окунался и в прошлое, слушал их рассказы о «Круге».

Почему слово ассоциируется для меня с радугой, с Тучковым мостом, образующим со своим отражением в воде замкнутую кривую?

Это, вероятно, оттого, что я помню себя идущим с Фаустовым. Дует невский ветер. Мы придерживаем кепки, прижимаем свободной рукой развевающиеся полы, рядом грохочут трамваи, и сквозь весь этот шум я пытаюсь запомнить каждое слово старого друга.

Как это было? Я пытаюсь восстановить разговор...

— «Круг»?! — вскидывает голову Фаустов, и мне кажется, что его подбородок чертит кривую, которая могла — будь такая возможность — замкнуться и стать кру-

гом.— «Круг»? — повторяет он, оглядывая пространство с пешеходной дорожки моста, набережную и начинающийся Большой проспект Петроградской, кольцо «Юбилейного» и другое окружие стадиона Ленина,— это воздух города, перенесенный художниками двадцатых на свои холсты, это стиль времени, стиль эпохи.

— Эпохи? — иронизирую я.

— Эпохи,— настаивает Фаустов.— Когда-то художники «Круга» внесли это слово в свой манифест. Написали как кредо: «Найти стиль эпохи» и поставили эпиграфом к своей программе.

Нет, и тогда я не понял всей серьезности, с какой говорил со мной Фаустов. Хотелось шутить, быть раскованным и легким.

— А может, все проще? — продолжал я.— Круг — это кольцо, обруч?

Фаустов недоволен, ему не нравится столь плоский юмор.

— «Круг» это «Круг»,— бурчит он.

Теперь-то я знаю, что в 1925 году пятнадцать художников кончили Академию у Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. А в следующем решили сохранить студенческое единство, выступить кругом (обществом, сборищем, мирской сходкой), выработав при этом собственную программу.

Выпускник Алексеев прислал из Пскова письмо, предложил назваться «Кругом художников».

Поддержали единогласно.

Осенью собрались в Доме печати, решили готовиться к выставке, критерий один: нелицеприятность и беспощадность.

Стола в комнате не было, столами пусть пользуются бюрократы. «Круговцам» было достаточно стульев.

Каждый сидел как хотел, верхом, качаясь, как в кресле, привалясь и вытянув ноги.

За стеной бурлили филоновцы,— их уважали, хотя исповедовали другое.

Увидев Филонова, кивали издалека, проходили с почтением, робко. Этот был богом, хотя ему молились в соседней комнате.

На Исаакиевской обосновались другие, не похожие ни на филоновцев, ни на «круговцев», это студенты ГИНХУКА, ученики Малевича и Татлина, Матюшина и Мансурова, те разрабатывали посткубистические структуры.

Впрочем, барьеров не было. Не соглашаешься — переходи! Разрыв как предательство не воспринимался.

Что ненавидели? Собственные неудачи. Клеймили друг друга, невзирая на лица.

С эпохой им повезло, в этом никто не сомневался.

Но в чем сомневались и постоянно, повезло ли эпохе с ними.

Удастся ли найти средства, выражающие исключительное время, дух революции, неповторимость века?

А если выразят не они, а те, рядом? Нет, нельзя допустить такого! Нужно искать, приближаться к ответу.

...Я сижу в небольшой двухкомнатной квартире Якова Михайловича Шура, последнего из того самого первого «круговского набора».

Шуру — восемьдесят пять, но ему здорово удалось обмануть возраст. Небольшой, седовласый, очень подвижный, с прекрасной молодой памятью и блестящими, живыми, незатухающими веселыми глазами.

— Шестьдесят — это мгновение,— говорит он.— Двадцатые рядом...

На стенах солнечной комнаты картины Якова Михайловича, уравновешенные, лиричные ленинградские пейзажи, рядом несколько работ друзей-круговцев Русакова и Купервассер.

Якову Михайловичу приятно вспоминать о тех, счастливых, годах своей жизни.

— Нас почти выкинули из Академии,— посмеивается он, зная конец этой истории.— Мы выглядели бунтовщиками, не хотели принимать архаических академических установок самого консервативного учреждения — оплота старого искусства. И выкинули бы! — говорит он.— Да спас граф Эссен, вернее, бывший граф, а тогда партийный работник, друг Луначарского, коммунист. Он и заставил администрацию Академии разрешить нам закончить курс у Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина...

Шур прикрывает глаза, вспоминает прошлое.

— Как «круговцы» мы выставились впервые в двадцать шестом, но как выпускники Академии показали работы годом раньше, на отчетной студенческой. Есть статья Пунина в журнале «Жизнь искусства», вы ее поглядите. Рецензия Пунина тогда прозвучала как гром. Признание! Удивление! Живопись вопреки Академии! Новое слово! Это теперь захвалить боятся, а ведь поддержка, признание особенно важны молодому.

Солнце высвечивает нежную живопись Шура. Мне нравятся его скромные пейзажи, высокая культура и мастерство. Ранние работы не сохранились,— все, что висит, создано в семидесятые годы.

— Хорошо помню, как отбирались картины на выставку,— продолжает Шур.— Вначале решали старые академические профессора, у них были свои «академические» требования, наши под эти требования попросту не подходили. Мы возмутились. Хотелось самостоятельности. Пожалуй, один только Пахомов сдался, готов был признать их власть...— Яков Михайлович делает паузу, словно готовит меня к продолжению рассказа.— Помните, я говорил об Алексееве, тот самый, что предложил называться «Кругом», здоровый был парень. Взял он Пахомова на руки и на глазах почтенной академической публики вынес его из зала, а затем вернулся за его живописью. Больше Пахомов против «Круга» не шел, не решался...

— Наверное, академические профессора считали вас хулиганами, увидеть в стенах Академии такое?!

Шур смеется.

— Думаю, хулиганами они нас не считали. Разве хулиганы бредят искусством? Мы были *иными*, но мы были художниками, преданными делу до самозабвения. А то, что решали коллегиально, так это было определено временем, все делалось коллективом. Как-то один из нас принес слабую вещь, мы выбросили ее в окно, а заседание продолжали. Жалеть несделанное не научились. Свои неудачи не берегли...

В 1928 году уже сформированное общество «Круг художников» решило выйти на новую выставку с собственной платформой. Декларацию готовили коллективом. Главными теоретиками «Круга», его заводилами и поводырями стали Вячеслав Пакулин и Давид Загоскин, недавно переехавший из Саратова в Ленинград.

Искали слова. Оттачивали формулировки. Хотели, чтобы в тексте не было ни одной лишней фразы:

«„Круг" считает, что *темой* картины должны быть такие значительные, кристаллизовавшиеся, обусловленные эпохой явления, которые могли бы ей дать устойчивость во времени, значительность и монументальность формы».

И дальше:

«Создавая картину, которая через наше зрение воспитывает и наше сознание, наши чувства, „Круг" отвергает иллюстрирование средствами живописи отдельных эпизодов нашей жизни, сведения конечных целей искусства к агитационным средствам.

Живопись — не плакат, не иллюстрация, не фотокино!»

Итак, свой язык, неповторимые возможности, собственные средства.

И тогда живопись, как искусство, сможет претендовать на вечность!

— Безразличных не было. Орали до красных глаз, до потери голоса. Если бы термометр сунуть в ту кипящую, бурлящую массу, то ртуть бы не выдержала, расплескалась... Это сейчас тех учеников считают хорошими, которые как две капли воды похожи на своих учителей. Мы были плохими учениками. Каждый норовил сделать все по-своему, не как старики-учителя. Мы и Кузьму Сергеевича недооценивали,— говорит Шур, словно бы специально в этот раз называя Петрова-Водкина по имени.— А ведь был гений! Недавно остановился перед его холстами в Русском и думаю, какой человек жил среди нас, учил, советовался, доверял...

И Яков Михайлович замолкает, чтобы спустя время повторить фразу:

— Да, мы были плохими учениками, это нынешние сплошь *хорошие* ученики...

Грустны речи на похоронах, в которых сквозь факт непризнанности возникает и оценка творчества мастера, удивление о незамеченном, недопонятом, недооцененном. Так было с Павлом Михайловичем Кондратьевым, с Рувимом Соломоновичем Фрумаком, с Владимиром Васильевичем Стерлиговым, Татьяной Николаевной Глебовой, да мало ли их было, живших в коммунальных квартирах в пятиметровых комнатах, отказавшихся от благ ради того, чтобы сохранить искусство.

Ученики Малевича, Филонова, Петрова-Водкина, Шагала, они так и не дождались официального признания, это теперь их работы пытаются заполучить музеи, а в монографиях и в альбомах их начинают называть «второй волной русского авангарда».

Впрочем, это все отступление от темы. Пока я говорю о времени, когда появление имени *ожидалось*, когда новая выставка назавтра становилась событием, а группа молодых объявлялась *школой*.

Рецензия выдающегося искусствоведа Николая Николаевича Пунина была еще не на «Круг», а на будущий «Круг», на группу студентов-единомышленников, выпускников 1925 года, выставивших свои полотна на вернисаже.

Это им, будущим «круговцам», Пунин предрек славу:

«В среде художников отчетная выставка конкурентов этого года вызвала разнообразнейшие споры. На бедном фоне нашей художественной жизни выставка получила смысл события. Ряд причин способствовали этому и, прежде всего, присутствие работ, действительно заслуживающих особого внимания.

Я не хочу преувеличивать, но, думаю, что *несколько* новых имен вошло в *русское искусство»*.

Таким было начало, их первый шаг. Но уже через полтора года, когда они объявили себя «Кругом», другой критик в том же еженедельнике выразил тревогу: «На выставке общества „Круг" собрано большинство художников, кончивших Академию Художеств в последние годы. Смотри на эти картины, не знаешь, кого винить. Самих ли художников или ту школу, которая приобрела печальную известность в истории русской живописи: Академию Художеств... Выставка сигнализирует, *куда* идет наша молодежь, в этом ее своеобразие.

Художники „Круга" идут позади. Они отстали лет на пятнадцать (ко времени „Бубнового валета") и очень много французят...

Художники „Круга" не вкладывают никакого содержания в свои картины, они игнорируют всякое содержание, все, что делается вокруг нас, они не замечают. Рассматривая выставку, не знаешь, где находишься. Не чувствуешь ни времени, ни обстановки. Это кажется особенно странным, когда взглянешь на другие области искусства...

Художники „Круга", где же дань нашему времени?! Мы требуем от вас отражении нашей эпохи!

По произведениям живописи мы в известной мере изучаем быт, историю. Можем ли мы изучать его по вашим работам?!»

Директором второй выставки «Круга», проходившей в залах Русского музея, был выбран Алексеев. Каталог печатали на собственные деньги в частной типографии.

Главное — объявить миру *программу:* что хотим, на что претендуем, что отвергаем.

Вход на выставку: пятнадцать копеек.

Несколько дней тревожились: не пойдут, не заинтересуются.

На открытии были счастливы: народу полно, интерес нарастал с каждым днем.

Вокруг участвующих толпа, споры. То в одном конце зала, то напротив вспыхивает дискуссия. Пакулин взобрался на стул, витийствует, отстаивает заявленное в декларации, под ним как телохранители Купцов и Загоскин, представители самого молчаливого искусства (художники, оказывается, могут постоять за себя даже в словесной битве).

Но выставка — не только премьера, проба сил, выход на зрителя, это и заработок.

На вырученное Алексеев покупает «круговцам» необходимые вещи.

— Ботинки — Пакулину, пальто — Русакову, брюки мне и Пахомову,— вспоминает Шур. Гонорару радовались, как международной премии.

Главным событием выставки стал приезд Анатолия Васильевича Луначарского.

За наркомом ходили следом, перешептывались, ждали, что скажет, как отнесется. И не потому, что нарком это нарком, а потому, что нарком понимает в искусстве.

Слушали, окружив Луначарского, потом не выдержали, начали спорить. Понимает-то он понимает, но ведь и они думали, когда писали, не с луны же свалились, что-то хотели сказать людям.

Луначарский одно, Пакулин иначе, Загоскин тут же возражает обоим.

Луначарский парирует аргументы. Только и наркому не хочется уступать, нет в мире конечных истин.

Анатолию Васильевичу нравятся эти мальчишки, отстаивающие свои взгляды, свое искусство. Молодцы! Так и нужно! И тут некто из толпы вспоминает о поезде.

Маленький «форд» выскальзывает на Невский, шофер давит клаксон, машина мчится к площади Восстания.

«Круговцы» летят следом в трамвае, дальше — бегом на платформу. Поезда нет. Значит, успел Анатолий Васильевич! И все же вина за задержку на них...

Оказалось, начальник вокзала не решился отправить поезд без наркома, приказал задержать состав, нарушил расписание. Как же отправишь, если ждешь Луначарского, мало ли причин, из-за которых нарком может опоздать?!

Наутро приключение Луначарского уже было известно в Москве, заседание Совнаркома началось со строгого выговора Анатолию Васильевичу.

Луначарский не оправдывался. Да, не заметил времени. Заспорил. Увлекся молодыми. Нет, не победил. Разве легко доказать свою правоту. Они ведь тоже не лыком шиты, отстаивают собственный взгляд.

Нарком железных дорог Ян Рудзутак возмущается:

— Расписание дороги — есть железное расписание. И ни нарком, ни сам бог не имеет права с этим расписанием не считаться.

Голос с места:

— Что предлагаете?

— Выговор за нескромность.

Анатолий Васильевич понуро смотрит на всех. Что сделаешь, виноват.

Яков Михайлович Шур с удовольствием вспоминает Анатолия Васильевича на вернисаже в Русском: лоб высокий, усы, бородка, крепкий мясистый нос. И пенсне.

Лицо живое, умное, взгляд острый, колючий, как и его ответы.

Но только он снимет пенсне, взгляд моментально пустеет, становится близоруким, размытым, лицо теряет живой интерес, гаснет.

Приезд Луначарского — всего лишь случай, неожиданность, взорвавшая будни «Круга». Но была и повседневная жизнь.

— ...Да вот хотя бы знаменитый скандал из-за оформления Исаакиевской площади к октябрьским дням,— говорит Шур.— Памятник Александру I решили обтянуть материей, обернуть по спирали, вроде татлинского проекта памятника Третьему Интернационалу. И так же по спирали написать восходящую демонстрацию рабочих.— Он щурит живые глаза, поглядывает озорно, с ивным чувством молодого сохранившегося превосходства: его поколение — не наше! — На вершину сооружения поставили танк с пушкой. Орудие повернули в сторону немецкого консульства,— это уже тридцать третий! — тогда на их флаге появилась свастика...

Он поглядывает на меня хитроватым взглядом.

— ...На следующий день — протест! В Смольный! Консульство заявляет, что Советы угрожают войной Германии, пушку на них целят. Нас — в исполком! «Хотите международный скандал?!» Пришлось поворачивать пушку в сторону, раз фашисты так свирепеют. И, знаете, не рассчитали. Оказалось, целимся на «Асторию», а там иностранцы! Опять в Смольный позвали, теперь еще строже! Пришлось поворачивать на Исаакиевский.

— Сколько времени занимала у вас работа?

— По нескольку месяцев. Мы придумывали буквально все: от флангов до панно, и каждый год новое, старались не повторяться. Демонстрация не должна была смахивать на предыдущую, все сочинялось заново. Но кроме того, мы серьезно готовились к такой работе: изучали биографию города, историю революционного движения в России, мы даже опубликовали программу-манифест, изложили план оформления улиц и площадей. Каждый получал конкретный исторический район.

Яков Михайлович пытается объяснить только что сказанное:

— ...Самохвалову поручили Финляндский вокзал, привокзальную площадь. Значит, там можно было написать приезд Ленина...

Работали бригадой: Сережа Чугунов, Коля Свиненков, я, командовал Саша Самохвалов. Девушки-маляры заготовили краску в больших бочках. Мы по клеткам писали панно. Длина холста была двадцать два метра, высота — двенадцать. За этим огромным холстом не стало видно Финляндского вокзала. На соседних домах писали рабочих, пришедших встречать Ильича. Старались, чтобы оформление не было казенным, обязательно эмоциональным. Занимались этим Загоскин и Калужнин...

Про себя повторяю «Калужнин!..», это важно, потом проверяю, правильно ли понял слова Шура о напечатанной декларации?

Яков Михайлович подтверждает:

— Вы не ошиблись,— достает журнал «Жизнь искусства» за 1927 год и показывает страницу.

Декларация называется: «О декоративном оформлении десятилетия Октября».

Я списываю «круговский» манифест, в котором каждая фраза мне кажется поразительно интересной. Приведу несколько отрывков:

Ленинград может соединить в празднике Октября три момента:

1. Как *исторический* центр, на площадях и на улицах которого произошло много событий, подготовивших и осуществивших Октябрьскую революцию.

2. Как мощная единица, участвующая в общем хозяйственном и культурном строительстве СССР.

3. Как застрельщик мировой пролетарской революции, для которой наша является прологом...

Соединение этих трех моментов дало бы оглядку на прошлое, учет настоящего, взгляд в будущее.

Исходя из этого, общество «Круг художников» разработало и предлагает план декоративного оформления следующих пунктов Ленинграда к десятилетию Октября, общий диспозиционный план.

1. Площадь Урицкого — центр, куда направляются всегда народные массы, реагирующие на события внутренней и внешней политической жизни,— должна быть посвящена этим событиям по годам, календарю, от Октября до Октября.

2. Площадь Жертв Революции — декоративное убранство ее должно быть посвящено памяти всех отдавших свою жизнь делу пролетарской революции как в СССР, так и в других странах. И, в частности, Парижским коммунарам 71 года.

3. Петропавловская крепость — как место заключения революционеров — может быть использована для пропаганды идей МОПРа.

4. Мост Лейтенанта Шмидта — мог бы представить рост и работу Профсоюзов.

5. Мост Республиканский (б. Дворцовый) — между Всесоюзной Академией Наук и Дворцом Мирового искусства (б. Зимний и Эрмитаж) отводится для иллюстрирования культурных завоеваний СССР.

6. Площадь Восстания с памятником-пугалом Александру III у вокзала Октябрьской железной дороги — можно превратить в апофеоз восстания трудящихся против феодализма и капитализма.

...Нескончаемая очередь охватывает огромное здание Манежа на Исаакиевской площади! Год, кажется, восемьдесят шестой, первая выставка из запасников Русского музея. Запрет снят, открывается то, о чем говорилось шепотом, как об ужасном, предосудительном, развращающем души.

Вот они: Филонов и Малевич, Татлин и Кандинский, Шагал и Альтман, Гончарова и Ларионов, Митурич и Пуни, Родченко и Лисицкий, и многие революционеры духа, создатели нового искусства.

Вижу «Семью плотника», полотно, поразившее меня много лет назад в крохотулечной узкой комнате — пенале огромной коммунальной квартиры на Невском, в доме с вывеской кинотеатра «Аврора».

Народ в Манеже перемещается волнами, от полотна к полотну.

«Формула весны», «Формула пролетариата», «Скотницы», «Семья плотника» Павла Филонова, рядом «Апостолы» Натальи Гончаровой, «Зеленый еврей» Марка Шагала, портреты Роберта Фалька, поразительный композитор Лурье Павла Митурича, многое, многое другое...

Красная конница Казимира Малевича мчится по волнистому горизонту, по синему воздуху, звучат боевые фанфары, слышится галоп победного воинства Революции.

Почему это было под семью замками, в чуланах музеев?! Кто спрятал великие завоевания Искусства?! Какие силы не давали открыть наглухо забитые двери?!

На улице небывалый мороз. И очередь замерзшая, как в блокаду. Только голод нынче иной,— не в булочную за граммами хлеба, а в музей, к искусству.

Ртутному столбику крепко за тридцать, но очередь ждет, движется медленно, проникает.

Я, наконец, нахожу «Жницу» Пакулина, охристое чудо, соединение древнерусских фресок с экспрессивной силой мексиканца Сикейроса.

Впрочем, отчего Сикейроса?! Разве не раньше о том же сказал Малевич?! Не его ли идеи дали живительные импульсы мировому искусству?! Будь то живописцы другого континента или молодежь ленинградского «Круга»...

«Жница» Казимира Малевича,

«Жница» Вячеслава Пакулина,

«Жница» Алексея Пахомова,

«Жница» Давида Загоскина.

— «...недурно задумав „Жницу“, Пакулин так и не справился со своей задачей. Фигура не построена, не прорисована, сыра по живописи. Синяя краска так и остается краской, не превращаясь в тон-цвет-материал...»

Достаточно! Время давно ответило досужему искусствоведу.

А чуть в стороне «Девушка в футболке», тоже классика. И она, оказывается, угодила в подвал, под замок: светлая, гордая, молодая, сама эпоха Революции!

Рядом «Кондукторша». Какой нужен совершенный глаз, чувство света и формы?! Это о ней, о «Кондукторше», тогда было сказано: «несделанность» и «любование краской»?!

Видимо, главной задачей становилось: воспитать в будущем спеце по искусству чувство прокурорской полноценности, подозрительность, умение видеть и пресекать любое отклонение от дружно в ногу идущей колонны. Шаг в сторону и — стрелять!

И тогда «Жницу» — в запасник, под седьмой замок, а еще правильнее на свалку, как однажды жактовский водопроводчик вынул из кучи строительного мусора и принес мне тончайший пакулинский пейзаж. Водопроводчик не был ни меценатом, не недоучившимся искусствоведом, он просто уважал чужую работу.

Так и висит у меня холст, на обратной стороне которого одним из тех самых «искусствоведов» накорябано: «Вернуть Пакулину!»

А восклицательный знак, видимо, имеет функцию приговора: «Обжалованию не подлежит!»

Что испытываю я, глядя на *это* когда-то известковое ископаемое с помойки, а теперь промытый реставраторами золотистый песок на берегу залива, зеленую веточку лиственницы, словно вскинутую над водой? Чувство родного дома, счастье от бесконечности пространства, трепетности, невесомости и прозрачности воздушной среды.

Как удержал это ощущение прекрасного художник, если картины его отвергались, выбрасывались, какая сила вела его руку в следующем полотне, чтобы делать лучше, еще лучше, еще?..

Слепые искусствоведы, глухие музыковеды, малограмотные литературоведы,— вот кто решал на советах, определяя качество и талант. Сегодня — в искусстве, завтра — в банно-прачечном объединении, каждый труд почетен, о чем речь?!

«Жница» написана в 1927 году. Выходит, Пакулину двадцать шесть.

Выброшенный пейзаж, принесенный сообразительным водопроводчиком, помечен 1946 годом,— до его роковых пятидесяти оставалось чуть больше четырех лет.

Маленькая, худенькая подвижная старушка расхаживает по большой комнате-мастерской, курит одну за другой папиросы. Говорит полушепотом, то и дело удивленно округляя глаза. Это Герда Михайловна Неменова, имя которой зафиксировано на третьей выставке «Круга».

Я все время напрягаю слух, боюсь пропустить каждое слово. Имена, которые она называет, приводят меня в трепет. За ее плечами Париж двадцатых, год и три месяца жизни во Франции с советским паспортом. Знакомство и даже покровительство П. Пикассо, М. Ларионова и Н. Гончаровой.

Есть и свидетельница этого времени, тоже путешествовавшая во Францию, ее вещь — знаменитая «Балерина». Я не могу оторвать взгляда от этой картины, чем-то напоминающей прекрасные холсты Сутина, которые мне удавалось видеть в разных музеях мира.

...Кто она, стареющая «мадама» в спущенных чулках, рыжеволосая, напомаженная, в зеленой балетной пачке?! И почему у нее, явно чокнутой, такие усталые красные натруженные руки? Я еще не решаюсь спросить, но Герда Михайловна, видимо, улавливает желание, сама поворачивается к работе.

— Натурщицей была Полина Берштейн, парикмахер. Как-то я подошла к ней и спросила: «Нет ли у вас голубой пачки?» — «Есть,— говорит.— Только зеленая. Я ведь училась танцевать вместе с Лилей Брик». И надела. Я только попросила ее: «Оставьте чулки». Она с удовольствием позировала, но, кажется, я разбила ей жизнь. Однажды Полина сказала: «Можно, картину поглядит мой знакомый?» Я разрешила. Пришел тихий, невысокий, в черном костюме. «Похоже?» — спросила я. «Очень»,— сказал он. И исчез навсегда.

Герда Михайловна вдруг сказала:

— Я не экспрессионист, как Дикс или Гросс. Я их увидела, когда здесь была выставка, но я чувствовала: нужно писать не как немцы. У немцев есть обязательная литературная концепция, а нужно искать концепцию живописную. Я выбрала натурщицу и поместила ее в живописную среду...

Окно-плафон комнаты-мастерской распахнуто настеж, вижу далеко уходящую перспективу Большого проспекта Петроградской, открывшегося мне впервые с высоты старинного дома, а сам хочу, но отчего-то еще не решаюсь спросить художницу о «Круге».

Но и то, что она рассказывает, бесконечно интересно, может, она единственный человек в моей жизни, который близко знал таких великанов.

— «Осенний салон» в Париже,— объясняет она,— это сотни художников. Скорее всего тебя не заметят. Но это нельзя, нужно, чтобы заметили, чтобы ты не пропала. На «блошином рынке» нашла раму с красным петухом, точь-в-точь к «Балерине». И так ее выставила. Ларионов взглянул и сказал: «Это живопись! Поздравляю!» А Маршан удивился: «Это вы написали? Вам нужна публика». Люди подходили к картине, читали «Неменоко». Картина получила резонанс, пресса писала: «Сумасшедше, но талантливо!»

Я все же позволил себе вторгнуться в рассказ:

— А «Круг»? Вы же выставлялись с «круговцами» в двадцать девятом, на третьей выставке?..

— «Круговкой» себя не считаю,— с гневной интонацией говорит Герда Михайловна.— Это либералы! Да, да, умеренные, не имеющие живописной идеи. Мне были значительно ближе Татлин и татлинцы, Малевич, Филонов и филоновцы, а не сомнительная круговская половинчатость.

Я теряюсь, но все же у меня в руках каталог выставки, где имя Неменовой стоит в общем списке.

— Ну и что? — охлаждает мой пыл Герда Михайловна.— Действительно, выставлялась с «Кругом». Сама напросилась. Но затем поругалась и вышла. Выставиться одной было попросту невозможно, требовалось чье-то объединение, «шапка», крыша, под которой могло появиться имя...

Кажется, она не замечает, как гаснут ее папиросы, как она, не кончая одной, уже закуривает другую.

— Они молились на французов, а у меня не было святого. В Париже вообще никого...— Она снова обрушивается на меня: — Но разве вы сами не видите, как они были неплодотворны?!

В словах Герды Михайловны чудится недоговоренность, что-то еще невысказанное. И вдруг она произносит:

— В Париже Ларионов очень просил мою «Балерину», я сделала для него акварель... А ваши хваленые «круговцы», они загнули мой холст!

— Загнули?

— Да, отвергли лучшую работу!

И тут я понимаю, что в Неменовой не угасла обида, произошедшая в пылу взаимных непризнаний. Она, восьмидесятилетний человек, за спиной которого скопился ворох еще более тягостных несправедливостей, все же подавить в себе то давнее, нанесенное товарищами, не сумела.

— Разве никого из «круговцев» вы так и не признавали?

Герда Михайловна смотрит на меня с удивлением.

— Не признавала?! Но там были талантливейшие художники, как я могла их не признавать?! С некоторыми я училась у Карева, кое-кого узнала позднее...

Она качает головой.

— Один «Противогаз» Осолодкова что стоит?! А Русаков?! А Емельянов, какой это был живописец?! А Калужнин?!

Я сразу же забываю обо всем.

— Вы помните Калужнина?

— Прекрасный мастер! Он приехал из Москвы, тихий, углубленный человек, ходил в бархатной толстовке, с вьющейся шевелюрой, этакий баловень судьбы... Он примкнул к обществу «Круг», как и я...

— А работы? — спрашиваю Герду Михайловну.— Где могли бы находиться его работы?..

Она затягивается сигаретой, думает.

— Калужнин исчез в тридцатые, тогда это было обычно. Вот Емельянова арестовали, он погиб там, а Калужнин? Нет, не знаю.

На обсуждениях выставок в ЛОСХе я часто встречал старого человека с маленькой головкой и куриным носиком-клювом. Его фамилии была Тусклый, странная фамилия, ничего не скажешь, скорее псевдоним, выбранный для того, чтобы оттенить собственный скепсис. Тусклый говорил мало, вероятно, все было сказано им давно, лет эдак полсотни назад, теперь к сказанному нечего было прибавить. «Ну, этот наверняка знал Калужнина»,— подумал я, набирая номер его телефона.

— Калужнин? — переспросил Тусклый.— Помню. Но ведь он не был членом Союза. Малопродуктивный художник. Думаю, его творчество особой ценности не представляло.— Он терпеливо выслушал мои очередные вопросы.— Где вам искать картины? Мы все возвращали. Это, если хотите, было непрофессионально.

— Но у Филонова вы тоже не брали? И по той же причине...

Тусклый вздохнул.

— Я, уважаемый, не люблю провокационных вопросов. Мы с вами, к сожалению, не знакомы. Будьте здоровы!

Трубка коротко запищала. Меня охватило уныние и безнадежность...

И все же остановиться, прекратить расспросы я не мог. Разве исчерпаны возможности? Нет, о конце говорить рано.

Продолжать решил с Литейного, шестнадцать, с того зеленого дома, в котором жил когда-то художник.

Правда, милиционер предупреждал, дом был на капитальном, но все же, все же... Захотелось постоять перед дверью, за которой когда-то жил Василий Павлович Калужнин.

Все здесь было уже другим. Раньше двери старого Петербурга не ставились из прессованного картона, это были мощные дубовые двери, выбить которые казалось попросту невозможно. Нынешние, плоские, без элементарной фаски, красились едким коричневым цветом, а под звонками читались фамилии квартирантов.

Дворник, молодая женщина в джинсах, собирала в совок окурки.

Одна каменная ступенька на лестнице была выломана напрочь. Я перешагнул провал. Под ногой зияло дупло, как рана.

— Нужно было здорово поработать, чтобы выковырить такое! — сказал я.

— Танцуют,— объяснила дворник.

— В парадной?

— Клуба еще не дали.

Я поднялся на пятый, постоял около калужнинской двери и, не зная, что дальше делать, стал неторопливо спускаться. Было слышно, как шаркает метлой дворник, загоняя в провал мусор.

На третьем этаже дверь неожиданно распахнулась. Вышла женщина в сером пальто и в шляпе. За ее спиной стояла старушка,— я невольно посторонился.

Еще секунда и старушка закрыла бы двери.

— Простите,— опередил я.— Вы давно здесь живете? — Я заставил взглинуть на себя женщин.

— С тридцатых,— сказала старушка, приветливо улыбнувшись.

— Не помните ли, этажом выше, в квартире шесть жил художник?

— Василий Палыч Калужнин?! — сразу кивнула старушка.— Мы рядом квартировали в блокаду. Я-то здесь после капремонта.

— Пойду, мама,— перебила дочь. У нее были свои заботы.

Мы так и остались у распахнутой двери. Старушка глядела на меня с любопытством, вроде не аферист, человек приличный.

— А вы ему кто? Василий Палыч был одинокий, знакомые вроде случались, но родных...

— Нет, я его не знал, никогда не видел. Ищу тех, кто его помнит. Говорят, он был прекрасный художник.

Удивление вспыхнуло в глазах старушки, этого было нельзя не заметить.

— «Прекрасные» так не жили,— сказала она.— Калужнин был нищим.

— Как раз «прекрасные» плохо жили,— возразил я.— Вот плохие жили прекрасно.

— Вы шутник,— улыбнулась старушка, оценив юмор.

Комната, в которую мы вошли, оказалась просторной и светлой. И хотя Василий Павлович жил этажом выше, и понимал: квартира — зеркальное отражение той, сверху.

Я огляделся. Низкая мебель в комнате с высокими потолками казалась здесь неуместной. Единственно, что, вероятно, не изменилось — окна. Именно через такое и смотрел на Литейный Калужнин.

— Что вам рассказать, даже не знаю,— задумалась старушка.— Тихий был, молчаливый, ни с кем не общался, не варил на кухне, в комнате держал керосинку и примус. Что достанет, то и погреет.

Я внезапно подумал: не жена ли это часовщика, о которой сосед рассказывал милиционеру? Вряд ли. За пять лет все же можно увидеть человека, если он живет рядом.

— ...Дверь Калужнина находилась у входа,— вспоминала старушка.— Бывало, выскользнет из квартиры, никто его и не видел.

— А в блокаду?..

Старушка всплеснула руками, не дав мне закончить фразу.

— Ой, натерпелись! А ваш даже не знаю, как выжил! В начале сорок второго, когда мы с дочерью уезжали, он стал совсем доходягой. Живой труп, вот каким его помню.

— Не погиб, слава Богу. Вы тоже перенесли голод?

Подобие гордой улыбки мелькнуло в ее взгляде.

— Мы — другое дело!

И объяснила:

— Муж у меня был замечательный часовой мастер, как говорят, с золотыми руками, работал в Павел Буре. Заработок был приличный. Я даже покупала мясо. Не очень много, но полкило доставала. А вот Калужнин — и сейчас не пойму, чем питался...— И призналась: — Я с довойны припрятала кофе. Люди-то знали: война скоро начнется. Я и решила купить. И, выходит, не просчиталась. Однажды даже Василия Павловича угостила. Встретила в коридоре, он так жалко глядел, что я предложила чашку. Помню, взял, а руки в язвах. Я так испугалась, еще заразит дочку.

Помолчали.

Нет, ее запасливостью я удивлен не был. В блокаду случались дела похлеще. Встречались сытые управдомы, распоряжавшиеся пустыми квартирами в собственном — так и считали — доме, дворники, обиравшие мертвых.

Но в ту секунду мне показалось, я чувствую муку Калужнина, его боль, предощущение унизительной голодной смерти.

Она говорила и говорила. Это были приключения ее защищенной жизни, которые для меня значения не имели.

Я спросил о картинах: не слышала ли, куда все могло деться? Нет, она ничего не знала.

— Вынесли на чердак, наверное, и с концами,— сказала вполне простодушно.— Кому нужно, раз у хозяина все валялось.— И вдруг заключила: — Вот в соседнем доме художник! Гладкий, сытый! И машина. И дача. А Василий Палыч — голь перекатная. Зря вы, мне кажется, взялись.

Из кухни потянуло мясом.

— Ой! — унюхала она.— Щи выкипают! Запамятовала в разговоре! Извините!

И, торопясь, проводила до двери.

Странное чувство охватило меня. Будто бы я — Калужнин. Стою около собственной квартиры и нюхаю, нюхаю мясной запах!

Меня резко качнуло, я ударился спиной о перила.

Пошел вниз — мясной дух словно бы гнался следом. В глазах зарябило. Пол, ступени медленно плыли под ногами.

На улице светило солнце. Веселые люди шли по проспекту. Наверное, каждый из них что-нибудь знал про блокаду, но это было в их другой жизни, в другую эпоху...

С Литейного повернул на Лаврова. Почему-то казалось, что именно этот путь был для Василия Павловича любимым.

Выходит из дома, сворачивает на бульвар прежней Фурштадтской, потом Таврический сад, немного Потемкинской. И обратно — по Кирочной на Литейный. Квадрат архитектурного совершенства,— что еще художнику нужно?!

В начале сорок второго Фаустов вернулся с фронта в холодный, оголодавший, измученный город. Как объявлялось в приказе: от писателей ждали литературной работы.

Жил он тогда почти на Невском. Приходил в стылую комнату с железной печкой-буржуйкой и писал статьи о войне, о неминуемой нашей победе. Дров не было, в ведре не оставалось воды, значит, нужно было теплее одеваться и идти на Неву.

Фаустов спускался с саночками во двор и направлялся в сторону Невского. До войны он по утрам пробегал расстояние до Невы и обратно без передышки, это было легкое счастье утренней разминки. Теперь он чувствовал себя стариком, он преодолевал трудные метры, как преодолевает альпинист свой недлинный путь вверх. Расстояние словно разрасталось, сто тысяч верст сделалось до Невы.

Фаустов катил саночки, а сам вглядывался в серовато-зеленый, защитный цвет Адмиралтейского шпиля. Еще недавно шпиль сверкал золотом, лучился на солнце, а теперь этот огонь потух, растворился в блокадном мареве.

Ведро позвякивало на ухабах, а то и скатывалось на дорогу, ударяя Фаустова по валенкам, точно обгоняя его.

На высоких взгорках Фаустов бросал веревку и отступал в сторону. Санки сами бежали вниз, и эти короткие секунды были для него отдыхом.

А вокруг творилась фантасмагория! Он хотел бы не думать о еде, но еда сама лезла в глаза, кричала большими довоенными буквами с многочисленных вывесок: «Хлеб», «Пиво», «Мясо»...

«Обман, иллюзия,— говорил он себе.— Давно ничего этого нет в жизни...»

Он неожиданно придумал строчку стихотворения и даже обрадовался.

— Сочинитель,— подразнил он себя, вкладывая, возможно, больше иронии в это старинное слово.

Ритм, не совсем четкий, идущий откуда-то издалека, завладевал Фаустовым постепенно, превращался в пульсацию-стук в висках. Слова повторялись и повторялись:

«Пиво», «Масло», «Булки».

И снова, как наваждение:

Вывески лезут:
«Масло», «Булки», «Пиво».

И тут же вопрос, удивление:

Как будто на свете есть булка?!

Где-то далеко на слове «булка» разорвался снаряд, поставил точку к его сочинительству. Фаустов остановился, поглядел вперед, разрушений не было. Но и страха он не испытал. Фактически он уже ничего не боялся, кроме голода. Голод мучил его все время, голод казался неутолимым.

На перекрестке топтался человек. Издалека Фаустов решил: человек танцует. Только танец был странным. Человек словно бы отбегал в сторону, застывал на секунду и бежал вперед, на прежнее место.

«Милиционер? — решил Фаустов.— Или оголодавший сумасшедший».

Он прошел несколько метров и увидел мольберт: на улице работал Художник.

— Идет война,— вслух подумал Фаустов,— вокруг умирают с голоду, а искусство живет... Этот пишет город... Я что-то бормочу, складываю в строки... Выходит, есть нечто посильнее смерти...

Фаустов поздоровался с Художником, перевернул ведро и присел передохнуть и поглядеть чужую работу.

На холсте был *Город*, их город — Художника и Фаустова,— с наметенными сугробами, с заваленными снегом трамваями, с пустыми глазницами окон, с надолбами и мешками с песком. Это был город удивительной красоты, и у Фаустова сжалось от боли и тоски сердце.

Теперь Фаустов видел Невский чужими глазами. Тяжелый ледяной туман пронизал пространство, возник некий коктейль из молока и дыма, страшная смесь, которую далеко впереди словно бы протыкал штык Адмиралтейства. Но не тот золотой, довоенный, который Фаустов вспоминал в своих снах, а серо-зеленый, брезентовый, военное хаки.

Невский на холсте и Невский перед глазами были и подлинными, и различными. Художник имел свое особое зрение. Жемчужный иней лежал на стенах домов, ниспадал светло-серебряными полосами, образуя ритм, в котором серое слегка тускнело, а белое искрилось, точно бенгальские блестки на новогоднем балу, но все это Фаустов понял только тогда, когда, оторвавшись от холста, он перевел взгляд на Невскую перспективу.

— Как же я сам не замечал этой невиданной, жгучей, сжимающей красоты? — пробормотал он.

Адмиралтейство на холсте почти исчезло, лишь легкая желтизна подчеркивала его существование.

Может, ледяной туман и был взят в долг у Марке, но все же главным учителем оставался голод. Да и какой Марке мог добрести до такого страдания?!

Дорога была заметена снегом, заиндевела, дома, дуги трамваев вылезали из сугробов, безлюдье, опустевший мир многомиллионной столицы, все это стонало, взывало скупыми глазницами окон. Какой сумасшедший маляр мог создать эту невероятную декорацию сказочного театра?! Только *война*.

Художник даже не посмотрел на Фаустова. Он работал. И Фаустову показалось, что художник обмакивает кисть не в краску, а в жемчужный серебристо-тусклый воздух.

— Живопись может то, чего не может ни одно другое искусство,— сказал Фаустов банальность, неумело пытаясь нарушить молчание. Но художник и тогда не ответил.

Метрах в пяти бугрилось обледеневшее тело. Художник не мог не видеть «сугроб», но на холсте его не было.

— А он прав,— наверное, вслух подумал Фаустов.— Нужна не смерть, нужна... боль.

Художник впервые слабо ему улыбнулся.

— Да,— кивнул он, переступив окоченевшими ногами.— Нужна боль.

И, прикоснувшись к воздуху кистью, уточнил:

— ...боль красоты.

На Неве Фаустов лег на лед, бросил ведро в прорубь. Металл жалобно звякнул, прорезал воду и легко погрузился в бездну. Ведро сделалось невесомым, но Фаустов знал: это обман, самое трудное дальше...

Он уперся локтем в ледяной край и потащил ведро. Видимо, он потерял слишком много сил за последние две-три недели, так как ведро не поддавалось, сделалось непослушным.

Он разогнул руку и несколько секунд пролежал на льду, отдыхая. Предстояла еще попытка.

Кулак заледенел. Руку ломило. Конечно, был бы у него дома хлеб, сил бы хватило.

Он опять вытянул ведро до половины. Бросить было нельзя, другого ведра не достанешь, но и вытащить он не мог.

И тут чья-то голова уперлась макушкой в его шапку. Затем синеватая, будто просвечивающая, обескровленная ладошка прихватила дужку, дернула вверх, плеснула и помогла поставить ведро на лед. На него с осуждением глядел изможденный мальчик, нет, старик, нет, мальчик с мучным лицом и зелеными, как у кошки, глазами.

— Спасибо,— пробормотал Фаустов, но мальчик уже лежал на льду, водил небольшим бидоном по черной поверхности проруби. Он был осторожен, черпал чуть-чуть, приподнимался и сливал в емкий чайник.

Дома Фаустов достал топор, выковырял в коридоре пару паркетин. Соседи выехали. Никто ему не мешал в разрушительном деле. Паркета могло хватить еще на неделю-другую, если быть экономным.

Весело трещала буржуйка, теперь можно было вскипятить чай.

Пока грелась вода, Фаустов снял с полки непроливайку с замерзающими чернилами, поставил ее рядом с чайником. Лед таял, блестящий фиолетовый пузырек медленно надувался.

Фаустов проткнул пузырек металлическим пером, попробовал качество чернил на ладони и приписал к тем двум строчкам еще одну:

Мальчик с зеленым лицом, как кошка.

В начале шестидесятых каждое лето мы снимали комнату в Комарове под Ленинградом, и я ежедневно являлся к Фаустову в гости на дачу.

После тяжелого инфаркта старик не мог начать писать, сидел тоскливый и безразличный, слова, складывающиеся недавно как бы сами собой в целые периоды, теперь словно бы покинули его.

Часами Фаустов тупо глядел на белый нетронутый лист. И вдруг написал фразу, еще фразу, страницу...

Это был роман, который в дальнейшем он считал лучшей своей вещью. Жанр — философская фантастика.

Главная героиня — девушка-книга, то есть и девушка и книга одновременно, названная в своем человеческом воплощении Офелией.

Впрочем, тому, кто знал Фаустова, жанр не показался бы странным, литература была его жизнью, формой существования, вне литературы Фаустова просто не было.

Роман двигался стремительно. Офелия превращалась в книгу, затем снова обретала человеческий облик, становилась прекрасной женщиной, но и тогда в своей загадочности она не теряла прелестной таинственности и мудрости.

Тайна творчества всегда поражала меня. Из ничего возникало нечто: мир, дом, материя. Только что была пустота, зияние, ноль, и вот уже мчится перо Фаустова по белому листу бумаги и тут же рождается лик, образ, ровные линии букв обретают значение живой и конкретной жизни.

Но не только рождение живого было привилегией Фаустова, у него оставались свои счеты со временем. Садясь за стол, он обретал свободу, и тогда из истории мог вызвать любой отрезок человеческого бытия.

Направляясь к Фаустову, и каждый раз не представлял, что меня ждет, о какой эпохе расскажут новые, только что написанные страницы...

На дачу я входил не со стороны парадного входа, а с веранды. Поднимался на ступеньки и с них заглядывал в окно кабинета.

Старик сидел за столом и, склонив голову к плечу, словно прижимая невидимую телефонную трубку, писал. Его левый глаз был широко раскрыт, правый — прищурен. Казалось, он пишет под диктовку, подслушивает чьи-то неведомые голоса, ему одному понятную речь.

Иногда перо Фаустова замирало. Но остановившись на полпути, оно тут же бежало дальше, тыкаясь острием или подпрыгивая. В эти моменты на его лице вспыхивали то улыбка, то удивление, то радость.

Моя тень на крыльце начинала застилать свет — и без того не очень яркий — в небольшой дачной комнатке-кабинете.

Фаустов неохотно поднимал голову.

Он не сердился. Бросал ручку и шел ко мне. Казалось, он даже рад, что его прервали, отвлекли от дела.

— Как вы кстати! — кричал он в закрытое окно и для ясности протягивал в мою сторону руки.— А я хотел посоветоваться, спросить, у меня возникла мысль, мне нужно понять, как вы, молодые люди, отнесетесь к такому?!

Я напрягался. Какой экзамен ждал меня в этот раз?!

— Ответьте сейчас же! — наступал Фаустов.— Кто реальнее: Дон Кихот или некто Иван Иванович, живший в то же самое время? Евгений Онегин или коллежский советник Тютькин? Булгаковский Мастер или Павел Васильевич из соседнего дома?! — и Фаустов поворачивался в сторону высокой крыши.

— Давайте сходим к Павлу Васильевичу и убедимся, что он реален,— предлагал я.

Фаустов возмущался.

— Попробуйте сказать хоть одно вразумительное слово об этом «реальном»?! А булгаковский Мастер? А Евгений Онегин?! Вы знаете о них все. Они — ваш опыт, духовный багаж, культура! — Он наступал, шел в атаку.— Реален *миф*! Миф! Мне совершенно не важно, жил ли Евгений Онегин, но я в него верю, как верю в Дон Кихота, в Воланда и в Маргариту.

Я не спорил, спор мог только закрыть фонтан его неожиданных мыслей, разрушить беседу. Такое уже случалось — я стал осторожным.

— Даша! — кричал он жене, переходя к большому столу на веранде.— Нам бы поговорить! Нам бы чаю!..

После чая Фаустов читал роман, новые страницы. Поражал ритм, стремительно текущая, меняющая русло многозвучная фраза, словно бы забирающая тебя в смысловой омут.

После чтения мы шли гулять. Сначала к комаровскому кладбищу, потом, если хватало у него сил, направлялись к Щучьему озеру.

В тот день больше говорил я, а Фаустов молчал и, как мне казалось, слушал невнимательно, вполуха. Какое-то беспокойство мешало ему сосредоточиться на постороннем. И вдруг, оборвав меня на половине фразы, он спросил:

— А как вы думаете, куда все же делась икона?

Я не понял вопроса.

— Да, да,— подтвердил Фаустов.— Как могло исчезнуть то, что создавалось веками, величайшее мировое искусство?!

Следовало помолчать, но я не оценил серьезность и с ернической ухмылкой показал на трехэтажную дачу отставного профессора Пушкинского дома, скворца соцреализма.

— Может, у него спросить? Этот все знает.

Фаустов даже метнулся через дорогу.

— Откуда столько цинизма! — прокричал он.— Я о святом, а вы!..

Он шел мрачный. Я приуныл. Незаметно расстояние между нами сокращалось — Фаустов остывал. Мы снова оказались рядом.

— Кузьма Сергеич Петров-Водкин, вот кто для меня хранитель иконы. И в «Матери», и в «Девушке с Волги», и в портрете Ленина, если хотите. Уверяю вас, именно в том трагичном портрете, в провидце и в страстотерпце! А в «Анне Ахматовой»?! Разве портрет не оттуда?!

— Тогда и ученики, молодежь, «круговцы»: Пахомов и Самохвалов, Свиненко и Загоскин...

Он был в восторге.

— Конечно! — И вдруг сказал будто бы по секрету: — Да она всюду, главное присмотреться. Разве в Достоевском или Платонове ее нету?

И Фаустов поднес к губам палец. Это был знак, просьба, наше с ним знание и наша тайна...

В телефонной книжке я пересмотрел фамилии знакомых художников, всех ли и расспросил о Калужнине?

Одному, вроде, еще не звонил, не интересовался — Сергею Ивановичу Осипову.

Голос у Сергея Ивановича глухой, хрипловатый, разговор медлительный, паузы длинные. От фразы до фразы, кажется, проходит немалое время. Незнающему Сергея Ивановича легко может показаться, что Осипов обижен, отвечает неохотно, капризничает. К его манере говорить нужно привыкнуть, стараться не перебить, не влезть со своими подробностями в неторопливую речь, постараться понять: обдумывает этот человек каждое свое слово.

— Калужнина?

Пауза.

— Знал.

Пауза.

— Как не знать? Хороший был художник! О-очень!

Пауза.

Мне слышится в этом растянутом «о-о-чень» масштаб Калужнина как живописца.

И снова:

— О-о-о-ч-чень хороший.

Жду, когда Сергей Иванович перестанет кашлять, но он еще сильнее заходится.

— Работ видел не много,— успевает сказать Осипов в мгновение затишья.— Показывать он свою живопись не любил, да и показывать лишку тогда было страшновато.

И опять пауза. Остановка. Кашель.

— Страшновато? В каком смысле? Формальные вещи?

Некое дребезжание усилилось в трубке, он, кажется, рассмеялся.

— Тогда все считалось формальным, даже импрессионисты. Их, бедных, сволокли в запасник, чтобы нашего зрителя не развращали. А уж ежели ты сам что-нибудь, не дай-то Бог!..

Яснее мне так и не стало.

— Сергей Иванович,— я взмолился.— Что вы о Калужнине помните? На что он жил? Где работал? С кем был дружен? Как так получилось, что его никто не знает. Мне все, все важно!

В этот раз пауза оказалась еще более долгой.

— Погоди,— буркнул наконец он.— Соображаю.

И опять затих.

— Кажется, в блокаду Калужнин работал в среднем художественном. На Таврической. Там расспроси.
— Но после блокады?..
— Не знаю. Может, нигде не работал.
— Но как же тогда жил?
Мои вопросы его слегка раздражали.
— Да как мы все жили?! Или ешь, или оставайся художником, вот и весь выбор.
Вроде бы Сергей Иванович закончил, но отпустить Осипова я не мог. Сколько не спросил! О чем не разведал!
Я выпаливал все залпом: на кого Калужнин был похож как художник, в какой манере работал, график он или живописец, а может, и то, и другое?
— Трудно сказать, на кого похож...— вяло сказал Осипов. И опять замолчал.
Пришлось крикнуть: «Алло!»
— Да я здесь,— буркнул Осипов.— Ишь какой шустрый.
Я ходил по комнате, держа телефонную трубку, в этот раз дав себе слово не мешать, дождаться.
— На Чекрыгина если... Ты Чекрыгина представляешь?
— На Чекрыгина?! — я поразился.
Чекрыгин был уникумом, юным гением, успевшим в свои двадцать пять лет — до трагической гибели — создать сотни работ, так и не имеющих аналогов в русском искусстве. Его сравнивали то с Гойей, то с Врубелем, но он был самим собой, неповторимым мистиком.
Кстати, в собрании Фаустова был уголь Чекрыгина, этакий сонм теней, плывущие, растекающиеся фигуры, размытые позы, движения, жесты...
Неужели и Калужнин художник *такого* плана?! Но тогда не знает ли Сергей Иванович, не может ли он подсказать хотя бы *путь*, по которому мне стоило искать живопись дальше? Да, среднее художественное училище, это я записал. А еще? Еще?
Эту последнюю фразу, прерываемую чирканьем спичек, я выдержал тоже.
— Ты с Владимиром Васильевичем Калининым был как?
— О таком не слыхал даже.
— В Мухинском работал. Директорствовал над студенческим музеем. Вот они очень дружили. Туда и наведайся. Владимир Васильевич наверняка многое знал, кому и знать еще, если не ему.
— Значит, идти в Мухинское, к Калинину?
— Он давно помер,— уточнил Осипов.— Но там есть люди, они, может, что-то расскажут.
Я был огорчен.
— А семья у Калинина?
— С семьей у него не ладилось, плохо было с семьей,— объяснил Осипов.— Жил, помню, Калинин у себя в мастерской в последние годы, домой не ходил.— И вдруг словно бы сообразил важное: — Ты поищи Геру Осокина, лаборанта, у них с Калининым была общая мастерская.
Напуганный смертью Калинина, и на всякий случай уточнил:
— Осокину сколько лет?
— Тогда он еще молодой был, да и теперь не старый. Тут ведь на что надежда: если Калинин был с Калужниным близок, то и Осокин о нем наверняка знал. Ищи и звони.
Следовало сразу сходить в Союз, выяснить адрес Осокина, но я отчего-то медлил, каждого заедает текучка.
Впрочем, трудности мы частенько придумываем себе сами. Однажды утром я снял телефонную трубку и набрал справочную.
Еще не усталый, утренний женский голос переспросил:
— Осокин? Герман? А где живет?
Ответить, естественно, я не мог, но и в этом меня не устыдили:
— Попробуйте на Мориса Тореза.— И продиктовали номер.
Я набрал.
Возникший баритон не удивился звонку, точно ждал меня все это время.
— Калужнин? Как же не знать Василия Павловича, отлично помню! А его мольберт и теперь у меня...— И вдруг без обиняков: — Хотите, в ближайшие дни съездим ко мне в мастерскую? Я сам давненько там не был, работать стал дома. Найду вам кое-что калужнинское.
Я переспросил:
— В каком смысле «найдете»?
— Масла нет,— объяснил Осокин.— Но несколько листов графики, уголь, сангина случайно осталось. Если интересно, подарю, забирайте с Богом.
Вот уж чего я не ожидал совершенно! У меня перехватило дух. Я забормотал слова благодарности.
— А что вы скажете о работах?

— У меня в мастерской, пожалуй, случайные его вещи.— И признался: — Мы ведь тогда ничегошеньки в живописи не понимали, не мог я Калужнина оценить. Калинин, тот был от Калужнина в восторге! Высоко его ставил! — Он будто бы чуть-чуть усомнился, сказал: — Да вы его поглядите, свои-то глаза вернее!

В понедельник, как договорились, я заехал за Германом Михайловичем на Мориса Тореза и мы, остановив такси, направились в его мастерскую, куда, как оказалось, не раз приходил и Василий Павлович Калужнин.
Сидел Герман Михайлович впереди, рядом с шофером, и, когда поворачивался, видел я его широкоскулое лицо, серебристую шевелюру.
Выглядел он моложаво, вначале я дал ему чуть за сорок, но прибавила лет походка. Осокин приваливался на одну ногу, шел тяжело, угадывался протез. Фронтовику меньше шестидесяти уже быть не может.
Вышли из такси на Зелениной, двинулись под арку в старый питерский двор, начали восхождение по черной и трудной лестнице. Знакомая ситуация, мансарды художников под самым небом!
Восьмой этаж — Монблан для Осокина, впрочем, отдыхать Герман Михайлович не собирался.
Долго возились с ключами. Старинные запоры словно бы испытывали наше терпение. Наконец, замок поддается, щелкает. Входим.
Давно, явно давно здесь не бывал хозяин! Воздух густой, нагретый, словно бы пылью дышишь, хочется бежать к окну, распахнуть, хватить ветерка.
В углу — старинный мольберт, под ним — ящик с засохшими красками, правее зеркальный шкаф, тоже старинный, красного дерева, сейчас, думаю, дорогой, а лет двадцать назад из тех, что несли на помойки, оставляли у сиротливых баков с мусором.
По всем стенам работы Осокина — масло, вполне добротные холсты.
— Мольберт Калужнина,— показывал Герман Михайлович, перехватывая мой взгляд.
Я подхожу ближе, провожу рукой по полированной поверхности — приятное прохладное прикосновение,— словно бы здороваюсь с неведомым мастером. Поднимаю засохшую кисть, щупаю ее негнущуюся щетинку, перебираю тюбики с краской: все сухое, неработающее, но *его*.
Герман Михайлович тяжело садится на пол у зеркального шкафа, пристраивает поудобнее ногу, начинает выдвигать ящики, проглядывая кипы старых журналов, вырезки из «Огонька» с портретами Сталина, репродукции давно забытых картин («огоньковская» кладовая!), торжественные лики вождей тех лет, давно лежащие невостребованными в кладовых различных музеев.
Осокин то и дело поднимает журнал, трясет над полом, а когда вылетает лист, настораживается, но быстро произносит:
— Нет, не Калужнин!
Я испытываю очередное разочарование. А он снова бросается в поиск.
— ...В те времена я занимался благотворительностью,— рассказывал Осокин,— собирал экспозицию для музея на родине, в Козьмодемьянске,— отправлял туда графику ленинградских художников. Владимир Васильевич и предложил мне послать несколько вещей Калужнина. Лучше, говорил, ему быть в музее Козьмодемьянска, чем в ленинградском чулане. Я принялся тогда развязывать папки, а не могу, крепко кто-то узлы затянул. Резать? Нет, не решился. Это потом снова завязывать! Стал вытрясать. Несколько листов выпало, но не такие, чтобы мне по душе, я их и сунул в шкаф. Масло было в рулонах. И все же несколько холстов еще оставалось на подрамниках.
— Плохие? — с ужасом спросил я.
Огорчать, видимо, меня ему не хотелось.
— Да как сказать... Все у Калужнина словно бы не закончено, странно писал Василий Павлович, это ведь по тому разумению я говорю, теперь, возможно, я бы и не так думал. Два «масла» я все же отправил на родину, выбрал.
Мгновенно мелькнула мысль: съездить! И сразу другое, остужающее: да сохранились ли там работы Калужнина? Может, выбросили? Есть логика: раз подарок, то какая ему цена? Хорошее дарить не станут, для хорошего есть Русский музей или Третьяковка.
Я все же спросил:
— Думаете, Калужнин и теперь в экспозиции Козьмодемьянска?
Он пожал плечами. Вздохнул.
— А может, и в запаснике их давно нет.
Осокин снова трясет «Огоньки», перебирает пачки журналов, поднимает пыль в мастерской, откладывает просмотренное в сторону. Кажется, не судьба мне увидеть желаемое, не судьба! В шкафу меньше нетронутого, чем там, в стопе ненужных бумаг у шкафа.

Пытаюсь не вздыхать, не раздражать хозяина. Герман Михайлович меняет положение, устраивается чуток поудобнее, вытаскивает новую кипу листов. Я невольно гляжу на мольберт. Смешно признаться, но я призываю Василия Павловича на помощь. Ему, как и мне, нужен результат.

— Найдем! — уверенно говорит Осокин.— Где-то должно быть!

И, чтобы отвлечь меня от навязчивой мысли, начинает рассказывать:

— ...В двадцатые годы у Калужнина, говорили, был огромный круг знакомых, его тогда высоко ставили. Калинин как-то рассказывал, что среди друзей был Есенин, не раз приходил к Василию Павловичу.

Имя Есенина меня действительно поражает, и прошу его вспомнить подробности.

— Такую слыхал историю, не знаю, правда она или нет, будто друг Есенина — Эрлих — пришел к Василию Павловичу ночевать. А Василия Павловича дома не было, он в Москву частенько уезжал, к родственникам, а ключ в таких случаях прятал под коврик, на лестнице, кто хотел, тот и шел, открытый был дом, богема.

Осокин откладывает чей-то рисунок, дает мне понять, что опять не то, продолжает:

— Шел Эрлих к Калужнину из «Астории», где они с Есениным были, открыл, значит, ключом дверь, лег спать, а утром решил побриться в ванной. Надел пиджак перед зеркалом, видит: записка торчит из клапана. Рассматривает — понять не может. Чем-то слова накорябаны красным... А там знаменитое: «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей». Эрлих побежал в ужасе в «Асторию», а там милиция, не пускают к Сергею Александровичу. Опоздал друг.

Осокин замолкает, опять углубляется в поиск. И опять — ничего.

— Василий Павлович долго считал, что если бы он в Москву не уехал, не случилось бы с Сергеем Александровичем такой беды. Легенда, конечно, но ведь кто знает, где она, правда...

Я невольно гляжу на мольберт: Есенин, Эрлих? Кто еще?..

— Василия Павловича я только в шестидесятых узнал,— продолжает Герман Михайлович.— Бедный был человек, едва не нищий. Как-то так получилось, что в Союзе художников он не состоял, стажа не наработал. А раз такое случилось, то и с пенсией нелады. Ему было за семьдесят, когда выхлопотали какую-то мизерную. Очень нуждался старик, очень! А брать ни у кого не хотел, разве бумагу или акварельную краску, трудно ему было жить без работы. На бумагу и ту денег наскрести не мог. Да что на бумагу — на хлеб!

Я спросил, много ли наработал Василий Павлович, сколько картин оставалось после его смерти?

Осокин пожал плечами.

— Да кто их считал?! Калинин рассказывал, что комната на Литейном была завалена холстами, «калужнинские айсберги»,— вот как он говорил. Боялся, что кто-то спалит в одночасье, музеям предлагал. А те не берут, спрашивают: «Художник был членом Союза?» — «Нет». И их интерес гаснул.

Герман Михайлович поймал на лету конверт, отложил в сторону, обнадеживающе улыбнулся, дал понять, что находка уже рядом. Видимо, конверт был приметой.

— ...Раз брать не хотели, Калинин и отвез калужнинское наследие к себе, в «Муху», сложил в простенке музея. Я бывал у него, видел: ящики с живописью громоздятся чуть ли не до потолка, так они и пролежали до смерти Владимира Васильевича...— Он мысленно пересчитал годы.— Если Калужнин умер в шестьдесят седьмом, то Калинин в семьдесят шестом скончался, выходит, девять лет лежало у него наследие. При нем никто и не мог попытаться убрать картины или выкинуть, все случилось позже.

Осокин разглядывает новые журналы, дольше трисет страницы, кажется, вот-вот должно что-то выпасть. Нет, ничего...

— Лаборантку знакомую встретил,— словно отвлекает меня он.— Рассказывала: некий человек приезжал. Из Архангельска...

Я настораживаюсь.

— Из Архангельска?

— Искусствовед или из коллекционеров, возможно, он все и увез. Уборщицы будто бы злились, сколько хлама лежит, пыль накапливается, к дверям не подойти, а тут новый директор после Калинина — бо-ольшой чистюля, он и смотреть не стал живопись-то, не по музейному она профилю, ему поручили студенческим творчеством заниматься. Вот и потребовал от лаборантов: простенок освободить! Предоставить место уборщицам для тряпок и ведер!

Герман Михайлович переваливается на локоть, тянется за отлетевшим листом.

Я еще не соображаю, что случилось. Раздумываю, как связаться с Архангельском. Это явно проще, чем с Козьмодемьянском. Может, картины и теперь лежат там, в музее.

— Вот он, калужнинский уголь! — Возглас Осокина обрывает поток моих мыслей. Я оборачиваюсь. Герман Михайлович протягивает мне первый лист.

Еще лист отыскал Осокин, потом еще и еще. Три обнаженные, три грации, написанные сангиной на листах ватмана.

Одна словно бы не закончена, после карандаша работает резинка, выбирая лишнее, делая так, чтобы воображение продолжило линию, завершило образ.

«Нужно найти способ сделать обнаженную, как она есть. Нужно дать средства зрителю самому создать обнаженную, своими глазами».

Это сказал Пикассо, но я вспоминаю его фразу, рассматривая листы Калужнина.

...Странный эффект! Мастер улавливает только поворот головы, изгиб шеи, линию бедер, а тревожное чувственное волнение уже охватывает зрителя.

На другом листе склоненное тело, волосы перекинуты на лицо, сильный, загорелый, тугой торс,— обнаженная моет голову.

Калужнин работает и линией, и штрихом, и растушевкой, давая множество полутонов, добивается яркой живописности.

Я долго держу листы в руках, совершенно забываю о Германе Михайловиче Осокине, и что-то словно бы укалывает мою память.

Почему приходит такое давнее воспоминание,— опять война?!

Я мальчик двенадцати лет, но откуда это смятение, почти ужас?!

Женские веселые голоса проникают сквозь тонкую стенку, отделяющую санпропускник, иначе — баню, от светлого и большого предбанника.

Раненые распределены по эвакогоспиталям, отделения пусты, вот-вот должен подойти эшелон из-под Тихвина.

Мама договаривается в приемном покое, ведет меня в душ. Я получаю комочек зеленого мыла, мочалку и остаюсь, наконец, один.

Скидываю рубаху, трусы, несусь в душевую,— можно включить хоть пять рожков, обливаться из тазиков, я чувствую себя царем бани.

Шум воды, видимо, настолько снижает мою бдительность, что я не слышу приближающихся голосов. Я оборачиваюсь от прикосновения, от мягкой руки, легко ерошащей мои волосы.

Рядом, почти на уровне моих глаз,— широкие нежные бедра, а выше — грудь, молодое смеющееся лицо...

Я вижу то, что не должен видеть. Не имею права. И это очень красиво и больно, так больно, что я начинаю плакать.

Так и стою под сильной струей, у меня что-то просят, но я не понимаю. Вижу *все*. И плачу...

Бердяев в книге «Кризис искусства» сказал о натуре: «Обнаженное тело — античная вещь!»

Передо мной лежали шесть листов, вытряхнутых из папки, совершенно случайных, но и по ним было ясно, какой это мастер!

Почему он исчез? Зачем избрал схиму, отстранился от жизни? Какие страсти в себе подавлял?

Даже по рисункам можно понять, как нетрудно ему было бы сделать карьеру, чуть приспособиться.

Нет, остался отшельником, затворником, одиночкой.

Опять снимаю с полки каталог «Круга художников», перечитываю декларацию.

«Через картину к созданию стиля эпохи»,— это эпиграф и цель, задача всей жизни.

«Поскольку реалистическое мировоззрение наших дней иное, чем в предыдущие эпохи, постольку и реализм нового искусства не может не быть иным, определяя собой черты нового стиля».

Сейчас иногда трудно понять, в чем теоретики *тех* лет усматривали формализм, формальные поиски, формотворчество.

Впрочем, и тогда понимали не все, хотя то, что требовалось от искусства, было не алгеброй, не высшей математикой, а самым элементарным.

«Круговец» Самохвалов еще мог заявить на собрании ЛОСХа под стенограмму:

— Часто все то, что требует некоторого шевеления мозгами или попросту непривычное, крестится формализмом. Тут сказывается наша некультурность, даже нежелание профессионально расти, цепная привязанность к ранее добытым привычным формулировкам. Почему сонный пейзаж в духе Куинджи — не формализм, а содержательный пейзаж Карева — формализм?

Лидер «Круга» Пакулин так защищал собственные работы:

— Если бы сейчас на выставку представили произведения Врубеля, то я убежден, их бы поняли как неоконченные. Мне думается, что художник, ставя под произведением собственную подпись, может сказать, что оно закончено. Это совесть.

Удалось ли «круговцам» хотя бы приблизиться к своей мечте о «стиле эпохи»?

Скорее, наоборот. Шло общее отступление, и некоторые из группы ринулись назад, отрекаясь от собственных открытий и достижений, спешили «попасть в ногу», пристроиться к общей массе, а кое-кто из них и впрямь начинал верить, что найденное *тогда* было всего-навсего заблуждением.

Конечно, нужно было жить, но какой ценой давалось то «нужно»?

И в конце тридцатых, и в сороковые, и позднее некоторые бывшие «круговцы» пытались соответствовать новым требованиям. Случалось, кое-кто получал заказы, наиболее выгодными считались портреты вождя народов, гениального полководца. Но тут нельзя было даже подумать о какой-либо свободе. Любая вольность могла быть истолкована как издевательство, а следовательно — стоить художнику жизни.

Старый Фрумак рассказывал, как уставший от голода и неудач Пакулин нашел подмалевщика, ловкого копииста, который за полцены брался писать портреты Сталина. Лик Вождя — «гения всех времен и народов» — должен был соответствовать утвержденным стандартам, а это у серьезного художника не получалось.

Наступил час, когда подмалевщик явил портрет.

В торжественном молчании, с плохо скрываемой гордостью, он распаковал перед Пакулиным подмалевок. Вячеслав Владимирович с ужасом закрыл глаза. Портрет мало чем отличался от базарных картинок, сделанных трафаретом. Ах, каково было ему, ученику строгого Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, глядеть на «свой» труд, как было невыносимо все это видеть!

Оставалось — поставить внизу подпись, о которой он сам сказал — это совесть.

Пакулин метался. Не было сил сделать последний, пусть вынужденный шаг, потом получить деньги и забыть работу, как страшный сон.

— Подписывай! — подталкивал Пакулина подмалевщик.— Мне нужны деньги!

Пакулин взял кисть, подошел к портрету, и вдруг... по какому-то невольному внутреннему художественному велению, вместо подписи сделал несколько мазков на гладкой розовой щеке Вождя. Портрет ожил, появилась жутковатая ухмылка, подозрительность вспыхивала в желтоватом взгляде.

— Что ты наделал?! — заорал подмалевщик, хватаясь за голову.— Этого никто никогда не пропустит! Ты погубил работу!

Пакулин отвернулся к окну,— трудно было ему показывать бегущие слезы...

Опять бедность! Опять без средств! Опять голод!

Был яркий солнечный день, наполненный густыми осенними красками от пыльного и серо-зеленого до оранжевого и ярко-красного. Я шел на набережную Невы через Летний сад и на выходе неожиданно встретил Г. Это был старый знакомый, литератор, человек скептического ума, трезвомыслящий, как называли таких когда-то.

Оказалось, нам по пути. Брели по набережной и, не находя общей темы, как-то вяло перебрасывались фразами то о здоровье, то о предстоящей поездке: он, счастливчик, улетал в Китай. Заговорили и о работе, и я внезапно стал рассказывать о Калужнине, об исчезнувшем его архиве.

Вначале Г. слушал без особого интереса, скепсис не покидал его лица, губы кривились в ироничной улыбке, но неожиданно подлинный интерес стал вырисовываться в его хитрых и умных, как у булгаковского кота, глазах.

— Странно! — едва ли не возмутился он.— Ищете в Архангельске, но не потрудились толком расспросить здесь. А Мухинское, вы там были? Картины взял, скорее, родственник или ушлый коллекционер. Вряд ли такую шустрость проявил музейщик.

Пришлось согласиться. В конце концов, Мухинское от меня не ушло.

На перекрестке мы остановились, мне было направо, ему — дальше, вперед.

Г. нахлобучил кепку, коротким и хитрым взглядом пробежал по моему лицу.

— Совет на будущее позволите? — спросил он.

Я кивнул.

— Когда найдете картины,— а вы их найдете, помяните мое слово,— и станете писать книгу, не старайтесь заполнить все пустоты, не придумывайте небылиц, не фантазируйте, не обманывайте читателя. Недосказанность, открытая неизвестность для читателя много ценнее всех ваших предположений. Оставьте место для воображения. Ощущение неисчерпанности темы многого стоит. Только тогда ваш роман или повесть обретут перспективу...

Мне оставалось лишь усомниться, даже слегка пошутить с ироничным коллегой:

— Вы говорите так, будто все уже давным-давно в порядке. Может, сесть дома, сложить руки и ждать? Картины, архив все равно найдутся.

Он расхохотался.

— Вообще-то «горячо», вы близки именно к тому, о чем я думал. Тень растревожена. Ждите. Случай, уверен, сам вас отыщет.

Окончание следует

Майя БОРИСОВА

Обращение к памятнику

Вы — памятник.
Вам стать бы поспокойней...
Активных действий кончилась пора.
Вон короли
сидят себе по коням,
не скачут. Кроме разве что Петра.
Вас воплотили в бронзу, медь и камень,
сомнения оставив на потом,
веля бессрочно
помавать руками
и тыкать указующим перстом.
Но как умы наследников не пестуй,
а молодость во мнениях вольна.
На взгляд иных
упрямого имперства
от монументов катится волна.
Опять же ясно — рано или поздно
поймет и тот, кто нынче не дорос:
кепарь в горсти,
танцующая поза
убийственней, чем молот или трос.
Не маятник ли миллионнотонный
в часах, где смазка —
слезы, кровь и пот,
когда-то до отказа отведенный,
неотвратимо дал
обратный ход?
И если власти страшную науку
за столько лет пересмотрели Вы,
щадя живых,
ему подставьте руку,
металл и камень Вашей головы.

В местном музее четверть века назад

«Когда завоевала нас Москва...»
Интеллигентная экскурсоводка,
партийка и, конечно ж, патриотка,
зачем ты стала вдруг с лица темна?
Ну что тебе до призрачных и давних,
до тех междоусобиц феодальных,
чья роль сугубо отрицательна?
Тебе в рассветах точно, аккуратно
благовестят московские куранты,
откуда ж эта истовость в очах?
Как будто не кончаются дебаты,
и снова неподкупные набаты
отчаянно качаются в ночах.
Загадочен, коварен мир особый,
все эти — как их? —
гены, хромосомы...
Кто только разрешил их открывать?
А между тем все ясно и понятно.
Скорей прокомментируй экспонаты:
бочонок, меч, старинную кровать...
Опомнись и переиначь слова:
«Когда объединила нас Москва».
1965

◆◆◆

Шагать по ландышам,
как стадо гнать по клумбе,
как печь топить
балтийским янтарем.
Коньяк, теплом дыша,
хорош, когда пригублен.
Он — чтобы пить,
но не купаться в нем.
Не взять бы на душу
греха:
страстям в угоду
взреветь анафему
вёстрилам и рулю,
довериться изнанке и исподу
и кровью завоевывать
свободу,
шагать по ландышам,
купаться во хмелю.

Пустырь

Пустырь этот выглядит хмуро,
как все и везде пустыри:
валяется пыльная шкура
со спящей собакой внутри,
как будто пустившие корни,
вросли в подзаборную пыль
различные оси и шкворни,
различный веселый утиль.
И возле подвального «клаба»,
колыша обширный живот,
шатается пьяная баба,
сама себе песни поет...
Какие родные отбросы!
Знакомо расхристанный вид
клочок иноземного Бронкса
с районом Гражданки роднит.
Здесь духом и обликом схожи
две разновеликих страны.
Родимых циррозников рожи
вот так же чугунно-черны.
На редком углу обелиском
немой полицейский торчит.
И «фак-перефак» на английском
как «доброе утро!» звучит.

◆◆◆

Мне нравятся литовские вожди:
грибки,
опередившие дожди.
Их избирательная толерантность,
стремленье дерзко выбрать
два из двух,
макиавеллианства-талейранства
провинциально откровенный дух.
На то и рост,
чтоб все хотеть и сразу!
От режущихся зубок в деснах зуд.
Дубинку президентского указа
они целенаправленно грызут.
И как-то не припомнится примера,
когда бы в мире так накоротке
прошла премьера нового премьера
со вмятинкой на яблочной щеке.
Протесты — тише, возмущенье — глуше...
От их тычков, права ли, не права,
почти как тренировочная груша,
условно отбивается Москва.
Решить бы разом! Нет, проси и жди,
не промахнись, и отступи да выстой...
Есть шарм в словесном их неуитстве.
Мне нравятся литовские вожди!

Долг

Жили мало, жили долго,
только знали наперед:
чувство долга,
чувство долга
нам опора и оплот.
Если уж на сердце гадко
и тяжел сомнений плод,
долга крепкая рогатка
надломиться не дает.
Искушеньями испытан,
ладно скроен, крепко сбит,
долг
на четырех копытах
на подкованных
стоит.
Кто заслужит, тот обрящет.
Что в охотку — грех сплошной...
Завались-ка вы за ящик,
долг с копытом,
страх с клешней!
Как живу, не ваше дело.
Как умею. Как могу.
Опасаться надоело.
Надоело быть в долгу.
Да по долгу-то, умри хоть,
пыл не тот, размах не тот!
А добьется толку
прихоть,
только пальцем шевельнет.
А любовь
возводит стены.
А упрямство
тащит плуг
там, где сдох бы непременно
долга взмыленный битюг!

Указ

Не втихаря, не воровато
на сто какую-то версту
из канцелярии Пилата
пришла помиловка Христу.
Родной порог теперь он в праве
топтать бестрепетной стопой
подобно грешнику Варраве,
легко прощенному толпой.
«Ты все исправил,
что напортил! —
Воскликнуть может стар и млад.—
Ты честь и совесть наша, Понтий!
Ты — ум эпохи, наш Пилат!»
В архивах папочки пылятся...
Под лавку затолкавши плеть,
раскаявшиеся пилатцы
осанну привыкают петь.
Какой порыв! Какие страсти!
Какие ладан и елей...
Но распинать
во власти власти.
А воскрешать дано
не ей.

Подоконник

Две моих —
вологодская ветка
и смоленская ветвь родовы
в середине минувшего века
прижились возле серой Невы.
В меру сил проявляя таланты,
укреплялся и ширился род,
записавшись навек в оккупанты
нищих ингерманландских болот.
И лежат пять колен на погостах
урожаем с исконных ветвей —
не смоленских и не вологодских,
а уже петербургских кровей.
Не отдам наводненью-потопу
крепких свай моего бытия.
Родом и из окошка в Европу,
подоконник — вот почва моя.
Положенье свое обозначу
на толстовский, романный мотив:
посижу, помечтаю, поплачу,
под коленки себя подхватив.
Сбоку море, а снизу болота,
рядом — скопище каменных сот...
Если тошно и жить неохота,
только вера в возможность полета
осенит и от краха спасет.
Солнце тонет, никак не потонет...
И всех нас на манер неродной
тихо гладит по лицам ладонью,
нежной, тыльной ее стороной.

Давид САМОЙЛОВ

◆◆◆

Лунным светом город залит,
Голубеют скаты крыш.
Снова космос зубоскалит.
Неподвижность. Холод. Тишь.

Нам в лицо смеется космос
И опять дает понять,
Что стихии смертоносность
Невозможно нам унять.

Дымных звезд роятся клубы.
Бледный месяц щурит глаз.
Снова космос скалит зубы.
Есть ли кто-то кроме нас?

Вариация

Э. В. Сусловой

Мы пишем запоздалые эскизы
К картине, что давно уже готова.
Поэты, и актеры, и актрисы,
Мы кисти окунаем в краску слова.

Этюды много лучше той картины,
Которую заляпывают будни,
Где многовато хлама и рутины,
К тому ж они любой молве подсудны.

Но своевольное воображенье,
Подобное нелепице и бреду,
Случившееся с нами пораженье
Готово вдруг преобразить в победу.

Покуда не иссякло, не устало,
Оно перелицует зиму в лето,
Чтоб «мог бы полюбить Вас» означало
«Как я любил!»... И вдруг
поверить в это!

Корова

Корова думала туго,
Но умела себя утешать думами.
Ее давно перестали гонять в стадо,
Весной, летом, ранней осенью
Она паслась на лугу за усадьбой,
А то и прямо на деревенской улице
Перед бабкиным домом.
В деревне все реже раздавались
Голоса других коров.
А потом и вовсе замолкли.
Корове хотелось за ними
В Голубые луга на шелковые травы.
Но она любила Бабку
И гордилась, что ее не оставит.
К осени Грубый привозил на машине
сено.
От него пахло машиной и перегаром.
Он ее не обижал, но она знала,
что он Грубый,
Потому что увел ее последнего теленка.
Она утешала себя, что теленку лучше
В Голубых лугах на шелковых травах.
Когда увели теленка,
Она перестала следить за собой
и еще похудела.
Да и Бабка реже меняла подстилку
И реже носила ей теплое пойло.
— Старые мы,— думала корова.
Она стала плохо доиться,
Потому что бабкины пальцы
Потеряли гибкость и мягкость.
И корове не хотелось, как прежде,
Излить молоко, чтобы потом испытать
Блаженное чувство опустошенности.
Однажды доить ее пришла
Другая Старуха.
Потом в сарай вошли Грубый и мужик
Еремей,
От которого пахло деревней
и перегаром.
Они совещались вполголоса,
И корова расслышала только слово:
говядина.
А потом Грубый сказал ей:
— Вот, Лыска, нет твоей Бабки...
Когда ее за веревку повели от двора,
Она поняла, что никогда не вернется,
Обернулась и замычала.
Пока ее вели к избе Еремея,
Она думала о шелкотравных Голубых
лугах,
Где пасется роскошный черный бык,
бодающий солнце.

1988

Анахорет

В его каморке запах книжной пыли,
И окна здесь давным-давно не мыли.
Не любит он уборки. Пусть лежит
Все, как лежало. А после уборки
Не сыщешь ничего в его каморке
И все уже не так, как надлежит.
Одеяло солдатское, рваное.
Лампа тает в табачном дыму.
И какая-то женщина странная
После службы приходит к нему.
Ее внешность в глаза не бросается,
Не по моде ее гардероб.
А вглядишься получше — красавица:
Рот, глаза, ослепительный лоб.

Он с нею ласков, но не фамильярен.
И хлебосолен, словно русский барин:
Он режет на газете колбасу.
Советует ей прочитать два тома.
И провожает под руку до дома
На Сретенку — в двенадцатом часу.
И когда затихают троллейбусы,
Засыпают дворы и дома,

Она плачет от этой нелепости,
Негодует и сходит с ума.

Почти освобожденный, по Садовой
Уходит он в свой мир полубредовый,
Направив в свой приют свои стопы.
И если слышит: сзади нагоняют,
Не обернувшись, шаг свой ускоряет
И нехотя уходит от судьбы.

Черновик

Весна! *(зачеркнуто)* Прекрасный март...
(*зачеркнуто*) Голубоглазый март...
(*зачеркнуто*) Весна вошла в азарт...
(*оставлено*) Каракули (*та-ра́-та*)...
Читает март... Каракули сирени
Читает (*прочерк*), как стихотворенье...
Весна вошла в азарт!
Каракули сирени
Читает (*прочерк*) март
(*тара́*) стихотворенье.
Хоть ритмика строга,
Но вот она строфа:
Весна вошла в азарт!
Каракули сирени
Голубоглазый март
Читает в упоенье!
Стыдись, поэт, что столько сил
потратил
На подражанье, на пейзаж.
Ну, напиши: «Весна входила в раж!»
Долби (*та-ра́-ра*) ямбы, словно дятел.
Весна входила в раж.
К ней возвращалась стая.
Ты жизнь свою отдашь:
Кому, за что, не зная...
Похоже. Здесь есть тайный миг
Признанья. Суть ведь только в этом.
Признаешься. И станешь вновь поэтом.
Запомни: ты ведь только черновик.
Пусть из черновика
Твоя душа родится.
Ты канешь на века,
Но слово возвратится.

♦♦♦

В белом воздухе столицы
Пролетела тень птицы,
Тень птицы
Голубь
Прямо в холод
Пролетел —
В холод
Пролетел
Легче тени, легче дыма —
Пролетел,
Как хотел,
Мимо.

♦♦♦

Слепого мальчика ведет собака.
Она внимательна и осторожна.
Научена переходить дорогу.
Ведет подростка к магазину «Хлеб».
Подросток чист и хорошо одет...
Поэт! Вообрази, что ты ослеп!
Что за тебя собака ищет след!
Что у тебя, поэт, собачье зренье!
Перечитай свое стихотворенье.
Перечитай!
Потом меня прости.
Ведь я и сам уже ослеп почти,
А я ведь сам уже почти оглох.
Поводырем мне станет Кабыздох.

Оркестр

Дирижер — рукотворец музыки,
Пишущий ее палочкой в воздухе.
Скрипачи — прядильщики мелодий.
Виолончелисты — вышивальщики нот,
Пальцем поддевающие толстую нить.
Контрабасисты — пильщики басов.
Флейтисты — выдуватели легких
пузырьков звука,
Объедающие флейту, как початок
кукурузы.
Трубачи — выдыхатели ритмов,
Лаокооны геликонов — выращиватели
напевов
В медных вазах.
Литаврист — шеф-повар мягких громов.
Арфистка — кормилица лебедей
в серебряной клетке.
Барабанщик — раскатыватель звонких
горошин.

И все они играют мысль о том,
Что не случайно и невременно
Мы пребываем в мировом пространстве,

А если кому-то так кажется,
Спроси:
А музыка?

♦♦♦

З. Гердту

Артист совсем не то же, что актер.
Артист живет без всякого актерства.
Он тот, кто, принимая приговор,
Винится лишь перед судом потомства.

Толмач времен, расплющен об экран,
Он переводит верно, но в итоге
Совсем не то, что возвестил тиран,
А что ему наборматали боги.

Переводчик

Я, как контрабандист запретные товары,
Перевожу стихи, стихи переводя,
Редакторских застав минуя окуляры
И псов цензуры в раж не приводя.

Перевожу стихи — пьянительный напиток.
Пора бы на него ввести сухой закон!
Перевожу стихи, бывает с трех попыток.
И комом все блины. И в горле тоже ком.

Но перейден рубеж. Но будем осторожны.
Не торопись строку записывать в тетрадь!
Хотя и знаешь сам, что не страшны таможни,
И то, что в нас,— они не могут отобрать.

Публикация Г. МЕДВЕДЕВОЙ

Феликс
СВЕТОВ

ТЮРЬМА

Роман

Глава четвертая

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

1

Что меня тащат обратно на спец, я не верил, а потому разговор с врачом пропустил мимо ушей. Я только понять не мог, почему спустя два месяца после моего заявления (для Гарика я его написал, надо было хоть что-то придумать, неловко, да и обещал ему...) врач вдруг обо мне вспомнил... «Полухин, к врачу!» — грохнула кормушка. Удивился, а все развлечение — пройтись лишний раз по тюрьме, а когда открыли дверь, увидел, как блеснули желтые глаза Яши, провожавшие меня: «Думает, к куму, не иначе... А может, и верно, к куму, с какой стати к врачу?..»

По тюрьме мне пройтись не удалось, кабинет врача оказался в нашем коридоре, через две камеры.

Да какой он врач, думаю, нормальный вертухай, и халат не надел, лень ему, на тракториста похож, чумазый вроде, и солняркой потянуло, в зубах сигарета...

Лепила привел меня, застрял в дверях. «Помог бы, Вася,— говорит,— болею».— «Мешать не надо,— говорит «тракторист»,— или белое, или красное. Чему тебя отец учил?» — «Тому и учил»,— говорит лепила. «Погоди,— говорит «тракторист»,— и с химией разберемся... У тебя чего? — это мне вопрос.— На что жалуешься?..» А я, было, и о заявлении позабыл, и о чем в нем писал не помню, два месяца прошло, да и без толку, разве у такого получишь, ничего не даст... «Астма,— говорю,— с детства. Мне бы теофедрин...» — «Ты бы героину попросил,— говорит лепила,— во наглость какая!» — «А мне на спецу давали. Зачем тогда спрашиваете, если лечить не хотите?» — «Уйди, Генрих,— говорит «тракторист»,— я тебя позову».— «Мне не продержаться, дал бы чего».— «Я тебе счас дам...»

Лепила ушел. Я не знал, что он «Генрих» — лепила и лепила, но мразь отменная. На спецу фельдшерами молодые девчонки — и улыбались, и анальгин давали, и соду, и горчичники (из них горчицу делают в камере — и на хлеб), а этот зверюга даже валидол заставлял класть под язык при себе. Откроет кормушку, металлическим штырем раздавит таблетку прямо на откинутой железной полке, смахнет в грязную лапу — и в рот. Да и редко давал хоть что-то, рявкнет: «Не санаторий, обойдешься! Следующий...» Мужики говорили, он с зоны лепила, когда его смена, и не просили, все равно не даст.

«Тракторист» поглядел на меня сквозь дым от сигареты: «Астма, говоришь... Душно, стало быть?» — «Душно»,— удивился я. «Летом не то будет, сдохнешь. Тут не такие крякают, валятся со шконок, как мухи... Куришь?» — «Курю».— «Правильно, свой дым полезней. Шестьдесят человек в камере?» — «Шестьдесят».— «Будет восемьдесят, ты и дня не продержишься, а будет обязательно...»

Смотрю на него во все глаза: кто такой, что ему надо?

«Стало быть, астма,— говорит,— в камере шестьдесят человек, все курят и дышать тебе нечем... Ты где жил на свободе?» — «В Москве, в центре».— «Всегда?» — «Всегда, родился тут».— «Про чего ж ты писал, чего тут можно увидать?» — «А что мне надо видеть?» — «Как люди живут, чем деньги зарабатывают, как хлеб растет. Или ты думал, булки на станках нарезают — и в магазин?» — «Я про себя писал, не про булки».— «Про себя?.. Про тебя мне не интересно. Я в Москве три года, а про себя, и что помнил, позабыл. Но я бы мог... писателем. В деревне проснешься, выйдешь, продышишься, ухо к земле — слыхать, как трава растет. Вот о чем писать».— «А кто вам не дает — пишите».— «А как, с чего начать?» — «Так и начинайте: проснулся, вышел, поглядел на небо, на солнышко, встал на коленки, перекрестился — и про свою жизнь».— «Про свою... А кому она нужна, чего у меня такого было?» — «Да уж, на-

---

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 1, 2.

верно, побольше, чем у всех, если... Променять такую красоту на тюрьму? Меня сюда притащили, а вы, выходит, своими ногами. Или кто неволил?..» — «Вон ты какой! Верно, писатель. Правильно тебя посадили, может, чего стоящее напишешь... Давайка, писатель, переходи на спец».— «Как... переходи?» — «А так. Согласен на перевод?» — «Не знаю, у меня место хорошее, близко к окну. Не так душно...» — «Гляди, твое дело. Как сам говоришь, неволить не станем. Только учти, меня больше не увидишь, ухожу. Пока своими ногами. Но летом ты крякнешь, запомни. И... бани у вас на общаке полтора месяца не будет. Ремонт, трубы лопнули... Ты об этом молчи, я тебе, чтоб знал, а им не надо, все равно не помочь, чтоб паники не было. Так как — согласен?» — «Я не пойму, зачем вам... мое согласие?» — «Чтоб базара не было: таскают туда-сюда, а ты не хочешь...»

«Вон оно что! — думаю.— Может, на воле шум подняли?»

«А в какую хату?» — «Какая тебе разница, пять человек, народ солидный, не то что тут, шелупень».— «Я подумаю, сразу не сообразишь».— «Думай. Полчаса хватит? Завтра меня тут не будет».— «Хватит».— «Генрих!..— крикнул «тракторист». Лепила вошел.— Отведи его обратно».

Мы вышли в коридор, у меня голова кругом — что за разговор, что они задумали? Ни одному слову не верю.

«Дал героинчику?..— спрашивает лепила.— Ишь, чего захотел. Ты и с героином подохнешь. Видал я таких жмуриков...»

В камере я сразу подошел к Олегу. «Чего думать,— сказал Олег.— Соглашайся. Тут тяжело будет. Яна выкинут не сегодня-завтра, Стас на его место, а меня на суд. Плохо тебе придется».— «Чего же они задумали?» — «Плюнь на них. Сейчас для тебя лучше, а там поглядишь...»

Позвали к кормушке. Не лепила, «тракторист». «Надумал?» — «Надумал».— «Ну и правильно. Собирайся, сейчас за тобой придут...»

Нет, про спец я не думал, не поверил. Перегорела во мне надежда, что хоть когда-то может быть лучше — только хуже, другого не жди... Правда, библиотечную книжку отобрали, значит, не общак.

Вниз, вниз тащит, и лестницу спецовскую — знаю я ее! — ту самую, как в старом доходном доме, мелькнула сбоку, у меня даже душа заныла, и ее прошли. Мимо...

— Куда меня? — спрашиваю.

Вертухай и ухом не повел.

На сборку, думаю, куда еще. И сразу в отстойник, вроде, и в нем я был, а может, похож, сколько таких...

С матрасом, подушкой, одеялом, мешок с барахлом... Не успел оглядеться, сзади грохнула дверь. Закрыл.

Темновато в отстойнике, пусто, надо ж, как посчастливилось, хотя бы побыть... Нет, сидит один, не разглядел сразу, засуетился, обрадовался, что никого. Под самой решеткой, скукожился — холодно, что ли?..

— Батюшки!.. Вот так встреча! Ты живой? — спрашиваю.

Глядит на меня, моргает.

— Не узнаешь? — говорю.— Плюсквамперфектум...

— У-у...— мычит.— Как же... И вы, значит, тоже...

— Что — тоже?

— Живой,— криво усмехается, жалко.

Я бросил мешок, матрас, сажусь рядом на лавку.

Четыре месяца, думаю, почти пять... Крепко его помяли, как из мясорубки. Что в нем осталось — а было ли хоть что?

— Ты откуда такой? — спрашиваю.

Не отвечает, глаза напряженные, бледный, губы дрожат.

— Закурим? — говорю.— Или ты бросил?

— У меня нет, все, что было...

— А у меня много, поделимся.

Достаю из кармана пачку «Примы». Мне и Олег дал, и Князек, и Ян — хорошо прощались, как братья...

Жадно затягивается, видать, давно без курева.

— Что же с тобой случилось — ты где был эти месяцы?

— Меня со спеца вытащили, а куда дальше, не знаю.

— Я тоже не знаю. Но я с общака... Кто ж из нас Счастливцев, а кто Несчастливцев?

Молчит, не принимает шутку. Или не понял?

— Ты в какой камере был на спецу? — спрашиваю.

— Я?.. В двести шестидесятой.

— В ка-кой?.. Давно ты там?

— Два месяца.
— Вон как. А до того где был?
— На больничке... Нет, это сначала, потом — на общак.
— В какой хате?
— Н-не помню, я там один день...
— А что случилось?
— Зачем вам? Плохо стало. Душно. Народу много, драки.
— И сразу на спец?.. Как же тебя перевели?
— Перевели...
— Говорить не хочешь. Твое дело. У тебя какая статья?
— Сто семьдесят третья.
— В институте работал?
— В институте.
— В каком?
— В МАИ.

Вон как сходится, думаю. Надо с ним аккуратней, напугается, ничего не скажет.

— Давно тут сидишь, в отстойнике?
— Только что, перед вами.
— Следователь вызывает? — не отстаю я.
— Два раза, тянут.
— Ты один по делу?
— Здесь один. Еще на Бутырке.
— Женщина?
— Женщина.
— Ладно,— говорю,— мне не надо. Кто ж остался в двести шестидесятой? Я там два с половиной месяца, как тебя вытащили на сборке перед шмоном — помнишь? Тебя, значит, на больничку, а меня в двести шестидесятую.
— Там сейчас... пятеро.
— Боря Бедарев там?

У него в глазах ужас, даже сигарету выронил.

— Ты что? — спрашиваю.
— Н-не знаю.
— Что — не знаешь?
— Я больше не могу,— говорит.
— Да что они с тобой сделали, что ты всего боишься? У нас с тобой общее начало, самое страшное здесь — сборка, она нас связала. Может, я тебе чем помогу, ну... советом, еще чем — что ты в такой панике?
— Не самое страшное,— говорит.
— Что — не самое страшное?
— Первый день, сборка. Дальше было хуже.
— Где? — спрашиваю.
— На больничке. На общаке. И на спецу. То есть... на больничке легче. И на спецу. Но... Не могу больше.
— Тебя как зовут? — спрашиваю.
— Георгий.
— Георгий?..

У меня мелькает смутная мысль, и ее сразу отгоняю. Слишком много совпадений...

— Жора, значит?
— Я никому не верю,— говорит,— они со мной...
— И я никому не верю, что из того? Но людьми-то мы остались? Какая мне в тебе корысть?
— Не знаю,— говорит,— может...
— Ты сам себя загоняешь, загнал, а тебе жить надо. Да сколько б ни дали, все годы — твои, все кончается и срок кончится. Зачем ты себя... У тебя остался кто на воле?
— Остался... Нет, я теперь ничего не знаю...

Не получается из меня утешитель, да и зачем мне, мы в тюрьме, не в богадельне, здесь каждый за себя...

— Значит, Боря там,— говорю,— еще кто? Пахом там?
— Пахом ушел. Они с Бедаревым не... заладили.
— Вон как! А у тебя что с... Бедаревым?
— Послушайте...— говорит он,— я вижу, вы порядочный человек, я здесь таких не видел. Я не могу больше... Все эти месяцы, каждый день меня... обманывают, мучают. Я себя потерял, они меня забьют — понимаете?
— Нет, не понимаю. Мы с тобой в одной тюрьме, пришли вместе. Я только в больничке не был, в тех же камерах.
— Они меня... запутали.

— А ты плюнь! У тебя своя жизнь и срок будет свой! Все равно будет, отсюда не выйдешь. Но здесь, учти, ни от кого, кроме мелочей, ничего не зависит, а у тебя впереди жизнь, не мелочи. Знаешь, как говорят: на воле страшно, могут посадить, а здесь чего бояться — уже посадили!
— Хорошо бы нам вместе,— говорит.
— Может быть. Мне и с Борей было хорошо. Сначала хорошо, потом плохо. Что он тебе сделал?
— Он все время что-то придумывает, я не понимаю... Бывает, как зверь, с ним что-то случилось...
— Что?
— Не знаю... Его не поймешь.
— Не надо мне,— говорю,— я про Борю и так все знаю, а что нет... Не в подробностях дело, мы с ним два месяца спина к спине, на одной шконке.
— Ему нельзя верить, ни одному слову, не поймешь, на кого он...
— Ты сам сказал, здесь никому нельзя верить. И тебе нельзя, и мне — нельзя. Что ж, мы должны грызть друг друга? Зачем тебе верить-не верить? Посадили — сиди. Мы скоро полгода здесь, осталось меньше, а там зона — письма, небо, работа, книги, чай будем пить...
— А если опять на... общак?
— Ну и что с того, ты ж там был?
— В том и дело, что был.
— В какой ты был камере? Хоть кого-то запомнил?
— Один похож на... обезьяну, кавказский человек. Другой... старик, борода седая, художник...
— В сто шестнадцатой?!
— В сто шестнадцатой, верно. А вы... знаете?
— Я там месяц... Погоди, меня и привели сразу после тебя? Рассказывали, один выломился... Верно! Из больнички, коммуняка, интеллигент... Так это ты и был?
— Не знаю, может быть.
— «Велосипед» устроили?
— Да, этот, с бородой, ввязался, ему голову проломили.
— Мы с тобой по одним и тем же хатам, друг за...
— Бермудский треугольник,— говорит,— здесь все так.
— Какой... Бермудский?
— Очень просто, им так легче, проще. У них сетка — понимаете? Скажем, по три, по пять камер в сетке, в ячейке. Они и тасуют — из одной в другую, чтоб самим не запутаться. А нам и не надо больше, нас все равно закружит...
— Ловко! — говорю.— Кто ж это — кум придумал?
— Н-не знаю, наверно.
— Черный такой, руки волосатые?
— А вы... его видели?
— Нет, но наслышан. Значит, «Бермудский треугольник», а кум крутит эту карусель? Емко...
— Вы не станете на меня... ссылаться?
— Кому «ссылаться»? Да что с тобой, опомнись!.. Послушай, Жора, скажи мне... Ты знаешь такую... Да нет, едва ли, у вас много народу, большущий институт...
— Какой институт?
— МАИ. Разве что случайно... Лаборантка, не знаю, какая кафедра... Нина?
— Ни-на? — переспрашивает он.

И тут вижу — кровь хлынула ему в лицо, красные пятна, на лбу пот...

— Ты ее знаешь? — спрашиваю.
— Если это она. Нина... Щапова.
— Щапова?! Нина. Глаза у нее... голубые, большие, в пол-лица. А бывает... зеленые.
— Она не работает в институте. Ушла. Два года назад... То есть, перешла на другую кафедру, на полставки...
— А почему ты... покраснел? — спрашиваю.
— Это она... За нее.
— Что — за нее?
— Наказание. Мне. Видите как... интересно...

Первый раз глядит на меня. Что-то в нем сдвинулось, возникло, чего раньше не было. И глаза отвердели, вот уж не думал, что осталось хоть что-то...

— Скоро пять месяцев, как я здесь,— говорит,— а мне в голову не приходило.
— Что не приходило?
— Спасибо вам, вон как бывает, услышишь от кого-то о чем-то, а получается — о себе.
— Не понял.

— Возмездие,— гоаорит он.— И Бедарев что-то плел о возмездии, я не слушвл, не надо было. А тут обо мне. В самую точку. Услышал. И эта... баба, что сейчас на Бутырке, пусть она сука последняя, а как тяжело ей, и ее муж, где он, может, и он тут, и вся история, которую следователь разматывает, а что разматывать, ясно... И все, на что я здесь нагляделся, на себя раньше всего... И зона, о которой вы говорите... Все за нее. За Нину. Я аиноват перед ней. Я ее обманул.

2

Я уже у дверей камеры почувствовал — *плыву*. Бросил мешок, прислонился к стене и закрыл глаза, боюсь хоть как-то себя выдать... «Не может быть,— стучит в голове,— твк не бывает, здесь не может быть случайностей, накладок...»

Открыл глаза — рядом никого. В другом конце коридора стоит мой вертухай — о чем-то еще с одним, отсюда и голоса не слышно. И ничего не слышно — мертаая тишина.

Собрался с духом, поднимаю голову: прямо против меня железнан дверь камеры — «260»...

Он просто не знает — куда, нет распоряжения, потому и бросил в конце коридора, чтоб не таскать по всему этажу, сейчас выяснит, поведет дальше...

Посмотреть бы, отодвинуть щиток глазка... Боря не боялся, когда ходили в баню — даумя этажами ниже, спецовсквя баня, комнатушкв на четыре соска с предбанничком, Боря всегда шел сзади и щелкал глазка́ми всех камер по пути... Он не бонлся, а я робею. Когда страх — нет свободы, думаю. Если боишься потерять хоть что-то,— ты уже не свободен, а я все время боюсь потерять, и сейчас, знаю, понимаю — быть того не может! — а все жду, вдруг...

Чудеса начались сразу, как только меня выдернули из отстойника. Миновали один поворот — и спецовская лестница. Та самая! Пусть бы третий этаж, думаю, пусть четвертый... Еще выше... Неужто *пятый*, мой?! Пнтый последний, выше нет, там крыша, а все не верю... Отпер даерь, вывел в коридор... «Стой»,— говорит. И пошел вразвалочку в другой конец, обратно.

Пусть рядом, думаю, пусть в другом конце — один коридор, общие дворики на крыше, одна бвня. Можно написать на двери во дворике, на стене в бане, можно покричать на прогулке... А зачем, думаю, что за сентименты в тюрьме — зачем *он* мне? И я вспоминаю глаза Жоры, азгляд, которым он меня проводил, что́ в нем: надежда — на что? — найденный выход — какой? — а может — отчаяние? Что я ему мог сказать, ничего не хотел говорить, здесь каждый решает сам, да и как помочь, если не просит...

И тут вижу: оба идут — «мой» вертухай вразвалочку, второй звенит ключами. Подошли, на менн не глядят... А я все не понимаю, он уже дверь открывает, а я стою у стены, ничего не могу по...

— Чего ждешь — особого приглашения?

Сейчас кто-то их остановит, нелепо думаю я, кто-то придет, позвонит... Разве может быть, чтоб заранее не распорядились, не указали камеру? Все у *них* продумано...

— Ну!.. Спишь, что ли?

Его равнодушие и заставляет меня опомниться. Я хватаю мешок, матрас, делаю два шага — и сзади гремит даерь...

Потом мне казалось, я преуаеличиваю свои ощущения: просто растернлся, никак не ждал, заставил себя забыть, что возможно сбыться тому, что и хотеть не решаешься, о чем не позволяешь себе мечтать... Нет, ничего н не преувеличил, так и было. Даже не радость — *счастье* было таким полным и... зрелым, ни с чем не сравнимым... Да и с чем его было сраанивать? Чем я бывал счастлив в той прежней, навсегда ушедшей жизни?.. Полнотой любовного чувства? Но разве не примешивалась всегда к той полноте *ложка дегтя* — страсть, хорошо, не похоть, щекочущий укус самолюбин, страх утратить свободу... Может быть, радость *удачи*, осуществление выношенной мечты, сделанной работы? А что ее кормило, ту удачу, на чем она взрастала, не на тщеслааном чувстве — смог, сделал, доказал, удивил... Мне подумалось однажды, как просто с нами, со *мной:* сидят два бесенка, из самых распоследних, замызганных, канцеляристы в *том* департаменте, скучно им, *не интересно*, все заранее знают, слишком легко, даже азарта нет, обрыдшее дело, канцелярщина. Сиднт в загаженном, мерзком *отстойнике*, играют в кости. Один — блудник, второй — тщеславец. Бросают кости на кого-то — на *меня* они бросают! И тот, кто выигрывает, получает а тот самый момент безраздельное право... На меня получает право. И меня швыряет — туда или сюда. И я захлебываюсь выигранной кем-то из тех «канцеляристов» «радостью», падаю ниже, сползаю еще на одну ступеньку. А они ухмыляются. Или перестали ухмыляться: скучно, слишком со мной легко, игра для них беспроигрышная. Но у них такая *работа*, вот и придумали развлечение, хоть какое-то разнообразие — кости. А я на качелях — туда или сюдв.

Даже церковь, думвю я, которую открыл для себя, увидев однажды рядом с домом, на той самой улице, по которой бегал мальчишкой, гулял юношей, проходил по своим

делам, *не видя*, аполне взрослым человеком... Но однажды что-то во мне щелкнуло, аошел... *Вошел ли?* Чем стали для меня счастливые слезы — а полумраке, потрескивании свечей, а в их мерцающем саете лики икон, никогда прежде неведомый запах, падавшие в душу слоаа молитвы, азмывавшее ввысь и заполняашее все вокруг пение? Непостижимое чудо прикоснoаения к неведомому, к тайне?.. А что *она*, что в ней, кроме моих сладких слез и томления духа — опять для меня, чтобы взять, присвоить себе и *это*? Кроме того, что уже было, что успел схаатить, прибрать к рукам, приспособить, что делало меня тем, кем я был. Или казался. Чтоб не быть, а казаться. Для себя, только для себя одного. Разве хоть что-то н знал — о Христе, и войдя а церковь, открыв ее рядом с домом, на той самой своей улице, прочитав три десятка книг и споря до хрипоты с такими же, как я, уцепиашимися за нее, за церковь, не зная, не понимая, не ведая, *куда* мы пришли? Что я знал о *Христе*?..

Я стою в даерях и гляжу иа камеру...

Я знаю здесь каждый... предмет, они навечно врезались в память, в душу — перaая камера, как первая любовь... Кто это сказал? Кто надо... Во мне сказалось однажды, здесь.

Но это потом. Или сразу. Как обаал: непостижимое чудо возвращения *домой*, о котором не мог мечтать.

— Серый?..— говорит Борн.

Тихо говорит, шепотом, стоит у раковины...

— Вадим! — кричит Гриша.— Вадим!! Вадим!!!

— Тихо...— говорю,— вытащат, это... накладка.

Но Боря уже опомнился, взял себя в рукн, он, и праада, растернлся, мепя увидев. Как же он изменился! Опухшее лицо, длинные баки, бледный...

— Вернулся, вернулся! — кричит Гриша, прыгает вокруг.

И он изменился: рыхлый, опустиашийся... Что с ними?

В камере еще двое: один спит, укрылся с головой, второй сидит на *моей* шконке у окна: голый по пояс, в татуироаке.

— Я знал, ты вернешься,— говорит Боря.— Но не думал, что к нам. Что на спец — знал, но что в эту камеру...

— Погоди, может, аытащат,— асе еще не верю.

— Перестань,— гоаорит Боря,— такого ие бывает.

— Скелет в очках,— гоаорит Гриша,— откуда ты, не кормили два месяца?

— Да нет, вроде, кормили...

Выходит, и я изменился...

В камере саетло, открыты окна (а когда уходил, были вторые рамы), «реснички» проржавевшие, разогнутые, солнце катит в камеру, перебивает днеаной свет под потолком, ветерок, и я вылезаю из ватника, стаскиваю сапоги...

— Да у аас можно жить!

— Все,— говорит Боря,— пока ни о чем не будем, отдышись... Я тебе сейчас покажу... Нет, потом...

Он и говорит иначе — неуверенно, суетлиао.

— Садись... Да не возись ты с мешком! Сыграем в «мандавошку» — не разучился?..

Гляжу на него: если б не знал, что это... Боря...

Развязываю мешок, достаю кусок сала, сухари, сигареты — Олег поделился всем, что у нас остaaалось.

— Купец вернулся,— говорит Боря.— Видал?..— он оборачиaается к малому на моей шконке.— Познакомься.

Малый встает. Босиком, на плечах шевелится живопись:

— Артур. Твое место?.. Освобождаю.

— Ладно,— говорю,— я тут где только не лежал.

— Давай, давай, я не надолго.

У него движения мягкие, кошачьи, глаза острые. Такого еще не вядел.

И тут еще один аылезает из-под одеяла, четвертый... Андрюха Менакер!

— Серый?! — кричит.— Живой! Откуда?

— С общака...— смотрю ему в глаза, надо сразу, не тянуть.— Из сто шестнадцатой,— говорю.

— Вон как?..— Андрюха тянется за сигаретами.

— Костя гоаорил о тебе,— уточняю я.

— И ты поверил?

— Поверил.

Он тоже другой — Менакер. Или у меня зрение стало другим? У каждого свое, но два месяцв тюрьмы — для всех даа месяца тюрьмы, а у них перед тем еще по полгода.

— Что он тебе говорил? — спрашивает Менакер.

Он пожелтел, мышцы, прежде буграми гулявшие под розовой кожей, обвисли, и шкура не розовая, серая.

— Что ты, сука, сказал Костя, заложил его еще на воле.

— Да пошел он! Дождется, мы с ним встретимся...

— Вот и он говорит — «встретимся».

— Чего он тебе лапшу вешал! — кричит Менакер.— Меня на Лубянку потянули, они и взяли... Не прокуратура, как его! Когда стали получать «марки» из Франции, ГБ сразу сел на хвост... Я тебе рассказывал — не помнишь? Он думает, чистенький ходил? Король черного рынка! Они его как облупленного знали, мне все документы под нос — чего он тебе мозги пудрил?

— Ты меня спросил, я ответил. Будешь знать. А кто из вас кого сдал, не мое дело.

— Отстань от него,— говорит Боря.

— Ты послушай, Боря, что он мне лепит! — горячится Менакер.— Он, видишь, что на меня вешает?..

— Сказано, отстань,— говорит Боря,— он тут зачем? Да пошли вы все... Еще Пахом вязался...

— Где он? — спрашиваю.

— Вытащили, больно умный... Ладно, гляди, чего тянуть... Узнаешь?

Чувствую, камера напряглась — Боря, Гриша, даже Менакер, развалившийся было на шконку — и глядеть на меня не хочет! — и он напряжен, ждет; даже Артур глядит с любопытством.

Но я-то знал... Почему, каким образом я мог знать, что *увижу*, что именно *это* и ждет меня, если случится чудо и я вернусь?.. Так может быть только в тюрьме: все так напряжено, такое таинственное поле создает это напряжение, что ты *знаешь* о том, что никак знать не можешь!

Я держу в руке фотографию: запеленутый младенец, месяца два... Конечно, мне его не узнать, как узнаешь, когда не видел, да и что тут можно увидеть! Но я вижу *руку*, на которой он лежит, и руку я знаю. Я вижу кусок стены, угол, *икону*... И икону я знаю.

— Спасибо,— говорю Боре,— я знал, что... это увижу.

— Узнал? Твой?.. Ну...— у Бори дрожат губы.— А этот фраер, свинья, кричал здесь... Слышали, что он кричал? Не Серого, не похож!.. Я на него еще погляжу...

— Пахом говорил, не похож? — спрашиваю.

— Хрен с ним, и думать не хочу об этой мрази,— говорит Боря.— Вот тебе еще подарок... Что скажешь?

Он протягивает исписанный листок.

И я отворачиваюсь, отхожу к окну, мне не по силам.

Стена под решкой, когда-то коричневая, давно черная, в одном месте выбита штукатурка — равное белое пятно, известка, и я вспоминаю: каждое утро открывал глаза, видел это пятно и каждый раз «фигура» была другой...

«Дорогой Боря! — читаю я: смешной детский почерк не слишком старательной ученицы.— Мы так скучаем и так беспокоимся о тебе! Как твое здоровье, нужны ли тебе лекарства, напиши, постараемся достать и передать. Мальчика назвали Вадимом в честь его дяди, он будет похож на тебя, я в это верю, он и родился в тот самый день и в тот самый час. Он хороший, послушный и здоровенький, мне не трудно, не беспокойся. Митя все время со мной, а когда его нет, приходит *Нина*...» Подчеркнуто, подчеркнуто!.. Я закрываю глаза, потому что внезапно строчки сливаются передо мной... Потом я начинаю сначала: «Дорогой Боря! Мы так скучаем и так...» Дальше! «...приходит *Нина*. Мы с ней подружились, и она мне помогает, сидит с Вадиком, если мне надо в магазин или куда. Она хорошая, огненного искушения, говорит она, не чуждайтесь, как приключения странного, и сидит с малышом. Это она, конечно, шутит, ты понимаешь, потому что, говорит, ей сидеть с ним одно удовольствие. И мы тоже не чуждаемся и тебя очень любим, так что ты не беспокойся, видишь, я не одна, у нас дома двое мужчин и нас с Ниной двое. Вадик хорошо спит, а когда не может уснуть, я включаю ему эфир и он с радостью слушает музыку о своем любимом дяде, даже когда наш старый проигрыватель сильно трещит. Целую тебя, дорогой Боря, лишь бы ты был здоров и делал, что должен делать, а все остальное будет, как быть должно, и мы будем за тебя радоваться, как поется и как любит в шутку повторять Нина. Целую тебя, твоя сестра Марийка. П. С. Помнишь, я тебе говорила, какой Митя хороший, но ты еще не знаешь, он такой, как ты, и я его тоже очень люблю».

— Я знаю,— говорит Боря,— мне рассказывали о тебе: стоит под решкой, у стены, дышит...

— Кто рассказывал?

— Когда таскали к следователю, мужики в отстойнике: есть, говорит, у нас один писатель... Хреново было?

— Сам знаешь, ты рассказывал про общак. Так и было.

— Суки! Но я знал, тебя оттуда заберут на спец, но не думал, что сюда! Я и надежду потерял увидеться, а мне надо! Тебя вытащили, а через день Ольга отдает письмо... Да

переведи его на больничку, говорю ей, придумай, возьми своего майора за...! А у нее не выходит. А тут этот... Пахом...

— А что случилось? — спрашиваю.

— Полез не в свое дело. Пес с ним... Тут вот что. Кум унюхал, в хате стучат... Сколько я их повыкидывал, надоело, перед тобой один был...

— Кто такой?

— С больнички, фраер... А может, не стучал, может, Ольга болтанула лишнего по бабьей глупости... Короче, месяц проходит, другой пошел, а ты все там... Неужель мы ничего не можем, думаю. И тут тебя в другую хату на общаке... Знаю — на четвертом этаже.

— Меня о тебе спрашивали,— говорю,— и в первой хате, и во второй. И больничку ты купил, и канал у тебя на волю, и денег полная тетрадка...

— Кто спрашивал?

— Кумовские ребята. Щупали.

— Да пес с ними, главное — ты здесь! Теперь все лето вместе... Слушай, Серый, у меня верный канал, пиши ответ, видишь, ждет, как получил, так и передам. Ольга законтачила с моей сеструхой, а та с твоей. Они вместе...

— Кто вместе? — меня озноб прошиб: вон куда влез!

— Моя Валька с твоей сестрой. У них общие дела — про детей. Валька беременная, потом расскажу, у них свои разговоры — бабьи дела. Мне Ольга говорила. Я с ней два раза в неделю, железно — у нашей врачихи, у Лидки...

— Что-то ты гуляешь, Боря?

— Чего — гуляю?

— Зачем ты в камере, при всех? Письмо, фотография... Он все о тебе знает.

— Кто знает?

— Кум. Не зря ко мне вязались на общаке.

— Брось, Серый, хуже не будет, только лучше. Я ей верю! Она без меня — ни шагу, а майор у нее, как... на аркане.

— Не пойму я тебя, Боря, такой битый мужик, а говоришь, как... мальчик.

— Эх, поговорил бы я с тобой, все бы тебе рассказал! Нам бы с тобой на воле...

Мы лежим на *нашей* шконке, я на *своем*, воровском месте, у окна, Боря повернулся ко мне и говорит, говорит... И об Ольге, как они встречаются на нашем пятом этаже, в задней комнатке у врачихи, вертухай шастает мимо, а ничего не видит; как однажды лейтенант-подкумок зашел к врачихе брякнуть по телефону, а Боря в задней комнате, все, влетели, подумал Боря, а Ольга поставила его за дверь, чтоб не видно, сбросила халат, стоит в чем мама родила и дверь открыла, вроде случайно... Лейтенант увидел и... «Что ты, он, пес, чуть с ума не сошел, разве ему такое показывали! К нам потом заходит Лидка, ну смеху, мне пузырь спирта — и пошел!..» «Она меня вытащит,— сказал Боря,— вот увидишь, с такой бабой куда хочешь, сколько я повидал ихнего брата, а не знал, что такое бывает, за все муки награда...» «Конечно,— сказал Боря и поглядел как-то странно,— кума ей тоже надо держать, без него ничего не сделать, а чем держать, она меня иногда просит, мне ей тоже надо помочь, что ж за все самой... Ладно, я с ним посчитаюсь...»

Я слушаю его вполуха, не нужно мне, я думаю о том, что я *здесь*, что это произошло, случилось — после ужаса общака, а в ушах у меня еще гул тех камер, а перед глазами все еще... А под подушкой фотография, письмо, и я знаю — не один, и они там, на воле — не одни...

— Слушай, Серый,— говорит Боря,— письмо я вытащил из конверта, не фраер, мало ли, когда тебя увижу... Чтоб знать, короче. Кто эта... *Нина?*

— Родственница дальняя, не в Москве живет, наверно, в отпуск приехала.

— Откуда? — спрашивает.

— Из Пензы, она в ЖЭКе работает, диспетчером.

— Да?.. Нет степени доверия, Серый, я с тобой вон как, а ты со мной...

— Я у нее как-то был в Пензе, летом. Мы на речку ездили, рыбу ловили, а потом в камышах уху варили на костре.

— Какая ж там речка, в Пензе?

— Припять. Или что-то в этом роде.

— Ну-ну,— говорит,— понятно. «Огненное искушение», о котором ты тут с Серегем балаболил, «странное приключение» — это и есть рыбалка с бабой в Пензе? И «эфир» — в Пензе, который про «дядю» играет?

— Хорошая у тебя память, Боря, цепкая. А что с Серегой?

— На общак вытащили. Он не такой, как ты, не боялся. Он в Бога верил, а ты на воду дуешь.

— Не будем ссориться, Боря,— говорю,— я так рад, что вернулся, не надеялся, думал, никогда. Теперь мне ничего больше не надо. Давай спать.

— Тебе не надо, у тебя, когда и не было ничего, спал. Небось, и на общаке не маялся? А мне много надо...

Прямо надо мной решка. Сквозь отогнутые железные полосы «ресничек» проглядывает небо. Оно все еще светлое — луна, что ли, или над Москвой вечное зарево? Гулявт ветерок, прохладно. В камере тихо, и мне кажется, я задохнусь от радости и счастья. После грохота и мелькания, после смрада и потного ужаса, постоянного — из дня в день, из ночи в ночь, непрекращающегося, не способного перестать — всегда!

«Огненного искушения, для испытаиия вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,— повторяю н про себя и гляжу на светлое небо между ржавыми полосами «ресничек».— Но как аы участвуете а Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете...»

И они возникают передо миой, как на движущейся ленте конвейера: Гарик, Верещагин, Наумыч, Костя, Иван, Яша, Олег, Ян, шнырь, Машка, Петро, Стас, комиссар, полковник, Василий Трофимыч, Султан, Князек, Малыш, Виталий Иванович, Афганец... Как они там, что с ними сейчас, что будет заатра?.. Господи, помилуй их я спаси,— шепчу я,— не забудь! Изведи, Господи, из темницы душу мою! Помилуй, Господи, всех, с кем сподобил мне пробыть эти месяцы, от уз и заточения свободи и от вснкого злаго обстояния избавь! Только Ты, Господи, можешь помочь им — если помог мне, если не оставил меня, не забыл обо мне! Не забудь и о них, Господи, прошу Тебя, Господи, умоляю Тебн, Боже мой!..

3

— Подвинься, Гриша, давай полежим, я тебн потрогаю...

— Ты что, Артур! Отстань от меня!

— Да ладно тебе — «отстань!» Не я, так другой.

— Пусти руку, сломаешь!

— Я тебе и ноги переломаю.

— Да отстань ты от меня... Пусти, больно!

— Заладил... А мы тихо-онечко, это спервоначалу больно, а потом...

— Пусти!

— Куда ты торопишься... недоделанный? Время есть, не боись, не шлепнут, а за твои пятнадцать лет... Зубами? Чистая баба! А мы в ротик подушечку... Сперва подушку, потом... Подержи его, Андрюха!

Я вылезаю из матрасовки, задремал после обеда. Боря ушел на вызов. По ту сторону дубка — возня, сопение...

— Вы что, ребята? — спрашиваю.

— Целку из себя строит... Может, придавить тебя, суку? Только спасибо скажут...

— Уйди, слышь, уйди!.. Закричу.

— Напугал... Держите его, на всех хватит!

— Перестань, Артур,— говорю,— что ты в самом деле?

— Да пошли аы все! Связываться лень, чистая богадельня. Давно бы отпетушили, сам бы ложился. Скоро год здесь — так? И никто ни разу не попробовал?

— Прекрати, Артур,— до меня дошло.— В своем уме?

— Не в тюрьме, что ли? Или, думаешь, тебя иа зоне баба ждет? Такие и будут... Да его еще на осужденке под шконку загонят, в «воронке» — хором, а уж на пересылках, в столыпинах!.. Ты думал, с девочками можно, а с тобой — нет?.. Да кто вы тут — недоделанные или у вас не стоит?

— У нас этого не будет,— говорю.

— Если я захочу — не будет? Ты — против меня?

— А что ты со мной сделаешь?

— То же самое.

— Не выйдет,— говорю,— утихни.

— Да я тебя счас... схаваю, сука!

— Не блажи, Артур, ты тут один — не проходит.

— А ты, Андрюха, что скажешь? — спрашивает Артур.

— У меня своих дел по самую эту,— говорит Менакер,— я а чужие не лезу.

— Что у вас за хата! — кричит Артур.— Этот вас пасет, через день к куму, а вы молчите, глотаете? Да он под тебя сидит, писатель, ослеп с горн?.. Я думал, на спецу отмокну, курсак набью, а на вас поглядишь — с души воротит!.. Да пусть ои задавится, нужен он мне, еще и жрете с ним — ему недолго осталось! Не дрожи, мразь!

— Утихни, Артур,— говорю.— Чего ты сорвался?

— Мало ты, Серый, понюхал, не показали, погоди. Думаешь, я таких не знал? Во Владимире не такие сидят? Валерку Буковского знал?

— Володю Буковского,— говорю.

— Валерка. Все знают. Гремит. И по радио, и... Валерий Буковский. Они, понимаешь, на что клюиули — он и его кореша? Им канал на волю — позарез. А где иайти — к нам, передайте дальше! За чай почему не передать. Не жалко. Они подгоняют ксиву, а кум слышит... Как узнал, его дело. Они нам чай и кум нам чай...

— Отдали?

— Что отдали?... Чай мы у них забрали, у Валерки, и у кума забрали, а... Зачем отдавать — ничего у нас иет, никто не подгонял, какой с нас спрос?

— Сколько ты раз сидел, Артур? — спрашиааю.

— Я асю дорогу сидел. И сидел, и выходил, и убегал. Я и сейчас уйду. Хотел дураку память оставить. Пожалеет. Мне б с тобой, Серый, на воле встретиться, я б тебя научил.

— Чему? — спрашиваю.

— Свободу любить. Сидишь пять месяцев, а желтенький.

— Откуда ж ты убегал, Артур?

— Откуда не убегал, спроси! Последний раз с суда. Маленько не доехал. Подгоннют «воронок»... Здесь, на Каланчевке, горсуд. А за ним сразу другой. Развернулся и — боком. Я выпрыгнул, мой мент еще в дверях, гляжу — раз в жизни бывает! Думать нечего — под «вороиок» и пошел! А там толпа, к вокзалам — не будет пес стрелять по толпе! Бегу, себе не верю — воля! Что думаешь — ушел!

— И долго ты гулял?

— Месяц. На хате накрыли, иа чужой. Я и зашел случайно... Да знал я, что туда не надо! Из-за бабы горим... Слышь, Серый, ты писатель, должен поиимать: баба — человек или кто?

— Думаю, человек.

— А хрен мне а том, что ты думаешь! Я тоже думал, ты человек,назудели — такой-сякой, я тебе место уступил, лежи, не жалко, а ты сопишь а две дырочки — какой от тебя толк? У Валерки Буковского чай был, а у тебя и того не возьмешь... Отдай тапочки — у тебя и сапоги, а я босой? В отстойнике, как вели сюда, отдал судовому, его передо мной полосатые разули...

— В сапогах жарко,— говорю.

— Тебе жарко, а мне колко. Не научили тебя, чего с тебя поиметь... Хотя Бедарев имеет. Эх, имеет он с тебя, Серый!

— А ты откуда знаешь?

— Знать не надо, в наличности. Он чем хвалится: письмо для тебя хранил, получил через... Что он вам, дуракам, траанит, развесили уши! Не понял, откуда письмо?

— Не понял,— говорю.

— Что ж ты его не спросил?

— А я никогда не спрашиваю, захочет, расскажет.

— Он тебе расскажет, как же. Осужденный Бедарев, ежу понятно. Ему и письма, и передачя, и свидания. То ли худо? Он и обделывает дела. Свои и чужие. Думает, игра двойная, всех об... А не поймет, не с теми сел играть... Они из него дешевку сделают, не отмоется. Он и на парашу попадет, погоди... «Дорогой Боря!» — пишет тебе сеструха, так? Что думаешь, кум того письма не читал?

— Откуда мне знать. Пусть читает, Боре письмо, не мне.

— Отвечать будешь — «целую, Боря»? Так напишешь?

— А ты хочешь за то чай получить?

— За что получить?

— За мое письмо.

— От кого получить?

— От почтальона.

— Я б с тобой поговорил, Серый, н могу научить, у меня не заржавеет, да не ко времени, меня сегодня-завтра уберут, я тут лишний. Здесь все стучат! Андрюха — вон сидит, зубами щелкает, ие стучит? Если он на воле со своим кентом сводил счеты, что ты тут от него хочешь?

— Не мели, Артур,— говорит Менакер.

— Сосунки-первоходки! Кто из вас чего стоит, чтоб пачку чая перевесил? Ты пожалел недоделанного, думаешь, если его кум *попросит*, он тебя не заложит? Кум ему такую хату устроит, голову из параши не вытащит, застрянет до суда, а на суд понесут, ногами не дойдет. Не заложит?

— Что тебе надо, Артур?

— Ничего мне от тебя, писатель, не надо, а чего надо, ты не можешь — нету и не научили. Скучно мне, Серый. Я почему, думаешь, бегаю? От скуки. Теперь дело есть — посчитаюсь. Сучонка думает, сдала, намотают срок! Не получится по-ихнему, уйду. Погляжу на нее. Она, видишь, с ментом спуталась... Да не с ментом — майор с Петровки. А мне того и надо, корешу помочь, на то и майор с Петровки, а она вон как сыграла — меня подставила. На ее хате взяли.

— Похоже,— говорю.

— Что похоже?

— Все похожи,— говорю,— и всё похоже.

— А я о чем? Я их перевидал, это на зоне караул — и на такую мразь полезешь, а н был и на поселении. Работенка — дневальный в душевой. И жил в душеаой —

малина! Смена идет после работы — по три часа ждут, а бабы норовят проскочить, когда никого. Наломаются за день, в грязи по уши — на картошке, в свинарнике, замерзнут... Да она за этот душ!.. «Цену знаешь?» — спрашиваю. Все знают!

— Очень похоже,— говорю.

— Да что похоже — ты про чего?

— Про майора, про кореша, про бабу. И все прочее. Тоска, Артур, я бы тоже убежал, но н быстро не могу. Догонит.

— Тут не ноги нужны, голова. И хотеть надо.

Борю привели поздно, мы уже отужинали. Он ничего не сказал, ни на кого не поглядел, разделся и полез в матрасовку.

— Есть не будешь? — спросил я.

— Что-то у них меняется,— сказал он мне вполголоса,— темнят, не пойму чего хотят.

— Ты о чем, Боря?

Я сидел на своей шконке, он лежал. Опухшее, и без того пожелтевшее лицо казалось черным.

— Он от меня того хочет, чего я ему... Если она и теперь не...— он замолчал.

— Ты у кого был, Боря?

— Пашка приезжал, кореш из управления. Никак с Генкой не разберутся. С Бутырки — на Петровку, с Петровки обратно. Еще чего-то на него повесили. Надоело. Хотя бы конец.

— Ты говорил, все лето вместе?

— Мне говорили и я говорил. У них, видишь как — сегодня одно, а завтра...

— Да у кого — у них?

— Давай, Серый, письмо, пока не поздно. Через день пойду к Ольге, передам, а что дальше, не ручаюсь. Сам видишь, хата неживая, так не оставят...

— Деловые! — крикнул Артур.— Кончай заседание! У нас тюрьма или вокзал? Поезда ждете? Все поезда ушли, больше не будет... Слышь, Боря, бунт на корабле!

Боря не ответил... Таких глаз у него я не видел — тусклые, пустые... Да он болен! — подумал я.

— Есть предложение, урки,— не унимался Артур,— кончать недоделанного, хватит ему коптить небо. Мы тоже люди, можно сказать, граждане, хотя и лишенные, должны, по силе возможности, участвовать в общественной жизни... Обществу польза, тюрьме лишняя пайка, а нас раскидают. Все развлечение, не ждать поезда.

И опять ему никто не ответил.

— Одному, что ли, идти на дело? — вопрошает Артур, лежит, уперся ногами в верхнюю шконку, как сжатая пружина.

— Значит, одному, ладно. Но и вы, суслики, не отмажетесь. Готовься, недоделанный! Приговор известен, сроки обжалования давно прошли, помиловки не будет... Молчишь? Бывает, редко кто поет песни. Молись, если умеешь... У нас, урки, демократия, ставлю на обсуждение, как его кончать. У кого какие предложения?..

Я поглядел на Борю: глаза закрыты, лоб в испарине.

— Нет предложений. Так и запишем. До демократии не доплыли. Научим. Прошу обсудить мои предложения... Или повесить недоделанного. На его матрасовке. Самое гуманное, быстро и без хлопот. Или сперва раздавить, что ему лишнее и больше не понадобится, а потом повесить. В зависимости от поведения. Если покается — повесим, не покается — сперва раздавим. За тобой слово, недоделанный! Или общество чего хочет добавить?

— Смени пластинку, Артур,— не выдержал я.

— Слышь, Боря, я говорил, бунт на корабле, интеллигенция путает карты. Когда их просят, они молчат, не хотят быть вместе с народом, а когда народ и без них обойдется, тут они вылезают — и нам дайте! Чего тебе дать, писатель, давить или вешать?

— Я тебя предупреждал, Артур, ты один, не выйдет.

— А Боря? Неужто с желторотыми? Откажется от борьбы за законность, за справедливость, пойдет с интеллигенцией, с недоделанным? Тебе слово, Боря!

И опять Боря не ответил. И глаз не открыл.

— Что бывает на корабле, когда капитан выходит из строя?.. Беру на себя! Командую флотом! Недоделанный! Снимай штаны, предъяви, что будем давить!..

Гриша вылез к дубку. Бледный, налитые кровью глаза, на толстых губах пузырится пена.

— Дождались! — Артур спустил ноги и приподнялся.— Понял неотвратимость наказания?

Гриша метнулся к двери, схватил «восьмерку» — бачок для стирки, и завизжал:

— Убью, убью, убью!..

— Андрюха!..— крикнул я и бросился к Грише.

Оторвать его от бачка мы не смогли, вцепился вмертвую. Так с бачком и уложили. Андрюха сел ему на ноги.

Артур сидел на шконке и смеялся.

— Общество включилось. Раскачались. Сейчас совместно приступим к казни. Начинай, писатель!..

— Уходи, Артур,— сказал я,— тебе тут не жить.

— Это как понять? — Артур явно развлекался.

— Нас четверо, а ты один.

— Двойка тебе по арифметике, писатель. Одно дело писать, другое — считать... Недоделанный — покойник. Андрюха на крючке, он в чужие дела не лезет. А капитан отсутствует по уважительной причине, кум его обидел. Обманул. Да и где он, наш капитан?.. Ка-пи-тан, улыбнитесь!.. А с тобой мы поговорим. Или ты четверых против меня стоишь?

— Хватит выступать, Артур,— сказал Менакер,— надоело.

— О! Це дюже гарно — жиды заговорили. Пора и нам переходить от слова к...

Я и головы не успел поднять, Менакер перемахнул дубок, рванул Артура за руку, крутанул и бросил на пол. Руку он не отпускал.

— Пусти, падло!! — заревел Артур.

— Еще хочешь? — спросил Менакер.

— Пусти руку!!! — орал Артур.

Менакер отпустил его, подошел к умывальнику, тщательно вымыл руки и подчеркнуто долго вытирался полотенцем. Опавшие, как мне показалось при встрече, мышцы на руках ходили под кожей буграми.

Артур молча собирал сумку.

Распахнулась дверь: корпусной, два вертухая.

— Что происходит?

— Забирай, начальник,— сказал Артур, он уже завязал сумку.— Задавлю, хуже будет.

— Почему бачок не на месте?

— Стирка,— сказал Менакер,— белье собираем.

— А этот что лежит? — корпусной кивнул на Борю.

— Больной,— сказал я,— пришел с вызова, плохо ему.

Корпусной подошел к Боре, сбросил одеяло.

— Что такое?

Боря открыл глаза. Может, он, правда, ничего не слышал?

— Заснул...— сказал Боря, лицо черное, неживое.

— Что тут было? — корпусной обвел нас глазами.

Никто ему не ответил.

— Кучеряво живете. В такой камере — пятеро! Завтра все пойдете на общак, там освежат.

— Меня хоть в карцер,— сказал Артур.— Забери отсюда, начальник, хуже будет, за себя не ручаюсь!

— Значит, ничего не было, все довольны, а этот просится в карцер? — опять спросил корпусной.

Артур шагнул к двери. Так и шлепает босиком.

— Где ботинки? — спросил корпусной.

Я снял тапочки и бросил к двери.

Артур повернулся ко мне, подумал и сунул в них ноги.

— Не отмажешься, писатель,— сказал он,— встретимся. Расплачусь. Получишь сдачу. За тапочки.

Утром за нами не пришли. Не пришли и вечером. А когда так же спокойно кончился еще один день, мы решили: обошлось. Два дня в тюрьме очень много.

Без Артура в камере стало совсем хорошо. Беспокойство исходило от человека, «скучно» ему было, а чего-чего человек не сочинит, когда скучно.

Четверо в камере на шестнадцать человек, конечно, «кучеряво». Мы это понимали, но, может, не раскидают, пугал, добавят человек пять, пусть десять, не страшно, если держаться вместе, кого хочешь перемелем. Хорошо нам было, а мне первый раз так спокойно. Да и знали мы друг друга очень близко, все равно что родня.

Боря к утру отошел, признался, что болело сердце: «Поплыл, мозги набекрень, устал, сплю мало...» Про Артура он ничего не спрашивал, я так и не понял, слышал он что-то или, правда, был в беспамятстве.

Гриша первый день совсем не вставал со шконки, мы его не трогали, а еще через день и он отмок. Успокоился.

И Андрюха повеселел. То, что я сказал про Костю, явно выбило его из колеи, и ему было важно, что в истории с Артуром он не сплоховал.

На второй день Грише принесли передачу, а в ужин Андрюха закосил две миски гороха. «Нажарим сала с горохом...» — сказал Боря.

Мы и гуляли в этот день всей камерой, и Борю вытащили — да его б одного не оставили, не положено. Припекало солнце, на небе ни облачка, возле трубы на крыше поднялась березка, дрожали зеленые листья... Летом и в тюрьме веселей: нет промерзших стен, не замечаешь ржавой сетки над головой — как не радоваться, если небо улыбается?..

— Ты чего в сапогах? — спросил Боря.

— Привыкаю. Три года ходить.

— Уйдешь, Серый, не будет тебе срока.

— Почему так думаешь?

— Носом чую.

— Вот и на общаке чуяли, пока амнистию не разнюхали.

— То и оно, что был ты на общаке, а теперь где?

— Бермудский треугольник, сегодня здесь, а завтра...

— Какой еще треугольник?.. Пиши письмо, не тяни, надо твоих успокоить. Валька обещала, сестра ждет... Пиши что хочешь, а подпись — «Боря». Она поймет.

— Она, может, и поймет, а зачем, если через Ольгу?

— Не верю я ей до конца. Для меня сделает, а если еще о тебе... А так отдаст Вальке и вся печаль.

— Ты говорил, она и для меня постарается?

— Ничего я не говорил, делай, что сказано, мало ли...

Письмо я и сам хотел написать — *предупредить*. Что, если у них там *дружба?* Могли клюнуть, шутка сказать — связь с тюрьмой! Обрадовались, размякли, не подставить бы Митю! Варианта было три: или Боря не врет и передаст письмо с Ольгой, или он, на самом деле, осужденный, переписка ему разрешена, а Ольгу придумал, чтоб не объяснять, как пойдет письмо. Или вариант третий — все это задумано кумом: проникнуть к сестре, подставить Митю или прознать, что я хочу передать на волю... Надо написать так, чтоб не только кум, но и Боря не понял, только Митя и сестренка.

Вечером мы «жарили» клопов. Боря придумал. Если жарить сало, вертухай унюхает, они теперь к нам особо внимательны, приведет корпусного — раскидают! А под «дезинфекцию» пройдет и сало.

На общаке с клопами бороться бесполезно, ничем не выковыряешь из «шубы». «Да их тут миллионы!..» — сказал один узбек, только привели, с ужасом глядя на шевелящиеся стены. На спецу проще, «шубы» нет, клопы гнездятся в железе шконок, в раковинах, трещинах, и после такого тотального прожигания дней десять можно спать спокойно, а через десять дней, когда подушка к утру становится красной — начинать сначала.

Мы посбрасывали матрасы на пол, скрутили жгуты из газет, зажгли «факелы» — и началась охота. Через полчаса в камере дым стоял столбом, ничего не было видно, мы ползали под шконками, находили новые и новые гнездовья, клопы погибали с жарким треском, мы настигали их полчища на стенах, на полу...

— Одновременно, сразу! — командовал Боря.— Со всех сторон, чтоб не переползали... Навались!

Вертухай только раз открыл кормушку:

— Что за пожар?

— Клопы зажрали, от вас не дождешься...

Кормушка захлопнулась.

— Давай, Андрюха, разводи печку,— сказал Боря.

Менакер располосовал свою матрасовку, пошел черный дым, я сидел на полу возле окна...

Еще через полчаса миски с кипящим салом, со шкварками стояли на столе, дым постепенно вытягивало в открытые окна, можно было перекурить.

Общее дело всегда сближает. А если оно для себя, самими придумано и польза несомненна... А тут и ужин нас дожидался — свой, собственный!

Гриша выдал каждому по красному помидору, вывалил печенье, разрезал два яблока. Он угощал и был счастлив.

— Еще бы выпить,— сказал Менакер.

Сало вылили в холодный густой горох, ели из одной миски.

— Меня учил один хмырь...— Начал Боря.— ...Чего смотришь, писатель, хлебай!

— Стесняется, отвык,— сказал Гриша.

— В большой семье еблом не щелкают,— хмыкнул Менакер.

— В Крестах было,— продолжал Боря,— подогнали передачу, а мы вдвоем. Нажарили сала, сели. Он наливает чай из фаныча в кружку, пошептал, поплевал, покрестил... А теперь, говорит, закрой глаза, сосредоточься и вспомни, когда последний раз выпивал. В точности вспомни: где, с кем, что на столе и — чтоб вкус во рту загорелся... Опрокинул — и окосел!

— Может, попробуем? — предложил Менакер.

— Не выйдет,— Боря отбросил ложку и вытащил сигарету.— У меня и тогда не получилось, хотя поддакивал — берет, мол... А может, и он врал, для понту. А может, такой... восприимчивый? А бабу, спрашиваю его, нельзя... вспомнить? Плевое дело, говорит, но смысла нет — штаны мокрые, а руки пустые. А если, мол, очень хочешь, попробуем...

— Похоже,— сказал Менакер и мне моргнул.

— Что похоже? — покосился на него Боря.

— Артур тут у нас выступал на эту тему.

— А куда он делся? — спросил Боря.— Не видать его?

— За бабами послали,— сказал Менакер.

— Вытащили его, что ли?

— А ты не слышал? — спросил я.

— Так вот, он тогда и начал рассказывать...— Боря мне не ответил.— Тот мужик до Крестов сидел в другой тюрьме, не то под Псковом, не то под Выборгом. Тюрьма, говорит, маленькая, по-семейному, полный беспредел, только что камеры закрыты, а так живи как хочешь. Бабы в том же коридоре через стену. Перестукивались, коней гоняли, а пришел один, вроде Артура, заядлый, ему мало, давай стену ковырять...

— Быть того не может, брехал тебе «восприимчивый»,— сказал Менакер.

— Было, было, я и от других знаю...

Гонит и гонит Боря свою байку, слышал и я похожее, а может, и на самом деле было, чего только не бывает в таком гиблом месте. Но ведь не просто так рассказывает. Как же мне написать это письмо, думаю, чтоб никто ничего не понял — ни Боря, ни кум, никто, кроме...

А в «семейной» тюрьме уже известку и мусор выбрали, спустили в сортир, кирпичи вынимают, полезли один за другим, а потом бабы — одна за другой...

«Бойтесь данайцев,— пишу я,— помнишь, Митя, мы с тобой так клопов величали? Вредные твари, заползут, угнездятся, не выкуришь. Данайцы, дары приносящие, а от тех даров ребенку зараза, не заболел бы малыш, да и взрослым вредно...» Ничего не могу придумать умнее. Поймет ли Митя?

— Тут и началось в том бардаке большое чувство, хотите верьте, хотите нет,— травит Боря.— Девчонка, восемнадцать лет, целочка, никого к себе не подпускает, они ее и так и эдак, и шалавы ее уговаривают, а она ни в какую, выскальзывает. Никому. Нет, так нет, без нее хватает, потом, мол, пожалеет. Но глаза-то у нее есть, у дуры, нагляделась, не один день, не одна ночь. А она молодая, кровь играет... Всем дали сапоги, а мне не дали сапоги — дайте мне сапоги! Короче, сама себе выбрала. Самого заядлого, кто кашу заварил. Как отбой, они на шконках у себя навалят одеяла, куртки, вроде спят, а сами лезут, те или эти. А к утру по хатам. Хорошо жили, и воли не надо. Она дождалась, как все под утро расползлись,— и в дыру, к нам на шконку. Разбудила. Я, мол, к тебе. Дрожит, первый раз. А зачем ко мне, спрашивает, почему раньше не хотела? А я, мол, тебя полюбила, без любви не могу, а теперь на всю жизнь, и на зоне найду, и после зоны будем вместе... И еще много чего, и стихи ему шепчет. На всю жизнь, надо чтоб крепко, говорит ей, а то забудешь, стихи — хреновина. К тому же у нас семья, все общее, как в коммунизме,— так что не обижайся, учись свободу любить... И они ее всей хатой, до поверки, тут не до того, чтоб об вертухаях вспоминать, такая началась любовь, летали... Накрыли их, конечно... Ты чего, Серый,— записываешь?

— Зачем ты, Боря, всякую мерзость придумываешь?

— Я рассказываю, как дело было, как он мне...

— Скучно ему,— говорит Менакер.— Артур от скуки, и Боря от того же самого. От того они и «вспоминают».

— Чижики вы желторотые,— говорит Боря,— об чем еще травить в тюрьме?.. Я давно за тобой замечаю, Серый, ты со мной не хочешь об чем у тебя душа болит. Монаха косишь? Не получается из тебя монах, больно ты... закрученный. А почему молчишь? Не иначе у тебя краля-недотрога... Они все одинаковые, Серый, можешь мне поверить, всего и надо три приема, первый не прошел, второй, третий применишь — не ошибешься, все будет в ажуре. Вы оба чокнутые с Менакером, тот про жену страдает, поговори с ним, все об одном — не дождется его! А как думаешь, Менакер, неужто она тебя ждать будет? Восемь лет? Еще теща зудит... Что они у вас, деревянные, ваши бабы? Кабы деревянные, вы бы сами к ним не полезли! А твоя, Серый, Ниночка из Пензы... Или и дальше лапшу будешь вешать?

— Не болтай, Боря,— говорю.

— Эх, Серый, себе портишь и... мне не поможешь. Из вас губошлеп самый нормальный, даром что шиза с рождения! Кабы у него крыша не текла и не полез куда не положено... Кончат губошлепа, задавит, надолго ему...

— Неладно с тобой, Боря,— говорю,— если все, что мелешь, сложить... Не пойму, что ты несешь, смысл-то какой?

— Так ему дружок в Крестах об том и толковал,— влез Менакер,— штаны мокрые, а руки...

— Да разве и вам об том толкую!..

Какое у него странное лицо стало, думаю, черное, глаза в красных прожилках, трясет его...

— ...Вы и понять меня не можете! Где вам... Уходить вам отсюда надо, вот н об чем! Если себя не жалко, сам себе срок мотаешь, чистеньким хочешь остаться... Перед кем ты красуешься, Серый, кто об том узнает? Ты бы... Да вы оба с Менакером! Вы бы о своих бабах подумали — как им на воле, сладко? Долго они без вас прокантуются? Особенно, если чего стоят,— подберут, не заржавеет! Не один, так другой, а если вместе, хором?..

Вон ты о чем, думаю, вон какие пошли заходы!..

— ...Если она молодая, из себя ничего, прикинутая, если в ней кровь играет, а заступиться некому...

— Какие у тебя предложения,— спрашиваю,— о чем ты, Боря, ежели без лишних слов?

— Думать надо, соображать, извилины у тебя, а не пшенка. Не петухом индейским кукарекать, видал я таких петухов — и на гражданке, и на зоне. Долго ли они кукарекают? Уходить отсюда — понятно? А для того ничего не жалко, а если ты о ком жалеешь, тем боле. Не о себе думать! Религия твоя чему тебя учит?..

— Какие мы все скоты,— неожиданно сказал Менакер,— несчастные скоты, последние. А ты, Боря, всех несчастней...

— Я-то? Ты про меня?

— Спекся ты, Боря,— продолжал Менакер,— я полгода наблюдаю, вышел из тебя пар. А какой орел был.

— Не каркай,— сказал Боря,— еще не вечер.

— Ночь однако, спать пора,— сказал Менакер.— Сегодня твой день, Григорий, ты хозяин, тебе и убирать.

— Ты это сделай, сделай...— шепчет Боря.

Мы лежали на шконке, тихо в камере, вроде, спят ребята.

— Да что делать-то, Боря, не пойму?

— Написал письмо?

— Написал.

— Давай сюда, завтра дернут к врачу, передам...— он дважды сложил письмо и сунул в карман.— Тебя завтра на допрос потянут, увидишь. Не завтра, так через день. Начинай говорить, не молчи, хватит, доказал, чего хотел...

— Что я должен говорить?

— Чего хочешь — не молчи! Уйдешь, я знаю. Ты книги писал? Написал? Что ты с них имеешь, с тех книг — ни денег, ничего! Не хочешь, не отказывайся. Что делал, то, мол, и делал, а больше не буду. Ты и не хотел больше писать, сам говорил? Так? Завязал. Понял?

— Пожалуй, Менакер прав, плохо тебе, Боря, ты не такой был, а сейчас...

— Вот что, Серый, я тебя попрошу об чем... Последний раз, запомни. Я тебя так никогда не просил.

— Что, Боря?

— Напиши ей письмо... Ольге?

— Какое письмо?

— Последнее. Те твои письма, учти, она наизусть знает, все помнит — повторяла... Последний раз напиши: помру, мол, чувствую, не могу больше. Или голову расшибу, или... Не знаю, задавлю кума. Блядь буду — задавлю! Не жить нам вместе на свете... Вызовет еще раз — не сдержусь! Я не болтаю. Я больше *не могу!* Ты меня понимаешь, Вадим, слышишь?..

— Хорошо,— сказал я,— напишу, а дальше что?

— Она сделает, сумеет, если захочет, она все...

Утром меня разбудил дождь. Брызги летели сквозь решку, гремело по железу.

Каким ужасом и... мерзостью кончилось недолгое счастье моего возвращения в камеру... Мне и подниматься не хотелось, хотя бы и день не начинался. Наверно, так и должно быть: тюрьма — не дом родной.

Мы похлебали «могилу», напились чаю. Боря не вставал, видно, заснул под утро. Менакер был мрачен, разговора не поддерживал. Зато Гриша ожил, подкладывал куски из своей передачи — смешной, трогательный... губошлеп. Вот кто несчастный человек!

Брякнула кормушка.

— Бедарев, с вещами!

Мы оторопело поглядели друг на друга. Почему-то казалось, такого никогда не случится.

Я тронул Борю за плечо.

— Тебя с вещами.

— Чего?.. С какими вещами? К Лидке, что ли?

Он вылез из матрасовки, закурил. Посидел, подумал, долго плескался у умывальника...

Дверь открыли.

— Готов?

— Готов, готов,— сказал Боря,— пошли.

— С вещами, сказано,— вертухай стоял в дверях.

— Спутал, служивый,— сказал Боря,— с вещами не пойду.

— Как не пойдешь?

— А так. Молча.

Вертухай грохнул дверью.

— Может, в больничку, Боря,— сказал я,— на тебя поглядеть, сразу положат.

— Больничка! Он меня близко не подпустит. Забыл?..

Опять открылась дверь, вошел лейтенант, подкумок.

— В чем дело, Бедарев?

— Никуда я не уйду из хаты.

— В своем уме? Собирайся!

— Он болен,— сказал я,— не видите?

— А вы тут при чем?.. Смотри, Бедарев, хуже будет.

— Хуже не будет. Некуда,— сказал Боря.— Допекли.

— Попомнишь,— сказал лейтенант.— Пошли без вещей.

— То другое дело...

Боря положил в карман пачку сигарет, спички, посмотрел на меня, похлопал по карману, в который вчера положил мое письмо, махнул рукой и пошел к двери...

Все молчали.

— Как понять? — спросил я Менакера.

— Раскидают хату, сначала его, потом за нами. Боря свое отыграл, здесь не нужен, а из нас суп не сварят.

— А я радовался, домой вернулся...

— Распустил губы,— сказал Менакер,— забыл, где находишься? Мало тебе позавчерашнего, с Артуром?

— Хорошо было вместе. Жалко.

— Я на него глядеть не могу. Накушался.

— Может, вернется,— сказал Гриша,— не первый раз уводят, ему все сходило, всегда было, как он хотел...

— Нет,— сказал Менакер,— он им надоел. Сыграл в ящик.

— Но за вещами-то придет!.. Увидимся,— сказал я.

Я сел за письмо. Что-то отчаянное было в последней Бориной просьбе, не мог я ему отказать! Или он купил меня тем, что *она* помнила мои письма наизусть? Как страшно он меня просил!..

«Радость моя! — писал я.— Пишу тебе последний раз, нет у меня больше сил — понимаешь? Нет! Если мы не можем быть вместе, вдвоем — только вдвоем! — я не могу жить. И не хочу жить. С самого начала, в ту нашу первую ночь, когда я тебя увидел, когда я нашел тебя, а ты меня, когда я поверил тебе... Я не могу не думать о тебе, я живу только тобой, тем, что помню, а я помню все, каждую встречу, каждое слово, твои губы, твои руки... А потому *делить* тебя не могу. Понимаешь? Не могу, не хочу и не буду. И ждать больше не стану. Прости меня и не забывай обо мне... Тебе последнее дыханье и мысль последнюю мою...»

Я писал, не думая, слышал отчаянный Борин шепот и... Что это со мной было? Что говорило во мне, кем я был?.. Не иначе, тем самым... мужиком в Крестах.

Через час дверь распахнулась. Вертухай.

— Где тут вещи Бедарева? Соберите.

— А сам он где? — спросил я.

— Матрас в матрасовку. Подушку, одеяло. Все.

Он прикрыл дверь.

Ребята собрали Борин мешок. Завязали. Какое-то предчувствие сжало мне сердце. Я сунул в жестянку из-под табака написанное письмо. На отдельном листе написал: «Господи, молю Тебя о всех, которых я, грешный, опечалил, обидел или соблазнил словом, делом, помышлением, ведением и неведением. Господи Боже! отпусти нам наши взаимные оскорбления, изжени, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, памятозлобие, ссоры и все то, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие... Храни тебя Господи, Боря!» И запихнул жестянку в мешок.

Дверь снова открылась.

— Кто-нибудь тащите мешок,— сказал вертухай.
Гриша с мешком и матрасом вышел за дверь...
— Чудно́. Верно, Андрюха? — спросил я.
— С ним всю дорогу чудно́,— сказал Менакер.
Гриша вернулся через полчаса.
— Чудно́! — сказал он, будто слышал нас.— Спустили вниз, но не в сторону сборки, а на осужденку. Я поставил мешки возле камеры, вертухай засунул меня в шкаф. И двух минут не прошло, открыл, а мешков нет! Выходит, его на осужденку?..

4

Менакер оказался прав: еще через день всех нас вытащили из камеры. Конечно, глупо было думать, что забудут, такая скученность в тюрьме, а мы втроем, как баре, добавить нам кого-то — значило бы оставить хозяевами положения, так камеры не строят, в том и кумовской замысел, чтоб ничего случайного, не им задуманного. Но *не хотелось*, ох, как не хотелось уходить из *дома*, из — два шесть ноль! Да и куда уходить? В том и дело, что катил нам только общак, спец — награда, а нам за что, только наказание, но куда денешься, обещал корпусной. Потому, пока мы тащились с пятого этажа вниз, с вещами, матрасами, подушками, одеялами, со всем своим скарбом, а барахла в тюрьме с каждым месяцем становится больше, отдавай-не отдавай, а с новой передачей прибавляется, да и жалко отдавать, все сгодится, научился ценить всякую тряпицу, коробочку, грифелек, это таким надо быть битым-стреляным, чтоб понимать — все лишнее в тягость, на этапе задавит, на зоне все равно отберут, но не просто решиться, только получил, пахнет домом, будто видишь, как складывали, разглаживали, подбирали, сколько в каждой такой ненужной тебе тряпке тепла-заботы... Да и как ненужной — все в дело, поди достань в тюрьме!..

Ползем вниз. Июнь кончается, жарища, нацепили, что влезло, чтобы легче тащить,— свитера, телогрейки, пот заливает глаза, и не глядел бы на милую сердцу спецовскую лестницу — больше ее не видать, как все глупо сложилось, что поделаешь, а о том, что ждет, и думать неохота, только общак, больше ничего не светит — толпа, духота, смрад, и так день за днем, другого теперь не жди.

Вот и сборка, отстойник. Грязь, темновато, вертухай закрыл дверь — и опять мы втроем.

Может, только я дергаюсь? Ребята спокойны: Менакер бросил в угол мешки, устроился на лавке, курит; Гриша увязывает рюкзак, упаковывает, как в дальнюю дорогу...
— Гляди, как повезло, Вадим! — улыбается Гриша.— Как знал, торопился с мешком — во какой!..

В последнюю передачу ему подогнали рюкзак — все ремни срезаны, ни завязок, ни пуговиц, ничего не положено! Неделю возился, распорол, перекроил, сшил из старой матрасовки лямки, я глядел и завидовал — мне бы такой! Но сейчас-то откуда у него силы радоваться, ему хуже всех, что с ним дальше — без нашей камеры, без Бори — плох ли, хорош, знал Гриша, он всегда защитит. Что же его все-таки держит, думаю, сила или глупость, а может, болезнь?..
— Жалко, Серый, мы с тобой мало,— говорит Менакер,— сколько потратил времени на эту... И называть не хочу. Ты со мной не как раньше... Косте поверил?
— Поверил, ты и не отрицал.
— Как не отрицал, я тебе объяснил?.. Ладно, разве в том дело, кому из нас ты поверил? Я не держу на него зла, он хороший малый... А как дальше жить?
— В каком смысле?
— Ты теперь битый зэк,— сказал Менакер,— нагляделся за пять месяцев. Как пришел, с тобой говорить было бесполезно, ничего не сек. Но тюрьма никого не учит, только калечит. Ты говорил с ними — у нас, на общаке, хоть кто собирается жить по-другому? У всех одно: попался, дал маху, не туда пошел, не с тем, не так закурковал, баба заложила, кент сдал, впредь буду умней, спасибо — научили, второй раз не залечу, теперь знаю, что почем... И дальше: как обмануть, не подлететь, словчить, украсть, чтоб шито-крыто — наука! А у меня разве так?.. Я всю жизнь знал — только на себя надейся, на свои руки, на свою голову... Но разве здесь голова нужна, руки? Я только раз попробовал — идут живые деньги, почему не взять, а мне они позарез... Да не деньги, мне бы свой дом, квартиру, пусть комнату, одну, но свою... Крыша мне нужна! Чтоб я — хозяин, с семьей, сын у меня — понимаешь?
— Ну и что? — спрашиваю.
— Я тебе говорил,— Менакер бросил в угол сигарету,— я не хотел, не мог ждать, чтоб это все к старости, когда жена станет злобной клячей, как теща, когда ее изъест проклятый советский быт, за каждой тряпкой, за табуреткой — драться! Я хотел сейчас, сразу, не дожидаться ихней милости. Хотел жить, как положено человеку, не быдлу, а здесь — нельзя, понимаешь — не получится! Ты говорил — возмездие, Беда-

рев запомнил, болтал-болтал, а для него пустые слова, разве его научишь, всех сожрет ради собственного брюха. А мне не надо чужого, я хотел жить как человек, а тут, пойми,— невозможно!
— Что — невозможно?
— Жить по-человечески невозможно. Только красть. А я не хочу красть. Короче, пусть дадут восьмерик, отмотаю, не боюсь я ни зоны, ни Кости, ни кума. Отработаю, выйду и...

Он замолчал и поглядел на Гришу.
— Ты чего?..— спросил Гриша.— Поверил, могу заложить?

Менакер махнул рукой и повернулся ко мне.
— Они меня достали еврейством, я и не думал никогда. В паспорте я русский. Но может, верно, еврей?
— Зачем тебе?
— Правильно,— Гриша растянул в ухмылке толстые губы,— я бы на твоем месте давно сообразил.
— И этот понял, даром что щенок. Уеду я отсюда, Вадим, больше не хочу. За восемь лет воды много утечет. Но если жена уйдет — пусть уходит, если сына не отдаст — что я могу поделать? А если останется, выдержит — я их увезу. Ты пойми, Вадим, ты сам говорил, хотя о другом, а я запомнил — разницы нету, здесь все сразу видно, а на воле не поймешь, сколько лет надо, чтоб разобраться! Советская власть в тюрьме — самая рассоветская, это на воле не понять, обмажут патокой, мы ее всю жизнь лижем — сладко! До смерти не разберем. А здесь кроят, не стесняются, на патоке экономят — оно и видно! Из говна соорудили эту власть, лизни — не захочешь... Здесь нельзя жить, Серый.
— Где — нельзя?
— В нашем гребаном отечестве. Ни русскому — нельзя, ни еврею — невозможно, ни татарину — сожрут. Но русскому и татарину куда деваться — живи, хлебай говнеца с патокой, радуйся, что живой, а еврею — мотай, еще подсвистят. Не так, что ли? У меня сил хватит, а там я сам себе хозяин. Там руки нужны, а здесь их ломают, там голова нужна, а здесь мозги повышибают, трухой набьют — и все довольны... Ты знаешь, о чем я подумал, когда Артур начал бухтеть, а потом Боря завел свою волынку — понял, зачем он ее завел?
— Вроде, понял,— говорю.
— Ему нас надо было раскрутить, а у него не получалось. Он и решил: на бабе они точно поплывут, у него мозги только на это настроены, а кум давит, ему от Бори давно никакого прока, место занимает, кантовался всю зиму, а место дорогое, надо платить, а ему нечем. Но ведь, с другой стороны, верно?
— Не пойму, Андрюха, ты о чем?
— С человеком можно сто лет рядом, с женой в койке — всю жизнь, а ничего про нее не узнаешь, особенно когда любовь. Деньги, тряпки, она на тебя глядит, ты на нее не надышишься — что тут поймешь, кто кого обманывает — и того не понять? А за восемь лет зоны цена определится, тут без дуры, высокая проба. Жестковато, конечно,— и для них, и для нас, но не мы выбирали, за нас решили... Потому, если она выдержит, если я выдержу, если силы будут-останутся, если...

Брякнула кормушка. Молчит.
— Чего надо? — спрашивает Менакер.
— Обедать будете, жмурики?
— Давай, давай!..— Гриша кинулся к кормушке.
— Сколько вас?
— Давай больше, утром не пожрали. Чего у тебя?..

Гриша таскает шленки с горячими щами.
— Мужики, последний обед, сейчас сала нарежу...

И вот мы хлебаем последний наш обед, а я все не могу понять, почему они так спокойны, а меня колотит? И щи, вроде, погуще, чем у нас, на второе горох, такая редкость, две лишние шленки, ребята едят, облизывают ложки, а я не могу, сохнет во рту, не проглотишь. Мало меня учили, слаба моя вера, никуда не годен. Не все ли равно — спец, общак, что нам еще придумали? Отстойник или дача на взморье, разве дело в интерьере? Или я все еще жду поезда?.. Верно он сказал, давно ушли наши поезда.
— Ешьте, мужики,— угощает Гриша,— мамкино сало. Купит на рынке, чесночком нашпигует... Чуешь, Андрюха?
— Нормально,— говорит Менакер,— запомню твое сало... Я вот о чем, Вадим, ты и сам о том говорил, помнишь, как пришел, через месяц было?.. За все воздастся, не в этой жизни, так в другой... Помнишь?
— Ну.
— А будет, ты точно знаешь — она будет?..

Открывается дверь. Вертухай.
— Менакер!.. Есть такой?

— Есть,— говорит Менакер.
— С вещами.
— Дай похаваю,— говорит Менакер.
— Давай. Только быстро.
Менакер берет кусок сала, хлеб и... кладет обратно.
— Вот так, Вадим, не договорили...

И вот мы тащимся дальше, на сей раз нас двое. «Я знал, будем вместе...— засмеялся Гриша, когда нас вывели.— Что-то я соображаю!» А что он мог сообразить, болтает, как вычислить кумовские ходы — высшая математика!.. Нет, общак едва ли, не станут они рисковать, дорого обойдется... И я с ужасом представляю себе Гришу в каждой из двух камер на общаке, в которых побывал... Но коли нас не разделили, мы вместе, выходит, и меня не на общак...

Пошли новые переходы, туннели — в этих я еще не был.
— На малолетку, знаю эту дорогу...— шепчет Гриша.
— Ты чего, какая малолетка?!
Ничего нет в тюрьме страшней, наслушался рассказов про малолетку!.. Но мы при чем?
— Там спец, на малолетке,— шепчет Гриша,— две или три камеры спецовские, у нас был мужик оттуда, рассказывал, они и гуляют внизу, где больничка...
Туннель выводит на площадку, пахнет свежей краской.
— Давай наверх,— говорит вертухай.
Лестница чистая, стены только покрашены, блестят.
— Куда ведешь, командир?
Не отвечает.
Прошли второй этаж — дверь распахнута, ремонт. Третий этаж, четвертый... Нежилые?
— Новый корпус, командир? — спрашивает Гриша.
— А вам интересно? — вертухай остановился на площадке.— Или думаешь — на волю?
— Далеко идти? — спрашиваю.— Тяжело с мешками.
— Шагай. Или тебе лифт подать?
Миновали пятый этаж — на крышу, что ли? Ползем дальше. Жара, солнце ломится сквозь решетку на площадках...
— Точно новый корпус,— говорит Гриша,— я видел, когда водили в больничку через двор, видно стройку.
— Прекратить разговоры!
Мы уже на шестом. Чисто, пусто, вроде, и тут никого... С меня течет, очки запотели, ноги дрожат.
— Заходи...
Маленькая камера, две двухэтажные шконки... Нет, еще одна, у двери — на шесть человек. Пусто. Кафельный пол заляпан свежей краской, сортир за кафельным барьерчиком... Мы — вдвоем!
— Ну, Вадим, такого не бывает!
— Погоди,— говорю,— какой-то подвох...
На дубке две новые шленки, две кружки, две ложки. Ведро под крышкой — теплый желтоватый чай...
— Да нас ждали! — хохочет Гриша.— Люкс!!
Открывается кормушка.
— Одеяла возьмите.
— У нас есть,— говорю.
— Молчи! — шипит Гриша.— Давай, давай — берем!
— Распишитесь за вторые одеяла,— говорит кормушка.
Одеяла новые, только со склада, пушистые.
— Да это санаторий! — кричит Гриша.— Ну дела...
Распаковываем мешки, Гриша обследует камеру. Открывает окно... За решеткой только что наваренные густые «реснички». Ничего не видно. Гриша забирается на подоконник.
— Серый! — кричит он.— Улица!
Пролезаю к нему: между решеткой и «ресничками», сбоку, узкий зазор, виден кусок улицы, прошел трамвай...
— Если вытащить кирпич,— говорит Гриша,— представляешь, какой будет обзор?
— А это что? — спрашиваю.
По решетке змеится заизолированная проволока.
— Может, слушают — не зря строили, продумано?
— Тебе всегда что-то кажется, радоваться не умеешь... Погоди! Понял!

— Что понял?
— Читал последние газеты?
— Какие еще газеты?
— Фестиваль через неделю, так?
— Зачем он нам?
— Иностранцев пол-Москвы, а Боря говорил — о тебе по радио пятый месяц базар. По ихнему радио. Иностранцы обязательно в тюрьму, куда им еще? А им тебя — глядите! В новом корпусе, в новой камере, под новым одеялом! Понял? Для тебя все!
— Не болтай, Гриша.
Открывается кормушка.
— Давай шленки.
Лапша.
— Дай еще две,— просит Гриша.
— Подставляй, не жалко,— шлепнул по второму половнику.
— Мы тут одни, что ли? — спрашивает Гриша.
— Не, еще есть...
Сидим через стол. Гриша достает масло, сало, конфеты.
— Улыбка Будды...— говорю.
— Чего? — распустил губы Гриша.
— Была такая история на Бутырке, очень похожая. Давно было, но разве у них хоть что-то может измениться? Перевели зэков в новую камеру, вымыли в бане, одели в чистое и выдали по полной шленке. Только ложки забыли.
— Что ж они, без ложек не управились?
— Управились. Настоящие были зэки.
— А Будда при чем?
— На фестиваль приезжал... Нет, быть того не может! Едва ли ты угадал, но... похожая история.

На другой день чудеса продолжались. Спали мы по-королевски, пушистые одеяла были у нас пледами, мы лежали на нижних шконках у открытого окна, между нами дубок, курили, пили теплый чай с конфетами, болтали заполночь; еще через день у меня должна была быть передача, и мы сочиняли невероятные гастрономические сюжеты. И библиотека нас ошеломила: давали по две книги на человека, а в других корпусах хорошо если доставалась одна на троих, там не выбирают. Здесь я углядел два тома Диккенса, упросил Гришу взять «Жизнь Арсеньева» и Блока: у меня руки дрожали, когда библиотекарша сунула книги в кормушку. И радио мы включали и выключали. Сами!

Но главное ошеломление ждало на прогулке. Дворики на крыше, лестница рядом с камерой, нас завели, сзади грохнула дверь, а мы так и остались стоять у стены... Жарило солнце, освещало розоватый свежий камень, правильные квадраты, и стены розоватые, из того же камня — и простор!
— Перебор,— выдавил я,— как бы, правда, кое-кто не пожаловал...
— Погоди, не то будет! — смеялся Гриша.
Вернувшись с прогулки, мы обнаружили шахматы, шашки, домино... Мы глядели друг на друга и бессмысленно улыбались.
В такой камере хотелось разговаривать. Сначала я поглядывал на решку со змеящейся по ней проволокой, потом махнул рукой — а что они услышат, если и слушают?
— Кабы не тебя жалко,— сказал Гриша,— но если б вдвоем, оттянуть тут мои пятнадцать лет, я б согласился.
Я подумал, что, пожалуй, тоже согласился бы, хотя пятнадцать лет многовато.
— Если не расстреляют,— Гриша поглядел на меня.
Я промолчал, суд у него должен был быть через день, разве оставят вместе, заберут губошлепа прямо с суда и на осужденку, больше не увидимся, а кого сюда сунут? Вот и останусь в этой золоченой клетке неведомо с кем, про общак тепло вспомню...
— Представляешь,— говорит Гриша,— адвокат у меня баба, а она за меня! Ты, говорит, забудь о расстреле, дураки тебя пугали, будем добиваться больницы, совсем уйдешь...
— Не слушают адвоката в суде, лучше не рассчитывай.
— Едва ли. Хотя... Я и не хочу в больницу, пусть зона, только бы... Зачем меня Боря пугал, ты как думаешь?
— Не знаю. Я не могу его понять, для меня он... А ты что о нем думаешь?
— Мало ли что я думаю. Наверно, ты прав. И Пахом был прав, и этот... Артур. Какое мое дело, я от него только добро видел, забили бы меня, когда б не он. А что стучит... Видишь, мне и это на пользу.
— Ты убежден, что он на них работает? — спросил я.
— А что мне, Вадим? Разве я кому судья? Ты и сам... Первые дни и ты меня сторонился, глядеть не мог, отодвигался. Заметно было, не скроешь. И Пахом... Хороший

мужик, понимаю, а на меня зверем. Они бы меня сожрали, в первый же месяц кончили, когда б не Боря... Да и Боря, если б его не за тем держали... Отрабатывал!.. Не хочу об этом. Ты мне вот что скажи, Вадим,— как мне жить?

— Так и живи, себе не прощай. Другим прощай. Если можешь, если силы есть. Мы должны прощать. Не можем не прощать. Особенно за себя. Мы говорили с тобой, с этого и начали — разве я отодвигался?.. Хотя тебе заметней. Но ты подумай, что будет с Борей... Иудин грех. Знаешь, что это? Видел, каким он уходил?

— Черный был. Допекло. Может, отойдет на этапе?

— Не отойдет. Ни на этапе, ни... От того, что с ним произошло, так просто не уйдешь, ничем он этого в себе не задавит. Вылезет, в самый неподходящий момент обнаружится. Не позавидуешь ему, как бы ни сложилось. Пусть никто не знает, не узнает, само будет в нем жить, пока...

— Что — пока? — спросил Гриша.

— Не знаю, не могу я об этом говорить...

Через день Гришу повели в суд. Странно он ушел, так не бывает: взял тетрадочку и шагнул за дверь. «Попробую без вещей...» — шепнул он мне. Вертухай не сказал ни слова. Значит, вернется. В любом случае вернется. Странно это было, но, по всей вероятности, и в такой странности идея — держать нас вместе и после суда, если не расстрел, вернут в камеру, он будет писать кассацию, ждать ответа два-три месяца, не меньше. Какая-то их хитрость. Но что могло быть лучше нашего положения? Остаться в такой камере вдвоем еще два-три месяца!

Непостижимо было и то, что когда за Гришей закрылась дверь, меня оставили одного. Я тихонько лежал на шконке, читал, не понимая ни одного слова, курил, а когда стукнула кормушка и мне принесли передачу... Первый раз за все эти месяцы я рассматривал каждый предмет, принюхивался, узнавал и, мне показалось, что-то понял. Потом развернул новенькую телогрейку и увидел вышитые на внутренних карманах *кресты*... И рюкзак мне подогнали — новый, с обрезанными ремнями. Я тут же попросил иголку и принялся шить, сверяя с рюкзаком Гриши... Может, Господь подарил передышку?

Гриша вернулся поздно. Я успел много: пришил лямки к рюкзаку, гулял в одиночестве посреди розоватых камней на крыше, одного меня водили в баню — душевые номера на первом этаже, горячей воды — залейся. Только пива не дали и махровых простынь. Удивляться мне надоело, а пугаться не хотелось. Пошли они со своей хитростью!..

— Давай к столу,— сказал я и вывалил свою передачу.

— Завтра,— сказал Гриша,— все завтра. И речь прокурора, и адвокат, и мое последнее слово. И приговор. Я и завтра не возьму вещи. Попробую. Они должны знать — понимаешь? Заранее. Если расстрел... Если прокурор попросит... Даже если приговора еще не будет, меня сюда не вернут... Придут за вещами, ты поймешь...

— Поешь, можешь не рассказывать.

— Одного везли...— он взял сигарету, зажег спичку и положил сигарету обратно.— Одного в пустом «Воронке», а рядом набили, как сельдей, в другую машину. А меня как короля. И конвой, когда туда ехали, со мной по-хорошему, клетку не запирали, угощали сигаретами, байки травили, Москву показывали... Застревали на каждом перекрестке, народищу! Конвой только на девок глядит, говорят, теперь голые ходят, под платьем ничего... Это когда туда. А когда обратно... Когда в зале наслушались — обвинительное и... все остальное... Я думал, они меня пришибут. Когда обратно везли.

— Что — остальное?

— Я не мог глядеть на мать. Она вошла, а я говорю судье: «Пусть она уйдет, я не буду при ней». Она ушла, и... понимаешь, не могу голову поднять. Судья спрашивает, прокурор спрашивает, адвокат подсказывает, я стою, а...

— Кто еще там был?

— Три девочки с матерями. Остальные не пришли. Повезло, сказала адвокатша, лето, каникулы — на даче, в лагерях... И еще наш комсорг из института. Требовал расстрелять и чтоб суда не было — не надо, говорит, все ясно. Судья на него рявкнула, оборвала. Представляешь, Серый, адвокат — баба, прокурор — баба и судья — баба! Я своим ушам не верю — судья за меня! Или я что-то не понял? Когда стала меня спрашивать, конкретно, тут я на нее поглядел. Она меня спрашивает, а я — молчу. Я только фамилию назвал, год рождения, а так — молчу. Что я могу сказать, Вадим? Ты подумай — что я им скажу? Судье и... Я даже тебе не могу... Нет, тебе я скажу, я давно хотел, не получалось. Тебе обязательно. ты поймешь... Этого нельзя говорить...— сказал он шепотом и поглядел на меня.

— Что, Гриша? — спросил я.

— Помнишь наш первый разговор? Ты пришел в камеру и тебя положили рядом со мной возле сортира? Другого места внизу не было — помнишь?

— Помню.

— Я тогда отмахнулся, я об этом и думать не хотел, не то чтоб разговаривать. У меня все силы уходили, чтоб их не слышать — ни Борю, никого. Но ведь так все время, все месяцы, с первого дня!.. Я дураком был, меня спрашивали и я рассказывал. А они — расстрелять, «зеленка», мы бы сами!.. Я не хотел показать, что боюсь. И не боялся. Перестал бояться. Страшней, чем было на Петровке, когда привезли... Такого уже не будет. Остальное мелочь. А тут... День за днем, месяц за месяцем... Потом ты пришел. Я на тебя глядел, слушал... Помнишь, ты перекрестился, когда первый раз сел за стол?

— Да,— сказал я.

— А когда ты ушел, я с Серегой разговаривал, староаером. И я понял... Ты не думай, я крещеный, меня отец крестил. Он давно не живет с матерью, они разошлись, мне пять лет. Потом отец стал брать с собой летом в отпуск. Он... веселый мужик. Один раз были мы в Карелии, там брошенные деревни, пустые разграбленные церкви... Один раз пристал к нам дед с бородой, священник. Кто он, чего там оказался — откуда мне знать, наверно, лет десять было. Только помню, они с отцом ночью пили, разговаривали, а утром отец говорит: тебя, мол, крестить надо. А зачем? Всякое может быть, а если ты будешь крещеный, нам всем легче. Я не понял и сейчас, наверно, не пойму. Но что он меня крестил, тот дед с бородой, помню, и крестик повесил, я его выбросил, когда надел пионерский галстук. В старой церкви — только стены, на одной висела икона, обсыпанная. Знаешь, когда обсыпаются?

— Где это было? — спросил я.

— Не помню, где-то в Карелии. И вот ты послушай, я давно знаю, заметил... Помнишь, Артур говорил, что ему *скучно*, он оттого и бесится, бегает, а тюрьму залезает. И Боря об этом, и многие тут. Скучно им. Ты обратил внимание?

— Обратил,— сказал я.

— А ты понимаешь, что *это*?

— Может быть,— сказал я.

— Когда тебя... *толкает*...

— Что толкает?

Мы сидели на шконках, между нами дубок, за окном стемнело, дневной жар уходил в открытое окно сквозь решку, сквозь почти сплошные «реснички». Гриша первый раз прикурил и теперь дымил непрерывно.

— Мы жили в коммуналке,— говорил Гриша,— я нагляделся на баб... Хотя ничего особенного, коммунал как коммунал, старый дом на Сретенке. Зайдешь к кому в комнату... Да не в том дело, что барахла много, а как они живут! И скандалы, и чему радуются, и блядство — скучно! И разговоры, разговоры — на кухне, по телефону под дверью. Мне все было скучно — и в школе, и в институте... Я жить хотел, понимаешь?.. И у отца, когда он брал меня с собой, в отпуск, и у костра — песни, разговоры, с бабами по кустам... Не мог я, понимаешь, Вадим?

— Понимаю,— сказал я,— только ты не договариваешь.

— Я хотел жить не так, как они живут, а как — я и сам не знал. И себя не знал...

Он замолчал, будто поперхнулся.

— Ты чего, Гриша? — спросил я.

— Да ничего! Не верю я, что болен, и врачи врут. Читал я их книги, все понял, там и понимать нечего. Может, я хотел того же, что Артур, а смелости не было, силы не было? Но, знаешь, я думаю, и он того не хочет, это... *не он*, понимаешь?

— Нет,— сказал я,— теперь я тебя не понимаю.

— Я никому не говорил, а тебе скажу,— Гриша был бледен до синевы.— Давно хотел, а... не мог. Когда я ходил на свои... прогулки, ждал у лифта и... Когда они подходили — в фартучках, с бантами, глядели на меня, а я открывал лифт и... Понимаешь, в чем тут дело?..

Я молчал.

— Ты меня поймешь, я знаю, я никого не могу обидеть, у меня не получится, если и захочу, нет у меня на то никаких... Это был не я, понимаешь? *Не я*. Я не знаю, кто это был и почему я им оказался, но знаю точно, и если бы можно было доказать и объяснить — я бы доказал и объяснил. Это был не я, ты слышишь?

— Слышу,— сказал я,— я тебя понял.

— Ты и не мог не понять. Но разве я могу сказать об этом судье? Или девчонкам, их матерям, комсоргу, которому надо меня расстрелять, конвою — они меня затоптать готовы! Даже адвокату — один на один? Да и зачем говорить, разве дело в том, какой будет приговор?

— Тебя надо было остановить,— сказал я.— Не знаю, каким образом, но... Вот тебя и остановили.

— Боря считает, что меня надо было убить. И он бы меня убил, если б ему не обещали, что он будет тормозиться до самого лета в тюрьме. Видишь, как все просто?

Утром он ушел, и опять без вещей.

И еще целый день я оставался один. Мне было так спокойно, что я перестал удивляться. Лежал на нижней шконке, курил и смотрел в окно сквозь густые «реснички». Неба видно не было, голубело между ржавым железом, даже облачка не различить. Почему им *скучно*, думал я, всем скучно — Артуру, Боре, Грише, был еще паренек на общаке — Князек, и ему скучно. Скука — это однообразие, думал я,— монотонность? Дьявол однообразен, хотя бесконечно «развлекает». *Отвлекает*,— уточнил я. Скучно с собой, а потому хочется *отвлечений*. Если ты будешь слушать себя, научишься слышать себя, то откроешь в себе... Бога. И тогда сможешь узнать Его, глядя в небо, на тихую гладь озера, понимать в том, как дерево одевается листвой... Тихое небо не может быть скучным — оно красиво, ты глядишь в небо и слышишь себя, а потому слышишь... Бога. А грозовое небо? Оно — страшно. Но и оно красиво, потому что и в нем ты понимаешь Бога. Значит, кому-то надо тебя отвлечь от *такого* слышания и понимания. Понятно *кому*. Но, значит, одному Он Себя, тем не менее, открывает, а другому нет? Быть может, в награду за то, что однажды ты отказался *отвлечься*, сказал — «Нет!», не впустил в себя тьму, душа очнулась и ей открылась красота, которую, узнав, ты уже будешь беречь, понимая, что ничего не может быть прекрасней и выше, что любое самое заманчивое; *отвлечение* только обман, тебя *толкает* и ты отдаешься, теряешь волю, тебя уже тащит, ты хочешь еще, больше, никогда не наешься и никогда не напьешься, а *он* хитер и неутомим в своей хитрости, это *его работа*, и если ты сделал шаг в *его* сторону, тебя уже не остановить. Все просто, думал я, особенно просто будет *после* тюрьмы: лежать в траве и глядеть в небо... Просто лежать и просто глядеть. Без решетки, без запертой, обитой железом двери. И знать, что можешь встать, спуститься к реке, сесть под деревом и глядеть... Но разве *его* нет в траве, возле реки, под деревом, разве *он* хоть когда-то оставит тебя в покое и разве ты сможешь быть хоть когда-то в себе уверен? В себе — нет, думал я, только в том, что Бог тебя не оставит, защитит, спасет, только в Нем надежда... Только в Нем. Себя я уже знал.

Привели Гришу поздно, позднее, чем накануне. После ужина. Я уже со страхом глядел на дверь: откроется, войдет вертухай за его вещами... Он был опять другой... Решительный. Нагловатый. Веселый... Неужто веселый?

— Чего? — спросил я.

— Пятнадцать лет,— Гриша прошелся по камере, стуча сапогами.— «Воронок» набили — по всему городу, по судам. Жарища, течет со всех... Кем набили! Трояк, четыре года, поселение... Только у одного семерик... Мелюзга! Похаваем?

— С матерью говорил? — спросил я.

Он бегло глянул на меня и отвернулся.

— Завтра свидание... Все спрашивают, всем интересно, как в институте на экзаменах: «У тебя чего?» Я как отрежу: «Пятнашка!» Только зенки таращат... Ладно, Серый, теперь мне море по колено.

На свежевыкрашенной зеленой стене против сортира прибиты крюки — вешалка. Гриша подошел поближе, взялся за крюк и — отломил.

— Спятил? — спросил я.

— Увидишь. Я давно придумал, если вернут в камеру...

Он пошире открыл окно и полез на решку.

— Не валяй дурака, Гриша,— сказал я.

Он возился на решке, гремел железом, скрежетал...

— Черт! Сорвался...

— Что ты там делаешь? — спросил я.

— Кирпич сорвался... Ну, если кому повезло...

— Прекрати,— сказал я.— Выкинут из камеры. Давай поживем спокойно.

— Спокойно не получится, Серый. Не вяжись ко мне...

Я схватил его за ногу, стащил с решки.

— Хватит, Гриша, пока я здесь, этого не будет.

— На сегодня хватит. Утром поглядим. Темно, ничего не видать...

Он говорил без умолку полночи. Рассказывал о себе, о женщинах — с яростью: «Они на меня не глядели — никогда! В упор не видели. Знаешь, как они смотрят? Глаза намазанные — синие, зеленые, рот красный...» О чем-то еще, противоречил себе в каждой очередной истории. О том, как любит старую Москву, переулки, знает каждое дерево на бульварах, а за деревьями каждый дом: «Вот что мне не скучно,— не бабы, не вся эта мерзость! Москву я сохраню в себе, не заберут — мои! Хочешь, пойдем по бульварам, в первый месяц, когда ты пришел в камеру, мы „ходили“? Пошли с любой стороны, откуда хочешь — давай со стороны Таганки до поганого бассейна?..» Я не отвечал, а он называл и рассказывал о каждом доме, о том, где, у кого и с кем там бывал, где можно посидеть, поесть, где вкусней и лучше, где купить мороженое... «Или, знаешь, Серый, давай пивка, а? Холодного? Или нет, нам с тобой по стакану коньяка — и пошел!..» Да ничего он никогда не пил, не пробовал, едва ли хоть что-то съел, кроме мороженого!.. «Я знаю, *кто* меня *толкает*,— говорил он,— и знаю — это был не я. А куда мне было деться? Но теперь все, теперь они со мной ничего не сделают. Ты говоришь, меня надо было остановить? Наверно. Они говорят, меня надо было убить. Может быть и так. Я не боялся, а потому меня оставили жить. Но теперь я им не поддамся, никому не поддамся — *ему* не поддамся!.. Вы все боитесь, и ты, Серый, боишься. А я, а мне... Пятнадцать лет! Кто еще столько схватил? Пахом — не больше десяти, восьмерик он схватит! Боре — четыре года красная цена, щенок! Про тебя говорить нечего, уйдешь прямо из тюрьмы. „Сколько дали?“ — спрашивают: в „воронке“, на сборке. „Пятнашка...“ А у них в глазах, знаешь что? Что ты, Серый! „У-у!..“ — говорят».

Утром он не поднял головы и во время поверки. Да какая у нас поверка: открыли кормушку, корпусной глянул и ушел. В одиночестве я съел завтрак, выпил чай; лежал и читал Бунина.

Наконец Гриша встал, сполоснул физиономию, поковырял кашу и закурил.

— Давай, Вадим, какой у тебя телефон? Передам матери. Она позвонит, все, что хочешь...

— Как же ты передашь — одни, что ли, будете?

— Не могут, кто боится, а я никого... Давай в шахматы?

Он расставил фигуры, глаза, как и вчера, шальные.

Я выиграл сразу, хотя всегда играл плохо. Он надул толстые губы, снова расставил фигуры, «зевнул» раз, другой, побелел и опрокинул доску.

— Читай свою книжку, Серый,— и полез на решку.

За окном грохотало, весь корпус, кроме шестого этажа, был нежилой, с восьми утра начинался грохот — стройка.

— Гляди, Серый!

Я выглянул через его плечо: улица, трамвай, люди, под нами плавала стрела крана.

— Еще один кирпич! — крикнул Гриша.— Крановщик подаст стрелу — передавай что хочешь! А если еще выломить, перелезем на стрелу — далее везде! Помнишь, Артур рассказывал — с суда ушел!

— Не мели, Гриша. Слезай.

— Отстань... Доковыряю кирпич, а там поглядим.

— Слезай! — я схватил его сзади за рубашку, стащил с подоконника.— Или будем вместе, или уходи!..

Он не успел ответить. Дверь распахнулась, в камеру влетел вертухай, за ним корпусной. Вертухай проскочил между нами, высунулся в окно — и повернулся с кирпичом и крюком в руках.

Корпусной присвистнул, взял кирпич и вышел.

— Все,— сказал я,— доигрались.

— Да по-шли они! Так и было, вон как стронт...

Я не ответил. Больше всего мне хотелось его избить, даже жалости не было.

Дверь снова открылась.

— Выходи,— сказал корпусной.

— На свидание, что ли? — спросил Гриша.

— На свидание.

— Тетрадку возьму.

— Можешь без тетрадки.

Гриша взял тетрадь, карандаш. Он был совершенно спокоен...

— Давай телефон,— шепнул Гриша,— пиши...

Я даже глядеть на него не мог от злости.

— Что возишься? — сказал корпусной.— Заждались.

— Дурак ты, Серый,— сказал Гриша.— Все вы чего-то боитесь! Все ладно, но ты? А говоришь, в Бога веришь. Ни во что вы не верите. Слабаки!..

Через полчаса дверь с грохотом распахнулась и майор с лошадиным лицом ворвался в камеру. «Тот самый — по режиму...» — вспомнил я.

— Тюрьма не научила?! Научим! Да я... Да я вас всех!..

— Что вы кричите? — сказал я, мне было все равно.

Он прошагал к окну, выглянул.

— Почему открыто окно? Кто разрешил?!

— Жарко,— сказал я.

— Жарко?! Будет холодно, обещаю... Сегодня мы кой-кого проверим на силу духа...

Он метнулся из камеры.

— Распустили! — кричал он за дверью.— Я покажу им!

Я начал собирать вещи. Хорошо, успел с рюкзаком, ничего нельзя откладывать в тюрьме...

Дверь снова распахнулась.

Этот майор вошел иначе. Спокойный, черный, как жук, черные, внимательные глаза скользнули по мне. Он пролез мимо дубка, тяжело оперся на подоконник, грузно подтянулся...

Я смотрел на его руки, густо поросшие черным волосом...

«Он, он!» — понял я. Руки я угадал. Но он был совсем другой, неожиданный.

Так же грузно, тяжело он слез с подоконника и поглядел на меня поверх дубка. Я не вставал.

— Что тут произошло? — спросил он.

И голос был не таким, как мне «слышалось». Скорей вкрадчивый, чем властный.

— А что произошло? — сказал я.

— Вы считаете, все нормально?

— Увели, а куда не сказали.

— А кирпич? — спросил майор.

— Кирпич?

— Да, кирпич из стены.

— Верно, дежурный вынул. Я не понял зачем.

— А это что? — майор ткнул волосатым пальцем в вешалку с обломанным крюком.

Я привстал и посмотрел на вешалку.

— Что с крюком? — повторил майор.

— А... не обратил внимания. Отломился.

— Понятно,— майор глядел на меня с нескрываемым любопытством.— Сила есть — ума не надо. Стальной крюк отломили.

— Едва ли стальной, сталь нынче дорогая.

— Что ж вы так оплошали,— сказал майор,— взрослый человек, серьезный, солидный... Не могли его остановить?

— Не понял,— сказал я.

— Все вы поняли. Дали бы ему по шее. Покрепче. И вам было б лучше. И ему на пользу.

— За что? — спросил я.

— Ваше дело. Впрочем, каждый сам выбирает. К вам у нас нет претензий, а вот к вашему... Не понимают люди, не хотят жить по-человечески.

Он глядел мне в глаза, даже пригнулся над дубком.

— Недоразумение,— сказал я,— пожалейте мальчишку.

— Так думаете?.. Ну, ну.

Он вышел.

Гриша вошел тихо, пар из него явно вышел. Сел на шконку, взял ручку и написал на газете круглым детским почерком: «Они слышали каждое наше слово. Они сказали, больше мы с тобой никогда не увидимся. Они...»

Он бросил ручку и сказал:

— Десять суток карцера. Сейчас уведут.

Я молчал.

— И свидание было,— сказал Гриша.— Мать плачет, ничего не понимает. А что я ей скажу?.. Прости меня, Вадим, все из-за меня...

Дверь открыли.

— С вещами. Оба. На коридор.

— Я никуда не пойду,— сказал я.

— Как не пойдешь?

— Это моя пятая камера. Хватит.

Вертухай закрыл дверь.

Гриша молча собрал вещи. Я пытался вспомнить, о чем мы тут с ним болтали. «Каждое слово...» — написал он. Вот она, «улыбка Будды». Улыбнулась.

«С тобой какой майор разговаривал — черный волосатый?» — написал я.

«Он,— написал Гриша,— главный кум. Тот самый, о котором, помнишь, Боря...»

Вошел еще один майор. Третий за сегодняшний день. Сколько же их в тюрьме?

— В чем дело? Почему не подчиняетесь?

Я сидел, а он стоял надо мной. Холодные глаза, брезгливо сжатые губы. С таким не договоришься.

— Это моя пятая камера. Никаких причин переводить меня нет. Не пойду. Доложите начальнику тюрьмы.

— Я дежурный помощник начальника следственного изолятора. Здесь и распоряжаюсь. Мы можем переводить вас хоть каждый день. А вы будете подчиняться. Начальника тюрьмы нет.

— Не пойду,— сказал я.

— Ну что ж, наденем наручники. Поведем.

Наручников я не хотел. Но и на общак не хотел.

— Хорошо,— сказал я,— передайте начальнику тюрьмы, когда появится. На суде я заявлю, что на меня оказывали моральное давление. Психологическое давление. Физическое давление. Расскажу о каждой камере, в которой был. И о наручниках. А завтра напишу прокурору.

— Ваше право,— сказал майор.

Мы тащились с шестого этажа нагруженные, как мулы. Барахла стало больше, прибавилась моя передача, а сил почему-то меньше. Майор, корпусной и вертухай шли сзади, вполголоса переговариваясь. Мы молчали.

Нас завели на сборку, запихнули в узкий коридорчик. С одной стороны одноглазо глядел ряд боксов.

Вертухай открыл две двери рядом и кивнул.

В таком я уже был, как же, когда первый раз вели со сборки. Тогда нас запихнули в такой бокс троих. Я не мог понять, как мы смогли поместиться. Матрас я кинул под ноги, мешок на колени. С меня текло. «Что же сейчас на общаке?»

— Вадим! — услышал я через стену.— Как все глупо, как я сорвался! Зачем? Что это со мной?..

— Прости меня, Вадим,— говорил Гриша через стену,— вот я и тебя подставил. Видишь как? Меня *толкает*, я толкаю тебя, а ты...

— Я не толкну,— сказал я,— я Бога боюсь, а ты расхвастался: никто, никого, а ты всем... Тебе и показали.

— Прости меня, Вадим,— повторил Гриша.

— Бог простит,— сказал я.— К Нему обращайся, не ко мне. Он поможет, а больше никто.

— Я еще... побарахтаюсь,— сказал Гриша,— я еще попробую. Может, я еще сам, я теперь...

Было слышно, как рядом скрежетнул замок.

— Выходи...— услышал я.

— Прощай, Вадим! — крикнул Гриша.— Вспоминай!

— Ладно, Гриша,— сказал я, глядя перед собой в железную дверь бокса,— все проходит, и это...

— Сколько дадут карцера — чирик, не меньше? — услышал я Гришу.

— А ты думал, чего заработал? — ответил вертухай.

5

— Пой, сука! Пой!..

— Уйди, говорю... Отпусти. Больно!

— Не хочешь петь?.. Повторяй: я признаю, что продал родину... Признаю, продал план советского завода за...

— Менты!!

Я ничего не могу понять!.. Всего пять дней меня тут не было! Пять дней назад нас увели из — *нашей* камеры, из — два шесть ноль! Ее не узнать... Микрообщак: сизый дым, смрад, гвалт, толпа... Толпа!

Сзади скрежетнула дверь. Закрыли.

— Вадим?! Откуда...

Выхватываю знакомое лицо из кучи, густо облепившей дубок:

— Пахом!..

Очочки, лицо отвердело, подобралось. Другой. Но тот же — тот самый!

Бросаю мешки, шагаю ему навстречу, а он уже выбирается из-за дубка:

— Вадим, Вадим!!

— Откуда ты сюда свалился?

— Третий день... Набивают камеру, сам видишь... Ну, не думал!.. У меня место рядом свободное, будем вместе.

— А где ты?

— Да вон, второе место на первой шконке — мое!

Следующая за ней шконка, крайняя. У самого сортира лежит коротышка, сжался, скукожился, завернулся в одеяло. Возле него блестят черные железные полосы — шконка пустая.

— Отлично,— говорю,— сейчас раскатаю матрас...

Пролезаем на шконку к Пахому. У него по-домашнему: полочка, на ней табак, нарезанные листочки газеты, раскрытая исписанная тетрадь...

— Сочиняешь? — спрашиваю.

— Я теперь кляузник, я их добиваю, добью! Пишу, пишу... В прокуратуру, в ЦК, в «Правду». Я их выведу на чистую воду... Слушаешь радио?

— Мне и без радио весело.

— Зря. Надо слушать. Тебе особенно. Всем, кто соображает. Что ты! Каждый скажет, такого не было. Но я их лучше знаю. Увидишь, обязательно провертся. Проколется! Одна шайка. Но — когда? Вот в чем дело. Это и интересно.

— Зачем время тратить?

— Погоди, поговорим! Не так все просто, тут от отчаяния — и хитрость... Ладно, вместе! Прокололся кум, недодумал!.. Слушай, давай к нам в семью?

— В какую семью?

— А у нас тут две семьи и двое бесхозных.

— На спецу? Вы что?

— Приглядишься...— говорит Пахом.— Миша! Мой кореш к нам, не возражаешь?

— Ну... если ты... Давайте сюда.

Здесь, и верно, общак, думаю...

Миша — конопатый, желтый, черные глаза сощурены.

— Давно здесь? — спрашивает.

— Пять месяцев.

— А с Пахомом где снюхались?

— Мы тут аборигены. Видишь, вернулся. Погулял на общаке и сюда. Пять дней на новом корпусе и обратно.

— На новом корпусе был?

Этот вопрос с другой стороны дубка: роговые очки, нагнул по-птичьи голову, седоватый...

— Шесть этажей,— говорю,— чистота, свежая краска, вторые одеяла, библиотека — по две книжки на рыло, душевые номера, как в Сандунах, а дворики из розового камня — Сочи!

— Гебевский корпус,— говорит еще один, золотоволосый красавчик лет двадцати пяти в шикарном спортивном костюме, это он крутил руку узбечонку, когда я вошел.— Точно знаю, они, для себя строят, тесно в Лефортове.

— Вполне вероятно,— говорю,— похоже.

— Большие камеры? — спрашивает Пахом.

— Маленькие, а на шесть человек. Нас было двое, а если набить, на общак захочешь.

— Что ж тебя оттуда выбросили — или сам захотел?

Это седоватый, в очках.

— Двое нас было. Помнишь, Пахом, губошлепа?

— Неужто не пришибли? Вот мразь... Сто семнадцатая, четвертая часть! Да я его б сам...— Пахом сжал кулаки.

— Пятнадцать лет схлопотал,— говорю,— ладно тебе, начнем по своему разумению устанавливать справедливость, а потом будем жаловаться — закон не соблюдают... Получил срок и загулял. Полез на решку, выворотил кирпич, наболтал, язык что помело, а там пишут...

— Я говорю — Лефортово! — кричит красавчик.— Мне бы твоего соседа, я б с ним разобрался...

— С вами хорошо,— говорю,— и прокурора не надо... Так что, берете меня в семью? Кто у вас еще?

— Мурат, мой приемыш,— говорит Миша.— И Гера. Вон, на первой шконке.

Мурат — тоненький узбечонок, лицо с нежным пушком, как у девушки, улыбается. Гера — сырой мужик лет под сорок, суетливый, с красным, будто обваренным, тупым лицом.

— Тогда, Пахом, принимай мой вклад,— выкладываю из мешка продукты,— мы с Гришей едва их начали.

— Видали,— говорит Пахом,— какого нашел семьянина?

— Что ж ты, если он тебе кент, обнимался с ним! К кому ты его подкладываешь? — это Миша говорит.

— Рядом будем. Или плохо? — говорит Пахом.

— Соображать надо. К *кому* кладешь?

— А что такое? — спрашиваю.

— Ложись,— говорит Миша,— завтра вся тюрьма будет знать. С кем тебя положили, а ты лег.

Я оборачиваюсь на пустую шконку: коротышка съежился, лежит на самом краю, носом к сортиру.

— Мурат! — говорит Миша.— Давай наверх, освободи...

— Конечно! — улыбается во весь рот Мурат,— давно хотел наверх. Весело!

Вон какие порядки в нашей старой камере!

Утром я проснулся и мне показалось, все понимаю, обо всем догадался. Я лежал на первой шконке, на месте Бори Бедарева, на бывшем моем «воровском» — Гера. Места у них у всех, как я понял, случайные, ни о чем не говорят — кто первый пришел, захватил, что получше. Только складывается камера. А кто ее складывает?..

Через проход от меня — Петр Петрович, седоватый, в очках; рядом красавчик Валентин. Эти двое — вторая семья. На другой стороне Миша и Пахом. Коротышка один у сортира. И наверху двое — Мурат и некто, кого я до сих пор не видел. Вчера ни разу не спускался — может, ночью, когда я спал? Лежит носом в подушку, вроде, спит. «Кто такой?» — спросил я Пахома. Отмахнулся... Какая ж толпа, думаю, всего девять человек. Разберемся.

Что все-таки за история с новым корпусом, думаю я, зачем они меня туда сунули, почему выкинули и — обратно?.. Почему обратно, можно понять: с Гришей накладка, неожиданность, одного оставлять не положено и смысла нет — молчать буду, ничего не узнаешь, да и слишком шикарно. На общак не решились, я твердо обещал написать прокурору и заявить в суде. Подействовало, майор поверил. Зачем им? А теперь на что жаловаться — вернули на место. Понятно. А зачем повели в новый корпус, в чем тут загадка? «Пересменка», некуда было деть, пока сложится камера? Или идея другая — «улыбка Будды»?.. Такая тоска разгадывать их фокусы — мое какое дело! Все тот же *рогатый*, думаю, начнешь крутиться в им предложенном колесе, голова пойдет кругом, ослабнешь, и то, что рядом, не разглядишь. Тут и проколешься, того и надо. Вот в чем игра. Я считал, следственная тюрьма — это борьба со следователем, он тебя будет дожимать, щупать, проверять на вшивость... А тут... Я забыл о моей красотке, видел два раза за пять месяцев! Все происходит в камерах, они меня и без следствия достают, чужими руками размажут...

— Как хорошо в тюрьме!.. — слышу я и переворачиваюсь.

Петр Петрович. Тренировочные рваные штаны, чистая маечка без рукавов. Лет пятьдесят. Стоит возле шконки, закинул руки за голову, потягивается. Лицо безмятежное.

Похож на бухгалтера, подумал я вчера — тихий, внимательно-вдумчивый... Нет, инженер средней руки. А сейчас гляжу — что-то неуловимо иное: острые глаза, широкий крепкий подбородок, тяжелые складки у хищного рта... Кто ж такой?

— Пробудился? — спрашивает.— Здоров поспать, нервишки в норме. А вчера, гляжу, дергаешься. Не нравится в тюрьме?

— Как тебе сказать...

— А чего не сказать — хорошо! Кормят, спать дают, гулять, в бане моют, работать не надо. Или скучаешь?

— Бывает,— говорю.

— То-то я гляжу... Семья?

— Семья.

— Чудной вы народ, интеллигенты. Тут у тебя решетка, верно. Дверь закрыли. А там — ни решетки, ни запоров — семья... Или у тебя была свобода?

— Дело вкуса,— говорю.

— Да ладно тебе! Вижу, лишнего не скажешь, а все одно дергаешься. Гонишь?

— Тебе видней.

— Я тебе вот что скажу...— сел на шконку, наклонился ко мне, жилистый, руки в наколках, а грудь чистая.

Какой он бухгалтер!

— Поторопился, малый. Только вошел в камеру, не огляделся, чего ты мог скумекать? И сразу в семью, харчи отдал... Кореш у тебя. А что с корешом? Плохо ты тюрьму знаешь, сегодня человек один, завтра другой. Не промахнись.

— У тебя какая ходка? — спрашиваю.

— Шестая, на особняк плыву. Года четыре вмажут, пусть пять, больше не возьму, а там поглядим.

— И не дергаешься?

— Законное дело, передышка. Ежели я полгода погулял, а год — много, я так живу, тебе не приснится. Не обидно отдохнуть, хоть и на особняке.

— Ты по какому делу? — спрашиваю.

— По квартирному. Дело неторопливое. Изучаем, приглядываемся, а когда созреет... Горячка не годится, по наколке. Или скажешь, с моралью не ладно?

— Как тебе сказать...

— Стеснительный... Погляди с другой стороны. Они копили, откладывали, на мыле экономили... Едва ли, конечно. С такими скучно заводиться. Мои клиенты народ шустрый, у самих рыло в пуху... Ладно, пускай твоя правда — трудовой народ. Сколько копили — год, десять лет? Приобрели, рады. А я забрал. Обидно, да?.. Переживают, слезы льют. Жалко человека, тем более, если женский пол... А меня не жалко? Полгода в тюрьме, месяц на пересылках — и на зону! Год, другой, пятый... Кому хуже?

— Ловко.

— Справедливо! Ущерб материальный или, как говорится, моральный. Что перевесит?

— Меняй профессию,— говорю,— тебе судьей служить.

— Скучно, надоест копаться в дерьме. Мое дело почище... Ты приглядывайся, это тебе не книжки писать...

Камера просыпается. Пахом встал у решки на зарядку: брюха нет, втянуло, крепкий еще мужик. Миша в сортире, водные процедуры — болеет, что ли? Мурат улыбается, всех приветствует — тонкий, стройный, чернобровый... Мой сосед Гера сидит на шконке, бессмысленно лупит глаза; когда я засыпал, слышал его рассказы: мясник в магазине, а подрабатывает в крематории на разделке трупов: «Деньги большие, а работа плевая, не барана разделать, и спирту залейся...» Когда б не моя счастливая способность спать в любой ситуации, они бы меня заколебали!

Коротышка недвижим — что за фрукт? И еще один, неопознанный — наверху. Так и не видел... Красавчик Валентин — вот кто не нравится, беспокоит: такая наглость в парне — здоровый, мордатый, холеный. А перед Петром Петровичем лебезит, заискивает...

Нет, не много я еще понял.

И с Пахомом разговор вчера был тяжелый. «Я видел Борю Бедарева,» — сказал я.— «Ты?..— покраснел, на носу и под очочками блеснули капельки пота.— Мне б он встретился, гад... Ты знаешь, что он...» — «Знаю, Менакер и Гриша рассказывали. Я и без них понял. Он отдал фотографию и письмо».— «Твои? И письмо, и фотографию?..» — «Мои».— «Ну, не знаю...» — «Оставь его, ему хуже нашего. Мы за свое получим... Или не за свое, но эта наша ситуация. А он и за нас».— «Таких надо давить,— сказал Пахом.— Если таким прощать, жить нельзя. И того, кто прощает... Тебе говорили, как он меня сдал?» — «Я его видел неделю назад, он уже за все платит».— «Перестань, дешевая игра, тебя только ленивый не купит, всем веришь, такие, как он...» — «Ладно, Пахом,— сказал я,— не хочу о нем, без того тошно...»

За завтраком у меня кусок не лезет в горло. Вчера не дошло, не врубился.

Наша семья возле телевизора. В торце Миша, с одной стороны и с Пахомом, напротив Мурат и Гера. Миша режет сало... Оглядываюсь на Пахома: очочки блестят, губы сжаты, сопит. В чем дело?.. У Миши рука толстая, играет заточенной ложкой, а куски... Вон оно что! Зачем же ты полез в семью, коли так! Сам полез и меня потащил?

Чуть подальше расположились Петр Петрович и Валентин. У них скудно. Сала нет, режут засохший сыр из ларька.

Неопознанный наверху не шевелится, а коротышка на своей шконке, спиной к нам, носом к сортиру, ковырнет в миске ложкой...

Тоска!

— Разбудили бы человека к завтраку? — киваю наверх.

— Саня! — кричит Мурат.— Какаву подали!

Неопознанный перевернулся, дрыгнул лапой, шевельнул грязными пальцами, лица не видно.

— Потом...

Живой, думаю. Голос хриплый, как из бочки...

На общаке «семья» естественна: шестьдесят человек, как иначе прокормиться, а здесь, когда нас всего девятеро... Не мое дело, только пришел, сразу не сообразишь...

Мурат собрал шленки, потащил к умывальнику. Пахом дуется на меня за вчерашний разговор. Сижу у Миши на шконке. На полу, у окна, стопочка книг. Военные повести, две книжки «ЖЗЛ», роман о Батые... Лесков!

— Никто не читает,— говорит Миша,— себе беру. Чтоб не... отстать. Самое страшное — выйду с зоны, отстал.

— От чего отстал?

— Мне сорок пять, выйду — за пятьдесят. Кем буду?

— А кем ты хочешь быть?

— Гляди...— достает из-под подушки конверт, вытаскивает фотографию.

Цветная. Большой телевизор, «стенка» с посудой, хрусталь. В кресле средних лет женщина. Усталая, отцветшая, с вытертым постным лицом. Нет, не узбечка — еврейка? Старомодное платье, бусы на морщинистой шее. С двух сторон девочки лет десяти-двенадцати. Кружевные платьица. Похожи на мать.

— Мои,— говорит Миша.— Дом в Ташкенте. А я бывал месяц в году, не больше. Одесса, Воронеж, Москва... Дело. Сам понимаешь — дубленки... В Москве у меня баба, квартира, машина. И в Одессе машина... Ясно? Приглядел под Москвой дом, в этом, как его... Звенигороде... Короче, ошалел от денег, я им счет потерял. У меня-то они ничего не нашли. А к матери заглянули, тоже в Ташкенте, триста сорок тысяч хапнули.

— Не мог подальше спрятать?

— Я уже не соображал, позабыл где живу. Ошалел...

— А чего ты здесь? Если Ташкент...

— Сначала в Ташкенте, потом в Лефортово, на раскрутку... Там бы пришибли. Теперь сюда...

— Много подельников? — спрашиваю.

— Обещали — уйду от вышки, понял? Обещали десять лет. Твердо. Если бы обманывали, они б меня сюда не перевели. Еще месяца три, потом в Ташкент. Там и суд будет. Со следователем нормально, поняли друг друга. Похоже, выкрутился. Если десять лет — что я там, не договорюсь? Раньше выйду! Главное... Короче, жить буду. Вот и не хочу... отстать.

— Как же ты отстанешь, у тебя вон какое сражение, тем же самым занят — продаешь, прикупаешь? И товар подороже — не дубленки. За один день столько переживешь, раньше бы на год хватило. Не так?

— Не понял. У них кино, телевизор, любые книги. А у нас тут с тобой?

Поднимает голову, в карих глазах злоба:

— Куда лезешь, падло?! К дубку... На парашу, мразь!..

У дубка коротышка: короткие ноги, длинные руки, альбинос — белые ресницы, свалявшийся пух на голове, лицо изжеванное, как мятая перчатка... Хватает миску, только что поставил на край дубка, и семенит к сортиру.

— Кто он? — спрашиваю.

— Мразь, а твой кореш хотел тебя к нему. Ума палата... Некрофил, сука! Его тут во всех камерах... Сюда сунули, чтоб оклемался. Пришел позавчера, в руках шленка... Видал дурака? Со своей посудой ходит, заместо паспорта, чтоб не обознались. Если он нашу шленку тронет, убьем...

— А этот? — киваю наверх.

— Подонок. Мать зарезал.

— Как... мать?

— Ножом. Не камера — обиженка! Их бы в другой хате...

Катится жизнь в моей старой камере. Что-то я не ощущаю ни любви, ни радости — или на общак попроситься?

— Гера! — кричит Красавчик.— Слыхал новость?

— А чего?

Гера на своей шконке, вынимает из мешка барахло, складывает и пихает обратно. И так три-четыре раза на день.

— Пошли работать, Гера! Не надоело матрас пролеживать? На овощную базу. Я мешки таскать, разгружать, а тебя кладовщиком.

— А зачем мне? Чего я там не видал?

— Твое дело. А я подышу, на людей погляжу... Мне автомат надо, позвонить. Ты дверь прикроешь, покараулишь.

— Автомат?..— Гера застыл на шконке.

— Бросишь монету — «алє»...

— Где я две копейки возьму?

— Где хочешь. У меня есть... Не сообразишь, как позвонить? Учить тебя?

— А он у них работает?..

Гере позарез надо позвонить, он и мне вчера все уши прожужжал. Связаться надо с волей, подельник у него гулнет, еще один кореш его сдал, а третий все может, но ничего не знает, надо сообщить... Хоть какой канал на волю — все отдаст!

— Твое дело,— жмет Красавчик,— я завтра отдам заявление. Через два дня на базе.

— А возьмут? — сдается Гера.

— Чего тебя не взять? Продавец, квалифицированный кадр. Или ты лапшу вешаешь, что в магазине работал? Мне могут отказать, грузчиков хватает, а тебя точно...

— Как писать? — Гера уже готов.

— Продиктую... Вот тебе бумага... Мурат, дай начальнику склада ручку... Пишешь?.. Начальнику СИЗО от... Как твоя фамилия?.. Имя-отчество, статья... Заявление. Написал? Прошу разрешить работать кладовщиком на овощной базе. Обязуюсь справиться... Подпись. Ставь сегодняшнее число. Седьмое июля. Готово?.. Завтра отдам на поверке. Мое и твое.

Камера замерла.

— Писатель, не хочешь с нами? — говорит Красавчик.— Погуляем, себя покажем, подышим...

— А сам ты написал? — опоминается Гера.

— Само собой. Это тебя надо уговаривать.

Гера ожил. Еще раз слушаю его историю: кто его сдал, кто вытащит, кто в управлении, кому надо дать, у кого взять... Был бы автомат, все успеет.

Утром на поверке Красавчик отдает заявление. Одно. Корпусной не поглядел, сунул в папку и грохнул дверью.

Часа через два дверь распахнулась. Корпусной.

— Кто тут Пигарев?

— Я,— говорит Гера.— Я Пигарев.

— Писал заявление?
— Писал.
— Кладовщиком собрался?
— Справлюсь,— говорит Гера.
— Уважил. Благодарность тебе. Кем служил?
— Продавцом.
— На повышение хочешь? Продавцом проворовался, а кладовщиком не будешь воровать?
— Я докажу,— говорит Гера,— я ни в чем не...
— Кто тебя подставил, мудака? — спрашивает корпусной.
— Чего?..
— Если ты еще раз такое напишешь, пойдешь в карцер. Там нужны кладовщики. Ясно.

Дверь закрылась, камера взрывается гоготом. Гера не сразу понимает, что произошло. Потом грустно улыбается:

— Крепко вы меня...

Красавчик неутомим, а Геру, как говорит Пахом, только ленивый не купит.

В тот же вечер Гера ходит по камере, демонстрирует ботинки: на одном подметка отвалилась, на другом вот-вот...

— Мне бы иголку потолще...
— Потолще! Тонкая есть, сломаешь. Не дам...
— Дурак ты, Гера,— говорит Красавчик.— Ты в тюрьме. У кого надо просить?
— У кого?
— Пиши заявление начальнику. Тебе не для баловства, для дела. Босиком ходить нельзя, так? Придется выдавать со склада. А себе тоже надо. Короче, невыгодно.
— Неужели дадут?
— А куда они денутся? Новые будешь просить, подумают, с тебя запросят. Знают, чего у тебя просить... А тут сам. Или им плохо? Пиши, только подробней: какие ботинки, зачем иголку, какую... Да что ты иголкой сделаешь?
— А чего просить?
— Чего-чего! Не сапожничал? Шило надо? Нож. Что ты без ножа сделаешь?
— Разве дадут? — сомневается Гера.
— А куда денутся? Чем сапожничать — пальцем?
— Напильник...— подсказывает Петр Петрович.
— Верно! — подхватывает Красавчик.— Напильник, первое дело. Какой сапожник без напильника? Мурат, давай ручку!

Гера, как завороженный, берет лист бумаги, ручку...

— Пиши! — Красавчик висит над ним.— Начальнику СИЗО от Пигарева, имя-отчество, год рождения, статья... Заявление... У меня развалились ботинки, ходить не в чем... Размер какой? Размер сорок третий. Для ремонта необходимо... Написал? Ставь две точки... Да не так, дура! двоеточие. Где ты учился, кладовщик!.. Сапожный нож... В скобке... Валенок ты серый, продавцом работал! Скобку ставь, а в скобке пиши: острый!.. Сапожный нож, острый, напильник, шило, большую иглу, толстую... Вроде все. Пиши! Обязуюсь выполнить ремонт добросовестно в два дня...
— Я за один управлюсь.
— Пиши два. Один дадут. Всегда проси больше. Может, еще кому понадобится. И напильник сгодится, и нож, и...

В камере гробовая тишина, только Мурат булькает.

Корпусной вернулся через полчаса после поверки.

— Пигарев! На коридор!!!
— Дратву забыл вписать! — кричит Красавчик.— Попроси, если не успели выписать...

Вернулся Гера часа через два. Бледный, злой, ни на кого не поглядел. Лег на шконку, завернулся в одеяло.

— Не дали напильника? — спросил Красавчик.— А мы думали, решку спилим...

Еще через день все лежали после завтрака, ждали прогулку. Вижу, Красавчик шепчется с Муратом, тот жмет на «клопа», кормушка шлепнула. Мурат что-то спрашивает у вертухая.

— Пигарев...— говорит Мурат.— Гера!
— Чего надо?
— Тебя... С вещами.

Гера вскочил со шконки, засуетился, хватает мешок, вываливает барахло... Садится, руки опущены, лицо несчастное.

— На общак,— говорит Красавчик,— доигрался.
— За напильник он расплатился,— говорит Пахом.— Спроси, Гера, может, ошибка?

Ему явно жалко Геру.

— Чего уж,— безнадежно говорит Гера,— пойду на общак. И там люди живут... Все ты, ты! — кричит он Красавчику.
— Надо мозгом шевелить,— говорит Красавчик,— будешь ученый. На общаке тебя не так заиграют.

Гера начинает складывать вещи, чуть не плачет.

— Дадите сала? — просит он Мишу.— И табачку...
— Отбой, Гера,— говорит Пахом.— Развязывай мешок...

Мы начали разговор с Пахомом на прогулке, в жарком дворике, но он уже не мог остановиться и когда вернулись. Миша ушел на вызов, мы сидели на его шконке, спиной к камере, тут, вроде, самое безопасное место. Пахом сильно изменился за эти месяцы: раздраженный, колючий — на пределе человек.

— Не верю я им, Вадим, никогда не поверю. Ни одному слову! Если выпустят — и тогда не поверю. Не выпустят! Если только с говном смешают, если себя размажу, кончусь, тогда — выходи! Ты думаешь, их слова оттого, что опомнились, правда им нужна, мафия мешает? Не хотят они правды, и из мафии им не выскочить. Счеты сводят. Один подох, другой вылез, укрепиться надо. А как укрепиться — неужто правдой? Разве она для того? Тут безнадежно. Он молодой, шустрый, дождался своего часа — выскочил! А дальше что?
— Посмотрим, не гони картину.
— Мне не надо смотреть, нагляделся.
— Ты же надеялся — амнистию? Амнистию ждал... Вчера сказал — тебе интересно? А выходит, все наперед знаешь?
— Мало ли, что я говорил. Говорить все горазды. Сколько себя помню — одни слова. А хоть что обернулось делом? По делам гляди!
— Что мы отсюда увидим?
— Здесь все видно. Как в капле, вся ихняя лживая природа... Я читаю газеты, слушаю радио. А потом меня дергают к следователю... Что ж он, не те же газеты читает? В том и дело, все знает, но он с молоком усвоил — слова словами, а дело делом. Меня посадили — надо дотянуть. Или ему правда нужна, справедливость, закон, моя судьба его заботит? И дотянуть ему надо не меня, это так, по ходу, а чтоб я других вложил, чтоб в его игре пешкой. Вот ему что надо!.. Пять месяцев они меня катают, сперва у них было старое мышление, теперь новое, а хоть что изменилось, не один хрен? Они сами тем словам не верят, повторяют, как попки, а хотят, чтоб мы им поверили! И мы поверим?.. Я тебе рассказывал про хозяина Москвы? Столкнулся я с ним однажды, помнишь?.. Мафия из мафий, к нему все нити, он и главным мог стать. Я б не удивился. Про него все знают. А что с ним дальше? Убрали? Нельзя не убрать. Мешает. Чему — правде? Новому мышлению? Как бы не так! Ты погляди, как его убрали! Герой труда, вторая золотая звезда, бюст на родине — с почетом и благодарностью на заслуженный отдых! А ему здесь место, на шконке, у параши. Почему, думаешь? Из гуманизма, из старой дружбы? Нет там ни дружбы, ни гуманизма. Страшно, что *заговорит*, вот в чем «мышление»! Чего бы ему было терять, окажись в тюрьме, на суде? А он столько знает, так со всеми повязан...
— Может, ты... торопишься, видишь, как все серьезно. Сначала укрепиться, а потом...
— Что — потом? Укрепляться на лжи, на том же самом поганом вранье, два пишем, три прячем?! Для дураков, от которых нам зерно нужно, не растет у нас, машины, мы их делать не способны. Для них!.. Ладно, дураков обманем — разве в том выход? Ты думаешь, чем люди живы? У нас, не где-то там? Ты же людей не видал, не знаешь! Никто не работает, *не хотят* работать. Понятно тебе? И не будут, как перед ними не стелись. И знаешь, почему? Лень, думаешь, спились? Нет, малый, тут инстинкт срабатывает — себя сохранить, душу спасти, народ, нацию... Если, конечно, осталось, если есть чего спасать. Не хочет мужик участвовать в этой лживой каше. Чем ты его заставишь? Это и есть сопротивление, посильней бунта, революций — что ты с ними сделаешь? Скажешь, рабское сопротивление, трусливое? А знаешь, какая в нем сила? Этого им не преодолеть, не переломить, не справятся. Они — чужие, понимаешь, как марсиане? Говорят, говорят... И чтоб после семидесяти лет вранья мужик им поверил? Да пошли вы все!.. Я давно знал, а теперь точно, отсюда хорошо видно. Они, кто сидят в креслах...
— Да кто *они*? — прервал я его.— А сам ты кто? Или ты работяга — разве не лез в кресло?
— Лез,— сказал Пахом,— потому и знаю, мне и аукнулось. Возмездие, как этот гад повторял. Я потому и попал, что лез. Но я не в кресло, я хотел работать... Я *землю* люблю — можешь ты это понять? Я думал, если работать, себя не жалеть, если все будут работать и не будут себя жалеть... Что я, один, что ли, такой?
— Какой — «такой»?

— Нормальный мужик. Люблю выпить... Но мне работать хотелось, и думал, хрен с ними, что они врут и набивают карманы, особо не обеднеем. Будем делать дело, и все само, как-то там... А видишь, как вышло: дураки, которые хотели дело делать, все здесь. Тысячи, тысячи людей! А миллионы, они пальцем не шевельнули нам помочь. И правильно — кто мы для них? Те же марсиане. Чужие. Не всех, конечно, дураков посадили, и на воле хватает, а тюрьма по ним плачет.

— Тут вот какое дело,— говорит Пахом.— Они всем мозги запудрили... Первый раз, что ли? Кого мы только не обманывали! Их только ленивый не обманет, зажрались, зажирели. Я Запад имею в виду. А почему, думаешь? Они *хотят*, чтоб их надули, им так легче, лишь бы спать сладко, а что будет завтра — им про то думать беспокойно. Тут знак другой, а смысл тот же. Такие же умники, как наши. Но разве мы от того выиграем, хоть и обманем? Ни хрена мы не выиграем, все уйдет в слова, в брехню, в хвастовство. Ты знаешь, что такое общественный продукт?.. Я не ученый, а так тебе скажу. Нас, считай, триста миллионов, шестьсот миллионов рук... Вот я и думал — какая силища! Но как ты заставишь эти руки работать? Под пулеметами не работают, косят... Жрать надо, понятно. Любому мужику нужна пайка. Для себя, для бабы, для детей. Вот он и забьет гвоздь — за пайку. Но разве от того гвоздя чего построишь, в масштабе страны, я имею в виду? Надо десять гвоздей забить, тогда сдвинется, пойдет дело. И сила на то есть, и время, и хватки не занимать. Но чтоб мужик забил *для них* десять гвоздей? Да пошли они, пусть сами забивают! Как он им поверит, чем они нашего мужика застращают или купят, чтоб он *захотел* на них работать?.. Семьдесят лет заливали страну кровью — материк, чуть не треть суши. Семьдесят лет унавоживали по той кровушке ложью — что на той земле вырастет? Ничего не растет. Я тебе рассказывал про отца — и его кровь там. Но я, видишь, каким дураком был — по делам и мука. Но чтоб мужик — а их миллионы — стал забивать им гвозди? Нет. Они тех обманут, кто обмануться хочет, кому есть что терять. А нам терять нечего, все забрали. А душу мужик не отдаст. Может, он того не понимает, не сказал себе, слова не нашел, а знает — только в том его спасение. Забил гвоздь, получил пайку — и прощайте. Слов наслушались, а дела нет. Ты мне прочитай из газеты хоть одно слово правды, чтоб там не было хитрости, чтоб я ему поверил, чтоб знал — для меня, не для дяди, которому есть что терять, а потому страшно... Ладно, Вадим, хватит,— сказал Пахом.— Ты сам все знаешь не хуже меня. Осторожничаешь. Меня боишься?

— Тебя — нет,— сказал я.

— Я и перед тобой виноват,— сказал Пахом,— подставил. Не надо было тебе в семью... Такой гад... Хрен из Ташкента. Опять, как у них: знак другой, а... Нахапал, а переварить не может. Думаешь, у него все забрали? Жизнь он спасает — не понял? Уже купил, не сомневайся. За чужой счет. Всех заложил, кого смог, а здесь дорабатывает. Через день на вызов. Не один он тут, гляди лучше. А я и глядеть не могу. Липкий, грязный... Видал, что он в сортире делает? Геморрой у него. А потом — нам сало? Режет и кройт...

— Что с тобой, Пахом? На людей кидаешься...

— На каких людей? Да я б его...

Ночью меня разбудил душераздирающий крик. Я вылез из матрасовки. Только Неопознанный и Коротышка на шконках, остальные за дубком. Играют.

— Что такое? — спрашиваю.

— У соседей,— сказал Петр Петрович.— Постучи в кормушку, Валька. Что там? Красавчик жмет на «клопа».

В коридоре голоса, топот... Кормушка брякнула. Красавчик сунул в нее голову.

— Чего надо? — спрашивают из коридора.

— Валидола,— говорит Красавчик,— тут у нас...

— Я тебе накидаю валидола! — кормушка захлопнулась.

— Из хаты... Напротив нас. Потащили...

Красавчик прижался ухом к кормушке.

— Точно, жмурик. Удавился, что ли?.. Откачают и в карцер.

Пахом пролез ко мне, сел на шконку. Курит.

— Чего не спишь? — спрашиваю.

— Вот и я так, Вадим... Я не пойду на зону. Если будет приговор... Мокрое полотенце — и под шконку. Хорошо бы кто свой рядом. Прикроет...

Игра за дубком продолжается: Миша с Муратом — в шахматы. Петр Петрович с Валентином — в шашки.

— Как ты сало режешь, гад?! — кричит рядом Пахом.

Глаза под очочками бешеные, стучит кулаком.

— Ты погляди, Вадим, как кройт, сука!

— Спятил с горя? — говорит Миша.

По виду спокойный, а побледнел.

— Все,— говорит Пахом,— сыт, накормил. И друга подставил. Ты бы руки мыл, когда в жопе ковыряешь. Нет у нас больше семьи — понял?

— Мы не неволим,— говорит Миша.— А ты, Гера?

Мурата он не спрашивает.

— Н-не знаю,— тянет Гера.— Нет, я с... Пахомом.

— Ну и благодарим. Верно, Мурат?

Мурат молчит. Розовеет, как красна девица.

И Петр Петрович молчит. Валентин порывается что-то сказать, Петр Петрович кладет ему руку на плечо.

— Проколешься, Пахом,— говорит Миша,— пожалеешь.

— Ты меня не пугай,— Пахом вот-вот кинется на него.— За тебя, что ли, буду держаться? Мне с тобой и говорить западло́, не то чтоб есть... Что скажешь, Вадим?

— По мне, и семьи не надо. Девять человек в хате. Какая еще семья?

— Что ж ты, писатель, с некрофилом будешь хавать, с петухом? — спрашивает Миша.

— У меня чина такого нет — людей делить.

— Во как! А ты, Петрович? — говорит Миша.

— Зачем меня спрашиваешь? Или я на твое сало гляжу?..

Полный бред. Три семьи за дубком. Коротышка на своей шконке, у сортира. Неопознанный Саня валяется наверху. Нежилая камера. Мертвая.

Утром Миша уходит на вызов. Валентин опять вяжется к Гере, ломает руки Мурату... Нет, тут я не вытяну.

Миша вернулся быстро, пролез к себе, разложил на шконке свежие газеты, сигареты с фильтром...

— Видишь? — говорит Пахом.— Понял?.. Завтра меня выкинут. Договорился... Ладно, пролетели. Давай в «мандавошку»? Боря оставил тебе карту?

— Скучаешь? — спрашиваю.

— Хорошо было. Жили, терлись друг об друга...

Утром, как по писаному, брякнула кормушка:

— Костров! С вещами.

— Во как,— сказал Пахом,— и не стесняется, гад, хотя бы выждал денек-другой для приличия... Терпеть будете?

Никто ему не ответил.

Он собрал вещи, натянул сапоги, телогрейку.

— Все, Вадим. Знаешь, где моих искать, расскажешь...

Дверь за Пахомом грохнула.

Пытаюсь приручить Мурата. Самый тут симпатичный, хотя и шестерка у Миши. Студент, приехал из Самарканда. Отец купил любимому сыну золотой аттестат, устроил в Москве в институт культуры, снял отдельную квартиру; деньги, посылки, бухарские халаты... Парень загулял — долго ли в Москве да при таких возможностях! И попался по-глупому, дружки подставили. Потом его потащили по камерам. В одной ему едва не выломали золотой зуб, в другой... Он и в карцере побывал, намыкался. Миша его сразу пригрел, подкармливал — свой, узбечонок, на всякий случай. Славный мальчишка, а без царя в голове. Целые дни рисует интерьеры в будущем своем доме: мебель, магнитофон, телевизор, видео, бар... Книг не читает, а институте он только девчонок перебирал... Но с ним хоть поболтать можно.

— Расскажи про Самарканд, Мурат!

— Хорошо у нас. Красиво. Горы, тепло, все растет, а... Скучно. Шашлык, вино, любые фрукты, у отца денег полный карман — чего хочешь. После тюрьмы я бы хотел домой. Отогреться, поесть, а через месяц, через два... Не жить мне там. Как я вернусь — увижу отца?.. К нему все с уважением, а я... в тюрьме. У нас младший сын — наследник. Я — младший. Погубил отца.

— Почему же скучно? Что такое... скучно?

— Не знаешь?.. Скучно, когда нет чего хочешь.

— А чего ты хочешь?

— Чтоб красиво, чтоб девочки, чтоб...

— У тебя это все было.

— Было... А я хочу всегда. И не как у нас дома. Как в Москве! В Москве никогда не скучно.

— Но за это надо платить?

— Заплачу,— говорит Мурат.— У нас деньги не переводятся. И советской власти нет. Там возьму, сюда приеду.

— Ты же говоришь, перед отцом стыдно? Разве ты деньгами платил — отцом расплатился!

— Я и не хочу туда, не останусь. Скучно. А у вас... хороший город. Большой. Все есть. Чего захочешь — бери.

— Эй, Нефедыч! А ну, вставай.

Красавчик-Валентин лежит на шконке, задрал ноги, ему тоже, видать... скучно. Он с краю, у двери, а Коротышка — у другой стены, возле сортира.

Коротышка встает.

— Давай к кормушке,— командует Валентин,— рылом к хате. Докладывай, Нефедыч, не все в курсе, а всем надо. Кто такой, с чем тебя, падлу, хватают?.. Чего молчишь?

Коротышка моргает мутными глазами в белых ресницах, на мятом лице откровенный страх.

— Сперва разминка,— распоряжается Валентин,— ты у нас спортсмен, в натуре, так? Постой-ка на голове.

Коротышка засучил рукава, руки у него длинные, жилистые. Ухнул и перевернулся, встал на голову, дрыгнул короткими ножками, вытянулся и замер.

— Сила!.. Стой. Докладывай. Фамилия, статья...

— Нефедов...— говорит с натугой Коротышка, лицо налилось кровью.— Павел Германович... статья сто вторая...

— Вертайся! — командует Валентин.— Какая ж у тебя сто вторая? Все рассказывай. По порядку, как дело было?

— Было и было...— голос у него неожиданно тонкий, писклявый.— Мать говорит, сходи к тете Паше, материна сослуживица, розетку ей надо поставить. Пошел, чего не пойти. Она на Октябрьском поле, далеко...

— Какое далеко, считай, центр...

— Не центр, а мне из Чертанова. Поехал...

— А ты можешь — розетку?

— Я электриком в ЖЭКе. Мое дело. Всех делов на полчаса, с проводкой.

— Молоток! И за то тебе сто вторая — за розетку? Или что ты ей поставил? Ты с кем говоришь, Нефедыч, с прокурором?

Коротышка затравленно глядит на камеру.

— Зачем тебе?

— Чего?.. Зачем? Ах ты пес! Тебя просить надо?

— Не за розетку,— Коротышка вздыхает.— Она мне бутылку поставила. Красного. Я белое не пью, а красное уважаю. Она не пьет, тетя Паша. Выпил, долго ли? Гляжу, телевизор... Новый купила. Для него и розетка. А на телевизоре антенна. Усы. Комнатная. Я ее замотал в тряпку и пошел...

— Антенну?

— Антенну.

— Куда ж ты ее понес?

— Домой. Телевизор есть, а антенны нет. Нам надо.

— А она тебе дала?

— В том и дело. Я, говорит, себе купила. А нам?.. А где ее достанешь?.. Я ей объяснил, как тебе, а она пихаться... Я ее этими... плоскогубцами по башке. Раз-ок ударил, она повалилась. Гляжу, вроде, неживая. Померла. Я ее в эту... ванную затащил, все с нее содрал и воду напустил. Вроде, потопла.

— Горячую пустил или холодную?

— Чего?

— Какую воду пускал, спрашиваю?

— Не помню, мало до верху не дошла. Закрыл кран и ушел.

— С антенной?

— Ну. Зачем она не отдавала?

— А дальше что?

— Мужик попался. Недалеко от ее дома. Продай, говорит, да продай. Привязался. Я и продал.

— Сколько взял?

— Червонец.

— Что ж дешево? Говоришь, достать нельзя?

— У него не было. Червонец, говорит, один.

— Что с червонцем сделал?

— Вина купил. Бутылку. Красного. Матери осталось.

— А дальше что?

— Тебе зачем... дальше?

— Давай, давай, Нефедыч. Чистосердечную. Не виляй. Знаешь, что будет, если скроешь?

— Знаю,— говорит Коротышка.— Я к ней опять пошел, к тете Паше. На другой день. Телевизор у нее остался. Новый. А ей теперь зачем? Тем более, без антенны?

— Ты ж продал антенну?

— Продал, а телевизор остался. Зачем ему стоять без дела?.. Пошел, открыл дверь...

— У тебя ключ, что ли?

— Нет, у меня ножик. Я любую дверь открою.

— Ну открыл — и чего?

— Чего-чего! Взял телевизор, замотал в скатерть... Дай, думаю, погляжу, может, плавает?.. Зажег свет, а вода ушла. Сухо. Она лежит, как живая, вроде, спит...

— И что?

— Голая она, без ничего...

Мерзкая ухмылка скользит по жеванному лицу Коротышки:

— Ну, у меня... аппетит проснулся, я ее...

— Хватит, Валентин,— не выдерживаю я,— оставь его!

— Писатель?! — вскидывается Валентин.— Ты не в богадельне, в тюрьме. Или думаешь, мы кто такие?.. Продолжай, Нефедыч. Все, выкладывай. Что дальше было?

— Ничего не было. Мент возле метро: откуда несешь, где взял?.. Чего я ему скажу? Вот телевизор, вот я... Он не слушает, не верит. Повязали и... к тете Паше.

— Ладно,— говорит Валентин.— Поверим тебе. Двигай сюда. Будешь мне сапоги чистить.

Коротышка берет сапоги, несет к умывальнику.

— Чем будешь чистить?

— Тряпкой, чем еще?

— Языком, падла! Языком вылизывай, понял меня!

— А меня ты понял? — я встаю со шконки: хватит, не жить мне тут, пожил! — Оставь его в покое.

Валентин лениво поднимается...

— Ложись,— говорит Петр Петрович.— Утихни. Ну!

Валентин глядит на Петра Петровича, ворчит под нос, укладывается на шконку.

— А ты, парень, больно нервный,— говорит мне Петр Петрович,— не перегрейся. Он верно тебе сказал, тут тюрьма...

Как только Пахома увели, Петр Петрович стал ко мне особо внимательным. Без навязчивости, но цель несомненная — сблизиться. Играем в шахматы, о том, о сем. Но это первый разговор напрямую.

— Надо его отсюда выкидывать,— говорит Петр Петрович.

— Кого?

— Засранца ташкентского. Глядеть тошно. Твой кореш сразу разглядел. Зачем нам?

— Мне и без него тошно.

— Еще кой-кого... Почистить. Если хочешь знать, самый опасный не он. Дешевка. Хуже всех мой... комсомолец.

— Валентин?

— Угу. Таких бойся, от них самая беда. И в тюрьме, и на зоне. Пока его обломают, он столько наворотит... С малолетки ушел — чему он там научился? Дома у него — залейся, а потому никак не врубится, кто чего стоит. И себе сам назначил цену. Высокую. Таких надо давить, но с умом... И этого ублюдка уберем.

— Образцовую хату подбираешь?

— Зачем мне, как говорится, лишние переживания? Мне ладно, я привычный, а ты дергаешься... У тебя, парень, скоро... большие изменения.

— Почему ты решил?

— Понимаю кой-чего.

Вечером его потянули на вызов. Время было неурочное.

— Куда это тебя? — удивился я.

— К адвокату. Недолго осталось.

— Закрываешь дело?

— Я его давно закрыл. Тянут.

— А что за адвокат — свой или казеный?

— Я с ним не первый раз.

— Можешь попросить... позвонить мне домой?

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я с ним сперва перетру...

Утром на вызов ушел Миша.

— Ну, деловая хата,— подумал я вслух.— Министерство юстиции...

Гера рядом завозился, закашлялся и пробурчал:

— Хотя бы обоих увели.

Я, как всегда, выходит, последним соображаю.

Вернулся Миша, довольный, опять принес свежие газеты и сигареты с фильтром. После конфликта с Пахомом первый раз обратился ко мне:

— Хочешь «Литературку»? Свежая.

Складывает барахло. Мешок у него здоровый. Год сидит, набралось.

— Инвентаризация? — спрашиваю.

— Тюрьма, порядок, первое дело.

Еще через час стукнула кормушка:

— Катунин, с вещами!

Мише и собираться не надо — все сложено.

Я поглядел на Петра Петровича. Спит, закрыл лицо полотенцем.

Первый, подумал я.

Вечером вытащили Коротышку. У него совсем ничего нет. Скатал матрас, взял в руку миску и засеменил к двери.

— Смотри, если кому дашь, убью! — крикнул Валентин.

Двое, думаю, кто третий?

Валентин лежит теперь на месте Миши, у окна, рядом Мурат, спустился, дурак, вниз. Валентин уговорил и нещадно его мучает. Только и слышно: «Пой, гад!..», «Повторяй за мной! Я...» Господи, прошу я, пусть третьим будет он...

Утром за ним пришли.

Такого я еще не видел: Валентин заметался по камере, кричит, размахивает руками...

— Кто меня сдал?! Ну, дождетесь... Нефедыч?! Ну, если Нефедыч!.. Убью, убью!.. А... Вон кто — Ташкент!.. Петрович, скажи, неужели на общак?

— У Геры спроси,— сказал Петр Петрович.

Валентин согнулся, взял мешок и медленно, шаркая, вышел из камеры.

Чистая дьявольщина плывет над камерой, вползает в душу, дергает каждого и каждый отвечает — сам идет навстречу, бежит навстречу, пытается спрятаться, скрыться — куда? Где тут спрячешься? Одному скучно, другому страшно, третий ищет выгоду, четвертый — мало ли что, на всякий случай, пятый — как бы не было хуже, шестой — перетопчемся! Седьмой... Душно. И сил больше нет.

— Хорошо в тюрьме! — слышу я Петра Петровича.— И воздух чистый! Давай, Вадим, в шахматишки...

И тут я вздрагиваю: сверху спускается Неопознанный, Саня.

Когда-то, видно, здороенный, толстый, сейчас обмякший, давно не бритый, опухший, свалявшиеся, спутанные волосы... Страховидный мужик. Лет под сорок.

— Что с тобой, Саня,— говорит Петр Петрович,— не иначе снег пойдет посреди лета? Или еще чего.

— Сам сказал, воздух чистый. Продышусь маленько.

Он садится к столу, подвинул миску с оставшейся от обеда, застывшей кашей.

— Мурат! — говорит Саня.— Не в службу, а в дружбу, достань мою пайку из телевизора. Не знаю, где там у вас чье.

Разломил пайку, круто посолил...

— Верно говоришь, Петрович — хорошо в тюрьме!

— Живой,— одобрительно кивает Петр Петрович.— Ежели оклемался, нарисовал бы чего путевое, а то сарай сараем. Хоть бабу голую.

— Я не по этому делу,— говорит Саня, рот набит, зубы у него белые, крепкие.

— А ты по какому?

— Тебя могу нарисовать. Только не обижайся... Мурат, если ты ко мне такой добрый, дай тетрадь — во-оя, с краю.

В тетради стопка листов. Пейзаж: дворик на крыше, деревцо возле трубы... Портреты, портреты... Наброски. Профессионально. Смело... А вот и наши... Пахом, Гера...

— А это кто? — спрашиваю.

— Не узнаешь?.. Я сперва думал, ты с ним снюхаешься. У меня серия — «желу́дки» называется. Личности нет, одни желудки! Видал, как он жрет? Я потому не слезал, лучше не глядеть...

Пожалуй, Мишина суть. Она у него именно в желудке.

— Ты у кого учился, Саня?

— Училище кончил. Театральный художник.

— Я не о том. Кто твои учителя?

— Учителя?

— Ну, скажем... Сезан, Ван Гог или... Суриков?

У него загораются глаза, сквозь желтизну, густую бурую щетину брызнула краска.

— Я тут полгода... Первый раз слышу человеческие слова... Сезан...

Глядит на меня удивленно и неожиданно светло, во весь белозубый рот, улыбается:

— Не Сезан. Скорей, Лентулов. Или... Фальк, может быть.

6

«ЧТО ХОЧУ, ТО ДЕЛАЮ

Пьеса в трех актах

Камера на восемнадцать человек. Два окна — «решки». Между ними шкаф — «телевизор». Стены покрашены коричневой краской. У двух стен двухэтажные железные нары — «шконки». Посреди камеры — стол, «дубок». Сортир слева от двери — ватерклозет, завешанный тряпкой на завязках. Справа от двери — вешалка. Рядом глазок — «волчок». И над сортиром волчок. Железная дверь с вырезанной в ней «кормушкой» украшена вбитыми в железо болтами — шесть болтов в ряд, шесть рядов, образующих правильную геометрическую фигуру.

Нижние шконки застелены: матрасы, одеяла, подушки. Верхние накрыты пожелтевшими газетами.

В камере шесть человек. Пятеро лежат внизу, шестой наверху.

П е т р П е т р о в и ч — под пятьдесят, невысокий, крепкий, седоватый — вор в законе.

М и ш а — сорок два года, еврей из Ташкента, сидит уже год, ждет суда, несомненно «кумовский».

В а л е н т и н — двадцать пять лет, сидит за изнасилование, человек неуправляемый.

М у р а т — двадцать лет, узбек из Самарканда, студент, запутали дружки, сидит за мелкое воровство.

Г е р а — сорок лет, продавец-мясник, сидит за взятку, робкий, недалекий.

С а н я — тридцать восемь лет, художник, сто вторая статья, убил мать.

И еще:

С о н я — девятнадцать лет.

Ш е с т е р о е е с о к а м е р н и ц.

(Герои раскрываются, естественно, в диалогах.)

Акт первый. ПРИКИДКА

В камере новый «пассажир» — В а л е н т и н. Он только пришел, но уже через час вся камера, прежде тихая, бурлит. Валентин — расторможенный, распущенный, избалованный, неглупый. Красавец. Он сразу понимает «сюжет» камеры: скрытую силу П. П., прочное положение Миши. Вяжется к слабым — Г е р е и М у р а т у.

С а н я в жизни камеры никак не участвует. Лежит наверху.

В а л е н т и н: Скучно живете, урки! Дохлая камера. Что мы — неживые? Посадили — пропали? В бардаке — вот где жизнь! А мы бардак не сляпаем?

Рядом, за стеной, женская камера. Первым делом Валентин пытается наладить с ней связь: перестукивается. Вечером закидывает «коня» — пошла почта! «Девочки» включаются активно, им тоже *скучно*, они будто ждали сигнала — наконец-то! Ситуация вспыхивает пожаром. Пошли «сеансы» — один мерзее другого, письма читают вслух, камера гогочет, всю ночь идет гульба «всухую».

Утром Валентин делает фантастическое предложение: пробиться к соседкам — всего одна стена! Он так настырен, убедителен, азартен — с ним соглашаются. П. П. пасивен, Миша уклончив, Мурат полностью во власти Валентина, смотрит ему в рот, Гера на подхвате.

Саня лежит наверху, как бы отсутствует.

Отламывают ручку от бачка — «восьмерки», делают нож. Работают ночью — под шконкой, мусор высыпают в сортир. Все невероятно возбуждены. «Девочки» ждут, активно сочувствуют.

Акт второй. РАСКРУТКА

Ночь. Вынут кирпич. Пробились!

В а л е н т и н: Здравствуйте, девочки-воровки!

«Девочки» кидают сигареты, им — конфеты, яблоки. Треп!.. Валентин — герой новой ситуации. Принимается решение: расширить отверстие.

В соседней камере — семеро. Пожилая «дама», остальные — от восемнадцати до тридцати.

Лихорадка в камере доходит до степени кипения.

Ночь. Вынуто еще три кирпича. Первым лезет Валентин, за ним Мурат. Возвращаются через час и до утра камера слушает их невероятные рассказы. «Девочки» экстра-класса — валютчицы, воровки, убийцы. На старую грымзу внимания никто не обращает.

М у р а т: Ну бабы! Урюк...

Следующей ночью в камере появляются три «девочки». Партнер у них, кроме Валентина и Мурата — П. П. Сцена — сентиментально-омерзительная.

Следующая ночь. Пятеро «подружек».

П. П. уламывает Мишу — его необходимо «повязать». Гера давно согласен. Сцена еще более отвратительна.

Заходит разговор о шестой сокамернице. Она наотрез отказалась от участия в «развлечениях». Валентин ею особенно интересуется.

В а л е н т и н: Девочка в норме... Сонька — золотая ручка!

«Подружки» против нее: гордячка, недотрога, блядь.

Следующей ночью Валентин ее заманивает: «Боишься?» — «Я никого не боюсь!..» Она свободно ходит по камере, ей все и всё интересно. «Оставайся».— «Не хочу».— «А я хочу!» — «Я делаю только, что сама хочу... Кто там у вас наверху? Больной?..» — «Оставайся, не пожалеешь...» — «Я бы одна всем вам дала, блядушек бы навсегда позабыли».— «Считай, столковались!» — «Надо иметь подход, мальчик...»

И тут Саня, который, как выяснилось, все видел и слышал, взрывается: «Коммунисты вы, а не урки! Все принадлежат всем — вот ваша идея! У вас ничего своего, в крапиве родились, все разменяли! Ублюдки...» — «Ты с какого... сорвался?» — спрашивает С о н я. «Кто ты такая?! — кричит Саня.— Отца-матери нет! Лица у тебя нет, одно... поганое гузно!..» — «У меня все чего надо, такие, как ты, душу отдадут, лишь бы я показала... А у тебя... что? Мать у тебя? Ты ж убил свою мать, паскуда!» — «Я себя убил,— говорит Саня.— Меня нет. Я мертвый...»

Ночью, когда «десант» мужиков пролезает в соседнюю камеру, Соня приходит к Сане *поговорить*. Они говорят подолгу, все более свободно, рассказывают друг другу о себе. У Сони статья сто пятнадцатая, часть вторая: «заведомое заражение другого лица венерической болезнью»; два месяца ее лечили в тюрьме, через месяц пойдет на этап, статья до трех лет... Однажды, заговорившись, она не успевает выскочить к поверке, Саня надел на нее свою меховую шапку, а пьяный с утра корпусной не заметил подмены.

Акт третий. ЭПИЛОГ

«Дама», оскорбленная, что «заявок» на нее так и не поступило, грозит сдать всю «малину». Решено несколько дней подождать, затаиться, Миша обещает «уладить» по своим «каналам»: «даму» сплавят.

Именно в эти ночи Саня сближается с Соней. Они разговаривают через дыру под шконкой. Их диалог — *главное* в пьесе. Убийца и блудница.

«Ты хорошо рисуешь, можешь делать деньги. Но... не понять, что это?» — «Я рисую себя».— «Себя? Это... ты?» — «Я рисую только себя...»

«Как ты мог это сделать?» — «Это не я, понимаешь?» — «Нет, не понимаю. Кто убил твою мать?» — «Ты думаешь, когда предложила спать с ними со всеми — это была ты?» — «А кто же? Я всегда делаю, что хочу. В том и жизнь. Делать, что хочешь».— «Жизнь в том, чтоб не делать того, что хочешь».— «Ты говоришь так, потому что мертвый. А я свободна. Я и в тюрьме свободна».— «Свободна в том, чтоб отказаться делать, что хочешь».— «А меня ты хочешь?» — «Н-не знаю. Я мертвый».— «Я про то и говорю. Мертвый не может быть свободным. Он труп. Потому ты меня и не хочешь».— «Ничего ты не знаешь. Что делает человека... трупом? Живым трупом? Он думает, что живой, а уже смердит. Но... мертвый может восстать. Вот в чем свобода. Если ему покажут, если он увидит себя... трупом. Увидит и задохнется от омерзения к себе. А ты себя не знаешь, не видала. Тебе не показали...» — «Не понять. Чокнутый ты... Что мне могут показать — меня? Кто мне покажет? Себя я знаю».— «Ты ничего не боишься?» — «Нет. Я и смерти не боюсь».— «Это не самое страшное... тебе бывало кого-нибудь жалко?» — «Старика. Я разделась, а он захлюпал. Не может».— «У тебя есть друзья?» — «Когда есть деньги, есть и друзья».— «Ты когда-нибудь... страдала?» — «А как же. Меня обокрал один педераст. Украл колготки и... А я тогда была пустая».— «Ты сейчас говоришь правду?» — «С какой стати? А ты разве сейчас не врешь?» — «Мертвые не врут. Им не надо. Им ничего не надо».— «Зачем же ты со мной разговариваешь?» — «Я бы хотел тебе помочь».— «Зачем?» — «У тебя впереди жизнь, а у меня ее уже нет».— «Даже если ты, как говоришь... восстанешь?» — «Если это случится, то не здесь, а в другой жизни».— «Про это говорят в церкви. Ты в это веришь?» — «Да».— «Я бы тоже хотела, но не знаю как. Я могу все, что хочу, а... Как это у тебя получилось?» — «Я здесь полгода и полгода мне показывают... меня. Я... ненавижу себя».— «Мне тебя жалко. Как... того старика».— «А мне жалко тебя. Ты делаешь, что хочешь, он делает, что хочет. И все тут делают, чего хотят. Как это может быть?» — «Кто смелый, тот и получает».— «Не ты этого хочешь. И получаешь не ты».— «Кто ж тогда?» — «Что хочу, то делаю... Будете, как боги, сказал... Про это не рассказать. Не объяснить. Сама поймешь».— «Когда?» — «Может, скоро, а может, нет. Как Бог решит...»

Следующей ночью, когда Саня уснул у себя наверху, Валентин с «девочками» втащили связанную Соню в камеру, раздели ее и распяли на шконке. Теперь вся камера «повязана» — все, кроме Сани.

«Дама», воспользовавшись отсутствием сокамерниц, бросила в кормушку записку.

В камеру врываются вертухаи.

Саня, проснулся от шума в коридоре, от крика Валентина: «Спалились!..», спрыгнул вниз раньше, чем распахнулась дверь. Он один возле Сони, остальные расползлись.

Дыра под шконкой открыта.

К о р п у с н о й. Кто это сделал?

С а н я: Я.

Саню уводят.»

7

Еще одно утро, думаю я. Сколько их уже было здесь? Шестой месяц, почти шесть. Ближе к двумстам. Мало. Если посчитать срок, пусть три года, набежит за тысячу. В чем тягость такого утра, думаю я, одного из двухсот, из тысячи — в однообразии или... Вот-вот заблажит опостылевший гимн, небо брызнуло полосками сквозь «реснички», тянет прохладой, сколько разговоров, чтоб не закрывать окно, боятся в тюрьме воздуха, холодно им, какой холод летом, не́ убедишь, кабы Петр Петрович неожиданно не поддержал, ни за что не дали б, дыши смрадом... В нем и тягость, думаю, не в однообразии еще одного такого утра, одного из двухсот, а в том, что знаю, стоит встать, наткнусь на внимательный, вприщур, глаз, следит за каждым движением, зачем ему, что можно скрыть в камере, все на просвет, а ждет, проколюсь, а мне не в чем, и придумать не могу, или и ему *скучно*, на что ему глядеть, не на стены, не в небо сквозь «реснички», это мне, салаге... Чужая душа — потемки, думаю, я и себя до конца не знаю... Что лучше тишины в такой камере, свежо, ветерок тянет от решки, а на общаке сейчас, и в такую рань, уже гвалт, дым клубами к потолку, а тут нас пятеро, хотя бы еще одно такое утро, вспомню, пожалею, потащат дальше, поднимут ли, опустят, а сегодня мой выигрыш, успеть, пока спят, пока никого, пока я один, тихонько встать, зарядка, умыться, помолиться на светлые полосы сквозь «реснички», и коль успею, пока молчит соловей над дверью... Еще рано, ночи короткие, успею... Не опоздать! Спрыгнуть с платформы, через рельсы, по тропинке вдоль железной дороги, один поворот, второй, третий, до тупичка, повалившийся забор, сгнивший почтовый ящик... «Щаповы». Толкнуть калитку, по заросшей травой дорожке, крыльцо, лестница скрипят, гремит под каблуками, тише, осторожней, постучать негромко, не напугать...

— Слышь, что я надумал,— говорит рядом Гера, и он, значит, не спит, и он меня караулит,— у тебя срок подходит? А тебя не дергают, сечешь?

— Что — секу?

— Они тебя выпустят, слышь?

— С какого перепоя?

— Полгода у тебя, они дня не могут лишнего, было б продление, давно б знал, потянули, а тебя нет. Точно!

— Ладно тебе, они все могут.

— Как я раньше не подсказал, Пахом давал УПК, у него переписано в тетрадке — точно!.. Телефон запомни, позвони, как выйдешь, скажешь, тут я, а они меня тянут, чтоб я сдал Федотыча, им меня мало...

Дверь открывается медленно, скрипит... Стоит на пороге, щурится от света, разбудил, рано приехал, первой электричкой, пальцы придерживают халат у горла, нежный подбородок, теплые губы, а в глазах изумление, слезы — и все покатилось: дверь, лестница, деревья, забор, тупичок, третий поворот, второй, первый, рельсы, платформа, поезд, закинула голову, нежная шея, горят слезы в опущенных густых ресницах...

— Мусор вы-но-сить! Заспались, ворье!..

Сломал утро, так и надо, упустил одно из двухсот, из тысячи, не вернуть, пожалею... Полгода, сказал он, верно, осталась неделя. Да знал я, помнил, а зачем думать — продлят. Но... должны вызвать, оповестить, положено... «Скоро... изменения»,— сказал Петр Петрович. Зря не скажет — чтоб проникся к нему, поверил, следит за каждым шагом, отрабатывает, за каждый мой шаг ему...

За каждый шаг и за каждую мысль, думаю. Вот я и получил сейчас за то, что сорвался, хотя запретил себе, знаю — нельзя, но... дразнит, подбрасывает: похоть, страсть, любовь — что правда, что на самом деле, а что я хочу назвать... Называю! Обман или самообман? Дальтонизм — органика или внушение, самовнушение, путать черное с белым, зеленое с бирюзовым, а глаза у нее меняют цвет: зеленые — среди деревьев, в путанице ветвей и листьев; когда она глядит в небо — голубые, а в то серое утро плеснули серым... Значит, серое утро — не сон, явь? Правда. А за нее надо платить, расплачиваться, цена настоящая, не выдуманная, реальность и цена реальная, не берется с потолка, в зависимости от ситуации в ЦК или ЧК, конвертируемая валюта, и, как настоящие деньги, она или есть, или ее нет — по карману мне такая правда? Правда есть всегда, думаю, не мне она принадлежит и не тебе, не я и не ты ее открываем, мы можем ее принять или от нее отказаться, в том и наша свобода, она присуща нам с рождения, подарена Богом, ею не могут благодетельствовать в зависимости от соображений высоких ли, низких, экономических или политических; на что жаловаться, если сам отдал, кто мог отнять у меня, у тебя, у нас свободу, правду, отнять, извратить, использовать, сами согласились, сами отдали, разменяли, извратили — пеняй на себя. Как и ложь, думаю, только в нас самих: страшно, еще не пора, преждевременно, а потому промолчать, затаиться, затухнуть, сохранить в себе, зарыть в землю, а придет срок — вот она, сберег, возьмите, чуть припахла землей... Правда? Нет ее, улетела, погляди при свете дня, перепачкал, заляпал землей... Своей собственной ложью заляпал — страхом, корыстью, расчетом. Разве это правда? Погибель. Он верно сказал — шесть ходок, большой университет, такой пройти, все будешь знать о себе и о мире, первый раз не постичь, о себе чуть-чуть, справился со страхом, не мало, конечно, но... только начало премудрости. Верно сказал — здесь свобода: за решкой, за железной дверью с мерзкой геометрией, разве я был свободным под открытым небом, в путанице переулков, на заросших травой дорожках, на скрипучей лестнице, глядя в залитые слезами глаза, что меня тащило — первая электричка, платформа, рельсы, поворот, еще поворот, еще, дорожка, лестница, дверь — вспухшие от сна губы, руки, пальцы у... Свобода или рабство? Не мог отказаться, а знал — нельзя. Решка, железная дверь — разве они мешают остаться собой, не принять, не впустить в себя... Текучие, переменчивые глаза, вбирают и небо, и зелень, и серое утро... Утро? Значит, было утро?.. Вот и правда, думаю я, вот и... свобода. Вот и моя ложь — вот оно... возмездие.

Она глядит на меня — не я на нее, *она, камера* — черными стенами, решкой, вбитыми, вмятыми в корявое железо двери болтами: шесть рядов по шесть болтов в каждом — тридцать шесть глаз. И два волчка. Глядят из коридора. И здесь глядят, вприщур. Не спрячешься, не скрыться... Что мне скрывать — себя? Себя ладно, себя не жалко, себя я и должен дотянуть, дожать, выскрести, чтоб ничего не осталось. Со мной все понятно, но есть... *имена*, они всплывают в памяти, в сознании — затереть навсегда, выжечь — с первого дня знал, и думать запрещал! Ничего у меня нет, не было, никого не знаю, только я, я один со своим дерьмом, больше ничего, никого! Для *них* каждое *имя* — дело. Книги, рукописи — сколько ушло дымом? Пахом сказал, семьдесят лет заливали землю кровью, унавоживали ложью, но ведь и... пеплом — про то он не думал, не знает, не надо ему! Никогда не вернуть книги, рукописи, стихи, мысли — ушли в землю. Может, ими и... прорастет — болью, отчаянием, страданием, мужеством, чистотой, высотой горения духа, правдой, Истиной... Что я, вчера пришел сюда? Шесть месяцев катают, знаю!.. *Раскрутка!* Борины рассказы, в первые недели, на этой вот шконке и рассказывалось: укол в вену, вливание — и тебя понесет, потом сам не вспомнишь, а не удержать, все выложишь... Пугал? Его дело, его проблемы, а я и тогда не был *один*, помнил, *знал*: когда же поведут вас, не заботьтесь, как и что отвечать, как и что говорить, не оставлю тебя и не покину тебя — что сделает тебе человек?.. Но если так — только так! — то и это мое *искушение* — для меня благо? Не зря попущено кружиться в собственной мерзости: чтоб не вспоминать, не думать, забить в себе, выжечь... Так лучше, так для меня важнее, спасительней, я такой же, как и они, мы вместе, вот моя судьба: и к злодеям причтен.

— Чего маешься, парень? Опять гонишь?

Петр Петрович. Сегодня с утра смирный, тихий. Очень внимательный.

— Чего ты вчера... в тетрадке,— говорит,— к суду готовишься?

— Чтоб не забыть, затрется. У меня статья... умственная.

— Кабы у тебя другой не было.

— Какой другой?

— Несолидная твоя статья. Ты малый серьезный, вон как с тобой носятся, а статья для тебя... стыдная.

— Кому стыдно?

— До трех лет! Кабы так, тебя б давно оприходовали, а они, видишь, держут.

— Ну и что?

— Другую вмажут.

— Сто семнадцатую?

— Чего захотел. А шестьдесят четвертую не желаешь?

— Сам придумал? — спрашиваю.

Глядит на меня вприщур, ох, не простой мужик, битый, верченый... Что ж так дешево прокалывается — *выкупается!*

— Знаешь такую статью? — спрашивает.

— Слыхал, мне не по чину.

— Скромный ты у нас. А я почитал между делом, очень подходящая. А неподходящая — натянут. Я в квартиры заглядывал из любопытства — разве я родине изменял? С моралью не все ладно. Своя, как говорится, кухня. Нашенская. А у тебя вон чего... «Оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР...»

— Я тут с какого боку?

— Иностранные господа — ты с ними Вась-Вась, а каждый из них — кто?

Глядит на меня вприщур, ждет. Подожди, и мне не к спеху. Боря был поумней.

— Думаешь, не дадут три года, расстреляют?

— Расстрелять не расстреляют, а конфискация в статье предусмотрена. Вот они на что тебя тянут.

— Жалко, мы с тобой кореша,— говорю,— заглянул бы ко мне в квартиру по ихней наколке, почистил, им бы меньше досталось.

— Есть чего?

— Эх, Петрович, я про сапоги, а ты про пироги...

Как же мне могло залететь в голову, что они оставят меня в покое? Так и буду переходить из рук в руки, от одного поумней, к другому — попроще, а цель одна — дотянуть, размазать, не выпускать из виду, сорвусь, не сегодня-завтра, не выдержу, через месяц, через шесть — зачем им торопиться?! У каждого своя крыса, думаю, ее не может не быть. А собственная душевная каша — не *крыса?* Проколюсь, сам себя *выкуплю!* Потому они не спешат, кончится срок — продлят, дождутся, чего хотят: затрепыхался — готов!

Простота, думаю, заглянул бы ко мне в квартиру, успокоился... Неужто *они* придумали? Поняли, расстрелом едва ли напугают, соображу, что липа, не то время, грубовато, кабы сперва размазали, всему бы поверил, на все согласен... Да и как не согласиться — *миллионы* не верили, когда им предлагали матушку 58-ю! Разум не воспринимал, логика не вмещала — за что? Липа, шантаж! Но ведь... убедили. Как не убедиться, когда правда — вне разума, помимо логики и здравого смысла. Тогда нельзя было не поверить, а сегодня — сначала размазать, 64-я — не 58-я, другой опыт. *Пока* не вышло со мной, да и не очень старались, нечем хвастаться; вяло, незаинтересованно, как на колхозном поле. Вот они и придумали: попробуем *конфискацию...* Прокололись. И думать об этом не стоит. Нелепость.

Пожалуй, с Герой следует поближе, думаю, чтоб перебить себя, выскочить из закручивающего меня колеса. Гера... И робость его, и беззащитность... Кто посмирней, тот и виноват. Волки всегда выигрывают. В их волчьей игре. Слабый человек, простоватый, но ведь и трезвость в нем, а надо ж, как запугали мужика, а может, сам полез, куда кроликам не положено? Кого у нас больше — таких кроликов, или тех, кто хоть кого схарчит, только попади на зуб? Жалко, нет статистики, кроликов, пожалуй, больше. Но разве Богу нужна статистика? Каждая душа стоит целого мира, кролик ли он, волк...

— Ты не печалься, Гера,— говорю,— тут не конец, даже не середина, самое начало. Нам все на пользу — и тюрьма, и Валентин-Красавчик.

— Научили, верно.

— А так бы присох в магазине, ни себя не знал, ни того, чем мир мазан.

— Думаешь, выйдем?

— А как же. Для того и учат.

— Я давно собирался уехать,— говорит Гера.— У меня бабка в деревне. Бабка-не бабка, тетка. Под Переславлем-Залесским. На земле жить — вот чего хотел. На себя заработаю, а другого не надо.

— Верно! Если чужого не надо, своего Он тебе всегда даст.

— Кто... даст?

— Господь Бог. У Него всего много. И деревни, и огороды. И куры-животина. И бабку-тетку найдет. Чужого не захочешь, а чего для души надо — все даст.

— Так считаешь?

— Я в это верую. Знаю — так и будет. Попросишь — получишь. Что тебе на самом деле нужно. Для тебя, для души.

— Я, Вадим, видел, как ты... дернулся, когда я рассказывал про деньги... В крематории. Думаешь, не знаю, что человек не... говядина? Разве в той глине — душа?

— Тебя для того и выдернули оттуда, чтоб понял.

— Тяжелая наука,— говорит Гера.

— А как ты думал? Срок большой-малый — только срок, а у тебя впереди...

— Расскажи, Вадим! Мне надо знать, не ошибиться!..

Какие простые слова, думаю, а до поры — мимо! Но стоит размять человека, *любого* человека, отнять у него лишнее, ненужное, только мешающее, путающее ноги-руки, сознание, душу, сердце — и он уже готов понять слова, от которых еще вчера отмахивался. Готов впустить в себя, им открыться... Что же они с нами сделали, чего нас лишили!.. Опять *они*, будто не мы сами...

— У меня к тебе дело, Вадим. Погляди свежим глазом, как, вроде, ничего не знал. Да ты и на самом деле не знаешь? Первые месяцы я тут... Мертвый — понимаешь? Мне было все равно. А сейчас думаю, даже если не докажу, если замотают, убьют — совесть будет чистая. Перед собой. Все, что мог, сделал. Ты понимаешь, в чем они меня?..

Побрился, глаза блестят, лихорадит его, а мужик здоровенный.

Листов двадцать с двух сторон исписал. Почерк крупный, не слишком грамотен...

— Ты прямо Илья Муромец,— говорю,— тот тоже лежал, лежал, а потом слез с печи, взял...

— Почитай, скажешь. Эта гидра пострашней, чем у Ильи Муромца. Там двенадцать голов, а здесь сколько? И отрастают... Они меня так замотали, я уже не дергался. Понял, не вылезу. А когда услышал — на суде, что́ они говорят, поглядел на отца... Когда стал говорить... Я не думал, что смогу *говорить!* А видишь, услыхали, отправили доследовать. После суда я три месяца думал, лежу наверху и каждую минуту разматываю — весь тот день, каждый шаг... Прочти, не хочу, чтоб заранее, как бы ничего не слыхал...

— Ты мне скажи, Саня... Мы вдвоем. Ты... убивал мать?

Желтое лицо пошло красными пятнами, а глаза... Тень прошла, как облачко.

— Вон ты как меня... Не убивал. Я бы не мог. Прочти.

Жуткая повесть о... Мите Карамазове из Наро-Фоминска. Но в Скотопригоньевске Митя сам все запутал и всех запутал, каждый факт — палка о двух концах. А через сто лет кому нужен второй конец у палки — один есть и за глаза хватит, зачем искать, все ясно! И Фетюковича нету, извели Фетюковичей за семьдесят последних лет. И присяжных нет, кивалы заместо присяжных, они все скушают. И телефон в кабинете у судьи. Начальству в Наро-Фоминске видней, кто преступник, а кто нет. И был бы Фетюкович — неужто станут слушать? Тоже невидаль — Фетюкович!.. Но зачем им Саня, с ним что за счеты?

Пожалуй, не повесть, роман о времени. И начало ему чуть не сорок лет назад, когда отец героя вернулся с войны, родился Саня... Намыкалась Аграфена Тихоновна в прифронтовом, послевоенном Наро-Фоминске, отцвела, высохла, скучно с ней бравому офицеру; не большой город Наро-Фоминск, а нашлась помоложе, веселей, богаче. Въехал отец героя в просторный дом, стоит на краю города, на развилке: большая усадьба, сад-огород, в самый раз директору школы, а что с моралью, как говорит мой сокамерник, не все ладно, кого это когда останавливало?..

Зачем мне, думаю, тащить ниточку издалека? А Сане зачем? Тем более, какое дело суду до его корней-связей, разве там завязано, оттуда нож? Вот и кивала о том же...

Подняла Аграфена Тихоновна мальчонку, здоровенький, смышленый, кончил школу, поехал в Москву, художник. И нет ей дела до бывшего мужа с его садом-огородом, с войны дождалась, а тут не переждешь. И жизнь тяжелая: не дом — избенка, как не в городе, огородик — лук-огурцы, картошки своей на зиму не хватает, а паренек, даром что смышленый, трудный. А разве бывает легким, если художник? Высокое искусство, честолюбие, водка — а денег нет. То приезжал по субботам-воскресеньям, топориком помашет, молотком постучит, поправит, подтянет, а тут совсем вернулся, не светит ему Москва, а Москве никто не нужен. Поселился в старой баньке на огороде, ни за топор, ни за молоток не взялся; темновато, а ему света хватает. Замажет холст, перевернет на другую сторону. Снова перевернет — и на том же самом холсте. Пристроился в клубе: намалюет рекламу, неделю пьет, а пропьется, за холст, за краски... Обычная история, классика. И чем дальше, тем реже за краски, чаще — за бутылку. Жениться надо парню, а кто пойдет за пьяницу, за нищего. Пропащий мужик.

Однажды постучался в баньку прохожий. Со своей выпивкой. Загуляли. Саня бегает в магазин, а Степа крошит огурцы на материном огороде. А кто такой Степа, Сане не нужно — какое его дело? Первый раз пришел поздно ночью, на огонек; через неделю опять завалился. Гуляли три дня. На четвертый приходят к Сане из клуба: новый фильм, давай рекламу. В самый раз получилось, пора кончать гуляние. А Степе мало. Мать плачет, нет сил думать о том, что происходит в баньке. Дотолковались: купит Саня последнюю бутылку — на ней пошабашат. Саня бежит в магазин, оттуда в клуб, возвращается, выпили бутылку, утром Саня вылил на голову ведро воды, намалевал рекламу и пошел к матери.

А ее нет. Где ей быть? Дверь открыта. В магазин ушла? Подождал, походил по дому. И тут увидел: подпол, вроде, не так закрыт, крышка сдвинута, не вплотную. У них так не бывает. Открыл, спустился по лесенке...

Дальше Саня не помнит. Побежал по улице, кричит, рвет на себе волосы: в подполе мать — изрезана, залита кровью.

Взяли Саню, взяли Степу. Кто такой?.. А, старый знакомец! Известный человек, два раза оттянул сроки, жил неведомо где, скрывался от надзора, а за два дня до того, как появиться последний раз у Сани в баньке, нашли Степину мать — и тоже в подполе, и тоже изрезанная. На другой день Степа признается: свою мать он убил, денег не давала, а у нее были, нашел. А Аграфену Тихоновну они вместе с Саней. Тоже денег не давала. Надо похмелиться, а она не дает. Саня, мол, ударил, а Степа ему в руку нож.

Трудно поверить очевидной истине пинкертонам из Наро-Фоминска, Саню с детства знают, кореша: пьяница, верно, бездельник, знаем, но чтоб мать, Аграфену Тихоновну?.. Выпустили Саню. Он похоронил мать, справил поминки, а через неделю его снова взяли — и с концами.

Мрачная, пьяная история. Свидетелей нет. Два человека и труп. Один — одно, второй — другое.

А при чем тут отец, сад-огород?.. Стоит дом бывшего директора школы, а ныне пенсионера, на краю города, на развилке, сад-огород одним боком спускается к речушке, другим к оврагу. Хорошее место для уединения. А чуть подальше еще один дом — в два этажа, третий мансарда, веранда застекленная, веранда открытая, подземный гараж, службы. Хозяин дома — советская власть в райцентре. Асфальтированное шоссе летит мимо сада-огорода, а к двухэтажному особняку не подъехать: речушка, овраг, сад-огород — не подобраться; объезд далеко, мост строить дорого, да и будет бить в глаза — шутка сказать, персональный мост! Куда проще спрямить дорогу через сад-огород, залить асфальтом — прямо к подземному гаражу. Нормально. Потолковала советская власть с бывшим офицером, бывшим директором школы, ныне пенсионером. Ни в какую, он и говорить не желает: ни деньги ему не нужны, ни квартира в городской пятиэтажке. Еще, мол, раз придешь, спущу кобеля. Жили бы на проклятом Западе — поджечь, купить гангстеров, а у нас развитой социализм, не ихний распад. И тут судьба шлет подарок: сын бывшего директора школы родную мать зарезал! Под такое дело можно не только сад-огород сковырнуть — вон из партии, из города, не порти нам картину победившего социализма!

И заработала следственная машина. А что работать — все ясно: спился, связался с рецидивистом-изувером, тот во всем признался... А Саня бормочет, ошеломлен, раздавлен... Чем раздавлен — страхом наказания, его неотвратимостью, чем еще! И не слушают, что бормочет. Это уже не говоря о том, что истина следственная ли, судебная всегда относительна и не может быть абсолютной. На том и стоит наше правосудие. И правосознание, кстати. Не забыли открытия Вышинского, на нем воспитаны, вскормлены, взросли, возмужали — как забудешь, разве устарело?

Зарыли Саню. Но, видно, переборщили с «относительностью истины», как уж сляпали дело, если суд после трех дней *показательного* процесса отправил его на доследование, а Саню обратно в тюрьму? Редко такой брак в столь очевидном деле при полном взаимопонимании с властями. Тебе же хуже, сказал Сане следователь, так бы натянули пятнадцать лет, а теперь разменяем, сам захотел... Но главная Санина победа не в доследовании — отец поддержал, поверил, вот в чем надежда, она и дает силы: не один, ему верят, потому он и опомнился на своей шконке, шаг за шагом восстановил тот роковой день, уже не только за себя, за мать борется, отца защищает. Вон на что замахнулся: истина ему нужна, не может она быть относительной, только абсолютной, требует настоящего следствия, объективного суда, для которого всякое сомнение — в пользу обвиняемого, для которого ничего нет выше принципа — одного невиновного освободить важнее, чем осудить десять виноватых.

Но это принципы, теории, они хороши в книжках, а тут реальность: Наро-Фоминск, правосудие, заквашенное на открытиях Вышинского, правосознание, для которого только властям принадлежит последнее слово в решении судьбы человека. На одной чаше весов теория и принципы, а на другой — пьянствовал, тунеядец, рецидивист-изувер с его чистосердечным признанием. И отец-гордец с садом-огородом... Нет вещественных доказательств? А кровь на Сане — не доказательство?

С той крови Саня и начал свою защиту. Малевал рекламу, напоролся на гвоздь в старой фанере, внимания не обратил, а по профессиональной привычке обтирать руки об штаны, и обтирал кровь с пальца — моя кровь, не матери! И что палец порезан — стоит в протоколе. И еще одна *подробность*, он на ней заклинился, с разных сторон поворачивает: подельник-изувер утверждает, что дал ему в тот последний день деньги на две бутылки и они их выпили, а Саня говорит — купил одну, потому что больше

решил не пить, и деньги вернул. И свидетель есть — продавец в магазине, она помнит! Зачем ему было требовать у матери деньги, он знал, деньги есть — были! Требовать из сиротской материнской пенсии, а когда не дала — убить?!

Митя, Митя Карамазов бьется за истину в уголовном процессе, забыл, что судьба его в руках советского правосудия, советской юстиции, советского закона, который все семьдесят лет пылился в рамочке под стеклом, которому никогда дела не было до человека, и сегодня не замечают, что тут *прецедент*, тем более дорогой, что все против обвиняемого...

Хорошо написал, убедительно, четко, и экспертиза за него: «нет возможности *утверждать*, что кровь на штанах обвиняемого принадлежит пострадавшей». Нет возможности утверждать! И следствие записывает *такую* экспертизу в актив обвинения...

Я проснулся оттого, что меня мазнуло по лицу жестким. Кто-то выбирается из прохода между нашими шконками... Саня? Обогнул дубок и полез наверх...

Разбудил, гад. Целый день мучил кошмар от его записок, ночью кровавая каша перед глазами и утром опять он?..

Я перевернулся, посмотрел в окно: небо между «ресничками» чуть-чуть светлело. Рано. Зачем он спускался — сигарету стрельнул? Сигарет у нас уже третий день нет, курим табак, но у меня под матрасом, не достал бы, да и не похоже на него, чтоб без спроса. Накануне мы долго разговаривали, он объяснял, что не вошло в жалобу. Я-то поверил ему, но слишком много водки в деле, да и зачем следователю возиться, а тут все надо сначала, перечеркнуть столь блистательно завершенную работу... Адвокат нужен, сказал я ему, настоящий — смелый, азартный, для которого такое дело — карьера, путь к успеху. Журналист нужен, который громыхнул бы сенсацией: детектив с психологической, социальной подкладкой — по Достоевскому и Короленко. Но где сегодня адвокаты, где журналисты? Достоевский сто лет как помер, а Короленке за статью в защиту как бы уголовную статью не впаяли.

Рядом со мной шконка пустая. Петр Петрович моется, разделся до пояса, вижу только его спину. Гера и Мурат спят. Что ж эти двое да в такую рань? Саня обычно не встает до поверки, корпусной тянет его за здоровенную лапу, Петр Петрович поднимается пораньше, но чтоб первым...

Впрочем, не так уж крепко это меня занимало: одному не спится, другой полез к нему за спичками или еще за чем. Не потерять бы еще одно утро. Утро, утро — вот что дороже всего. Быть одному! Если хочешь писать, каждый день должен быть похож на предыдущий, монотонность нужна — до скуки, как лошадь по кругу, иначе не выйдет, я всегда это чувствовал, не формулируя, знал, а потому боялся и не хотел любой перемены, так и здесь — оставьте меня в покое, хотя бы на час, мне бы додумать, до...

После завтрака Петра Петровича потянули на вызов. Я лежал и смотрел, как он собирается. Он надел чистую рубашку, пиджачок, положил в карман сигареты — пачку! а у нас, кроме табаку... Поднял подушку... Поворачивается ко мне.

Я даже заморгал. Он уставился на меня: глаза под очками вприщур, острые, жалят... Отвернулся, со злостью швырнул подушку, завернул матрас, сел на шконке и в упор глянул на меня.

— Ты вот что, парень...— начал он.

Открылась дверь.

— Вахромеев! Долго ждать?

Петр Петрович сплюнул на пол — никогда с ним такого не было! — и вышел из камеры.

— Что это с ним? — подумал я вслух.

Сверху спустился Саня, ходит по камере, руки за спиной. Потом пролез ко мне, сел напротив, на шконке Петра Петровича.

Он менялся день ото дня: живой, явно неглупый, с юмором. И глаза открылись. Нашел точку, становится на ноги.

— Такое дело, мужики,— громко говорит, ко всем обращается.— Или мы рискнем, себе докажем, люди мы, а не камерная шваль, или уже сейчас заявим: останемся кроликами, сожрут — заслужили. А сидеть нам всем, отсюда не уходят. Кому больше, кому меньше, а всем долго.

— Мне лучше всех...— сказал Саня,— легче. Меня они отсюда едва ли выкинут, остерегутся, в другой хате пришьют с такой обвиниловкой, не зря создали условия...

— А Нефедыч,— спросил я,— его пожалели?

— Ну и пес с ними,— отмахнулся Саня,— стало быть, и мне, как всем. Короче: где твоя тетрадка, Вадим?

— Какая... тетрадка?

— В которой пишут. В которой ты позавчера...

— А тебе на что?

— Испугался! Дорожишь тетрадкой?

Вот и приехали, думаю, а я все ждал, на чем меня...

— Что у тебя за заходы, Саня?

— Покажи тетрадь, Вадим... Да не бойся, не возьму!

— Как ты возьмешь, если я ее тебе не дам?

— Тьфу! — говорит Саня.— Мы с тобой время теряем, а не знаем, много его осталось или нет?

Я вытащил из-под шконки рюкзак, развязал. Третьего дня, верно, я писал в тетрадке, потом сунул в мешок... Сверху не было. Я пошарил поглубже, прощупать не смог и вывалил содержимое на одеяло.

— Не ищи,— сказал Саня,— вот она.

Он вытащил тетрадь из-за пазухи:

— Твоя?

Я ничего не мог понять.

— Значит так, Вадим,— сказал Саня.— Я за эти месяцы належался, считай, на весь будущий срок выспался. Просыпаюсь рано, все об одном. Сверху хорошо видно, пристрелялся. Сегодня гляжу, наш пахан не спит, глаза без очков, дай, думаю, схвачу на карандаш, очень меня его личность заинтересовала. Открылся. Рисую, поднял голову, а его нет. Приподнялся, а он в твоем мешке шурует. Вытащил тетрадь — и под подушку.

— Сегодня утром? — спрашиваю.

— Я сразу сообразил — вызова ждет. Терять времени нельзя. Он пошел мыться, я тихонько слез и... Успел.

— Спасибо, Саня. Шустро.

— Я открыл тетрадь, не обижайся. Не знаю, дорога она тебе или нет, и сколько ты в ней себе намотал. Но тебе не надо, чтобы знали, что ты... Короче, учти, он так не оставит, шмон нам обеспечен... Давай по делу, Вадим. Зачем тебе рисковать?

— Верно,— говорит Гера,— пусть дураками будут.

— Они бумаг не трогают,— подал голос Мурат.

— Заткнись, интерьер! — сказал Саня.— Твои не тронут, хоть по стенкам развесь. Рукописи не горят, Вадим, голова нужна и руки. Не пропадет. Главное, чтоб им не досталось...

Жалкая моя «пьеска» догорала в бачке, когда дверь открылась и новый пассажир шагнул через порог...

Нет, я его не сразу увидел... То есть, увидел, но... Не о том я думал, успел додумать: горит моя «пьеска», уходит дымком... Рукописи не горят, быстро думал я, они сгорают, когда Бог того хочет, допускает, а когда нет... Значит, дело не в *случае*, не в Петре Петровиче, не в Сане, не в том, что один для кума, а другой для... В том, *зачем* я ее написал. Оправдать свое существование здесь, профессиональный навык, вычленить изо всей этой мерзкой каши нечто, что даст возможность понять...

Я беру кусок глины, мну ее, разминаю — и вот она, камера. Мои сокамерники... Они или я? Та же глина, думаю я, разве *меня* не мнут, не разминают, не... Оправдать свое существование здесь? Зачем?.. Тщеславие, самолюбие, корысть... Бездарно написал — вот оно, самолюбие. Современно, талантливо... гениально! Вот оно, тщеславие. Сенсация, такого ни у кого еще не было, чернуха — тираж! Вот и корысть. Но разве — талантливо, сенсация, тираж сто́ят хотя бы что-то рядом с тем, что я сподобился здесь увидеть, что мне показали? Что же я увидел?..— быстро думаю я.

Я мну кусок глины, завораживаю себя, моего читателя... Чем? *Моей* правдой? А что в ней? Но я попытался «сгустить», найти в этой мерзости... Хорошо, пусть правда. *Моя* правда. Разве я смог, набросав мою жалкую «пьеску», увидеть в *них*, в *каждом* из них, в мерзости, которую я зафиксировал... Ладно, я — не смог, это моя проблема... Нет, не просто моя! Бог, сотворивший небо и землю, не в рукотворенных храмах живет, сказал в Ареопаге апостол. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Он Сам дал всему жизнь и дыхание, и все — «мы Его и род». Одно дело, искать Бога — а только для того мы существуем, где бы ни были, другое, думать, что Его можно найти в глине, камне, золоте, тираже, получившем образ от вымысла. В каждом из *них* живет Бог, быстро думаю я, не важно, знают они о том, забыли о Нем или не хотят о том думать, а я попытался... Потому здесь нет случая, думаю я и вдыхаю дымок, струящийся из бачка, всего лишь еще один урок мне, благодарю Тебя, Господи...

Итак, жалкая моя «пьеска» догорала в бачке, когда дверь открылась и новый пассажир шагнул через порог. Такого я еще не видел: двухметрового роста, широченный, в заграничном, не по сезону, пальто, клетчатых брюках, с мешком и сумкой из «Березки». Матрас у него был под мышкой.

— Будем знакомы,— сказал он, как и следовало ожидать, с заграничным акцентом,— имя для вас трудное — Арнй я, зовите Аликом... Просторно живете. Я, пожалуй, с краю. Рост не позволяет в середку...

Он раскатал матрас на свободной шконке у стены, рядом с местом Петра Петровича.
— Откуда такой... явился? — спросил я.
— С особняка,— охотно ответил он.
Все четверо мы уставились на него с почтением. «Полосатых», с особняка я еще не видел.
— Как же это тебя... к нам?
Он устроил себе место, сел ко мне, вытащил сигареты.
— Налетайте. Но учтите, пачка последняя. Табачком угощу.
— Табачок у нас есть,— говорю,— но почему тебя сюда?
— Сегодня утром раскурочили всю нашу хату. Мы внизу, под вами.
— Двести восемнадцатая? — спросил Гера.
— Она. Появился у нас... Нет, давно, я месяц назад пришел с Бутырки, он уже был. Композитор... Нот не знает.
— Коля? — вырвалось у меня.
— Точно. Знаешь его?
— Был у нас. Я с ним начинал полгода назад.
— Композитор, как я балерина. Оперу сочиняет. Ребята знали, что он стучит, побили разок-другой, а он не обижался. Отряхнется и за свое.
— Может, не он,— усомнился я,— вроде, не такой...
— Может, не он. Шуму от него много, коней гонял, внизу, на третьем этаже барышни-венерички. В доминошный покер любитель... Душа общества, а все мимо.
— Он, он! — сказал я.— Точно, Коля! Шмаков?
— Шмаков. Проигрался два дня назад, его прижали. Ушел, вроде бы, на больничку, а утром всю хату — кого куда. Меня к вам.
— У тебя какая ходка? — спросил Гера.
— Я, братишка, сижу с сорок шестого года. За все время лет пять, а может, шесть погулял, а так бессменно...
— Сорок лет! — ахнул Мурат.
— А с Бутырки тебя почему? — спрашиваю.
— Давайте, ребята, по табачку, а сигареты прижмем для вывовов. У меня сигареты будут, а пока прижмем, верно?..
Красивый мужик. Очень красивый. Светлые прямые волосы, квадратный подбородок, глаза широко расставлены, стальные, движения неторопливые... И такая уверенная, спокойная сила. Доброжелательный.
— Такая, ребята, история в Бутырках...
Брякнула кормушка. Обед.
— Вот что, мужики,— сказал я.— Я в этой хате старожил, давайте восстанавливать старый порядок. Я как пришел сюда, такой был желтенький, такой пуганый — ничего не понимал, натерпелся страху на сборке, наслушался. А меня сразу за дубок, а мне под нос кусок сала, колбасу — всем поровну! У меня душа оттаяла. Ну, думаю, не так страшно, и в тюрьме люди... А вернулся сюда — три семьи за дубком, глядят в чужие шленки, друг от друга прячут куски, двое хлебают по углам... Так не пойдет! Давайте вместе — что есть, то есть.
— Так и положено в хате,— поддержал Арий.— У меня, правда, ничего нет, но будет, будет...
Впятером мы сидели за дубком, хлебали жидкую кашу, когда открылась дверь и явился Петр Петрович: костюм, белая рубашка, губы плотно сжаты, холодные глаза под очками. Глянул на нас и полез к себе на шконку.
— К столу, Петрович,— говорю,— у нас революция, все теперь общее. Что есть, то есть.
— Ты у меня, падла, дождешься,— сказал Петр Петрович,— будет тебе общее. Вздумал со мной шутки шутить?
— Как понять, Петрович? Ты *меня* спрашиваешь?
— У нас с тобой будет разговор. Завтра. Уйдут гулять, мы с тобой останемся. Поговорим. И если ты, падла...
— Чего ты лаешься? — добродушно осведомился Арий.— Тебя человеком понимают, к столу, а ты...
Арий сидел, согнувшись над дубком, не разберешь, кто такой.
— Этот еще откуда?! — вскинулся Петр Петрович.— По-русски не научили падлу недорезанную? *Мне* указывать?..
Арий выпрямился и медленно начал подниматься. Зрелище было устрашающим: он как бы вырастал и вырастал над дубком.
— Фильтруй слова, сука! — сказал Арий.— Кыш!..
Петр Петрович замер на шконке, отвалил челюсть.
Да, сила силу ломит, ничего не скажешь.
— Вот что, Петрович,— сказал Саня,— чтоб не было неясностей. Ты только пришел, считай, не возвращался. Собирай мешок и двигай отсюда.

— Чего?..— спросил Петр Петрович.
— Непонятно?..— сказал Саня.— Ты хотел образцовую хату? Потрудился. Вот мы и решили, доведем до конца. Чтоб кумовской мрази тут не было. Ясно?

8

— Как живете, Георгий Владимирович? Опять мы вам не потрафили?
— Я... не смог, гражданин майор.
— Что ж ты, Тихомиров, не смог? Или на принцип пошло?
— Он... он...
— Что за «он» — кто такой?
— Я не знаю, гражданин майор, они меня... вынудили уйти.
— То «они», то «он» — можешь по-русски?
— Бедарев, гражданин майор. Наверно, он заметил, что я за ним... Он хитрый человек, умный.
— Хитрый? Ну-ну... На всякую хитрую жопу есть... Или не знал?.. Умный?
— Я хотел, как лучше, гражданин майор.
— Как же мне с тобой поступить, Тихомиров? Человек вы интеллигентный, мы таких ценим, условия создаем. Мы ценим людей, которые нам... нужны. А вы нам не нужны. Придется отказаться от вашей помощи. Не сработались. Что поделаешь, Тихомиров. Переживем.
— Я... буду стараться, гражданин майор. Если вы еще раз меня... в другом месте...
— Опять другое место! Сколько же у нас для тебя мест, Тихомиров? Это тюрьма, не мягкий вагон в скором поезде, и там не напасешься. И все хорошие места, плохого не хочешь?
— Как вы решите, гражданин майор.
— Вон как! Это и ежу понятно... Бедарев тебе, стало быть, не по зубам — умник, нет на него управы?
— Я... У меня записано, когда он уходил к врачу, когда...
— Давай сюда... Так, так... Ну, держись, Бедарев!
Что он к нему привязался, к этому Бедареву, думает он, зачем он ему нужен? Он же осужденный, даже мне понятно, срок у него... Чего же он от него хочет?..
— К врачу... А ты откуда знаешь, что он к врачу?
— Разговор в камере... Они считают, он... тоже работает на... вас.
— Тоже! А почему они... считают? Или он сам сказал?
— Он письмо показывал Кострову, фотографию...
— Какое письмо? Фотографию?
— У них был один... до меня. Я не застал.
— Так, так...
— Бедарев на себя получил, а письмо для другого. И фотография для него. А Пахом... то есть, Костров не верит. Не ему, говорит, врешь. Фотография... ребенок, не похож. То есть, не тому, мол, письмо. Бедарев и для Кострова передал письмо, то есть взялся передать, а Костров говорит, оно у следователя. Из-за того у них драка.
— Ну и рассказчик из тебя, Тихомиров. Неужели доцент?.. А что он к врачу ходил, откуда тебе известно?
— Я не... знаю, но вертухай... То есть, дежурный каждый раз кричит: «Бедарев, к врачу!» Но когда к врачу вызывают, минут десять-пятнадцать, а он...
— Что — он?
— А он, другой раз, час-полтора отсутствует. А то и больше. У нас нет часов, гражданин майор.
— Вон как! Час-полтора?
— Не меньше. Приходит веселый, довольный, от него... вином попахивает, в камере очень... чувствуется.
— Ну, сука, ну, блядина!
— Он, видно, заметил, не знаю, правда, как, но... Хитрый, гражданин майор, опытный человек! Заметил, что я... Ну и... дружить с ним у меня не получилось.
— Дру-ужить? Да ты у нас гимназист, Тихомиров! Да, с интеллигентами и в цирк ходить не надо.
— Вы же сказали, сблизиться...
— Вот что, Георгий Владимирович, давайте еще разик попробуем, дадим тебе шанс. Пойдешь...
— Куда скажете, гражданин майор.
— Так-то оно так, само собой... Но дело, учти, ювелирное. Провреться — пеняй на себя. Пойдешь на спец.
— Спасибо, гражданин майор.
— Спа-а-сибо? Ну даешь! Погоди, мы потом сосчитаемся. Камера будет на троих, не возражаешь?.. Ну и ладно, очень тебе благодарен за согласие. Может, четвертого

кинем для... Чтоб не так скучно. Работа, повторяю, ювелирная. Сначала вы будете... вдвоем. Есть у нас еще один интеллигент, писатель. Тот самый, которому письмо с фотографией. Соскучился по интеллигентским разговорам? Книги, кино, театр, советская власть — очень она вам, интеллигентам, не угодила, культ личности, евреи, коллективизация, демократия, законность, кого расстреляли, кого не расстреляли... Что еще? Сам знаешь. И он соскучился, и ему того надо. Вот вы и поговорите. Пусть намотает! Малый он смирный, не то что Бедарев. Интеллигент, как и ты. Но... позубастей, побойчей. С ним сможешь и... подружиться...

— Какая у него статья?

— Статья у него самая, можно сказать, серьезная, а по нашим... гуманным временам, самая плевая — до трех лет. Дешево хотят отделаться господа интеллигенты. Никуда он не денется, так и будет добирать — к трем да к трем. Никогда не уйдет. Антисоветчик, сука. Крест на брюхе. Верующего косит. С ним будешь — не разлей вода. Понял?

— Понял, гражданин майор.

— Но это не все. Через неделю, когда... сдружишься, к вам придет Бедарев.

— Кто?

— Да не пугайся, мужик ты или баба? Насчет тебя я с ним отрегулирую, поставлю условие, ему деваться некуда. Если он тебя тронет хоть пальцем... Я его, вроде, под тебя посажу, он за тебя головой ответит, а ты... У него у самого рыльце в пушку, у Бедарева, успокойся! Умный-умный, а с писателя ничего не поимел. Усек или еще объяснять?

— Понял, гражданин майор.

— Тут в том будет... ювелирная, что Бедарев сам захочет посчитаться с писателем, он на него тянет, как же — тот его размотал, выкупил! И через это вся тюрьма будет знать, кто такой Бедарев — усек? Не спрячется. И на зону потянется. Я ему устрою зону, он мне заплатит за... выпивку с закуской. По стене размажу умника. И заодно писаку дотянем. Гляди на него, вот он... Погоди, ты когда пришел на тюрьму?

— В конце января, гражданин майор.

— Числа какого?

— Тридцать первого января.

— Так ты его должен знать? Ну-ка, погляди!..

— Н-не... помню. Там много было, на сборке...

— Не помнишь?.. А теперь не забудешь, разберешься?

— Разберусь. Теперь я... кажется, во всем... Я и в себе разберусь, гражданин майор.

— Вон как! Ну-ну. Значит, наши беседы на пользу? Мы не только наказываем, Тихомиров, мы воспитываем. Первая, как говорится, задача нашего гуманного общества... Первая. Но запомни, Тихомиров,— не... последняя. Если что, если хотя одна живая душа узнает о нашем с тобой разговоре...

— Я и это запомню, гражданин майор.

— Тогда у меня все. Удачи тебе... гимназист.

9

Сломался сон. Главная моя защита и крепость не выдержала. Рухнула. Пала. Расхвастался. Вот уже неделю засыпаю под утро. Сны липкие, неотвязные, перед глазами кружится, в голове стучит... Не умолкают. Говорят, говорят... Разве на самом деле они *так* говорят? Так... *думают*?

Целый день потом я квелый, сонный и не понять — сплю или... Как происходит с человеком такой... *перелом*? Да не перелом сна, тут медицина. Что́ человека ломает, что́ способно... переломить, дать ему силу, возможность опомниться, осознать себя?.. Раскаяние? Конечно! Понимание своей вины, своей беды, непременной погибели, если не сможет, не решится — если *не погубит себя*!

Кружится и кружится перед глазами, стучат слова... Растерялся человек, испугался, доплыл, на все способен, все может себе позволить, он и всегда был готов, всю жизнь так жил, но... вдруг... Как происходит это — *вдруг*? Есть предел, думаю, у каждого свой, но если человек еще жив, если способен вспомнить о том, почему и за что это с ним, понять — сам виноват, заслужил, а потому единственный выход — остановиться, сейчас, в эту самую минуту, еще одна — и будет поздно, уже не остановишься, ничто и никто не остановит... И тогда он говорит себе: все, дальше я не пойду, по вашей дорожке — не пойду, потому знаю — *куда*. И тогда поднимается, все превозможет, ото всего откажется — готов погубить душу, идет хоть на смерть, что-то говорит в нем, он не знает *что*, но понимает: вот его спасение — в погибели...

Я никак не вынырну из своего сна, из этого... грязного, липкого кошмара. Когда пишешь — легче, написал — и с плеч долой, ушло, оставило, а теперь, когда нет у меня — и не будет! — даже *тетради*, нельзя, не положена такая роскошь, затухнуть, уйти на дно, не на рыцарском турнире; когда только и остается бормотать, путая сон с явью,

забывая, где я, где «он», где... Как же *он* все-таки... поднимается, решится, где с ним должно произойти, может произойти, *произошло*...

Арий трясет меня за плечо, давно уже, а я не пойму — снится мне или на самом деле...

— Вставай, вставай, Вадим,— на вызов тебя!

На сей раз другой кабинет, просторней. И окно открыто, и «ресничек» нет, и солнце валит прямо в глаза — жмурюсь! И воздух, зелень — лето! И *она*... Другая? Лицо не постное — свежее, губы не поджаты, мягкие, распустила, платье... Надо ж — сменила! Летнее, открытое... Да она... привлекательная, моя барышня! Загорела, отпуск у нее, думаю, не до меня, потому и забыла, не вызывала.... Река, озеро или *они* в Сочи, где у *них* отпуск?.. С мужем ездит или такие без мужа? Муж горит на работе, а она горит... Где ж она горит, моя барышня, какое у нее *горение*?.. Платье легкое, свободное, и она в нем... «Они теперь голые ходят, под платьем у них...» Кто это сказал, не помню, кого-то недавно возили у нас в суд...

— Как вы себя чувствуете, Вадим Петрович?

Смотрит на меня с удивлением, очень уж я на нее загляделся, правильно поняла, женщины понимают, когда на них *так* смотрят... А глаза те же, откуда ей взять другие, это платье можно сменить для... соблазна — рыбьи, болотные, пустые... И я опоминаюсь от шока: после шести месяцев уголовной тюрьмы увидеть рядом женщину в открытом летнем платье!

— Вашими молитвами, Людмила Павловна. Что-то вы обо мне позабыли, я, было, подумал, тут мне и оставаться до Судного Дня. Но... пришли — сдвинулось, перемена в моей судьбе?

— Судьба ваша, Вадим Петрович, в ваших руках, вам хорошо известно. Я сразу сказала. Неужели не помните?

— Такое не забыть. Но я и без вас знал. Так что у нас полное взаимопонимание с первой встречи.

— У вас ничего не изменилось? — спрашивает.

Нет, не на юге, думаю, другой загар, не сочинская подлость, наш, среднерусский — река, поле, васильки-ромашки, малина-земляника...

— Как вам сказать, набрался мудрости, не без того.

— В таком случае, начнем разговаривать, как разумные люди. Намолчались?

— Как бы я намолчался? Разве вы меня, Людмила Павловна, хоть на часок оставляли наедине с собой, без общества? Не позаботились, чтоб и не скучал? Очень вам благодарен.

— Шутки в сторону, Вадим Петрович, вы прекрасно знаете, не новичок в тюрьме, я к этому отношения не имею. Если вам есть что сообщить, ваша ситуация может коренным образом измениться.

— Что-то произошло?

— Я же вам сказала: ваша судьба в ваших руках.

— Это как понять?

— Вы сами сказали, поняли меня с первой встречи.

— Понял. Особенно когда оказался здесь.

— Но... отсюда можно уйти.

— И это в ваших возможностях?

— В наших с вами. Общих.

— То есть, если у нас с вами будут... хорошие отношения, вы мне, как говорится, по блату — откроете дверь?

— Зачем же «по блату»? Исходя из взаимного понимания и... договоренности.

— Как же мне добиться вашего... расположения, Людмила Петровна,— ухаживать, что ль, за вами? Прямо тут, в кабинете? Или предложить руку и сердце?

— Об этом мы в другом месте. Сначала...

— Другими словами, у меня есть шанс рассчитывать на вашу благосклонность?

— У вас есть шанс выйти из тюрьмы. Я бы не вела с вами такой разговор, вы переходите границы дозволенного. Учтите, сегодня этот шанс более реален, чем вчера.

— Что-то действительно изменилось? Сегодня? В атмосфере? В погоде или — в климате?

Она смотрит на часы. Ого — внимание!

— Вадим Петрович, вы, я вижу, на самом деле намолчались, не будем терять времени. Если вы признаете себя виновным и ответите на ряд вопросов — очень простых, вас они никак не скомпрометируют, вы — я даю вам слово, в самое ближайшее время отсюда уйдете. К сестре, к племяннику. Куда хотите. Можете... выехать за рубеж.

— И всего лишь... «ряд вопросов»?

— Если напишете, что больше не будете нарушать закон...

— Я и не нарушал закон,— мне становится нестерпимо стыдно за мою говорливость, кокетство, возбуждение, за то, что заметил ее платье, загар...

— Хорошо, не нарушали. Так считаете. Но если бы вы его на самом деле не нарушили, мы бы с вами разговаривали не здесь, а...

— В Сочи, скажем,— говорю я с горечью: поделом, заслужил, все она про меня поняла.

— В Сочи?..— в глазах что-то блеснуло — живая! — Зачем в Сочи, и в Москве можно встретиться, чтоб... договориться. Я говорю с вами не по собственной инициативе, и бы с вами и в другом месте не... Речь не о прошлом, о будущем. Понимаете? Если вы напишете такое заявление...

— Кому?

— В Президиум Верховного Совета, в прокуратуру. В ЦК... Повторяю — о будущем, не о прошлом! Можете не ставить вопрос — виновны или нет. Но в будущем... Давайте серьезно, Вадим Петрович. Оказавшись на свободе, вы же не намерены нарушать закон?

— Я его никогда не нарушал.

— Отлично. Пишите заявление.

— А... в КГБ — можно?

Мгновение она смотрит на меня.

— При чем тут КГБ? Ваше дело ведет прокуратура.

— И вы говорите от имени прокуратуры?..

Страшные глаза... Нет, своей охотой в болото не полезешь, никто не полезет. А затянуть может, не выберешься.

— Так как? Будете писать?

— Как странно, Людмила Павловна, я убежден, что закона не нарушал, а потому, находясь в тюрьме, не хочу участвовать в следствии, ибо, на самом деле, закон нарушили вы. Вы утверждаете, что я закон нарушил и продолжаете держать меня в уголовной тюрьме... Почему, кстати, в уголовной?

— Ваша статья — уголовная.

— Конечно, у вас все... Но вы убеждены, что я преступник, полгода держите, хотя я с самого начала заявил, что вы заблуждаетесь? Я вину не признаю, а вы меня держите. Но как только я свою вину признаю: да, я нарушил закон, пусть косвенно — не буду нарушать, значит, когда-то нарушил? Скажу: я преступник — и вы меня отпустите? Как это понять, Людмила Павловна — в чем тут логика?

— Сколько в вас злости...— она откидывается на стуле.— Из-за своей злости вы и собственную жизнь губите. Советское правосудие воспитательное, по преимуществу. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы спасти человека, остановить его. Почему бы вас не освободить? Не давать срока, не отправлять на зону? Если вы осознали свою вину, раскаялись в содеянном, разоружились, если твердо обещаете больше закон не нарушать? Обществу вы уже не угрожаете — живите себе, воспитывайте детей, занимайтесь общественно-полезным трудом. И все будет нормально.

— Все будет нормально... Я, благодаря вам, Людмила Павловна, увидел за эти месяцы сотни людей. Каждый из них готов написать любую бумагу и пообещать все, что угодно. Но разве вы хоть одного отпустите, хоть когда отпускали? Чистосердечное признание, говорят в тюрьме, облегчает совесть и увеличивает срок. Или вам это не известно?

— Разумеется. Если это убийцы, воры, насильники.

— Разве у меня не уголовная статья?

— Если вы напишете заявление, что впредь не будете нарушать закон — пойдете на свободу.

— И я вам должен поверить? Полвека назад ваши коллеги превращали человека в кровавую котлету и добивались признания в шпионаже в пользу японской разведки. Чего не подпишешь, когда тебя такая милая дама... попросит. Но хоть одного такого «шпиона» вы выпустили на свободу?

— Вы говорите о временах нарушения законности. Они осуждены. Или я вас пытала? Выйдете и начнете рассказывать небылицы?

— Я буду рассказывать, что было на самом деле. Что видел. И что слышал. Меня вы не пытали. У нас с вами очень... увлекательная беседа. Я только не пойму ее смысла.

— Разве вы не знаете случаев — напомнить, привести примеры? В наше с вами время, не при царе Горохе? Человек признает свою вину, раскаивается, громко об этом заявляет — и выходит из тюрьмы, из зоны, начинает нормальную жизнь. Времена изменились, Вадим Петрович, они и дальше будут меняться. Знаю, что говорю.

— Зачем тогда торопиться?.. Подожду, может, следующий раз вызовете, чтоб передо мной извиниться? Полгода продержали... Вы будете извиняться, не я, вы будете давать обещания впредь не нарушать... Ну, коль предстоят изменения?

Она придвигает стул, берет ручку. На меня она уже не смотрит. Наклоняется над бумагами.

— Да, Полухин, жалко, мы с вами не встретились пятьдесят лет назад.

— Так вот какие изменения! Или о желаемом проговариваетесь? Как бы мы с вами здесь встретились в ту распрекрасную пору?.. Напишешь заявление — выходи! Пятьдесят лет назад, если у кого голова срабатывала, догадался — все равно убьют! Да подпишу, подавитесь, лишь бы скорей, отмучиться — и в распыл. А тут — торжество справедливости, законности, с прошлым покончено! Не зря «слово» дали — знаю, уйду на свободу, и примеры известны. Солги на себя, на свое дело, на близких, на друзей-приятелей — и на волю. Гуляй! Пятьдесят лет назад тебя бы убили — ни за что, а теперь, ни за что посадив, выпустят. Есть разница или нет?

— А вы как считаете — есть или нет?

— Большие изменения, Людмила Павловна, а вы еще бо́льшие обещаете. Торжество законности. Гуманности. И все аплодируют... Пятьдесят лет назад тоже аплодировали. Может, от страха, а теперь от чистого сердца: не убиваем — выпускаем! Сломай себя, растопчи, вывози в дерьме — живи, годен для строительства социализма. А человек ни в чем не повинный, убежденный в своей правоте, в праве жить по совести — сиди, срок небольшой, добавим! Не виновен? Как, то есть, не виновен, хотел жить по совести и не виновен? Мне бы с тобой пятьдесят лет назад встретиться... Так я говорю, гражданин следователь?

— Ну, что ж, Полухин, поговорили. Будем считать, с неофициальной частью покончили. Срок вы получите. Обещаю. Приступим к статье 201-й. Дело закрыто. Через час придет ваш адвокат.

Честно сказать, я не сразу в состоянии преодолеть шок: главное, чтоб *она* не заметила. Вот так номер, думаю, дело закрыто! Конец?.. Какой конец, начало. Тюрьме конец — суд, а там... Срок она мне обещает, тут без обмана, но зачем этот дикий разговор, в котором я сорвался, *открылся*? А не все ли равно!.. А если б согласился, *написал* — она бы не сказала, что дело закрыто?..

Мысль кружится, а я стараюсь делать вид, что мне нипочем — возьми меня за рупь за двадцать! Передо мной две толстущие папки, *дело*. Листаю, листаю...

Первая бумага, пожалуй, самая замечательная: документ, подписанный генерал-лейтенантом ГБ о начале производства, об обысках, о... Наводка! Наколка! И не прячутся, вылезли *уши*. Почему ж не *их* статья — не семидесятая, почему уголовная тюрьма — не Лефортово? Все равно — открылись! *Они*! С восемнадцатого года они всем крутят-вертят — ангелы-хранители, лапушки! Они и строят *социализм* по своему образу и подобию...

Господи, думаю, да я, оказывается, *писатель*! Я никогда не видел всего, что написал,— вместе, под одной обложкой! Своей книги целиком не видел — только частями, отдельными главами, разве я мог позволить себе такую роскошь: оставить *целую* книгу на столе? Статьи, повести, рассказы, пьесы, романы... Писали, не гуляли!.. Экспертиза почерка, экспертиза стилистическая — кандидаты наук, институт такой-то... Запомнить фамилии, не забыть... Зачем?

Успеть пролистать до прихода адвоката, а потом сначала, страницу за страницей... Надо ж, думаю, на самом деле писатель, а я позабыл, переходя из камеры в камеру, от одной истории к другой, еще более мерзкой, не вспоминал, но, может, в том и хитрость, замысел: сунуть мордой в уголовную кашу, чтоб *себя* забыл, понял — я такой же... А разве не такой?

Гонорар, думаю, настоящий гонорар, полновесный: за русское сочинительство — тюрьма. Скромно, думаю, всего полгода, больше не наработал, чином не вышел. Но ведь начало, не конец, пока — полгода, поглядим, чего сто́ю... А мог бы и выйти, думаю, не соврала, на этот раз правда. Что бы тогда стоили статьи, повести, романы? Смог бы я листать эти страницы, оказавшись на воле, сидя за столом с этой ли, другой барышней, зная — могу встать и открыть дверь, заменить одну барышню другой, если мне ее... платье не покажется? Нет, *сам* бы смог листать?.. А через сто лет, думаю, когда все уйдет, пройдет, затрется, когда я уже давно не буду сидеть на этом месте и никто не вспомнит, не будет знать, какой ценой я когда-то, сто лет назад, купил свободу, решил свою судьбу, спас шкуру?.. Те же страницы, статьи, повести, романы? И *цена* им та же? Что же я спас — себя, шкуру или бессмертную душу? Но зато сколько бы я еще написал, кабы вышел — вон сколько теперь знаю, увидел, понял!..

Странная мысль, пустая, тщеславная. Она — и так, и эдак, всего лишь тщеславна — что будет через сто лет? Пройдут как дуновение. Но какая-то удивительная связь существует между написанным тобой словом, фразой, понятой и сформулированной мыслью — и тобой самим, твоей судьбой, выбором... Поймут это через сто лет?

На что я трачу время, думаю. И придвигаю *вторую* папку. Протоколы, протоколы, протоколы! Обыски, допросы... *Что* они ищут — бездельники, сколько *их*! И это только по моему пустяшному делу, а по Москве, а по стране! В тридцатые годы каждого третьего — на распыл, в наше время — *каждого* на просвет: перевернуть всю жизнь, душу,

чтоб ничего не осталось, чтоб не было своего, ими не захватанного, не изгаженного... А знают об этом те, кого не коснулось — кто сами себя *светят*?

Вот они — «материалы», вещественные доказательства: Библия, История Церкви, Платонов, Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Солженицын... Ну еще бы — Солженицын! Все, что было в доме — что ж я забыл о *своем* обыске? И так у всех, к кому в то утро пришли — во втором, третьем, четвертом доме... Мой последний роман... Нашли! Добрались... А еще один экземпляр?.. И еще один нашли. Сколько ж их было? Будто не помню, не знаю. Не знаю! И думать не разрешал — не было его, не писал. И третий нашли... Нет четвертого? Не нашли! Что ж вы, Людмила Павловна, обсчитались? Значит, и этот роман существует, цел. Рукописи не горят, вспомнил вчера Саня. Горят они, на самом деле, но только, если Богу угодно, а не угодно — не найдут. Сохранятся.

Допросы... Ага, сестренка не пошла. Что ж вы, Людмила Павловна, и это не получилось? Не напугали?.. Митя... Ага, Митя! «Вадим Петрович из самых прекрасных людей, которых я удостоился в жизни встретить. Я счастлив, что...» Ну, Людмила Павловна, как же так, Людмила Павловна,— опять не вышло? Что-то не клеится в вашем королевстве, машина дает сбой, а казалось, все в ваших руках, семьдесят лет катали, всех под корень, а вырастают детки... Не получается с вашим социализмом, по вашему образу и подобию...

Дальше, дальше! Тридцать допросов... Еще. Тридцать третий, тридцать четвертый — ничего. Где же криминал, Людмила Павловна? Или вам *криминал* не нужен — зачем, когда в первой бумаге, подписанной генерал-лейтенантом ГБ, все заранее сказано...

«Знакомы? — Знакомы.— Читали? — Нет.— Совсем ничего? — Ничего.— Кого видели в доме? — Сестру. Мужа сестры...» Ага, еще покойника видели, кто уехал на Запад — видели... «О чем разговаривали? — О погоде, о природе, о климате...» «Читали? — Я не читаю книг своих знакомых, не хочу портить отношения...» Научили за почти семьдесят лет: промолчать не значит солгать. Может быть, так и надо? Но... корябает душу: ты сидишь в тюрьме за свои книги, а твой близкий товарищ... Но он сказал всего лишь правду: ты пишешь плохо и он предпочитает смолчать, в этой ситуации считает невозможным сказать правду. Наверно, это благородно... А что такое *плохо*? Когда дают срок за книгу — она плохая или хорошая? Или когда «сумма прописью» — хорошая, а когда срок... Коробит, корябает душу, но разве за *себя*? Мне все равно, мне не надо — за того, кто «не хотел портить отношения...», кто говорит свою *правду* и совесть его чиста. Ну, коли совесть... Да разве в том дело! Где же криминал, Людмила Павловна? *Ничего.*

«Щапова...» — вижу я. «Протокол допроса Щаповой Нины Александровны...»

Я поднимаю голову. *Она* сидит у стола, ящик выдвинут, там, видимо, клубок, тянется нитка, мелькает крючок... Вяжет! Шапочка, чепчик... Да у нее... ребенок!

— У вас... девочка? — спрашиваю.

Подкимает глаза. Мы рядом: я у маленького столика на привинченном табурете, солнце валит в окно напротив, шелест листьев, звон трамваев; она — за большим столом, сиреневая ниточка ползет из открытого ящика, мелькает крючок...

— Доченька,— губы мягкие, распустила, лицо спокойное, задумчивое,— полтора годика. Нет времени, когда еще сегодня выберусь отсюда...

— Вы ей — сказки, или... рассказы из собственной практики?

— Читайте, Вадим Петрович, у вас мало времени, вот-вот подойдет адвокат. Мы должны *кончить* сегодня.

— Как... сегодня?

— А так. У меня нет больше времени.

— Зато у меня много. Нет, Людмила Павловна, торопиться я не намерен. Придет адвокат, объяснит...

— Ну погодите...— шипит она и дергает нитку, клубок выпрыгивает на стол,— вы меня запомните!..

— Запомню, запомню...

«Щапова Нина Александровна...» Я нарочно тяну время, не... Нет, не могу читать!..

«Протокол допроса. Щапова...

Вопрос: Вы знакомы с Полухиным?

Ответ: Знакома.

Вопрос: Когда и где вы с ним познакомились?

Ответ: Вадима Петровича Полухина я люблю как прекрасного человека и замечательного писателя. А потому, исходя из нравственных, моральных, этических соображений, отвечать на ваши вопросы не буду. Он был арестован с такой жестокостью и бесчеловечностью, в тот день и час, когда его сестра, а у нее нет ни отца, ни матери, была в родильном доме, рожала, что я и по человеческим соображениям ни о чем с вами разговаривать не стану.

Вопрос: Вам известно, свидетель, что за отказ от дачи показаний вы несете уголовную ответственность и будете привлечены по статье?..

Ответ: Известно.

Распишитесь...

Подпись...»

Строки плывут перед глазами, расплываются. Жарко, а мороз по коже. «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного...»

— Людмила Павловна, вы ее... видели?.. Нину Александровну Щапову?

Откусывает нитку, зубы белые, редкие; чепчик почти готов: на полуторагодовалую головку с кудерьками.

— А как же. Видела.

— Расскажите... Какая она...

Ну зачем, к *кому* я лезу, спрашиваю — вот она, моя душевная расслабленность!

— Обыкноаенная фанатичка. Допрыгается.

Ощущение, что я его где-то встречал, знаю... Мог бы встретить. Скромный, строгий костюм, галстук. Приветливый, благожелательный... Это же *адвокат*! Профессиональная благожелательность... Может быть, но это *первый* человек за полгода тюрьмы. Он пришел ко мне, ради меня, он виделся с сестрой, с Митей, я могу ему... доверять!

— Что у меня дома, Иосиф Наумович?

— Все здоровы. Просили кланяться. Очень беспокоятся о вас. Они не одни. Ребенок здоров. Назвали Вадимом...

— Спасибо. А...

— Чуть не забыл: и... Федор Всеволодович выздоровел. Он был болен, вы знаете, но... Все хорошо.

Федор Всеволодович?.. Герой моего последнего романа, его нашли там и там, а там не... «Все хорошо»!

— Просили вам передать... Вы не возражаете, Людмила Павловна? Фотография и... шоколад. Сигареты.

— Здесь. В моем присутствии. В камеру — нельзя.

Та же фотография. Но на той сестры не было. Только рука. На этой — сестра и ребенок на руке.

— К сожалению, относительно старая, последнюю не успели, завтра поднесут...

— Сегодня мы должны кончить 201-ю,— говорит *она.*

— Сегодня? — спрашивает адвокат.

— Вы опоздали, я потратила битый час, вас дожидаючи. Больше у меня нет времени.

— Видите, Иосиф Наумович,— чувствую, как спасительное бешенство заливает глаза, я не могу *ее* видеть, слышать! — Моему следователю плевать на УПК, у нее нет времени ждать! Когда меня катали в тюрьме — каждый месяц в другой камере, два месяца на общаке, хотя с моей статьей...

— Я прекращу свидание,— говорит *она.*

— Что? — говорит адвокат.— *Свидание*?

— Сегодня мы закроем дело,— говорит *она.*

— Вы закроете, а я его не закрою. В обвинительном заключении... Вы прочтите, Иосиф Наумович! Мало что ни одного слова правды, оно безграмотно до идиотизма, до пародийности, да хотя бы из приличия убрали глупости — над вами смеяться будут, над вами...

— Там не будет изменено ни одного слова,— говорит она.

— Да пес с ним, с обвинительным! Неужто вы сочинили? Конечно, начальство, потому и одного слова нельзя исправить!.. Я должен, и у меня право прочитать все материалы. Вот они, на столе. Все рукописи, бумаги...

— И эту... макулатуру я буду сюда таскать?! — она покраснела, в болотных глазах прыгают искры.

— Слышите, Иосиф Наумович?.. Неужто не расскажете в суде, как говорит со мной следователь?

— Успокойтесь, успокойтесь...— адвокат разводит руками.— Людмила Павловна, вы, действительно...

Она выскакивает из-за стола:

— Я вернусь через пять минут.

Дверь грохнула.

— Ну что вы раскипятились? — говорит адвокат.— Никуда она не денется. Завтра я приду и мы спокойненько...

— Куда она побежала?

— К хозяевам,— он тычет пальцем в потолок.

— К кому?

— ГБ,— говорит адвокат,— кто ж у нее хозяева?

— Вон как?.. Иосиф Наумович, я никак не пойму, почему они сунули меня сюда, а не в Лефортово?

— Вам досадно?

— Хочу понять.

— Право у них есть, статья прокуратуры. Вас они, видно, хорошо знают. Думают, что знают. В Лефортово вам было бы легче, хотя... Очень уж вы вскидчивый. Тяжело?

— Да хорошо мне! Разве я о том? Я людей увидел, себя узнал... Конечно, тяжело, когда шестьдесят человек в камере.

— Ну а... с уголовниками? Какие с ними отношения?

— Нормальные, такие же люди...

Дверь с треском раскрывается. *Она* подходит к столу, открываает, закрывает ящики... Ставит на стол сумочку — к самому краю, ближе к столику, за которым мы сидим...

— Времени у меня нет, а дел много. Вернусь через сорок минут. Учтите — завтра последний день!

— Видите, Людмила Павловна,— говорит адвокат,— зачем столько нервов?

Она уходит, на сей раз осторожно прикрыв дверь.

— Ничего не пойму,— говорю я.

— Не обращайте внимания, их проблемы. Давайте решим наши, коль уж нам подарили сорок минут.

— Здесь *слушают*? — спрашиваю я.

— Я редко здесь бываю, в Бутырках я знаю кабинеты, в которых... записывают. Впрочем...

Он глядит мне в глаза и тихо улыбается: глаза у него усталые, печальные. Указывает пальцем на сумочку передо мной. Дамская сумочка явно стоит не на месте.

— Да вы что?! — изумляюсь я.

Он пожимает плечами:

— Все вполне примитивно. У них всегда примитивно. Вы еще не поняли?.. Зачем вам адвокат?

— Хотя бы поговорить, передать домой...

— Вот мы и поговорим. Сегодня и завтра. Вы понимаете — от меня ничего не зависит. Все заранее предрешено.

— Что же предрешено?

— Загадка. Загадочно уже, что они закрыли ваше дело практически без допросов. Только свидетели. Вы не давали показания?

— Не давал.

— Очень странное время, я не удивлюсь, если вас выпустят. Не удивлюсь и если статью переквалифицируют. Кстати, она не обещала вам семидесятую?

— Мы с ней не виделись три месяца, а до того дважды. Но... сокамерник пообещал мне шестьдесят четвертую.

— Похоже, почерк тот же. Шестьдесят четвертой у вас не будет. Сегодня им не нужно. Я думаю, и семидесятой не будет. Пришлось бы везти вас в Лефортово и начинать сначала. Но три года вы можете получить. Они всегда дают максимум, если вы не признаете себя виновным.

— Только что она предложила мне выйти на свободу в обмен на обещание больше не нарушать закон.

— И что же вы?

— Я закона не нарушал.

— Вадим Петрович, вы... не выдержите зону.

— Почему?

— Это очень трудно, с каждым годом тяжелее, а вы... человек несдержанный. Вам будут добавлять и добавлять.

— Какой же выход?

— Быть может, согласиться на то, что она... предлагает? Она не сама сочинила. Для них это тоже выход.

— Вы говорите от себя?

— Я говорю для вас.

— Наверно, вы правы, мне не нужен адвокат.

— У вас будет время подумать. Я не верю, что они станут торопиться. Очень странное время, Вадим Петрович...

— Предстоят изменения?

— Они, думается мне, растеряны, нет былой наглости, самоуверенности. Сегодняшний... срыв вашей попечительницы от дурного характера. Ни о чем не говорит. Но в глубине души она убеждена и ее хозяева убеждены — никаких радикальных перемен не будет. Для них. А косметику они переживут.

— Как клопы, мы *выжигаем* камеру, не косметически, радикально, а через неделю подушка красная.

— Неужели так много? Какой ужас...

Молчу, что-то мне становится... скучно.

— Вегетарианские времена,— говорит адвокат,— но я статист в этом спектакле. Кушать подано.

— И вас это устраивает?

— C'est la vie. А я не Дон-Кихот. Я вам не нужен.

— И права нет?

Он пожимает плечами.

— Это циклы, каждое, скажем, десятилетие новый. Везет тем, кто оказался... в верхней части витка. Но это ничего не значит. Когда придет пора, нижняя часть витка вас снова захватит. Но вы, Вадим Петрович, сами выбрали — или вы сожалеете?

— Три года не трудно, но если станут добавлять...

— Вот видите... Я настоятельно советую подумать.

— Если бы Бога не было. Тогда бы стоило выгадывать, кроить, а так... Это Его забота.

— В этой области я профан, мое дело помочь вам отсюда выбраться. Как видите, я бессилен. В лучшем случае, могу предупредить.

— А в худшем?

— Если они вам...

— Они, они, они!..

Я хватаю сумочку на столе... Мягкая рука адвоката ложится мне на руку.

— Успокойтесь, Вадим Петрович. Вы получите карцер...

— Значит, правосудия нет, власть у них, а мы...

— L'Etat c'est moi,— говорит мой адвокат.

— Надеюсь, завтра вы закроете дело без всяких... истерик? — говорит *она*.

Мы снова вдвоем, адвокат ушел, завтра он придет после обеда, к тому времени я все прочту, он еще раз передаст мне приветы, а сегодня вечером увидит...

Сейчас она отправит меня в камеру. Для нее день был заурядным. Служба. Рутина. Попробовала один вариант — не получилось. В запасе второй, третий. Сработают. Теперь она пойдет домой. Пить чай. Или водку... Кто ее ждет?.. Или я ошибаюсь, все сложнее?.. А зачем мне ее сложности?

— Свалял дурака,— говорю,— надо бы закрыть дело сегодня. Чтоб больше не видеть вас.

— Откровенность за откровенность! Насколько приятней иметь дело с убийцей, насильником... вором. Да я лучше б десять таких дел оформила, чем с вами... Человек совершил преступление, одумается. А от вас всего можно ждать. Я бы никогда не выпускала таких, как вы.

— Старый разговор, о классово чуждых и социально близких.

— Ошибаетесь, *писатель*...— она кривит тонкие губы.— Я говорю о человеческой стороне. Там все наглядно, как у людей. Обозлился — схватился за нож, хочется выпить, а денег нет. Все понятно. Преступил закон, и мы его накажем. Пожестче — задумается. А вас и понять нельзя, да я и не хочу. Что вам надо? Советская власть не угодила? Почему бы не уехать, я предлагала...

— А почему бы вам не уехать?

— Я дома и мне в моем доме все нравится. А вы чужой, никому не нужны. Думаете, если издать вашу... макулатуру,— вы на ней заработаете? Бабьи сказки, давно позабыто, а вы тянете — апостолы, попы, Христос воскресе... Кому вы мозги... пудрите?

— А вы издайте, тогда поглядим.

— Сколько вас таких осталось? Понимаю, в тридцатые годы, когда еще тыщи недобитых. Может, и лишних постреляли. Но вас-то сколько?

Что ей надо, думаю, зачем этот пустой разговор?

— Вы... один. Во всей тюрьме таких нет. Знаете, сколько здесь сидит?

— Сколько? Интересно бы узнать.

— Вы один, а нас двести пятьдесят миллионов. Какой смысл в вашей... *героической* жизни?

— Что вам от меня надо? Я не отвечаю на вопросы.

— Я вам предложила уйти на свободу, хотя сама бы я вас... Можете уйти. А вы из себя... Зачем?

— Хотя бы... чтоб вы задумались. Я написал мешок макулатуры... Вернусь в камеру, пойду на зону, а отказаться от того, что написал, не хочу. Для вас загадка. Вы ее и решайте.

— Подумаешь, камера! Вы еще тюрьмы не знаете! Дали бы мне волю, я бы вас... устроила.

— Понятно, не зря вас учили. Но как было бы полезно для нежно любимой вами советской власти, когда б на втором, скажем, курсе юридического, вместо пустой бол-

товни, которой вас пичкают, отправили бы весь курс в тюрьму, на год. А потом еще на год — на зону. Не вместе, не студенческим отрядом со своей кашей, а порознь, распихали бы по камерам. Как было бы полезно и поучительно для вас, Людмила Павловна, провести год на общаке, в ежедневном общении с социально вам близкими. Вы бы поняли, кто чего стоит и что происходит в доме, который так вам нравится.

— Что ж, вы у меня один? Я их каждый день вижу.

— В следственном кабинете. Кнопка под рукой. Нажмете — уведут. А вы бы на шконке. Под шконкой. Послушали бы. И они бы вас — послушали. И на вертухаев бы поглядели. Да не отсюда — из камеры. На майоров. О себе бы подумали, о своей жизни. Вы же нормальный человек, женщина... А потом, в зависимости от успешности прохождения практикума, вас бы допустили до госэкзаменов. Или не допустили. А то ведь вы учились по Вышинскому? Чистосердечное признание для вас царица доказательств? А там пусть решает начальство, ему видней. В зависимости от современного состояния гуманизма. Или социализма. Зрелый он или всего лишь развитой. Или выпустить, или расстрелять. Разве таких, как вы, хоть когда-то интересовал закон или истина?

— Сейчас я нажму кнопку и вас отведут в камеру. Наговорились. Сами захотели. Пожалеете. Я предлагала другой вариант. А я уйду. Поглядите в окно, писатель! Солнце садится, жара спадет. Пройдусь по переулкам, люблю пешком. Выйду к метро. Полчаса — и дома. А могу... Куда бы сегодня закатиться?.. Надоело. Честно сказать, все мне надоело. Пойду домой. Приму ванну, посмотрю, что там в холодильнике. У меня и коньяк есть. Включу телевизор... Позвоню кому-нибудь, чего-то такого захотелось, эдакого... А уже вечер, в каждом доме каждое окно зажглось, за каждым окном... Неужели эти миллионы и миллионы людей о вас когда-то вспомнят — кому вы нужны, Полухин?

— Вы о дочери забыли, коньяк, телевизор — это, наверно, для меня, а чепчик для кого?

— Это вы ни о ком думать не хотите. На весь белый свет озлели.

— Как мне вас жалко, Людмила Павловна!..— говорю я.— Нет, соврал. Нету у мени силы... пожалеть вас. Слаб. А потому у меня к вам огромная просьба... Мы уже полгода как встретились, такая у нас с вами не разлей вода — все вам обо мне известно! А я вас еще ни о чем не просил. Ни разу. Так вот, не откажите в нижайшей просьбе: нажмите кнопку...

10

— Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос!..

— Ты что это, Серый — не по-нашему? — говорит Гера.

— Не по-вашему! Все, Гера, я теперь другой. Вылетел.

— Куда? — спрашивает Гера.

— За судом, Гера. За *судом*!

И верно, другой: проснулся — весело! Та же камера — моя, родная, два шесть ноль. Те же люди — пятеро нас, уже десять дней никого к нам не бросают, никого не берут. Забыли про нас. Та же камера: решка, реснички, железная дверь с болтами... А я другой. Что ж, бытие определяет сознание или сознание бытие?

Как же я, видать, боялся ее, барышню из утреннего кошмара, в потном джерси с рыбьими, болотными глазами! Хвастался перед собой — плевать мне, молчу, ничего я ей не скажу, а все ждал: подвоха, хитрости, неведомого, собственной слабости — не таких, как я, ломали. Задавил в себе страх, а он шевелился, напоминал — обязательно что-то придумает! А выходит, не мне на нее, ей на меня — плевать. Не ее забота — заставили, *поручили*, а известно как выполняют в советском учреждении чужое поручение, нагрузку! *Оформила* — и с плеч долой. Задавитесь! Вот преимущество социалистической системы, потому и живы до сих пор — всем на все наплевать! Что ж, ей хорошо, а мне и того лучше — гуляй, Вася! Теперь на суд, проштампелюют заранее предрешенное — и пошел. Ветер пересылок, дальних лагерей,— написал классик. Обдует, проветрит! Страшно?.. Тут уже не страшно, страшно когда *тобой* занимаются, когда один на один — ты и она, ты — и страна победившего социализма... Ты еще живой, сука? — щурится *она* на тебя.— Попробуем вариант номер такой-то... Очень они любят индивидуальную работу, воспитательную по преимуществу. А когда я смешаюсь с серым миллионным племенем, когда буду неразличим в толпе, в стаде... Сколько нас? Не сказала, остереглась. Да знаю я — десять тысяч только в нашей тюрьме... А по Москве? А по федерации, а по стране, а по пересылкам, зонам? А еще «химики», поселенцы, ссыльные... Они и сосчитать нас не могут! Жить одной общей жизнью с миллионами людей, моих братьев — страшно?

Лишь бы уйти отсюда, думаю, не верю я ей, никому теперь не верю. И тишине камеры не верю, самаи опасность в такой тишине. И каждому из нас пятерых — не верю, сколько раз прокалывался, учили, учили... Скорей бы, скорей!

Все еще может быть, думаю, все что угодно. Но сегодня — я не следственный, я за судом. Пусть такие же, из того же теста их выпекли, на одной скамейке с моей барышней изучали ихнюю гуманную премудрость. Но если ей было на меня плевать, лишь бы отделаться от поручения, им и подавно. Вмажут срок — по максимуму! — и поехал. Небо, звезды, ветер, макушки елок в окне столыпина, а на зоне — письма, чаек...

И еще одного Бог послал для промывки мозгов, чтоб не тратил время на пустые переживания, набирался ума-разума, чтоб понять — не кончилась жизнь, другая катит, она и есть настоящая, давно стучалась, а я отмахивался, сам бы ни за что не выбрал. А тут подарили. Ощупью понимал, а теперь вникаю... В таком случае не будем терять времени.

— Чем же ты промышляешь, Арик?

— Деньги — мусор, ребята. Я их никогда не считал. Но... как бы тебе объяснить... Мне надо много, мало не получается. А когда легко достаются, они и уходят просто. Хочешь меня понять?.. Раньше пойми себя, свою ошибку. В чем твое расхождение с советской властью — принцип или ее... недостатки? Ты считаешь, она законы не соблюдает, ты на нее кидаешься, она тебя курочит. Почистит ее новый начальник, поменяет рыжего на брюхатого — и будет хорошая? У тебя никаких претензий.

— Не может она... соблюдать.

— Все она может. Не хочет! Если заставить, она из-под палки все сможет, куда ей деваться, подгонят под себя закон и... Законность, порядок. Но разве в том ее беда, я эту власть имею в виду?

— А в чем тогда?

— Меня ее законы не устраивают. Они вообще человека устроить не могут. Она не для человека. В принципе.

— Это как понять?

— Мне, скажем, надо много денег. Что тут худого? Тебе, к примеру, много не надо. Ты — писатель, что тебе надо?

— Комнату, чтоб дверь закрыть. И открыть, когда захочу. Стол нужен. Койка. Бумага, чернила. Машинка пишущая... Все, пожалуй. Чтоб напечатали. Хотя... Не обязательно.

— И верно, не много. А мне... Мне машина нужна, не машинка. Баба нужна. Не одна. И не две. Квартира в Москве, дом за городом. Еще один — в Риге. И в Крыму не помешает. Ночью я в ресторане, днем отсыпаюсь, до обеда...

— А зачем?

— Надо и весь разговор. Потребность у меня. Разве такое, как бы сказать, «надо» — преступление?

— Если у тебя, скажем, наследство...

— Я и говорю — ты такой же! Откуда, докажи на что живешь, как получил... Какое вам дело! Есть у меня. Вот чего советская власть не понимает, никогда не поймет. Ты и то не понимаешь. Все люди разные... Как у вас говорят?

— Один любит пряники, а другой соленые огурцы.

— А я о чем? О том, что советский закон запрещает жить, как хочу, как считаю нужным. Ты в Бога веруешь, а забыл, с нами Бог разберется — надо нам или нет. Бог дал мне свободу выбирать, а советская власть свободу, которую мне Бог дал, прибрала к рукам. Правильно?

— Пожалуй.

— В том и дело. Ты считаешь, я преступник. Почему? Да, я разбогател, но разве я нарушил закон, который мне Бог дал? Я никого не убивал, не воровал. Но делать деньги, чем весь мир занимается — белые, желтые, красные, черные! — разве Он запретил?

— По христианскому вероучению, человек должен соблюдать закон государства, в котором живет.

— Что ж ты не соблюдал?

— Я не нарушал закон.

— А почему ты в тюрьме?

— Они нарушили, не я. Толкуют закон, как хотят.

— Законник! Что ж это за закон, если он, как дышло, куда поворотишь, туда и вышло! Если я не могу жить где хочу, как хочу, не могу не работать — обязан, не могу продать что мне не надо и что у меня с руками оторвут, другим позарез, а мне лишнее? Мое — я и цену назначаю. Почему мне запрещают менять шило на мыло: у тебя шило, а у меня мыло — наше дело, если договорились! Если книгу не могу написать, не спросся разрешения у... вертухая, а он ее и прочесть не сможет! А без его позволения разве ее хоть кто напечатает? По-твоему, законно?

— Да, тут ты, пожалуй, прав.

— Вот что такое советская власть,— говорит Арий,— она уничтожает человека не тем, что может его посадить ни за что, может и убить ни за что — законы они толкуют! Она его тем уничтожает, что не дает жить, как он хочет. Бог разрешил, а она — не дает.

— Не разрешил,— говорю,— а попустил.
— Да?.. Ну, я русский язык, наверно, плохо знаю.
— Хорошо знаешь, здесь дело не в языке.
— Еще бы не знать, тридцать лет по лагерям. Русские лагеря, не немецкие... Ты пойми, она человеку не только не дает жить по-человечески, она его ломает, корежит, с детства уродует. Вырос мужик, а не понимает — человек он или поганая овца, только и сгодится на шашлык, если ее кормить, само собой, а где у нас кормят? И чтоб ему доказать, что он может остаться человеком, если захочет, что эта власть не для людей — знаешь, что нужно?
— Теперь знаю,— говорю.— Показали.
— Доехало. В тюрьму его надо посадить, вот он где поймет — кто он и кто она. Ты мне скажи: таких, как в тюрьме, много ли ты видал на воле?
— Не много.
— Вот я о чем. Решето. Кто просеется, а кто останется. А решето встряхивают, трясут. Десять лет трясут. Еще десять. А потом еще червонец. А он остался, не просеялся. Кто ж Богу угоден — он или власть — она так и не смогла его уничтожить? За кем правда? Или я опять неверно по-русски?
— Все верно, что тут скажешь.
— Чем я промышляю! — говорит Арий.— Я деньги не считаю. Разве в том мой бизнес, за что они меня судят? Мелочевка. Ну, заработал, купил-продал, валюта, то, другое... А я, ребята, миллионер. Когда выйду...
— Спрятал, что ли,— говорит Гера,— закопал?
— Закопал. Никто не возьмет. Мои.
— А если реформа,— говорит Гера,— будем прикуривать от твоих червонцев?
— Ты, малый, червонцы спшбаешь, тебя и трясет,— говорит Арий.— Завмаг лапу тебе в карман, народный контроль с тебя тянет. А у меня никто не возьмет.
— В чем же твой бизнес, Арий, в какой валюте?
— Еще не понял? Хреновый ты писатель. Тысяча долларов за любую русскую судьбу, с руками оторвут, не так? Ты за полгода сколько узнал русских судеб? Сотню, не меньше? Помножь тысячу долларов на сотню... А за тридцать лет, как я? Возьми у Мурата карандашик, посчитай?
— Да,— смотрю на него во все глаза,— коммерция...
Здоровенный, руки, как у меня ноги, движения неторопливые, точные. Камеру он на второй день знал наизусть, навидался... Неужто тридцать лет?
Чемпион Латвии по боксу среди юношей... Спортивная карьера на том, впрочем, и кончилась... А сколько правды в его рассказах — да и во всех рассказах, за которые будут нам платить по тысяче долларов! Заплатят-не заплатят, а сейчас он передо мной, рядом, на шконке.
Первый раз посадили Ария через год после войны. Мальчишкой. Тем самым юношей-чемпионом. Перешел в десятый класс, жрать в Риге нечего, отца нет, у матери их трое. Нанялся на лето в колхоз. А первого сентября собрал тетради-книжки — и в школу. Через неделю за ним пришли. Три года за самовольный уход с работы... Врет или правда? Но ведь могло быть, бывало — все тот же указ от седьмого-восьмого! На том и кончилось его образование и началась борьба за выживание — кто кого, он или *она*?
— Через два месяца выйду,— говорит Арий, лежит рядом, только мне говорит.— Срок кончится.
— Ты ж на особняке?
— Я всегда на особняке. Суд уже был, дали два года. Ну... как дали... У меня баба, позавидуешь — все может. Как танк. Бутырку в первый месяц купила, каждую неделю передача. И сигареты с фильтром, и ветчина, и икра... Администратор в «Национале». Она и здесь успела. Прижала... Петерса. Видал его?
— Где мне его увидеть?
— Она к нему в кабинет, а он от нее... С первого дня не оставляет в покое. Он во двор, в машину, а у нее машина возле ворот. Догнала в переулке, прижала к тротуару. Он вылез. Ты что, говорит, моего мужика убить хочешь? Он больной, ему то и то надо... Пошли передачи! Увидишь, чем такие бабы кормят... И следователь у нее трепыхается. Свидания у него в кабинете. В Бутырке. Закроет кабинет и гуляет час, полтора. Все в ажуре. Два года выбила. Но... переборщили. Не она, сейчас всю Бутырку трясут, все руководство. Кого посадили, кого поснимали, кого посадят. А мне надо? Пускай их, псов, понюхают... Что знаю, скрывать не стану — верно? Нагляделся, почти два года там. Говоришь — они по-своему закон толкуют? Пусть толкуют, а я про них расскажу. Меня следователь перевел сюда, чтоб на Бутырке не пришили. Сечешь?
— Не так чтоб, но...
— Они ко мне сюда ездят. Не по моему делу, по Бутырке. Мое не трогают; суд был, срока осталось два месяца, и им нужен как свидетель по Бутырке.
— Ты им веришь? — спрашиваю.

— Как тебе сказать... Верю-не верю, а у меня чистенько, следак мужик ловкий, больше меня повязан. Если хоть что, я пасть открою — где он?
— Неужели выйдешь?
— А куда они денутся? Не первый раз... И мы с тобой не будем зря время давить. Два месяца надо прожить. Для начала... конкурс. Я рассказ и ты рассказ. На пачку сигарет?
Вон оно как, думаю, много совпадений, а все ли случайные? Чудес в тюрьме не бывает. Каждый за себя.
— Я не в той весовой категории,— говорю,— по заказу не пишу.
— Не по заказу — о чем хочешь?
— Я свое отписал.
— Хорошо. Давай мне тему,— не отстает Арий,— а потом скажешь, чего я стóю?
— Напиши про... решку. Чем не тема?
Он поднимает голову и глядит в окно. Глаза у него светлые, прозрачные... Нет, ничего я не понимаю в людях.
— Решка... Попробую. Хотя...— он пожимает плечами.— Классика...
Утром он дал мне два листа, исписанных с обеих сторон крупными, почти печатными буквами. Грамотно и... вполне исчерпывающе. Не рассказ — эссе об истории «решки». Хорошо. Скучновато. Я ему сказал, что думал.
— Я и сам вижу — не мое. Не зажегся. Я другой напишу. Давно хотел.
«Кружка кипятку» назывался рассказ. О карцере. Он и его написал ночью, а утром отдал мне.
Да он писатель, думаю. Настоящий писатель! Что ж я оплошал, отказывался от карцера, сколько раз предлагали, недавно была возможность, адвокат помешал... Можно писать о карцере, если в нем не был? Есть право?.. Один скажет, можно, другой — нет, но разве дело в том, кто что скажет? Напиши, попробуй! В чем же здесь сила, думаю, в истинности переживаний или в точности фиксации пережитого? Сколько я слышал рассказов о карцере — но разве я *был* в карцере?..
Глядит на меня, не хочет, чтоб заметил, что ему важно.
— Замечательно, Арик, тебе надо писать.
— Не врешь?
— Зачем мне? На этом ты не разбогатеешь, но... Ты должен сохранить, спасти в себе. Никто не знает, а ты узнал. Только ты.
— А почему не разбогатеем? На Западе напечатают?
— Напечатают. Но это работа, Арик, и... тяжелая. Этому ты научишься, можешь. Превосходный рассказ, но... Писатель — это не простое ремесло, жизнь другая, существование — другое. Напишешь, напечатают... Этого мало, Арик. Ради чего? За ради денег не получится. И машины не будет, она не нужна, только пишущая. Тебе предлагают выбор — машина или машинка?
— А то и то — не выйдет? Мне того и того надо?
— Тут не торгуются. Ты торговался за... «кружку»?
Кружка кипятку в залитом водой карцере. День пролетный, день залетный... Так мне не написать, чтоб так написать, надо, чтоб тебя... одарили карцером, спасли кружкой кипятка, чтоб ты узнал ее истинную цену и свою истинную цену.
Тридцать лет, думаю. Надо бы начать раньше. Не успеть.

Матвея привели под вечер, к ужину.
— Начнут набивать хату,— сказал Гера,— побарствовали.
Мы, и верно, разбаловались. Недели две живем впятером. У троих постоянные передачи — у меня, у Геры, у Ария. Ларьки у нас троих и у Мурата. Только у Сани пусто. Не велик труд прокормить одного, когда у четверых есть. И на прогулку всей камерой — весело, вольготно. Арий рассказывает, рассказывает, а вечерами со мной, доверительно. Только с Саней у него напряг: не верю ему, сказал Арий, прочитав Санину жалобу, много накрутил... Учти, сказал Арий, я с каждым по-другому разговариваю, иначе не поймут. У нас с тобой свое. Мне не машинка нужна — машина. Что ж я буду, одним пальцем, вон они у меня какие, не для того... У тебя есть машинистка? Там поглядим, говорю, будет воля, будет и машинистка. Но тебе же *машина* нужна, рестораны? Мне много чего надо, говорит, а как отправим на Запад, у тебя есть кто? Неужели... в «Национале» не найдешь? А они годятся? — спрашивает. Нет, говорю, для этого, пожалуй, не годятся. Как же, мол, тогда? Сначала напиши, говорю, а там посмотрим... Очень поучительные разговоры.
И вот является новый «пассажир». Под пятьдесят, худощавый, легкий, в седой бородке. Глаза печальные, а с насмешкой. Уживается в нем и то и это. С больнички приходит.
— Чем же ты, сирота, хвораешь? — спрашиваю его.
— Давление поджимает.

— А статья какая?

— Самая тяжелая,— говорит,— чердак.

Тихий человек, встретишь — интеллигент. Сельский учитель. А разделся — мать моя мамочка! Нет живого места, весь разрисован. И живопись незаурядная, талантливо.

— Где это тебя, сирота?

Нет, и таких я еще не видел. Профессиональный бродяга. *Бомжи* — их теперь называют. Русская классика. Не может жить на одном месте. Верно, сирота. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. А ему под пятьдесят, с мальчишек идет той улицей. Длинная оказалась — от Рижского залива, считай, из Европы до Находки. Да и конец не там. И до Магадана добирался. Нескончаемая улица. А в Москве мать-старушка, на пенсии, получила однокомнатную квартиру на Речном вокзале. А улица петляет, никак к той квартире не выведет. Статья за статьей, заказана ему московская прописка, не светит бомжу в столице в эпоху зрелого социализма.

— Неужто за сорок лет не захотелось отдохнуть, ноги вытянуть? — это я его спрашиваю.

— Бывало, есть у меня местечко недалеко от Москвы. Писатели живут. У одного из них. Однажды заглянул, а потом разочков пять приземлялся. Месяца три поживу и...

— В Переделкине?

— Ну. Знаменитый писатель. Старый. Живет один. Жена померла, дочка в Москве, на квартире. А он круглый год. Воздух ему нужен, природа. Зимой котел топлю, летом сад обихаживаю. Цветочки. Месяца два-три выдерживаю. А потом... заскучаю.

— Ты ему, наверно, рассказываешь, а он — записывает?

— Кто его поймет. Хотя книг много, цельный шкап. И денег сколько надо.

— Тебе-то хорошо платит?

— Денег не дает. Кормить — кормит. И ночевать оставляет. Не попадайси, мол. А попался — твое дело.

— Хороший человек,— подытоживает Арий.

— Жадный. Хотя был случай... Утром встанет, выйдет на крылечко, продышится — и обратно. Откроет шкапчик, рюмочка серебряная, нальет, выпьет и запрет в шкап.

— Пишет, что ли?

— Может, и пишет, не видал. Спит, наверно. Раз в месяц приезжает дочка. Машина, шофер. Все про деньги. Ругаются. Он не дает. Она — в машину и обратно.

— Кто ж такой? — спрашиваю.

— Зачем тебе? Не надо. Скучная у него жизнь, я бы ни за что не променял. Передохнуть другой раз. А потом дождусь, когда уйдет погулять, у него вечером обязательная прогулка, открою шкап, налью серебряную рюмочку... Сколько есть опорожню, рюмочку в шкап — и пошел. Через год снова к нему. Не обижается, знает, мне пора было.

— Где же ты ходишь, Матвей?

— Везде. Я вам скажу, мужики, в Сибири — тыщи живут по лесам. Раз поймали, увели в тайгу. Как на грех, деньги в кармане. Пускай, говорят, еще шлют, а не пришлют — съедим.

— Ладно врать, Матвей.

— Тебя бы к ним.

— Ну, и что дальше?

— Написал своему писателю в Переделкино. Так, мол, и так, выкупай. Они прочитали, поверили, что пришлет. Ждем.

— А ты-то верил?

— Время потянуть. Кому писать? У матери пенсия тридцать семь рублей.

— А чем кормятся?

— Как волки. Ночью придут в деревню, пошарят — и в тайгу: яйца, свиненка, картошку. Что найдут. Летом полегче.

— Как же ты ушел от них?

— Случай, можно сказать. Пошли как-то в райцентр. Одного не отпускали, с провожатым. А у него там баба с самогоном. Он к ней. Я говорю: на почту слетаю, может, перевод подошел, для понту. А ему зачем, чтоб я с ним к бабе?.. Что думаешь — лежит перевод. Стольник! Все ж таки писатель! Взял деньги и рванул. Ушел.

— А в этот раз как залетел?

— На вокзале взяли. На Киевском. От него и ехал, из Переделкина. Я ее давно приметил — па-аскудная баба. В электричке с ней раз, другой. Тоже там живет. И она на меня, видать, глаз положила. Только вышли в Москве — она за свисток. Может, и отпустила бы, попугала или подписку взяла. А когда привели, она сидит за столом — следователь в вокзальном отделении, я на нее поглядел... Жалко, говорю, я тебя не спихнул, суку, в электричке, ничего, мол, еще встретимся. Короче, напросился. Оформила. Чего от них ждать...

Что же у нас за камера, думаю, кого они сюда пихают? Один с особняка и другой всю жизнь по тюрьмам... В чем на сей раз кумовской замысел?

И Матвей подлил масла в огонь. Мне.

— Чудная камера. Смотри, писатель, не промахнись...

Ночью я проснулся от хохота. Пятеро через дубок от меня, на шконке у Мурата. Он у окна, рядом с ним лежат Саня, Арий, Гера, Матвей. Уселись подальше от меня, чтоб не будить. Разговор о бабах. Арий и Матвей — в очередь, рассказ за рассказом. Пытаюсь заснуть. Наслушался... Саня вступает. Вроде бы, не его стихия?..

— От бабы,— говорит Саня,— можно чего хочешь ждать. Она, если что не по ней... К примеру, напьешься, не соображаешь, пожалела б, а ей надо... Она такое учудит...

Не уснуть, бьет в уши. Теперь исторический сюжет. В тюрьме о чем бы ни травили, все скушают... Наверно, притча, в подтверждение версии: «баба такое учудит».

— У царя Ирода,— начинает Саня,— жена Иродиада, а дочь Иродиадина. Одна другой старше на тринадцать лет. Одной тринадцать, а другой двадцать шесть...

— Рано начинали,— вставляет Гера.

— На юге всегда так,— говорит Мурат,— у нас...

— Молчи, Самарканд,— говорит Саня,— не про вас сказ. Живут они, царь Ирод и его бабы, во дворце, все, чего надо, одного снегу нету, а так все. Но ведь всегда мало, особенно бабам, им того надо, что у другого есть.

— А чего у нее нету? — спрашивает Мурат.

— У нее то есть, чего у тебя нету... Живут они во дворце, а в пустыне поселился отшельник святой жизни. Царь к нему за советом: начинать, к примеру, войну или не начинать? И другое разное. Нужный человек для государства. Выкопал отшельник нору, вроде как Матвей в Сибири, жует кузнечиков, запивает водичкой из родника — хорошо, ничего не надо!.. Как не надо? Спроси у Матвея, надо ему или он так обходится?..

— Давай лучше про отшельника,— говорит Матвей.

— Я и рассказываю, а потом ты про себя — было похожее или нет?.. Мать с дочерью повадились к нему — у него то в наличности, чего во дворце, хоть и пища не на тридцать семь копеек, а не сыщешь. Мать утром, а дочка по ночам. Или наоборот, не в том история. Кто из них засветился — мать или дочка, или время спутали, столкнулись, история умалчивает. Короче, друг про дружку узнали. Матери куда деваться — старуха, у них к тридцати годам, считай, бабушка, а дочка бесится — старуху предпочел! Не понять дурехе, отшельнику без разницы, налопался кузнечиков, кто ни залезет в нору, в темноте не видно. Ну, дочка думает, держись, Ваня! А тут пир во дворце у Ирода, гостей полна хата. Поели, выпили, закурили. Спляши, говорит царь дочке, если угодишь мне и гостям, что ни попросишь — твое. Сплясала. Они тогда не так плясали, не наши курочки, не шейк-брейк. Тринадцать лет стерве, а у ней все, что положено, в натуре. Гляди, рванина, завидуй! Гости по потолку ходят. Всех зажгла. Царь сопли утирает, хоть и дочка, а ногами сучит. Что хочешь, говорит, все исполню! И гости кричат: «Заслужила!» Ну, говорит царь, надумала? А она и не думает, стерва: дай, говорит, мне голову Ивана Крестителя на блюде...

Я не выдерживаю, больше не могу — зарежьте меня!

— Что же ты несешь, сволочь! — кричу я, как во сне.— Художник, Сезан-Лентулов! Что у тебя в душе?.. И я уши развесил, поверил тебе! Если ты на такое способен, готов изгадить, чем только и спастись можешь, ты на все...

— Вадим, Вадим,— говорит Арий,— держи-ка язык...

— Не могу с вами! — кричу,— все равно куда...

— Ты что, Вадим?..— Саня вылез к дубку.— Может, я чего спутал, но читал и... Картина есть, живопись...

— Что ты читал?! Что ты мелешь? Какая живопись? Скоты! Что с вами будет, если вы готовы...

— А с тобой? — у Матвея лицо строгое, глаза колючие.— С тобой что будет? Ты за себя думай. На кого кричишь?.. Каждый по себе судит и называет. Не о себе ли раскричался? Неужель ничего за жизнь не изгадил? Никого не обездолил?.. Тюрьма учит — никого нельзя судить. Он сделал. А ты?.. Из-за бабы, парень... Один за бабу другому глотку вырвет, а другой себя погубит. Когда на воле, ладно, с жиру бесятся, начудили. А когда в тюрьме?..

Я сбит с толку. Всегда виноват, когда не сдержишься.

— Да вот вам история, вчера, можно сказать,— говорит Матвей,— на больничке. Я десять дней косанул, давление у меня, очень мне в камеру не светило. Жрать нечего, подкормлюсь перед дорогой. А тут приходит... Да не приходит, приносят. Не фраер, три ли, четыре ходки. Бывалый. Морячок. Инфаркт у него. За месяц до сего. Потащили с осужденки на этап, а его прихватило. В реанимацию — куда еще? Есть такая больница, я знаю, лежал. Отгородили полкоридора решеткой, поставили вертухая, врачи

вольные и сестры — вольные. Не тюремные, короче. Кормят с больничного котла, вроде как санаторий. Само собой, от смены зависит: один власть показывает, другому — хоть водку трескай, с сестрами в жмурки. Можно лежать... Отвалялся морячок в реанимации день-другой, поднимают наверх. Конвой гавкает: раздевайся догола, халат... А халаты без пуговиц, без завязок, до колена. Чтоб не ушел. А куда уйдешь — решетка, как в тюрьме, вертухай. Но — положено. А морячок уперся: не дам трусы снимать, издеваться над человеком нет у вас права. Когда начинаешь качать права, известно, с конвоем разговор короткий: хочешь трусы, наденем наручники. Надевайте! А у него инфаркт. Приходит врач с обходом, зав отделением, тюрьмы не нюхал, ему в новинку: крик, шум. Сняли наручники, с вертухаями провели беседу, чтоб помнили — не тюрьма, больница. Короче — послабление. Подфартило, сестрички спирт таскают — житуха! Наш морячок выбрал ночку потемней, шлепнул с вертухаем банку спирта, а когда тот закемарил, трусы ему в пасть, связал, снял сапоги, штаны, гимнастерку, натянул на себя, ключ вытащил, дверь открыл — и ушел... Но это ладно. Ушел и ушел. Я бы не стал рассказывать. Невидаль. А он куда ушел — в тюрьму! Баба у него на больничке, вот я к чему. Старшая сестра. Заерюга, говорят, кумовская блядь, морячок с ней давно, у них из-за того с кумом война — кто кого, вся тюрьма знает... Пришел морячок ночью на вахту, открыли ему, а он повалился...

— Когда? — спрашиваю.

— Чего когда?.. Притащили к нам в камеру, глаза открыл: где, мол, я. Объяснили. Попросил покурить, рассказал откуда чего — и опять поплыл. Меня утром сюда вытащили, он еще не оклемался. Вот тебе баба, а вот...

— А фамилию не знаешь? — спрашиваю.

— Морячка? Как же, там был мужик, знает. Он и на больничке лежал сколько-то месяцев назад, там они со старшей сестрой и снюхались. Бедарев фамилия.

11

Мы гуляем вшестером во дворике на крыше. Вывели перед обедом. Своя хитрость: положено час прогулки, а через пятнадцать минут откроют: «Обедать будете? Тогда пошли...»

Сегодня нам повезло — лучший дворик на крыше, за семь месяцев только два раза сподобился побывать. Дворики — узкие, мрачные, клетушки, а этот — просторный, квадратный, но главное — со скамейкой: сядешь, закуришь, небо над тобой... Два раза счастливилось, кто-то сказал, сюда инвалида заводят, без ноги, его камера каждый день здесь гуляет.

Солнце над трубой, ни облачка, август — жара; мужики поскидали рубахи. Мы с Арием и Герой на скамейке, Матвей у стены, на корточках, Мурат посреди дворика, глядит в небо; Саня, как лошадь по кругу, а потом разбежится — и ногами в стену.

— За что ты ее, Саня? Пожалел бы! Не ноги, так стену...— говорит Арий.

— Не-на-вижу! Если каждый день в одно место, развалится.

— Силен черт, да воли нет,— комментирует Матвей.

Скоро месяц, как я закрыл дело, адвокат говорил, через неделю-десять дней привезут обвинительное заключение, а там и суд. Не торопятся — или что изменилось? Подождем, срок идет, умные люди говорят, летом тяжело на этапе, сентябрь-октябрь самая пора — не жарко и к зиме успею осмотреться на зоне. Все, вроде бы, *удачно*.

И я прикидываю: так же *хорошо* и на зоне будет. Нет скамейки — завалинка, бревно, пень; солнца-неба не отнимут, и не двадцать минут, как здесь, все время, когда не на работе и не сплю — мое. Сиди себе, гляди в небо... Или не знаю, разве все рассказут — воп как сказано: «В лагере будет хуже». Хуже-не хуже, вышел же тот, кто сказал, кабы не вышел, не написал бы и мы не узнали. Так и я выйду. Как Бог решит.

— А у нас сейчас... звенит,— Мурат все еще стоит топольком посреди дворика.— Небо звенит, ручей звенит, дыня наливается, звенит...

— Ишаки у вас звенят,— говорит Гера,— известно чего дожидаются.

— А ты добирался до Самарканда? — спрашиваю Матвея.

— Бывал. Но... Я на север подамся. Меня, как ты говоришь... сиротство лучше греет.

— Приезжайте ко мне! — говорит Мурат,— всех приму! Барана зарежем, вина — сколько выпьем! Чего хочешь...

— Отца обрадуем,— говорю,— увидит, кого пригласил...

— Моим друзьям отец всегда рад, у нас не спрашивают — кто, откуда.

— А кто мы, откуда? — говорит Саня.

— Увидишь отца, успокой,— говорит Арий,— никогда мы к нему не свалимся. Один пойдет на север, другого повезут на восток, третий тут останется, собственное говно хлебать, а мы с писателем... У нас в другой стороне дело.

— Это где ж? — спрашиваю.

— А разве мы не договорились?

— Встретимся...— Матвей сидит на корточках, привалился к стене, подставил лицо солнцу, улыбается чему-то, что один он видит.— Человек с человеком обязательно встречаются.

Ничего я о них не знаю, не понял. Но кем бы я был, что бы знал о жизни, когда б пронесла она меня *мимо?* Мимо каждого из них и всех их вместе. Мимо камеры — одной, другой, пятой, мимо дворика — того и этого?

— Слышь, Вадим,— говорит Мурат,— что такое... плюсквам... перфектум?

— Даано прошедшее,— говорит Арий,— кто ж тебя учил, или баранами платили за твой немецкий?

— Смотри, что тут написано...— говорит Мурат.

Он и Саня стоят у черной двери, читают надписи.

Я подхожу к ним. Вся дверь густо исписана — шариками, изрезана ложками, стеклом. Раньше я не пропускал ни одной двери, читал. Потом надоело.

«Подгони табачку пухнем! Молчун». «Кто здесь из Аядижаяа?» «Гвоздя кинули на общак». «Прокурор запросил семерик. Буду ждать на осуждеяке. Голован»...

Эта надпись на самом верху. Коричневым фломастером. Почерк быстрый, так и передается отчаянная нервность: «Плюсквамперфектум!..» — кричит фломастер и меня охватывает странное чувство, будто слышу голос...

Я оборачиваюсь на дворик. Арий сидит на скамейке, не двинулся. Матвей поднялся, с трудом разгибается, засиделся, медленно идет к нам. Гера уже у двери.

«Плюсквамперфектум! — читаю я кричащий коричневый фломастер.— Б. Б.— кум, сука! Под тебя сидит, под тебя! Берегись его. Прости за все и помни обо мне. Вспоминай!»...

— Кто такой Б. Б.? — говорит Гера.

— Написано,— говорит Саня.— Не видишь? Кум, сука.

— А Плюсквамперфектум? — говорит Мурат.

— Широк человек, сказал один великий писатель,— говорю я.

— Как «широк»? — не понял? — слышу я Ария.

Он сидит на скамейке, глядит на меня. И у Матвея глаза внимательные, острые.

— Так и понимайте,— говорю я,— в прямом смысле. Человек широк, а врата узкие. Не пролезть.

Глава пятая

ЭПИЛОГ

1

Те же коридоры, туннели, повороты, черные глухие двери... Неужто явь, реальность? А духота, сырость, смрад — не реальность? Пора бы привыкнуть. Что изменилось на сей раз — сознание, бытие? Не в том дело, смешная подробность, разве зэки о том думают, а я заклинился — куда мне! И все, о чем бы сейчас надо, чтоб собраться, не проколоться в первую минуту, не попасть впросак... Я не о том думаю, что меня ждет, даже не о том, что мне приготовили, уготовано — на себе заторчал, на кого я похож, вот что меня заботит! На мне серый халат, без пуговиц, без завязок, до колен, один карман оборван, в другой я засунул руку, придерживаю расходящиеся полы; под халатом застиранные, обесцветившиеся трусы, без резинки, на веревочке; выношенная, продранная майка, на голых ногах сапоги. Единственная моя вещь! Вид, мягко скажем, потешный, надо думать, диковатый. Вот я о чем, а коридоры, туннели, повороты... В таком виде только в психушку, думаю... Нету в тюрьме психушки. В больничку меня, в ту самую, о которой столько наслышан, недавно ляпнул, не подумав, везде, мол, побывал, а там меня не было. Вот тебе, пожалуйста, захотел — получил.

— Послушай, Федя, а почему на больничку, я не просился?

— Мозгом пошевели, сообразишь. Учат тебя, учат...

— Ежели для прохождения курса...

— Кончилась твоя наука.

— Жалко, вызвала бы следачка, а я бы к ней в халате.

— Она повидала, будь спокоен.

— Так и ходят?

— А что такого?

— Ты б на нее поглядел.

— Еще не такую увидишь,— Федя не оборачивается,— успеешь.

Стало быть, и это у меня будет. Сколько я наслушался, сколько возвращали меня к «сюжету» больнички, так и эдак поворачивался, раскручивался, а сейчас аукнулось, станет реальностью. Случайность, совпадение? Нет в тюрьме случайностей — вот в чем наука. Быть не может. А что есть?

Федя вперевалочку впереди, гремит ключами о железные двери. Он-то зачем, который уже раз, в самые уловые моменты... Шутка? Понять бы, чья? Все случайности — шутки, думаю, одни добрые, другие — злые, но — шутки, ухмылки. Герман, тройка-семерка-туз — разве не шутка, какой тут глубокий смысл? Dame de pigue,— сказал бы мой ученый адвокат. Неужели они теперь все такие? Вымирающая профессия, думаю, сучье племя, ретро, кушать подано...

— Заходи,— Федя открывает дверь с лестницы.

Линолеум. Похоже на районную поликлинику. Почище. Не в грязных калошах заводят пациентов, в тапочках или, как меня, в сапогах из собственного мешка... Открытые, закрытые белые двери — свобода!.. Ага, вон и черные, с глазком, с кормушкой — камеры!

— Постой-ка пока здесь,— говорит мой давнишний Вергилий и скрывается за белой дверью.

Почему мне... радостно? — думаю. Или я излечился, наконец, от старой моей беды — страха перед всем новым, неожиданным, так или иначе, но ломающим жизнь? Всегда любил хронику, какая бы ни была жизнь — хорошая, плохая, а моя, привычная. Так и здесь: пусть тяжко в камере, сил больше нету, а знаю — новая будет хуже... Чем хуже? Да ничем, одно и то же, а начинать сначала, пока еще свыкнешься. Почему же теперь радуюсь? Или хитрю с собой, на больничке полегче, наслышался: белый хлеб, молоко-мясо, простыии... Больничка — не тюрьма, что-то другое, человеческое... Человеческое ли? Поглядим, не я выбирал, за меня решили, своей волей ии за что б не шагнул из камеры — повели.

И когда из камеры выводили, будто кто сказал мне — куда, ни тени сожаления. А ведь привык, сжился: Арий, Саня, Мурат-Гера, да и Матвей — персонаж, не забудешь. А уходил легко. Или верно, излечился от старой хвори?

«Куда ты меня на сей раз, а, Федя?»

«Куда-куда, не скумекаешь?.. На больничку».

«Да ты что! На больничку попасть — носом землю роют!»

«За тебя вырыли».

«Как понять, Федя?».

Спустил вниз, на сборку — и в отстойник.

«На пять минут,— говорит,— перетопчешься».

Пяти минут мне хватило, нагляделся.

Пожилые мужики, усталые — выработанные. Как лошади, их только на бойню, да и дойдут ли своими ногами? Я не сразу врубился — кто такие? Гляжу, на одном зимняя шапка с полосой, на другом телогрейка тигровая... Полосатые!

«На особняк, мужики?» — спрашиваю.

«Ну. А ты куда?»

«Сам не знаю. Вроде, на больничку».

«Что за статья?»

Объясняю.

«Что ж тебя к нам? Такого не бывает».

«На пять минут, сказано».

«Эвона, пять минут! Мыло у тебя есть?»

«Есть».

«Давай ребятам, нам все сгодится, посылок не будет».

Полез в мешок, достал мыло.

«А теплое есть что?»

«А что тебе?»

«Да нам все надо! Лишним не будет...»

Вытащил теплые подштанники, рубаху...

«Вы не из двести восемнадцатой?» — спрашиваю.

«Месяц назад оттуда».

«Ария знали?»

«А ты его видал?»

«Сейчас от него. На спецу, на пятом этаже...»

«Слышь, ребята, живой Арий! Как он там?..»

Рассказал.

«Отдайте рубаху,— говорит один,— самому сгодится».

«Не надо, подгонят. Еще суда не было, пока уйду...»

И тут Федя открыл дверь...

«Держитесь, мужики!..»

Эх, как их перекрутила ржавая мисорубка!..

Мимо по больничному коридору шествуют чучела-не чучела, смех да и только — да ведь и я такой же! Халаты без завязок-пуговиц, голые ноги; веселые, горластые...

Федя уже рядом со мной.

— Ты вот что... Тут тебе не гоже стоять. Пока определят посиди-ка ты...

Открыл черную дверь.

— Заходи.

— А в чем проблема, Федя?

— Хату подбирают. Посолидней, посмирней — сечешь?

— С самого утра, как тебя увидел, ничего не пойму.

— Подкормить тебя надо, дура! Шевели мозгом...

— Кто ж подбирает?

Он закрыл дверь, а я стою, двинуться боюсь.

Камера небольшая... Палата! Свет потушен, а *светло!* Нет «ресничек» — решетка, намордник не доходит до краев, солнце брызжет в зазоры; одноэтажные шконки — кровати! Против чистенького сортира непонятное сооружение: высокий столик, а над ним...

И тут я понимаю, *куда* он меня запихнул. Над столиком кукла — целулоидная, ярко оранжевая, раскорячила пухлые ножки, растопырила ручки, покачивается на веревочке... «Мамочки!..» Вон я у кого в гостях!..

Дверь открывается. Федя.

— Курить нету? — спрашивает.

— Откуда? Мало меня учили, как завел к фельдшерице, все отобрала, голым пустила...

— Держи,— протягивает мятую пачку «Дымка», четыре-пять сигареток.— И спичек нет?.. Покури у окна. Жди...

У фельдшерицы я оказался полным лохом, а сколько наслушался, учили, предупреждали... Все, говорит, спимай, вот тебе трусы, майка, чтоб своего — ничего. Тапочки оставь. У меня нету. Тогда в сапогах. Мыло возьми. А штаны — как же я пойду? Так и пойдешь, молча. И чтоб табаку — ни крошки. Найдут сигарету — в карцер... И снова я упустил карцер.

В такой бы камере, думаю, оттянуть три года. Годик, месяц — да хоть бы три дня!

Подхожу к окну. В зазоре между стеной и намордником — двор... Дерево! Зеленое, разлапистое, шумит — воздух, ветер, запахло травой, листьями! После смрада, потного отстойника, в котором сейчас ждут этапа мои полосатые братья...

Ветер швырнул раму, зазвенели стекла, враз потемнело, загремело — и хлынуло потоком. Гроза, дождь! Стучит в намордник, заливает подоконник, высунулся к самой решке, ловлю губами, открытой под халатом грудью... Господи — за что?.. Благодарю Тебя, Господи!

— Дождался! Поговорить с человеком!.. *Поговорить!* Наговорился с ворьем, хапугами, бандитами... Ты не подумай, парень, я и сам такой — вор, хапуга, но я — *человек*. Ты, вижу, можешь понять.

— За что ж ты Осю-то Морозова, Андрей Николаич? Или он не человек?

— Человек. И ты, Зураб, мы с тобой оба люди. А за что мы сидим, ответь? За дело! А теперь об этом парне сообрази? Человек о Боге заговорил, о нас, сирых-убогих, вспомнил о нашем житье-бытье. А его куда? За решетку! Кто виноват? Не мы с тобой, не Ося-добрая душа — два уха и оба глухие? Спишут с нас, забудут? Нет, малый, нам и его повесят, не отмажешься. Мы за него виноваты, наша власть, народная. Голосуем — поддерживаем, не голосуем — тоже поддерживаем. Или ты против голосовал? Мало того, мы эту поганую власть и тем поддерживаем, что обворовываем! Считаем законной! Кабы не законная, разве я б у нее воровал?

— Экий вы парадоксалист, Андрей Николаич,— говорю я.

— А что — не верно? Или, думаешь, у меня — да у кого ни возьми, последним надо быть! — поднялась бы рука на того, кто вне ихнего жлобского закона? Да ни в жизнь! Сам бы придавил, если б кто, скажем, в церковь залез или в твоих, к примеру, рукописях стал копаться. А из ихнего кармана, который они *законно* народным добром набивают — чего не взять? Свое?..

Тоже персонаж, думаю. Лицо бледное, отечное. Ноги, как бревна, он их руками со шконки на пол, с полу — на шконку, а внутри клокочет...

— Давай, Андрей Николаич, открой свою программу переустройства нашего свободного общества в еще более лучшее,— подзуживает Зураб.

Зураб — здоровенный татарин, страховидный, бритая голова, лопоухий с приплюснутым носом, веселые глазки посверкивают.

— Могу и программу... Но разве они хоть кого послушают? Если б и рай пообещал, им не надо. Себе соорудили. Семьдесят лет погуляли, еще семьдесят на нашей шее продержатся.

— Кто из них семьдесят лет продержался? — урезонивает его Зураб,— их что ни год шлепали, едва ли в рай, им другая зона...

— Пожалел! — кричит Андрей Николаевич.— Не зря тебе в детстве кричали: «свиное ухо!» Нет для них на земле места! Разве в том дело, что хапают, пусть бы, я сам

своего не упущу. Но что они с нами сделали, ты подумай! Слышь... Вадим тебя?.. Я никак в толк не возьму — шестьдесят лет прожил, вроде, соображаю, а ихнюю логику не пойму. Ни логики, ни здравого смысла! Все себе во вред. Да черта мне в том, что им — стране во вред! Кто они такие?

— А кто мы такие? — говорю.— Это не я, мой сокамерник спросил. Убийца, родную мать зарезал.

— Вот! — кричит Андрей Николаевич.— Я о том самом — кто мы все такие? Россия... Двести пятьдесят миллионов, пусть не одни русские, кого только нету — кто мы?

— Мудаки,— говорит Зураб.— Мы и дома мудаки, и на работе, и... Кому не лень, все помыкают. Мы с тобой, Николаич, и своровать не смогли, сели. Да разве мы воры? Зря лезешь в чужую компанию, не твоя масть. Сто семьдесят третья — не воровство.

— Ладно, Зураб, мы не в суде, не у следователя, я не про уголовный кодекс.

— Нет, погоди,— и Зураб завелся,— я тоже не хочу перед новым человеком дураком оказаться...

— Дураком не хочешь, а мудаком согласен?

— Я тут пересекся в одной камере с начальником управления торговли, продуктовый главк,— говорит Зураб.— Ба-альшая фигура! Жалко, говорит, не успел наладить дело, посадили... А какое, мол, дело, если не секрет? Перевести, говорит, торговлю на автоматы, договорились с фирмачами на Западе, завезем автоматы — и воровать не будут. Будто сам он сел за то, что обвешивал! Дурак ты, говорю ему, хоть и начальник главка, твои автоматы в любом магазине в первый же день так подтинут, не расплатишься, вот когда тебе будет срок — шлепнут! Разве тут автоматами выправишь?

— А чем? — спрашиваю я.

— Вот я о чем! — Андрей Николаевич сбрасывает ноги со шконки.— Они теперь... Слушаешь радио, читаешь газеты?.. Кроят и кроят, залатывают. Гласность у них начинается, счеты сводят. Что из того выйдет, окромя Тришкиного кафтана?.. Ты правда в Бога веришь?

— Верую,— говорю.

— Вот тебе, Ося, и разговор! — кричит Андрей Николаевич.— Вот в чем сила!

— Что за сила? — Ося небольшого росточка, седоватый, добрые глаза, аккуратненький...— Я четыре года оттопал, до Волги добежал, потом до Праги прополз, проехал, а Бога не видел. Чертей встречал, а Бога?.. Нет, не пришлось.

— Видал?! — кричит Андрей Николаевич, говорить спокойно не может.— Еврей и Бога не знает? Ветеран недорезанный! Ветхий Завет кто нам оставил? Кто псалмы написал? Матерь Божия из каких будет? А он, кроме чертей, никого знать не знает!

— Понесло,— говорит Зураб,— теперь его не остановить.

— Ты послушай, Вадим! — кричит Андрей Николаевич.— Каково мне в этой камере? Полтора тут! Ну, была б синагога-мечеть, я бы весь срок оттянул, ума бы набрался, о Боге поговорить — хоть с мусульманином, хоть с евреем? О Боге! А с этими советскими недоумками — о чем? Какая разница, что один ловчила, с ним на узкой дорожке не встречайся, а другой — мухи не обидит? Зачем они мне?.. Слава Тебе, Господи, православного кинули.

— А наш говорун тебе не подходит,— говорит Ося,— из русских перерусский?

— Его мне в первый день хватило,— говорит Андрей Николаевич,— только и передыхаю, когда выдергивают, спасибо, часто. Поговорить, пока нету...

— Кто такой? — спрашиваю.

— Увидишь. Темная вода. Не зря кинули. Что-то у него стряслось на корпусе, отмокает... Погоди, не про то разговор, мне успеть, помешает... Кто мы такие, спрашиваешь? Что с нами сделали?.. Я тебе вот что скажу...

Что ж они мне за хату подобрали, думаю, а ведь долго подбирали, часа два проторчал у залитого звонким дождем подоконника, в «мамочкиной» камере с целлулоидной куклой... Выдали одеяло, две простыни, подушку с наволочкой... Тоже белые стены, светло, чисто, одноэтажные шконки, два окна с намордником без ресничек. Три человека, я четвертый, пятый на вызове... Подбирают, чтоб посолидней, сказал Федя, посмирней... Да кто бы они ни были! Отлежусь, отмокну, еще кормить будут! Хотя бы ужин... А этот говорит, говорит...

— ...ни логики, ни здравого смысла! А откуда ей взяться, ты подумай, Ося, покрути еврейской башкой? Чертей он видел! А кого ты еще мог увидеть?.. Умом не поймешь, требуется другой инструмент. На брюхе он прополз до Волги... Разве поймешь — брюхом? Не-ет! Метет, свистит, воет, в глазах песок — и это от Невы до Камчатки, и это семьдесят лет! Разве тут логика? Ты подумай, Вадим, я тут полгода и ты полгода — живут люди! Видал их, живые?

— В каждой камере видел.

— Вот! А здесь гуще, свирепей, не будешь держаться за шконку — сорвет. Но и здесь — люди. Больные, покареженные, себя предали, душу, совесть, все продали... Кто они, спрашиваешь? Кто — мы? Воры, убийцы... Но если и они, если и мы — люди,

если и тут — живые, что ж их и там нет? На воле? Есть! От Невы до Камчатки — посчитай!.. Им надо шаг сделать. Трудно, что говорить, но... последний шаг — понимаешь? Не сделаем — пропадем. Остановиться надо, куда мы все зашли подумать, не туда шагнем — пропали, никто, ничто не вытянет. Голову поднять и... Ты понимаешь меня, Вадим?

— Понимаю, я тебе рад, Андрей Николаич. Спасибо.

— Неужели только чертей, а Бога не услышим? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится — что ж, не гремит — мало?.. Вот Он рядом, протяни...

Он задыхается, хрипит, Зураб бросается к нему, поднимает, укладывает ноги-бревна на шконку, Андрей Николаевич валится на подушку, на губах пена...

Дверь открывается...

Шмаков?.. Коля?!

— Вадим?! Ну, чертяка! Встретились! Я знал, не может быть, чтоб не повидались!.. Отощал... Подкормим! Верно, братва?.. Везут ужин. Рисовая каша с молоком, компота у меня две шленки. Давно не хлебал?.. Ты что, Вадим?..

2

Мне хорошо и *радостно.* Я не просто счастлив — смущен. За что мне? А ни за что, никто не сто́ит такого. Разве *такое* заслужишь, разве хоть что-то равновелико обрушившейся на меня сокрушающей полноте счастья?

Я сижу за широким столом, накрытом скатертью, на нем только подсвечник с тремя горящими свечами, но я понимаю, это *трапеза.* Нас двое. В торце — священник. Я не видел его прежде. Но я его знаю. Не старый, бородатый, спокойное, доброе лицо. Молчит. Но у меня четкое ощущение разговора, *беседы* — спокойной, полной, и я ею счастлив. И мы оба счастливы...

Перед священником чаша... Потир! Накрыт покровом.

Почему мы *сидим?* — думаю я. *Что* означает эта радость?.. Наверно, оттого, что знаем, *чем* завершится наша беседа: он снимает плат с чаши... Оттого я счастлив, но и оттого смущен.

Мы *вместе.* Вот оно что! Полнота совместного, ни с чем не сравнимого ожидания предстоящей *трапезы.* Потому мы молчим и оттого ощущение нескончаемой *беседы.*

Тень возникает за спиной священника. Сначала она — некое уплотнение воздуха, покачивается, потом медленно сдвинулась, и ее очертание становится более отчетливым. Она выплывает из-за спины священника, колеблется, будто ничем и никак не прикреплена...

Туман, а в нем... Тень приближается или туман рассеивается. Она все четче, яснее. И такое странное ощущение крепнущей связи между возникшей тенью и тем, что происходит за столом. Тем, что теперь уже... не может произойти: тень разрушила предстоящую полноту, прервала беседу и то, что могло состояться, уже происходило, чем оба мы были счастливы, ждали его приближения в радостной молчаливой беседе...

Я узнаю ее. Колеблясь, не касаясь пола, она приближается, садится напротив. Нина. Подперла рукой щеку, глядит на меня... А я — на нее.

Чаша начинает медленно двигаться по столу, отплывает. Она уже у торца. Священник берет ее руками в нарукавницах, еще мгновенье и они — священник и чаша, растворяются, их нет. И туман рассеивается. Стол пуст, только подсвечник с горящими свечами.

В отчаянии я поворачиваюсь к Нине. Теперь мы вдвоем. Я хочу что-то сказать и не могу открыть рта. Она глядит на меня, я вижу слезы в темных глазах... Темных?.. Через стол она протягивает руку и накрывает мою, лежащую на столе. Меня пронзает горькая до слез, щемящая нежность. Почему такая горькая? — успеваю подумать я. И успеваю ответить себе: потому что ушла полнота ни с чем не сравнимого счастья.

Я просыпаюсь в слезах и тихо лежу под простыней. Открывать глаз я не хочу. Сон стоит передо мной: в дрожащем пламени свечей — стол, чаша, священник, Нина... Мне прощено? Нет. Ею, может быть, и прощено. Но это ее проблема.

Отсюда мне не уйти, внезапно понимаю я. 201-я статья, адвокат, предстоящий суд, этап, звезды над зоной... Миражи. Вязкая тина, путаница камер, разговоров, духота, смрад, глоток воздуха — и опять, я снова... Еще мало. Что я отдал, разве я хоть что-то заслужил?..

Сон открывает мне меня, вот в чем его смысл... Она улыбнулась, еще не проснувшись, нижняя припухшая губа по-детски чмокнула, блеснули зубы, дрогнули ресницы, она открыла глаза... Запеленутый младенец с яркими, с каждым мгновением проясняющимися глазами, вспоминаю я, душа, открытая Богу в прощении и любви к тому, кто виноват перед ней... «Не отчаивайся, Вадинька, я не сержусь на тебя — *ничего не было...*»

Не было? И я вспоминаю, о чем запрещал себе думать все эти месяцы — не так я о том вспоминал!.. Горбатую, со вздыбленной бурой шерстью крысу на заваленной влажной листвой дорожке перед пустой дачей, скрип ступеней под ногами, тень на стене над ее головой — темное пушистое облако, треск горящих поленьев, запах дымка и внезапную ярость к *другому*, никакое чувство ненависти, облеченное в благородное негодование. Его звали *Жора*, доцент из их института; она любила его, или ей казалось, что любит: красивый, веселый, умный, постарше; а она ничего не понимала. И у нее тогда ничего не было. И церкви еще не было. Только больная мать, не отпускавшая ни на шаг. Они приехали на дачу. Тоже была осень, так же трещали дрова, пахло дымком. Она не могла остаться, ее ждала мать. А он ее не выпустил. А потом... Потом он оказался... И когда б не церковь, если б она не нашла себя и а себе...

Дрова догорели, в доме было тепло, душновато, бутылку мы допили, рассказ она кончила. «Будь великодушным, Вадинька, ты знаешь, я не смогу тебе...»

Я был пьян и ничего не помнил. *Не хотел помнить*... Не помню? Я и сегодня тем *счастлив!*

К утру выстудило, забыли закрыть трубу... И мне так ясно вспоминается моя холодная ярость к тому, кто...

«Это был не я...» — сказал Гриша. Конечно, не я, а тот, кем я стал, позаолив себе, впустив в себя ярость, зависть, злобу, а потому и оказавшись здесь, переходя из камеры в камеру, продолжал распалять себя, отдавая *ему*, *другому*, собственный страх, ужас, и всего лишь представив себе следующий логический шаг — уже готовность спасти шкуру любой ценой, предать и продать; сводил счеты, представляя *его* в каждой из камер, и находя *его* в себе в каждой *своей* ситуации, из себя извлекая, выстраивая сюжет жалкой писательской мести... Кому? Что было бы со мной, когда б Господь не помог мне?..

«Жора — это я»,— говорю я себе, и мне становится жарко под простыней. Пока я не выблюю его из себя, пока не спасу в себе, не покаюсь и перед ним за свою злобу и ненависть, пока не найду в себе силы его... полюбить.

3

Спать я уже не могу. Возникшее во сне ощущение, что я здесь надолго, становится все более прочным. Оно ни на чем не основано, логика отсутствует, но я уже привык доверять таким внезапным тюремным прозрениям. Они не обманывают.

Отсюда так легко не уйти, думаю я... Да не из больнички — из тюрьмы! Не будет суда, этапа, писем, звезд на черном небе над зоной... А что будет?

Хорошо бы задержаться в больничке, думаю я. Белые стены, чисто, ветерок в открытые окна... Коля Шмаков? В каждой камере свой Коля Шмаков, пора бы и на этот счет не дергаться. Почему я вчера не сказал ему всего, что о нем думал? Трусость или опыт? Но он что-то понял, замолчал. И я замолчал.

Чужая камера, слишком мало знаю, чтоб открываться.

Пожалуй, самый симпатичный здесь — Ося. Похрапывает рядом. Зубной техник, протезист... «Сапером был всю войну,— сказал мне Ося.— Думаешь, опасная профессия? Бывают переживания, не без того. Вот я и нашел потише, самую мирную — зубы вставлять. Покой, тишина, а я еще глухой. Но жить с каждым годом легче, веселей, кому нужны железные зубы, они хотят, чтоб открыл рот — солнце играло!.. Я и играю восьмой месяц из одной камеры в другую...» Такого только ленивый не обидит, сказал бы Пахом. Она подороже — беззащитность, уже в который раз думаю я, некий раритет в нашей волчьей жизни, но, может быть, в ней и сила, которой следует учиться? Едва ли научишься. Такая сила или есть, или ее нет...

— Не спишь, Вадим?

Коля. И он не спит. Мы с ним через проход.

— Проснулся,— говорю.

— Сколько ж ты ждешь суда?

— Второй месяц, тянут. И обвинительного до сего нет.

— Как бы тебе не присохнуть. Как мне. Я уже полтора года. И год жду суда.

— А право у них есть? — спрашиваю, как когда-то, давным-давно, на сборке.

— За судом можно быть бесконечно. Пока не опухнешь. Я больше не могу, Вадим. Объявляю голодовку. До смерти.

— Не валяй дурака, Коля. Выкинут с больнички...

— Хрен с ними. Больше *не могу*! Это ГБ. И тебя они тормознули. Кум с ними заодно. Они его крутят, а он...

— Ты где был, Коля, сюда — откуда?

— С особняка.

— Из двести восемнадцатой?

— А как ты знаешь?

— К нам пришел Арий. Месяц назад. Рассказывал.

— Вон как. Понятно, почему ты со мной так. Никому не верь, Вадим, здесь нельзя никому...

— Мне не надо,— говорю,— я себе пытаюсь поверить.

Я стоял у окна, глядел на двор сквозь зазоры между намордником и стенами. Все лежали, ждали прогулку. Дверь широко распахнулась и в камеру вломилась... толпа. Иначе не скажешь... Впереди — кореастый, плотный, с круглым ражим лицом, полковник. За ним не по летам толстый, рыхлый, хлыщеватый, в кожаном пальто. А следом белые халаты, халаты...

Никто из моих сокамерников не поднялся.

Полковник прошелся вокруг дубка, стуча каблуками, и круто остановился.

— У кого какие жалобы?.. Разберемся!.. Есть симулянты? На общак!..— он махнул рукой.

Никто из лежащих не двинулся.

— Я начальник следственного изолятора,— сказал полковник.— Прокурор города по надзору,— он ткнул пальцем за спину, где стоял кожаное пальто.— Какая у кого беда?

Андрей Николаевич сбросил ноги-бревна со шконки, сел. Коля поднял голову. Зураб перевернулся на живот. Ося безмятежно читал книгу — ничего не слышит.

— А! Зашевелились?..— сказал полковник.— Живые!

Он хохотнул.

— Какая статья? — обратился он к Андрею Николаевичу.

— Сто семьдесят третья,— сказал Андрей Николаевич.— У меня к гражданину прокурору... Я уже полгода, болен, ходить не могу. Я ни в чем не виноват. Писал жалобы. Не отвечают, следователь не приезжает. Видите ноги? Зачем меня держать? Отпустите под подписку, я докажу, оклеветали...

Прокурор чиркнул в блокноте. От окна я хорошо вижу: поставил закорючку.

— А вы? — спросил полковник Колю.

— Объявляю голодовку,— сказал Коля,— смертную.

— Напугал,— сказал полковник.— Псих, что ли?

— Год за судом,— сказал Коля,— буду жаловаться в ООН.

— Главный врач! — крикнул полковник.— Чем он болен?

Серая мышка в большом, не по росту, жеваном халате шагнула вперед.

— Высокое давление. Пытаемся сбить, но...

— Разберемся. Сколько он лежит?

— Месяц.

— Что? Как... месяц?

— Видите ли...— начала мышка.

— Что у вас? — это вопрос Зурабу.

Лица Зураба я не вижу, только спину. Передо мной глаза полковника, они вздрагивают. Зураб готовится к психушке и уже демонстрировал мне свои ухмылки: толстые губы безобразно растягиваются, глаза рассредотачиваются, и без того страховидная рожа производит ужасающее впечатление.

— Ты... что? — сказал полковник.

— Голова...

— Вижу. Дальше что?

— Летит, отходит от тулова, поймай-ка.

— Была пятиминутка? — полковник повернулся к мышке.

— В следующий четверг,— сказала мышка.

— Наведем порядок... А этот... читатель?

Я дернул Осю за ногу, он бросил книгу, оглянулся, вскочил со шконки, на голове прыгает седой хохолок.

— Статья, от чего лечат?

— Сто пятьдесят четвертая. Еще восемьдесят восьмая. Я ни в чем не... Желудок у меня...

— Же-е-лудок? Боржома не хватает?..- полковник махнул рукой.— На общак. Там враз вылечат. У нас не санаторий.

— Я хочу сказать, что мне...— начал Ося.

Полковник от него уже отвернулся.

— Ваша статья? — он смотрел на меня.

— Сто девяностая прим.

Полковник бегло глянул на прокурора.

— Как она... формулируется? — за все время прокурор первый раз открыл рот.

— Как?..— мне стало весело.— Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и...

— Да-да,— сказал прокурор,— конечно.

— Фамилия? — полковник шагнул было к двери.
— Полухин.
— Полухин?..— он круто повернулся.— Как же, как же!.. У вас вполне... приличный вид, Полухин, а ваша сестра... Была у меня, говорит, что вы...
— Как она? — перебил я.
— Кто?
— Сестра.
— Вам бы так, Полухин. С ней — все нормально.
— Благодарю,— сказал я.
Толпа вывалилась в коридор, дверь грохнула.
— Ну, шельма! — сказал Андрей Николаевич.— Видали заходы? «Кто жалуется — на общак!..» Н-да, разберутся...
— Это и есть Петерс? — спросил я.
— Собственной персоной. Редко кому такое счастье, чтоб самого... С тобой у него дружба, родственников знает?
— Зачем он приходил?
— Галочку поставить,— говорит Зураб.— Чтоб я на нем порепетировал. Осю — на общак. Большое дело сделал.
— Почему меня? — говорит Ося.— Только начали лечение?.. Первый раз я тут месяц отлежал, прошел курс, полегчало. А теперь пятый день, они и не начинали...
— Он тебе объяснил,— говорит Зураб,— не санаторий.
— А тебя, Шмаков? — говорит Андрей Николаевич.— Пожалеют? Голодовка! Будут наблюдать, как ты молоко-мясо станешь нам отдавать или ночью набивать брюхо?
— Мне чем хуже, тем лучше,— говорит Коля,— я этих сук навидался, они у меня покрутятся...
— Утихни,— говорит Андрей Николаевич,— давай побьемся на пачку сигарет? Сейчас тебя вызовут, голодовку ты не откроешь и здесь присохнешь, пока...
— Пока что? — говорит Коля.
— Пока писатель будет. Не так?
— Может, так, хоть поговорить с человеком.
— Ладно. Не моя печаль. Я зарекся лезть в чужие дела... Они не за тем приходили. Не поняли, умники?
— Да ни за чем они приходили,— говорит Зураб,— мимо шли. Или им на больничке спирту пообещали. Банку.
— Не-ет, Зураб, не сечешь. Тут другое. Жмурик. Вот они за чем пожаловали. За жмурика надо отвечать.
— Они при чем? — говорит Зураб.— Его в больнице лечили. В вольной. Да никто ни за кого не...
Андрей Николаевич качает головой:
— Лечили там, а крякнул здесь. На них повесят.
— На ни-их?..— говорит Зураб.— Ничего им не будет. Видал прокурора? Он и статью писателя не знал, в больничную палату вперся... Да хотя бы в камеру на больничке — в пальто! Его только в бане держать. Мойщиком. Будь спокоен, они не таких жмуриков списывали.
— А Ольгу Васильевну кто спишет? — говорит Андрей Николаевич.— видал, как она сюда прибежала, как тут... Или думаешь, она простит куму *такого* жмурика?
— А почему я за нее должен думать? — говорит Зураб.— И Петерсу она зачем? Скажу тебе правду, Андрей Николаевич, я накушался больнички. Сыт. И молока-мяса не надо. И... психушки не хочу. Поиграл — хватит. В камере чище. Хоть и на общаке. А здесь... Угробили человека.
— Чтоб из-за такой суки,— говорит Коля,— из-за такого жмурика такие заходы?.. И кум не станет руки пачкать — отработанное дерьмо.
— Эх,— говорит Зураб,— пошли, Ося, вместе, нам и без ваших переживаний... Конечно, жалко мужика, помер, а всего сорок лет. Судьба такая. А кто из них кому... Нет, не хочу в больничке, посадили в тюрьму, и надо сидеть в тюрьме, не в богадельне. Хотя с тобой, Андрей Николаич, я бы еще поговорил, и с Вадимом... Да и Ося человек...
— Погодите,— говорю,— какой номер у этой хаты?
— Четыреста восьмой,— говорит Зураб,— не разглядел, как заводили? Самая-самая тут...
— Так вы... Борю Бедарева знаете?.. Коля! Помнишь Борю Бедарева?
— Я тебя предупреждал, Вадим,— говорит Коля,— или я не успел?.. Кумовская мразь...
Грохнула кормушка. Откинулась.
— Полухин! — женский голос.
Подхожу. Высунулся в коридор. Пухленькая мордашка. Накрашенные глазки. В форме. В руках раскрытый журнал. Листает.

— Полухин? Распишись, продление тебе.
— Какое продление?
— Генеральный продлил. На доследование, до... двадцать третьего декабря.
— Как... декабря — август на дворе!
— А так. Два месяца за судом и три за генеральным. Расписывайся.
— Дай почитаю.
— Нечего читать... В журнале распишись.
— Пока не прочту — не буду расписываться.
— Да читай! Грамотный! Если каждый станет...
Бланк... Ничего не могу понять... Верно: «23 декабря...» Подпись: «Генеральный прокурор...»
Кормушка брякнула.
— Что такое, Вадим? — Коля Шмаков.
— До конца декабря. Продлили. Доследование.
— Я сказал тебе — тормознут! Ну, суки...
— Погоди...— говорю, а сам думаю: хорошо, я не один, на миру и смерть красна, не показать бы виду, такая тоска и сердце шлепнулось в желудок, стучит в неподходящем месте...— Продлили и продлили. Притормозимся... Это вы о Боре Бедареве говорили? Он... умер?

4

Первая моя процедура. За молоко-мясо здесь расплачиваются собственной шкурой. Курс уколов. Зачем они мне? А, жалко, что ли! Хотя, мужики говорят, если месяц колют, *сидеть* не будешь, задница синяя. Тут не церемонятся.
Высокая, стройная, сверкающий халат, как натянутая перчатка, голубые глаза, длинные намазанные ресницы, лицо холодное, без улыбки. С такой не пошутишь.
— Что ж вам, давление не мерили?
— Нет,— говорю.
— Садитесь.
Окна без намордников, так светло, что и на решетку не обращаешь внимания, будто нету.
Сколько оказывается света, воздуха, когда окна не загорожены!
— Отойдите от окна, сказано — садитесь!
— Лето,— говорю,— а я и забыл, что...
— Кто вам назначил?.. Ничего не пойму!.. Полухин?.. Вадим Полухин?..
Сажусь у столика со сверкающими инструментами. Она глядит на меня: широко раскрытые глаза наполняются слезами, она сморгнула, ресницы потекли, схватились за грудь...
— Что с вами? — говорю.
Она стремительно поднимается, обходит меня, идет к двери. Щелкнул замок. Возвращается. Садится.
— Он умер, Полухин. Вы знаете... он... умер!
— Мне сказали. Вчера. В камере.
— Как же это, Полухин? Вы с ним... он мне говорил, говорил... Он...
— Это инфаркт, да?
— Зачем он ушел из больницы?! Еще бы неделю, десять дней!.. Он убил себя, когда встал и...
— Он пришел к вам, Ольга Васильевна, он хотел вас видеть, он верил только вам...
— Из-за меня! Все из-за меня!..
По лицу ползут синие полосы, она не вытирает глаз, губы опухли...
— Он вас очень любил, Ольга Васильевна, он рассказывал мне о... Уходите отсюда. Он не хотел, чтобы вы...
— Какие он писал письма, Полухин!
— Да,— говорю,— я знаю.
Лицо залито слезами, она по-бабьи всхлипывает:
— Радость моя,— шепчет она,— пишу тебе последний раз, нету у меня больше сил. Если мы не можем быть вместе, вдвоем, только вдвоем, я не могу жить. И не хочу жить... Он не хотел жить, Полухин!.. С самого начала, когда я тебя увидел, когда я нашел тебя, а ты меня,— шепчет и шепчет она, глотая слезы,— я живу только тобой, я помню каждую встречу, твои губы, твои руки, я не могу... *делить* тебя, понимаешь? Не могу, не хочу и не буду. И жить больше не могу. Прости меня и не забывай обо мне. Тебе последнее дыханье и... и мысль последнюю мою... Что это, а, Полухин?
— Да,— говорю,— он вас очень...
— Я думала, он будет жить, и бы все смогла! Он был... *Был!* Такой сильный, такой...
— Уходите, Ольга Васильевна, это все, что вам теперь остается.

Смотрит на меня. Мне кажется, она только теперь меня увидела. Глаза высыхают... Да, можно поверить тому, что о ней рассказывали: если в руке у нее будет скальпель, она способна...

— Вы много знаете, Полухин, а я пока здесь.

Все это бред и литература, думаю. Но срок у меня катит и в том великое преимущество перед теми, для кого время ничего не значит. Мне каждый лишний час — подарок. Открытые окна, воздух, светлая комната, несчастная женщина с синими потеками на холодном красивом лице...

— Такое бывает не часто, Ольга Васильевна,— говорю,— то, что случилось с вами, большая редкость, не каждому посчастливится. Не забывайте о нем.

Еще какое-то мгновенье она смотрит на меня. Потом встает и отпирает дверь.

— Я вас вызову...

5

Мы только вернулись с прогулки. Вдвоем гуляли, с Зурабом. Кипит в мужике кровь, все ему интересно, любопытно, веселый, остроумный, живой... Да и психушку сочинил себе скорей для развлечения, поиграть охота, силы попробовать — кто кого оставит в дураках... Неужели совсем не *гонит?* Откуда мне знать, думаю, разве поймешь человека за два-три дня?

Осю вытащили утром, с вещами. Коля вообще не гуляет. Может, болтают с Андреем Николаевичем?.. Едва ли, верней всего, так и лежат молча, пока мы не вернемся, откровенная вражда, антипатия. И не скрывают.

И прогулка сегодня меня смутила: дворик внизу, уже не жарко, свежо, за стеной шумит на ветру высоченный *вольный* клен, а назад оглянулся — спецкорпус, безобразные слепые окна в ржавых ресничках. Смотрел-смотрел, искал на пятом этаже *мою* камеру, высчитывал, сбивался и вдруг дошло: она же не сюда выходит, в другую сторону, в колодец двора против общака...

Коля вскочил со шконки, как только мы вошли:

— Мясом потянуло, слыхать. Не видали, не везут?..

Дверь открылась. Федя. Рыжий.

— Полухин,— говорит,— давай на коридор.

Я стоял возле двери и подумать не успел, шагнул к нему. Смотрит на меня внимательно.

— Отмок?

— Заберешь, что ли?

Он отпер соседнюю дверь — камеру «мамочек».

— Посиди-ка, тебе, вроде, понравилось.

Камеру так и не заселяли. Чисто, светло, прохладно...

— Почитай пока,— говорит Федя,— а я зайду. Дождешься?.. Ну-ну.

Протянул исписанный листок. И закрыл дверь. Ушел.

«Дорогой Вадим!..— читаю я, где-то видел почерк, не могу сразу вспомнить.— Не договорили, не успел!..»

Что это? — думаю,— зачем он мне дал?..

«...А ведь надо, надо! Написать всего не могу, не умею я писать, нам бы с тобой на воле! Я все думаю, не может быть, чтоб не выскочил, я всегда выскакивал, всякое было, я тебе рассказывал. Ты помнишь, Серый, как мы с тобой, когда ты пришел, когда ты мне верил...»

Переворачиваю листок: с той стороны исписано до половины, а подписи нет, на полуфразе оборвано... Да это Боря! — понимаю я. Письмо от Бори Бедарева!

«...Ты помнишь, Серый, как мы с тобой, когда ты пришел, когда ты мне верил, а потом замолчал. Я тебя сам научил — никому нельзя верить, вот ты и мне не стал. Правильно! Но разве я тебе чего сделал? Тебе не сделал, перед тобой чист. И перед женой чист, все оставил. И перед отцом и матерью. Неужели за меня никто не скажет? Ты написал: отпусти нам, Господи, наши оскорбления, кого я обидел, кто на меня тянет. А если они на меня будут? Они меня простят? Сердце болит, Серый, мне и писать больно, и косить нельзя, сразу обратно на вольную больницу, зачем мне, а не косить, тогда на этап, а надо бы зацепиться, хотя бы день-другой, а неделю бы тормознуть, она меня вытащит, ты представь, Серый, вчера залетела, здесь еще четыре ханурика, я пятый, бросилась ко мне, а я глаза закрыл, так бы и лежал, ничего больше не надо. Как понять, Серый, баба нужна, чтоб, ну, сам понимаешь зачем, жена нужна, что дом был, а я лежу, она встала перед шконкой на колени, положила голову, у меня и так сердце болит, кричать охота, а мне, поверишь, ничего другого не надо, всегда бы так, и дышать не могу, больно, ее волосы у меня во рту, забились, пахнут они, Серый, цветами, полем. Ты говоришь, не простят, за все ответим, я бы заплатил. И знаешь, Вадим, даже сказать трудно, не поверишь, а я эту мразь пожалел, кума. Как это понять, Серый, он ее измучил, она в его власти, он гуляет над ней, если что не по нему, он со мной посчитается,

а мне его жалко. Даже чудно стало. Понимаешь какое дело, она с ним не своей охотой, силком, ради меня, а так бы что он от нее имел, а ко мне бросилась, все позабыла и себя позабыла, на колени встала, целует. Ты прости меня, Вадим, и за Пахома прости. Я тебе вот что хочу сказать, самое трудное, что никому не скажешь, только тебе, пусть мне и тут не светит, не выскочу, но если простят, если там...»

Дальше ничего не было. Я перевернул листок и начал сначала: «Дорогой Вадим! Не договорили, не успел! А ведь надо, надо! Писать не могу, не умею я писать...»

Я подошел к окну. Дерево, а перед ним залитый асфальтом двор. Баландеры потащили тележку с баками, выплескиваются щи. Обеденный перерыв. Офицеры двинулись в столовую. Еще кто-то... Я гляжу и не вижу — чужое кино. Не для меня.

— Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго, преставившагося раба Твоего, брата нашего Бориса...— шепчу я, глядя на разлапистое дерево, шумящее листьями прямо против окна камеры.

— Благодарю Тебя, Господи,— шепчу я,— что через раба Твоего и брата нашего Сергия, Тобой ко мне в камеру всаженного, научил Ты меня недостойного молиться Тебе, что был бы я без помощи Твоей, постоянной и неусыпной...

— Помяни, Господи Боже наш,— шепчу я,— в вере и надежди живота вечнаго, преставившагося раба Твоего, брата нашего Бориса, и яко благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободи, остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая, в деле и слове, и чисто исповеданная, или забвением или студом утаенная, избави его вечныя муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя, повели, да отпустится от уз плотских и греховных, и приими в мир душу раба Твоего сего Бориса, и покой ю в вечных обителях, со святыми Твоими...

Я не слышал, как открылась дверь, обернулся, когда Федя встал за моей спиной.

— Кимаришь? Покури,— он вытащил все тот же «Дымок».

— Что ты со мной... Я понять не могу, Федя, почему ты возникаешь, когда...

— У меня работа такая,— сказал Федя.

— Что ж тогда прокололся, или обманул?.. «Кончилась наука», «подберут камеру», «подкормят», «шевели мозгом»... А меня еще на полгода, а там... Что там?

— А то Бог не знает, что там с тобой будет. Что быть должно. Мало тебя еще катали, если спрашиваешь...

Мне от окна хорошо видно: глаза у него странные, помню, первый раз поразили, бешеные были, зрачки вздрагивали, а сейчас спокойные, твердые — что-то знают, а что — не видно.

— Давай письмо,— говорит Федя.— Прочел?

— У меня нету.

— Съел, что ли?

— Ну.

— Я так и думал. Научили. У нас один говорил: если зайца долго бить, его можно научить зажигать спички. Научили!.. Держи спички, покури. Еще тебе десять минут.

Ушел. Закрыл дверь.

Я выглянул в окно. Гляжу и гляжу на дерево напротив. Шумит, уже листья желтеют. Во-он полетели... Осень.

— Укрепи мою веру, Господи,— шепчу я,— не оставляй меня надеждой, подари мне любовь...

Что же это такое, думаю я — было все это или не было?.. Было. Конечно, было!.. Пахом, Ольга, Арий, Гриша, Саня, Серега, Боря, Матвей... Нина... А еще Андрей Николаич, Зураб, Ося, Коля Шмаков... А Федя? А моя вина, моя беда, а все эти месяцы... А сколько их еще будет?

Не знаю. Я уже ничего не знаю. Тюрьма была. Это я знаю твердо. *Была?* А куда же она делась? Где я?

Более того, внезапно понимаю я, только она одна и была. Тюрьма.

Усть-Косса — Москва

1987—1989

Марк КАБАКОВ

◆◆◆

Пустыню напоить дождем
Не можем,
От берега свернуть тайфун
Не можем,
Толчок землетрясения
Не можем
Хотя бы на минуту задержать.
Дать умершему жизнь —
Хоть на мгновенье!
Сраженному проказой —
Исцеленье,
Несчастному утраченное зренье
И то нам не под силу даровать.

Но танками мы можем —
По живому,
Атаками —
По небу голубому,
И с точностью почти до сантиметра
Ракетою в скворешник угодить.
В надводных положениях,
Подводных
Умеем истреблять себе подобных
И даже в праве выбора
Свободны:
Кого какой ракетою убить!

И мы еще кричим самозабвенно,
Что мы постигли таинства Вселенной,
Мы,
Хищники,
Скрывающие шкуры
За фразами, липучими, как мед.
Изранена,
Вращается под нами
Планета, забинтованная льдами.

...Внучонок обхватил меня руками,
Он песенку веселую поет.

В Болдине

Деревья, луна да, пожалуй,
Тревожные крики грачей —
Вот все, что земля удержала
От пушкинских дней и ночей.

И было бы сетовать глупо
Над нынешним днем вознесясь,
Когда бы не резала ухо
Словес непролазная грязь,

Когда б не бродили в потемках,
Разбойно свистя у столбов,
Забывшие плакать потомки
Его бессловесных рабов.

◆◆◆

...Но с каждым годом мучает сильней
Неотвратимость вечного покоя
И чудится:
Усталою рукою
Уже пора расседлывать коней.

А я еще не видел ни черта,
А понял и того, пожалуй, меньше,
И самая красивая из женщин,
Как горизонта синяя черта,—
Недостижима.

Снегопад

1

Заметает Ленинград
Снежною крупою,
Ветер рыщет наугад,
Будто с перепою.
Золоченая игла
С ангелом сутулым
Треугольные крыла
В белый мрак воткнула.
Остро блещет силуэт,
Вольно хлещут плети,
Словно не было и нет
Этих двух столетий;
Никаких бетонных благ,
Ни теплоцентрали...
Человек и сир и наг...
Снег все валит,
Валит.

2

Обещаньем сквозняка,
Что проветрит душу,
Возникаешь сквозь века,
Говоришь:
— Послушай,
Прислонись к моей груди,
К двум сугробам теплым,
Не казнись и не суди,
И не пялься в стекла.—
Утро в розовом бреду,
В полумраке зимнем.
— Дорогая,
Я приду,
Но куда, скажи мне? —
Пламя рыжее твое
Гаснет в стуже бешеной,
Белым снегом до краев
Окна занавешены.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

Невский

Ледяной канал с отбитым краем —
Белый шарф, уроненный Барклаем
Под ноги,
присыпанный толпою
На мосту — как рыхлою землею,
Взорванной невидимым ядром,
Сквозь века свистящим напролом.

Снега канцелярская бумага.
Перспектива, острая, как шпага,
Сквозь меня прошедшая игриво,
Целясь — сквозь меня! — в висок залива.
Траурная ленточка небес.
И чеканной площади эфес.

Снег идет

Глотнешь из чайника — и замер,
Глаза в окно;
Снег, равномерный, как гекзаметр,
Сосны пятно.
Подчеркнуто теченье веток,
Игл водопад,
И черные платки соседок
Тропу кропят.
И воздух вяжет рыхлый свитер —
То вширь, то вниз,
Он, выпив солнце, губы вытер
О мой карниз.
От этой вязки безграничной,
Глухой, густой
Тебе тепло ли под гранитной
Твоей плитой?
К тебе выносит белый невод
Синицу, блик.
А я пустую. Только слева
Болит.

◆◆◆

Спокойные светлые рощи, черничник, остатки травы
И темно-багровой рябины безлистные кисти.
Листвы
Последние клочья — как царских расшитых знамен
Обрывки. Сгорела осина, и клен разорен.
Листва облетает, как тело с врастающей в небо души.
Как белые эти стволы без одежд хороши!
Так, видимо, души спокойны без денег, предсмертных
болей
И нежности тщетной к любимым, стоящим средь мокрых
полей,
Дрожащим: их больше не любят, остывшие горсти пусты...
А небо качает березовых веток кресты.

За тебя

Из чашки твоей голубой допиваю вино.
В бутылках-близняшках с поминок осталось оно.
В остывшей квартире из чашки твоей голубой
Я пью за удачу, какой не бывало с тобой,
За те города, что не видела ты никогда,
За те острова, где тебя не ласкала вода.
За серьги и шубы, за платья из тихой тафты,
Из шумного шелка — что даже не меряла ты.
За осень густую, что ты не пригу́била, за
То терпкое тело и в зелени летней глаза;
За вдовьи карманы, когда на чулки — ни копья,
Любовников верных, да только не годных в мужья.
За наше стоянье под суздальской синей звездой,
Мое разоренное, в запахах детских, гнездо.
За то, что к тебе не прилипли ни злато, ни грязь,
За то, что летала,— я выпью, слезами давясь,—
Что ветром расплесканным талой, дрожащей земли,
Как чашей последней, тебя обнесли...
обнесли...

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Марк ХАРИТОНОВ

«ВЕРНУСЬ С ТОГО СВЕТА»

1. «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»

В марте 1974 года мы с женой пришли в мастерскую Вадима Сидура поговорить, не возьмется ли он сделать памятник нашему погибшему другу поэту Илье Габаю [1]. Жена была хорошо знакома с ним лет 12—15 назад, с тех пор не виделась, я примерно столько же лет был о нем наслышан, но оказался в его Подвале (буду вслед за ним писать это слово с большой буквы) впервые. Хорошо помню первое впечатление: впечатление мощного, своеобразного художественного мира и в чем-то очень близкого человека. Первое понятно, хотя в отдельные скульптуры я по-настоящему вгляделся лишь потом — и продолжал вглядываться, уясняя их смысл, многие годы; но откуда это мгновенно вспыхнувшее чувство близости? Сам повод нашего прихода, разговор об обстоятельствах самоубийства Габая располагал к откровенности, не было сомнения, что мы говорим с человеком *своим*, и Сидур действительно с готовностью взялся сделать эскиз памятника...

Лишь сейчас, после Диминой смерти, я — с чувством некоторого шока — узнал из его записей той же поры, что он заподозрил в нас людей «из шкатулки», то есть подосланных с определенной целью. Этот штришок стоит многого, он характеризует не столько нас или его, сколько время, искажавшее нормальные человеческие отношения, когда именно естественный разговор казался неестественным и вызывал подозрения. «Бойтесь новых знакомств! Не пишите дневников! Будьте бдительны!» — записывает Сидур — в столбик — требования, навязываемые этим временем (записывает, заметим, в дневнике). «Наша подозрительность слишком часто не лишена оснований».

И то сказать, было чего опасаться. В январе выслали Солженицына, обстановка становилась все более зловещей, вокруг самого Сидура сгущались неясные тучи. Только что в «Советской России» появилась хамская статья, где его имя поминалось в угрожающем соседстве с именами Л. Копелева, Л. Чуковской «и др.» — по нашему опыту было известно, что это могло предвещать. Начинался процесс его исключения из партии, реальной казалась угроза изгнания из Союза художников, а значит, утраты прав на мастерскую. Использовав звучавшее тогда словцо, Сидур назвал этот процесс «началом импичмента». Было немало свидетельств и признаков специфического интереса к его персоне.

Парадокс заключался в том, что Сидур не давал для этого интереса, казалось бы, никаких внешних поводов. В отличие от «и др.», он абсолютно не проявлял общественной активности, не делал и не подписывал никаких заявлений — это было ему в принципе чуждо. Он не рвался за границу и даже на выставки, официальные или «нонконформистские», не жаловался на судьбу, на условия, не требовал возможности заработка — хотел лишь спокойно работать в своем Подвале, довольствуясь минимальными, более или менее случайными средствами. Разве что принимал, в числе других посетителей, иностранцев — международная слава его уже разрасталась.

Но то-то и оно, для неприязни вовсе не обязательна была рациональная причина, достаточно было чувства очевидной чужеродности, несовместимости его с тем, что считалось общепринятым и дозволенным. Столкновения со временем не приходилось искать, но и спрятаться от него такому художнику, как Сидур, вряд ли было возможно. Осмысливая темы вечные, общечеловеческие: любовь, материнство, насилие, страдание, смерть — он был сыном своей страны и своей эпохи.

«Ты вечности заложник у времени в плену»,— так определил Пастернак двуединую суть всякого подлинного художника; первую часть этой формулы я поставил здесь как заглавие, вторая могла бы служить подзаголовком — или наоборот. Искусство возникает на пересечении вечных тем и нового, всегда небывалого времени, в котором мы живем, которое формирует нашу судьбу и налагает отпечаток на наш духовный мир.

Сидур выражал это ощущение другими словами. Как-то он сказал мне, что пишет нечто в прозе под названием «Миф» с подзаголовком «Памятник современному состоянию» (так названа одна из его скульптур). Такое же двойное название он дал фильму, где попытался раскрыть свое художественное и философское видение мира уже средствами кино.

Я хочу рассказать здесь об этом мире и об этом человеке, много для меня значившем, какими они увиделись мне за годы нашего знакомства. Мы встречались с ним более или менее часто почти до

[1] Илья Янкелевич ГАБАЙ (1935—1973). Поэт-правозащитник. В 1969—1972-м репрессирован за «антисоветскую деятельность». Покончил жизнь самоубийством. Подробней о нем см.: Огонек, 1989, № 21. Стихи: Огонек, 1989, № 38; Юность, 1990, № 3. (*Прим. ред.*)

самой смерти Сидура в 1986 году. Некоторые разговоры я тогда же, по свежей памяти, записал. Прочитав недавно страницы, написанные в те же годы Сидуром, я обнаружил немало совпадений: зародившееся сразу же чувство близости все-таки не обмануло.

2. ИОВ

Что-то неслучайное было в том, что наше знакомство оказалось связано с памятью Ильи Габая. Сидур, как я мог понять, был с ним знаком лишь бегло. Известие о его гибели он отметил в своем «Мифе». Перед началом работы над памятником я дал ему почитать подборку стихов Габая. Особенное впечатление на него, видимо, произвела поэма об Иове — вариация библейской темы. Взятый из Библии эпиграф к поэме Сидур воспроизводит в своих записях неоднократно: «Был человек в земле Уц, имя его было Иов».

«Эскиз получился красивым,— записывает он 15.04.74, через две недели после начала работы над памятником.— И мне бы очень хотелось его сделать. Когда-то этот Иов поразил меня. Тогда он был еще очень молод, но этот мальчик напомнил мне моего отца».

Он называет Иовом самого Габая, сознательно прошедшего через многие мучения (в другом месте называет его «святой Илья»), и еще через неделю подтверждает это отождествление: «Красивый должен получиться памятник несчастному Иову» (23.04.74).

А несколько месяцев спустя, 25.08.74 переводит это отождествление на самого себя, используя странное совпадение аббревиатуры:

«Жил ИОВ на земле Русь, а имя его было Вадим Сидур.
ИОВ — Инвалид Отечественной Войны.
Сидур — по древнееевр.— молитвенник».

Это была, в сущности, его тема: бесконечные, безмерные страдания человека — от библейских времен до наших дней. Сидур полной чашей хлебнул испытаний, выпавших на долю его поколения: воевал и был тяжело ранен, «раскачивался между жизнью и смертью в госпиталях... среди людей без челюстей и дрожащих мелкой дрожью, искромсанных желтых животов», пережил гибель многих родных и близких, долго и мучительно болел. Вот откуда его пожизненное внимание к темам войны, насилия, смерти, бесчеловечной жестокости — «не интерес и даже не долг, а жизненная необходимость»,— как выразился он в одном интервью. Этим определены трагические мотивы его творчества. «Меня постоянно угнетало и угнетает физическое ощущение бремени ответственности перед теми, кто погиб вчера, погибает сегодня и неизбежно погибнет завтра». Корнем всякого зла он считает насилие. «Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия, проявленного по отношению к ним другими людьми в самых чудовищных и даже фантастических формах». Едва ли не каждый день он фиксирует в своих записях сведения о все новых убийствах, террористических актах, взрывах, жертвах, пытках.

С годами он все более скептично относился к способности людей разумно разрешить свои проблемы; это чувство приобретало порой острые формы. «Недавно я ощутил приступ совершенно необъяснимой угрозы, тревоги»,— сказал он мне однажды.

Может, эти приступы были связаны с ухудшившимся состоянием сердца? Или с тем, что он называл «современным состоянием», памятник которому символизирует драматическую напряженность, трагический излом, раздвоенность и метания?

3. АТМОСФЕРА

Семидесятые — середина восьмидесятых годов — мертвенный, мертвящий период нашей истории, вязкая, удушливая пора, исковеркавшая немало судеб, для культуры пагубная. Трагические катастрофы: революция, война — все-таки высвобождали какую-то духовную энергию. Тут царило именно чувство вязкости, как в дурном сне. Я не говорю сейчас об экономике или политике, только о состоянии духовном. Творческие силы вытеснены в щели, изгнаны, какая-то муть поднимается со дна, в умах разброд, все перемешано: националистические, почвеннические, технократические идеи, религиозные зады, имперские предрассудки, ценности массовой культуры и понятия общества потребления (при отсутствии потребления); накапливаются фальшь, гнильца, тоска, порча, жестокость, абсурд. «Идиотизм, переходящий в овацию»,— читаю я теперь в сидуровских записях 1974 года. «Страна движется НЕ ТУДОЮ». Но в то же время: «Идиотизм нашей жизни рождает произведения искусства, кстати, не только нашей»,— записывает Сидур 23.06.74 и несколько раз повторяет простейшую заповедь своей этики: «Сидя в дерьме, не будь дермом».

Вокруг этих тем неизменно крутились и наши с Димой беседы. И приходили всегда к тому же:

— Все равно надо работать.

4. ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ

Дима принял очень близко к сердцу написанную мной работу об Илье Габае; он наговорил мне много высоких слов и сказал между прочим:

— Это надо бы прочесть многим, и именно сейчас, в пору разброда.

Увы, в те времена публикация такой книги возможна была только за границей, у меня были причины от этого воздерживаться. А когда появится возможность ее напечатать, те же слова прозвучат, глядишь, иначе — сказанным вовремя, им другая цена.

Кому в наших условиях не приходилось упираться в эту проблему! Годами работать, не рассчитывая на зрителя и читателя,— кроме небольшого близкого круга, а значит, на общественный отклик, влияние или успех. С этим было связано чувство внутренней свободы, но оно давалось непросто, не исключало сомнений и даже отчаяния, требовало постоянной корректировки самоощущения (с проблемами материального существования каждый справлялся как мог). Дружеские разговоры в этом смысле бывали немалой поддержкой.

— Ты работай безнадежно,— не раз повторял Сидур.— То есть не думая о возможности напечататься ни здесь, ни «там», потому что «там» это тоже не просто. Тогда будет настоящее.

Что он имел в виду? Прежде всего, что и «там», то есть на Западе, творческая свобода отнюдь не обеспечивается сама собой — на художника давят, например, требования и вкусы рынка, мода, в том числе политическая, соблазняя или заставляя приспосабливаться.

Как-то он показал мне серию новых акварелей «Девушки»: розово-зеленые, нежные, обнаженные.

— Вот в чем я свободен,— сказал он, когда я отметил неожиданную для него новую манеру.— И западные люди мне в этом завидуют. Мне надоело заниматься скульптурой — я стал для души делать акварели. И не думаю, как к этому кто-то отнесется, того ли требует от меня репутация, рынок. Они так не могут, им надо подтверждать свою репутацию, чтобы покупали.

«Я уверен,— записывает он 13.09.74,— что любой заказ, не только социальный, а просто денежный, всегда губителен для художника и писателя. Только для себя, тогда получится для других».

Не бог весть какая новая мысль, что говорить; сразу вспоминаются оговорки: что многие величайшие творения создавались именно по заказу (и разве у самого Сидура нет превосходных заказных работ?), что такие принципы проще провозглашать, чем следовать им реально. Противоречия подстерегают на каждом шагу. Абсолютная свобода, услышал я от одного философа, предполагает абсолютное неучастие в делах мира. Но живой человек, художник в том числе, живет не в абсолютном пространстве, он вступает в повседневные и духовные отношения с другими, что-то дает и что-то получает, нуждается не только во внутренней, но и во внешней опоре существования, в отклике, который отнюдь не сводится к успеху, а является элементом обратной связи, необходимой искусству, как нормальное кровообращение.

Когда-то можно было сформулировать эту проблематику вопросом: что мы значим перед людьми и что перед Господом? У наших библейских предков все совпадало: обласканный Богом был благословен перед людьми — причем при жизни. И даже многострадальный Иов, привлекший специфическое внимание сил, споривших за его душу, был к финалу вознагражден за свою стойкость: стадами, долголетием, новыми детьми взамен погибших. Позднейшее христианство внесло поправку, перенеся все вознаграждение на небеса, а светская мысль вместо рая предложила посмертную людскую память — суррогат бессмертия.

Наше время отчасти ужесточило условия, отчасти внесло в них какую-то зловещую изощренность: чтобы говорить с современниками и даже чтобы получить шанс остаться в чьей-то памяти, так называемому творцу духовных ценностей надо зачастую поступаться столь многим, что сами эти ценности становятся уже сомнительными.

Выбор дан был далеко не всегда, и давался он не просто, но без потерь в любом случае не обходилось. Помню, как сокрушался Сидур, прочитав в заграничном издании возвратившийся к нам, казалось, из небытия роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»: «Если б эта книга увидела свет в свое время, вся история нашей литературы выглядела бы иначе». Конечно, произведение, выдержавшее испытание временем, тем весомее подтверждало свою цену, но мы-то, прожившие десятилетия без него,— разве не оказались беднее? Не говорю уже о человеческой трагедии автора, умершего без уверенности, что созданное им не только увидит когда-нибудь свет и будет воспринято, но вообще сохранится.

Все так, и по словам самого же Сидура видно, что он понимал это не хуже других. Нежелание ориентировать свою работу на публикацию или заказ было для него равноценно нежеланию внутренне ориентироваться на чьи бы то ни было художественный вкус, моду или политические представления. Это, видимо, определяло и его отношение к Самиздату как к явлению скорей текущей общественной жизни, чем искусства, у которого, как выразился поэт, «в запасе вечность». «Мне кажется, что Самиздат почти ничего не дал литературе с точки зрения высот искусства...— записано у Сидура 25.06.74.— Четко различаю писание в стол и Самиздат».

Нет смысла обсуждать здесь справедливость такой оценки. При нормальных условиях самой проблемы, как и противопоставления, не могло бы возникнуть. Наш выбор был вынужден искаженными обстоятельствами жизни, и мы склонны бывали нужду возводить в добродетель. Речь не о правоте, а о выборе, который при одних и тех же обстоятельствах оказывается у людей разным. Ибо сами по себе обстоятельства еще не определяют судьбы, во многом она есть производное от нашей внутренней сути. Речь о человеческих особенностях Сидура, который по природе своей склонен был как бы уклоняться от всего внешнего — в том числе и успеха.

«Некоторых художников... вдохновляют зрители,— записывает он разговор с женой (речь шла о нежелании участвовать в какой-то выставке).— Они могут даже из творческого акта устроить зрелище. Это их стимулирует и подогревает... Я же могу работать только скрытно... Даже в так называемых человеческих условиях мне было бы стыдно конкурировать и бороться за место под солнцем... Скорее всего поэтому я люблю показывать в Подвале. И тогда, когда зритель не мой, зритель на другой волне воспоминаний, мои вещи сразу увядают, как девушки на балу, которых не приглашают молодые люди.

— Хороши девушки — железные Пророки с огромными железными фаллосами... Ты хотел бы персональную выставку?

— Не знаю... Скорее всего я хотел бы быть рантье... и спокойно работать для себя, не думая ни о чем».

Я переписываю эти строки осенью 1987 года, когда персональную, пусть пока и небольшую выставку Сидура посетили уже тысячи людей разного возраста, разных культурных слоев; приезжают из разных городов, приходят с детьми. Люди, далекие от искусства, возвращаются сюда по пять и по шесть раз, подолгу всматриваются в работы, без всяких объяснений понимают и принимают близко к сердцу юмор «Праздника» или «Драки», нежность акварелей, но главное — боль, жалость, доброту, сочувствие к страдающим, искалеченным, погибшим. В этом неожиданном, поистине народном восприятии сам художник с его трудной судьбой обретает черты подвижника и страстотерпца; книга отзывов полна взволнованных, благодарных, высоких слов; вокруг его имени складывается нечто вроде посмертного мифа. Бесконечно грустно, что Сидур до этого не дожил.

Помню, как уже к концу жизни он без особой охоты отдал несколько своих работ для выставки на Малой Грузинской, в горком графиков — но то были «коллективные мероприятия», их он вообще недолюбливал. Персональным выставкам, которые с некоторого времени стали устраиваться в ФРГ, он радовался, с нетерпением ждал каталогов, ловил отзывы в прессе и по радио. Как-то при мне он больше часа пытался сквозь глушение записать на пленку передачу о себе «Голоса Америки». «Вот, записать, и можно поставить пленку в архив,— сказал он немного смущенно.— Конечно, все это суета, но в наше время, когда остаются только фотографии...» Он не договорил, но было в его словах как бы признание слабости. «Суета сует увлекает нас в нетворчество»,— записывает он 15.10.74, когда вот так же ловил известия об установке в Касселе «Памятника жертвам насилия». И несколькими днями позже, 20.10.74: «Не о славе своей суечусь, слух напрягая, из эфира услышать жажду о „Памятнике погибшим от насилия“,— только помянуть погибших стремлюсь,— сказал ИОВ Господу.— Не лукавь,— сказал Господь».

Уже при жизни его работы стояли в нескольких городах ФРГ. «Я человек сделанный»,— выразился он однажды. Это означало, что имя его уже утвердилось, остальные заботы второстепенны. Когда получено было известие о решении установить в Западном Берлине «Треблинку», он сказал мне: «Больше мне и не надо. Я всегда мечтал поставить именно две вещи: „Памятник жертвам насилия“ и „Треблинку“. Да еще стоит „Женщина и сталь“, и Эйнштейн в Америке. И ведь что интересно: я ничего для этого не предпринимал, сижу тихо, никуда не рвусь, ни на выставки, ни за границу».

Заграница была ипостасью все той же темы. Несколько раз он получал официальные приглашения в ФРГ, страну, где его больше всего знали и ценили. Начальство из Союза художников и Министерства культуры предлагало взамен другие кандидатуры; в ходе переговоров приходили к компромиссу: вдобавок к Сидуру немцы соглашались принять еще девять функционеров; кончалось тем, что эти девять ехали, а Сидур оставался в Москве. Он рассказывал об этом с юмором: заграница в наших условиях была приманкой, подачкой, наградой за услуги подчас специфического свойства — способом закабаления. «Я свободный человек уже потому, что не рвусь за границу»,— повторял Сидур.

— В ФРГ мне было бы, конечно, интересно,— добавил он однажды.— Посмотрел бы, как там стоят мои работы.

— Там и помимо твоих работ кое-что есть,— не без юмора заметил участвовавший в разговоре немец, и Дима засмеялся, как бы признавая, что малость перегнул.

Одно приглашение, от имени посла, помню, вызвало у него даже тревогу: только что в ФРГ вышел его каталог, и Дима опасался, не послужит ли это

началом кампании против него; он предпочел бы не привлекать к себе внимания.

— Не хочется,— сказал он,— чтобы меня поперли.[1]

В то время модной темой становилась эмиграция, добровольная или не очень. Многие удивлялись, почему при таком успехе он не уезжает.

— Но, во-первых, мне, честно говоря, плевать на этот успех,— говорил Сидур.— А во-вторых, я думаю: ну, уехал, ну, получил бы миллион, ну и что? Лучше бы мне было, чем сейчас?.. Для других хорошая жизнь — автомобиль и все такое прочее. А мне это не нужно. Я вот, например, люблю Москву, хотя многим она кажется уродливым городом. Здесь прошла вся моя послевоенная жизнь. Люблю Алабино, с нетерпением жду возможности уехать туда.

Он не строил иллюзий относительно жизни на Западе, а главное, сознавал, что счастье вовсе не так уж зависит от материальных условий. Среди его многочисленных западных знакомых счастливых людей было ничуть не больше, чем среди знакомых московских, и ничуть не меньше несчастных. Более того, многие говорили, что нашли у нас что-то, чего лишены были дома,— и плакали, уезжая.

— Ко мне тут ходили из американского телевидения,— рассказал как-то Дима,— хотели снять обо мне фильм. Не пошло. Их не устроило то, что я говорил. Они стали спрашивать меня о свободе, я сказал, что тут, в Подвале, среди своих работ чувствую себя совершенно свободным и нигде свободней бы себя не чувствовал. Они явно ждали от меня другого. Рассказали, видно, о беседе со мной начальству. Им ведь тоже требуется утверждение, потому что это вещь довольно дорогостоящая: освещение, аппаратура. И видно, не пошло. Ну что ж, останутся американские телезрители без лицезрения моей физиономии. Не буду же я приспосабливаться к ним, говорить, чтобы им понравиться...

Разговор происходил во время прогулки по заснеженным переулкам бывших Хамовников.

— Что такое счастье? — сказал Дима.— Вот я прогулялся с тобой по улицам, никому не сделал зла — и мне хорошо.

5. РАБОТА

Как-то я упомянул, что вынужден был сделать в работе перерыв из-за нездоровья и испытываю по этому поводу терзания совести. Дима засмеялся:

— У нас одинаковые проблемы. Когда я занимаюсь рисунком (потому что на скульптуру сил не хватает), мне кажется, что я облегчаю себе жизнь, увиливаю от работы.

В другой раз он пересказал мне интервью знаменитого хирурга Илизарова, который признавался, что много лет не ходил в кино, в театр, отдыхать не умеет. Как-то получил путевку в санаторий, но через шесть дней сбежал. «Когда я работаю, я живу, на остальное нет времени,— таков был смысл его слов.— Говорят, есть хорошая книга „Мастер и Маргарита". Я начал читать, но дальше пяти страниц не продвинулся — некогда». Диме это было знакомо и близко. Он, конечно, и читал, и музыку слушал, и в кино ходил, и на театральные премьеры (друзья из театрального мира не обделяли вниманием), и на приемах у иностранцев с некоторых пор стал бывать, сам принимал гостей беспрестанно, может, даже больше, чем хотелось бы,— но от всего этого, как к главному, рвался к работе. Услышав по радио, что для китайского сознания непонятно, что такое отпуск и отдых, он записывает в своем «Мифе»: «Я — китаец!»

Вечное нездоровье не умеряло этого порыва к работе, наоборот. «Вынужден работать сверх меры, потому что чувствую себя отвратительно,— читаю я у него,— сил нет, а успеть надо!» (27.02.74).

Не будем забывать, что работа скульптора, помимо всего,— тяжкий физический труд, надо ворочать и обрабатывать камень, металл, гипс, глину. Глядя на многотонные массы, загромождающие Подвал, попробуем представить себе, как все это в буквальном смысле проходило — и не один раз — через руки серьезно больного человека! Но, прежде всего, надо говорить о повседневном творческом напряжении, об интенсивности духовной жизни, которая подчиняет все помыслы и требует неустанной энергии. На какой-

[1] По этому поводу стоит процитировать примечательную запись из «Мифа», характеризующую общественное самоощущение Сидура, по крайней мере, еще в 1974 году — со временем оно, как у всех, менялось: «Я, бывший комсомолец, еще не исключенный коммунист, вкалывавший в колхозе, работавший сутками на заводе, сраженный фашистской пулей на земле Украины, обильно поливший своим потом и кровью советскую землю, я — участвовавший в восстановлении, я — строитель, я — веривший в вождя и вождю, а потом речам... на XX съезде, я утверждаю, что я и есть тот, кто имеет право спокойно жить и трудиться на своей земле» (18.05.74.). В каком-то смысле он был человек более советский, чем враждебные ему чиновники,— даже удивительно, как долго сохранялись в нем многие представления, впитанные с детства и юности. «Во рту слов разлагаются трупики,— пишет он 27.04.74, прослушав по радио передачу с комсомольского съезда.— И несмотря на это, я плакал... Я плакал на похоронах идеи, я плакал, потому что мне уже 50, что умерли мама и папа, что навсегда кончилась гармония, существовавшая между мной и государством».

то стадии таким пожизненным трудом достигается видимая легкость, система как бы готовых знаков или, скажем, наработанная линия. Мне приходилось видеть, как Сидур делал дивные свои рисунки тушью,— как-то при мне он за час нарисовал три оригинальные композиции, почти не прерывая разговора. Такие рисунки он мог дарить или продавать. В другой раз он так же за разговором со мной начал и завершил акварель — конечно, уже в уме существовавшую, заранее решенную. Для него самого это как бы заполняло промежутки между другой, настоящей работой, которая делалась в сосредоточенном уединении, в трудных поисках, не по заказу и не для заработка... А для чего?

«Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет? В мастерскую гонит? Отдыхать не дает? Скульптуру делать, рисовать, МИФ писать? В житейском смысле могилу себе копать?» — спрашивает себя Сидур.

Эта сила определяла не только собственную его жизнь, но во многом и отношения с близкими. «Меня ужасно злит,— записывает он,— когда окружающие меня люди... простужаются, ночью читают или играют в карты. В этих случаях днем у них меньше сил для *дела*» (02.09.74). Имелась в виду, прежде всего, жена — многолетний, главный, а то и единственный помощник в многотрудной работе. Но Сидур с необычайной энергией и настойчивостью старался привлечь себе в помощь также друзей, знакомых. И если уж кто соглашался — должен был вкалывать: маэстро не давал поблажки, подгонял, настаивал, сердился, требовал, не считаясь с обидами, проявлял неожиданную властность: дело было важней всего. Он, думаю, не был легким в общежитии человеком.

6. ОДИНОЧЕСТВО

Я уже упоминал о нелюбви Сидура к «коллективным мероприятиям» — будь то литературный альманах или групповые выставки художников; то же относилось ко всяким объединениям, направлениям и тому подобное.

— Художник должен быть одинок,— сказал он мне как-то.

Странно теперь вспоминать, что начинал он именно в коллективе — в соавторстве со скульпторами В. Лемпортом и Н. Силисом. Это был теснейший творческий союз, они даже работу каждого подписывали общей подписью. Просуществован несколько лет, союз распался в 1962 году.

Мне лично был понятней распад этого соавторства, чем его существование. (Может, был здесь отзвук каких-то коллективистских мечтаний времен нашей юности?) Для меня творчество — акт всегда глубоко индивидуальный. Если не говорить о коллективных по природе видах искусства, вроде театра и кино, соединение для постоянной работы трех разных личностей, характеров, темпераментов казалось мне чем-то противоестественным.

Как-то мы заговорили об этом с Сидуром.

— Сейчас мне и самому так кажется,— сказал он.— Но тогда я переживал разрыв трагично.

Насколько я мог судить, он не слишком интересовался работами своих московских коллег. При отсутствии нормальной художественной жизни, когда держаться приходилось почти исключительно внутренним напряжением, самоконтролем, самооценкой, в этом отгораживании, даже отталкивании мне видится способ четче очертить круг *своего* — и в искусстве, и в жизни.

В разговорах и интервью Сидур не раз и подчеркнуто повторял, что свой художественный стиль, пластический язык сформировал и развил сам, без влияния мастеров современной скульптуры, которых до позднего возраста практически не знал по причине нашей долгой оторванности от мира. Какие впечатления могли на него повлиять? Он видел скифских идолов перед музеем в родном Днепропетровске, он изучал древнеегипетское, ассиро-вавилонское искусство, греческую архаику по слепкам в Музее изобразительных искусств, он мог видеть там же (тогда еще в запасниках) Майоля, Бурделя, Родена — было у кого учиться. «К стыду своему должен признаться,— говорил он в одном интервью,— что в те времена я даже не знал, что существуют такие скульпторы, как Мур, Липшиц, Джакометти, Цадкин... До какой-то степени получилось по пословице: „Не было бы счастья, так несчастье помогло". Возможно, именно отсутствие информации заставило меня совершить многие формальные открытия в искусстве, которые таким образом стали моими кровными». Когда впоследствии, продолжал Сидур, стали доходить какие-то альбомы, книги, каталоги, он чувствовал себя уже сложившимся художником. «Ничто не потрясло основ и не изменило главного. Я все больше и больше убеждался, что истоки, из которых мы произрастаем, и у меня, и у моих старших великих современников — Мура, Липшица и других — одни и те же».

Это скорей всего верно, если говорить конкретно лишь о скульптуре и об отдельных ее мастерах; но какие-то косвенные или неосознанные влияния, думаю, прорывались все-таки через живопись, другие виды искусств, открывая общие черты художественного языка XX века. Многое стало доходить до нас уже со второй

половины 50-х годов, пусть спонтанно, не систематически; достаточно вспомнить сенсационную выставку Пикассо 1956 года; как раз на этом рубеже стиль Сидура начал обретать свои позднейшие черты (что хорошо можно проследить по «картотеке» его Бохумского каталога). Но при всем том определяющей в формировании его как художника, без сомнения, была именно особенность нашей исторической судьбы, которую приходилось интенсивно осмысливать, причем искусство (включая литературу) оказывалось едва ли не единственной возможностью для такого осмысления. (Разумеется, то искусство и та литература, за которые чаще всего не платили денег, которые не уходили дальше мастерской или письменного стола.) Это порождало порой поистине своеобразнейшие явления, подтверждая вновь и вновь, что интенсивность и глубина духовной жизни связаны с внешними условиями отнюдь не прямо и не однозначно. В самом деле, наверное, только у нас могли сложиться такие, ни на кого не похожие гении, как Платонов или Филонов, независимо от европейских влияний, что называется, своим умом доходившие до удивительных открытий.

Здесь уместно заметить, что Сидур, пожалуй, не был связан ни с какой отдельно национальной традицией и ни с какой национальной идеологией. В этом отношении он был также далек от поветрий, ставших у нас особенно модными в самые последние десятилетия.

Язык его искусства, язык пластики, живописи и рисунка был по природе своей общечеловеческим, понятным без перевода в любой стране. Сложилось так, что раньше и лучше всех узнали и оценили его творчество в ФРГ; думаю, тут сыграли роль не только обстоятельства, более или менее случайные, но и известная общность исторических судеб двух народов, обусловленная трагическими потрясениями нашего века, схожим опытом тоталитарной диктатуры и войны.

Особенности внешних условий нашей жизни парадоксальным образом сказывались не только на круге тем, но и на художественном языке, порождая даже формальные находки и открытия. Может быть, что-то определилось даже простым недостатком в средствах. Традиционные для скульптуры материалы — камень и металлическое литье — не всегда оказывались по карману, приходилось использовать все, что попадалось под руку. Иногда это были известняковые блоки, оставшиеся после перестройки церковной ограды неподалеку от мастерской — их форма подсказала решение нескольких скульптур; но все чаще это оказывались канализационные трубы, оставшиеся после ремонта, разнообразные предметы со свалок металлолома, утюги, мятые ведра, гвозди, проволока — что угодно. Совпадения с художественными находками поп-арта были в значительной мере внешние — материал, как будто вынужденный, оказывался внутренне органичным для проблематики, которую разрабатывал Сидур. Впрочем, по поводу тех же канализационных труб и сочленений, которые определили пластическое решение «Железных пророков», он однажды сказал в интервью: «Если бы их не было, я заказал бы специальную их отливку». Как бы там ни было, решение и здесь вспыхнуло на пересечении внутреннего развития и внешних, навязанных судьбой обстоятельств.

По словам Сидура, «Железные пророки», наряду с «Гробами», особенно удивляли попадавших в мастерскую иностранцев: у нас, говорили они, художники исхищряются в поисках какой-нибудь новизны, не знают, как бы поразить или шокировать публику, а у вас это получается как бы нечаянно, само собой.

То-то и оно, видно, дело не решается формальными выдумками — попробуй имитировать опыт, питаемый непростой нашей жизнью, нашими тревогами и размышлениями — это так же невозможно, как невозможно имитировать духовный мир человека, связанный с этим опытом.

Осенью 1983 года Дима привез из деревни Алабино, где любил жить летом, несколько лопат, подобранных на местной свалке; надетые на них шляпы, кепки и прочие головные уборы вдруг удивительным образом превратили эти лопаты в скульптурные портреты «Люди из толпы». Однако поразительней всего было, как это стандартные, безликие, любому доступные железки обретали, одухотворяясь, черты неповторимой, именно сидуровской пластики. Одна из них стала его автопортретом — очень похожим.

В искусстве, как и в жизни, существенно лишь то, что пропущено сквозь душу, что стало душевным событием. За внешними впечатлениями Сидуру не нужно было ездить за границу, творческих подсказок и стимулов не приходилось искать ни в дальних путешествиях, ни в чужих работах, ни даже в книгах. В последние годы жизни он читал меньше обычного. Единственным временем для чтения, сказал он мне как-то, бывали двадцать минут перед сном, после приема снотворного, пока оно не начало действовать. Я заметил, что мне чтение необходимо,— оно, не говоря о всем прочем, дает импульсы для литературной работы.

— А у меня импульсы все время передо мной,— ответил Дима.— Я даже альбомы по живописи не смотрю. Была выставка Пикассо — я не пошел, про него и уже все знаю. Даже пересматривать свои старые папки с идеями — слишком большой труд. Иногда оказывается, что я в своей новой работе повторил идею, которую давно нашел... Не в этом дело. Есть жизнь вокруг. Смотри, думай, вникай.

Прогуливаясь по хамовническим переулкам, мы встретили беременную женщину.

— Я все никак не использую тему, которую она дает,— сказал Дима.— Видишь, у нее расстегнута на животе шубка, и из-под этой наружной формы выпирает другая. Очень красиво.

7. МИР

«Мир моего Подвала так разросся, что поглощает меня целиком»,— сказал Сидур в одном интервью.

Чувство особого, мощного, ни на что не похожего мира сразу охватывает попадающего в мастерскую Сидура, а ведь далеко не каждого художника можно назвать создателем своего, не бывалого доселе мира. Так мы говорим: мир Шагала, мир Генри Мура. (Пикассо сотворил галактику миров.) Это понятие включает в себя манеру и круг тем, систему образов, пластических знаков и символов, но не сводится ни к чему в частности и не исчерпывается лишь визуальным впечатлением. Подразумевается всегда нечто цельное, единое и взаимосвязанное.

— Все составляет целое: и моя мастерская, и «Миф», и стихи, которые я пишу, и кино, которое снял,— так перечислил однажды Сидур в разговоре со мной элементы этого мира.

Создаваемое художником — в каком-то смысле проекция, материализация его внутренней сути. Кажется, Швиттерс заявил — вызвав благородное возмущение многих,— что даже плевок художника — произведение искусства. Между тем в этой эпатирующей формуле есть своя образная правда: сущность художника может проявиться во всяком его действии. При одном небольшом условии: если это действительно художник. Надо сначала им стать, надо пожизненно его в себе вырабатывать, не изменяя этому главному в себе. И если твой «плевок» оказывается не очень похож на произведение искусства — значит, ты не художник. Перестал им быть или никогда не был.

В «Мифе» мне встретилось замечание Сидура о деятелях искусства, которые приняли участие в травле своих коллег, надеясь такой ценой купить себе лучшие условия для жизни и творчества. (Дима называл их «подписанцы со знаком минус», в отличие от «подписанцев»-диссидентов.) «Счастье в том, что искусство обмануть нельзя. Подписанцы со знаком минус и другие хитрецы не знают или забывают, что их рукой тут же начинает водить дьявол... И исправить ничего нельзя» (25.08.74).

За этими словами чувствуется убежденность в неразделимости жизни и творчества: мир художника ограничен и целен. Более того, он не во всем подвластен художнику и, будучи создаваем им, в каком-то смысле включает его самого. Недаром автор то и дело начинает ощущать как бы независимость собственных творений от своей воли.

Одно из простейших, умопостигаемых проявлений такой независимости — способность художественной идеи, художественной формы к саморазвитию, когда последующее решение рождается не столько новым усилием автора, сколько предшествующей идеей или формой. Так разветвляются, множась, вариации возникшей однажды темы, порождая в этом процессе дальнейшие решения и новые темы, так появляются циклы, которые занимают у Сидура столь важное место.

Здесь нет речи о произволе и нарочитости, все совершается как бы само собой, по своим законам, ты даже не всегда можешь объяснить происхождения иных вещей — что говорить о посторонних!

В каком отношении к своим созданиям находится вот этот, как будто знакомый нам человек? — мягкий, очень добрый, обычно спокойный внешне. Вот он пьет чай с гостями, рассуждает об искусстве или политике, смеется, спрашивает о детях или семье. Ты что-то знаешь о его здоровье, пристрастиях, вкусах, житейских чертах, ты видел его снявшим зубной протез и сразу постаревшим на десяток лет, ты можешь представить его дома, с женой или сыном, ты можешь знать еще что угодно — но попробуй понять, как и почему возникают, выявляются в его руках эти сооружения из искореженного, исковерканного металла, наполняющие мастерскую словно обломки неведомой катастрофы? Откуда, из каких снов приходят к нему эти видения, эти мучительно восстающие фаллосы, эти оскаленные зубы, вопящие рты, четырехпалые руки и выпученные глаза, эти обрубки и кабельные сплетения, перерезанные, точно горло? И как совмещаются с ними нежные линии других его скульптур и рисунков, прекрасные женщины и умиротворенные старцы? Но может ли он это сказать сам? Биография, обстоятельства жизни, воспоминания детства и юности, военные, госпитальные, любовные, какие угодно впечатления способны объяснить далеко не все — что-то вырастает, рождается из недоступных нам глубин существа — или из глубин мироздания,— что-то не поддающееся рациональному объяснению, вновь и вновь озадачивающее самого создателя.

«Чувство отстраненности от всего, что я сделал,— записывает Сидур.— Даже некоторое удивление. Неужели все это сделал я?.. Почему я? Неужели я?»

Наверное, всякому художнику знаком этот момент удивления: откуда это взялось во мне? Ведь это больше меня — как я оказался на это способен? У людей былых эпох это чувство вызывало представление о силах, для которых художник — лишь инструмент, средство выявления; художественный мир создается не столько им, сколько его посредством.

«Иногда,— пишет Сидур,— я чувствую себя не причастным к этому миру скульптур, который возник как бы сам собой, из ничего и не имеет ко мне почти никакого отношения».

Нет, недаром так часто навещает автора чувство, будто творения его обретают способность к самостоятельному существованию, начинают жить неуправляемой, пугающей жизнью. В сценарных набросках к своему киномифу Сидур записывает кошмарную сцену бунта «Железных пророков»: лязгают зубы ртов-утюгов, шевелятся, тянутся металлические руки, вздымаются жуткие фаллосы. И о том же в стихах:

На полу железные джунгли
Разрастаются мои порожденья...
Карабкаются по кресту
Стальные твари
Скоро меня достигнут...

8. ЭРОТИКА

Где-то там, в глубинах и безднах подсознания, в области томительных снов и мучительных кошмаров зарождались и эротические образы Сидура, восхищающие и пугающие удивительной, неожиданной своей пластикой нежные красавицы рисунков и акварелей, нагие старцы с лицами, похожими на древесные листы, изборожденные прожилками-морщинами.

Слабеет тело
Меркнет разум
Голова понять не может
Неугасимости вожделения
Что с детства меня томило.

Но много ли дано понять нам в темной этой сфере, несмотря на все усилия высветить ее, особенно в нашем веке? Стихи Сидура, его автобиографические заметки помогают понять происхождение некоторых мотивов, сюжетов и образов. Мы узнаем в повторяющихся женских фигурах «Данаю, Ио и Леду» его лирики, «цветок в маленьком пенисе юного Онана» — мотив детского воспоминания, девочек, которые «качаются на качелях, переплетаясь всеми своими членами» — томление неизбывной нежности. Перед нами человек бесконечно нежный, постоянно влюбленный.

У Сидура есть работы поистине классического совершенства, есть удивительные решения, развивающие традиционные для изобразительного искусства темы — и темы неожиданные, способные в первый миг ошарашить своей новизной. В замечательном скульптурном цикле «Женское начало» такой темой становится у него пластика не только внешних форм, но и внутренних органов («Я как будто ощупываю прекрасную скульптуру»,— раскрывает он в записи происхождение одного из таких мотивов, напоминая об особом отношении скульптуры — как и эротики! — к осязанию). И, пожалуй, ни у кого не находила такого пластического решения и не обретала такой самостоятельности мужская, фаллическая тема.

Рожденные однажды, эти образы, как и все другие,— если не в еще большей степени,— обретали самостоятельность, способность к трансформации, порой пугающей. Так произошло, например, в графических сериях «Мутации», «Олимпийские игры», «Идеологическая борьба», где в сексуальной символике нашла отражение тема насилия, жестокости, тупой, безголовой, бесчеловеческой агрессивности, грозящего человечеству вырождения, гибели, апокалиптических ужасов...

Не буду, впрочем, теоретизировать на темы этих рисунков; для таких рассуждений мне нужно несколько от них абстрагироваться; непосредственная реакция при взгляде на них — невольное отталкивание. Здесь следует, наверное, сделать общее отступление. В современном искусстве (как и в литературе) есть явления, по природе не рассчитанные на непосредственное восприятие, к которому традиционно апеллировал художник. Классик своим описанием пейзажа стремился вызвать у нас эмоциональное сопереживание; описав вкусное блюдо, он был бы доволен, узнав, что у нас при чтении потекли слюнки. Нынешний автор, впечатляюще живописуя нечистоты или неаппетитные физиологические отправления, вряд ли ставит целью вызвать у нас физиологическую же тошноту — цель его, скорей, интеллектуальная (включая интеллектуальный шок). Здесь, если хотите, система образных знаков, ее всегда готовы разъяснить теоретики, которых желательно прочесть до непосредственного знакомства с произведением, чтобы не придавать слишком большого значения неподготовленному своему чувству. В самом деле, это «непосредственное» чувство не всегда годится в советчики, ведь оно (как и пресловутый «здравый смысл») склонно совсем уж невежественно требовать, например, «похожести», объяснимости, морали и тому подобное.

Оговорив все это, признаюсь, что не могу себя отнести к безусловным поклонникам названных серий; отвлечься от непосредственного чувства отталкивания не удается — потому ли, что слишком сильно действует на меня этот художник, или потому, что задуманное здесь претерпело нечто вроде мутаций, выйдя из авторской воли? Сам же замысел кажется мне понятным и благородным — я не могу принять морализаторских упреков, которых Сидуру приходилось выслушать немало.

Морализаторством, кстати, не ограничивалось. Как-то в «Бильд-цайтунг» я прочел сообщение о скандале на одной из немецких выставок Сидура: некая дама-феминистка разбила скульптуру «Фаллос», оскорбленная в лучших чувствах этим символом «мужского господства»... Но это крайность уже анекдотическая. Моральные претензии к Сидуру предъявлял то издатель журнала, где охотно печатались фотографии голых красоток, то советский эмигрант-интеллектуал, в свое время упомянутый с Димой в одном фельетоне. «Мне как русскому и как еврею стыдно, что мы вносим вклад в дело разложения Запада»,— примерно в таких словах выразил он свое отношение к присланному ему в подарок альбому Сидура (который с негодованием возвратил).

— Он говорит, как наш министр культуры,— усмехнулся Дима, передавая мне этот отзыв...— Они выступают там в странной роли защитников Запада от разложения. Это книга не для детей, а взрослые сами поймут, что все это означает.

Он не без вызова настаивал, что ни от «Мутаций», ни от «Идеологической борьбы» не отказывается — на каком-то этапе они имели для него принципиальный смысл. Но года четыре спустя в разговоре со мной как-то обмолвился: «Если бы я сейчас заново отбирал свой альбом, я, может, не стал бы включать туда „Мутации“ или „Идеологическую борьбу“. Тогда мне казалось, что это нужно, а теперь я бы подумал...»

Эротика у Сидура, как, пожалуй, мало у кого другого, напоминает, до какой степени в этой сфере переплетено прекрасное и жалкое, влекущее и гибельное, возвышающее и унижающее, нежность и наслаждение, восторг и страх, торжество и жестокость, счастье и боль, любовь и насилие... В «Мифе» он записывает рассказ о человеке, «у которого ЭТО произошло в момент смерти. Так мертвеца и вынесли из палаты». Не его ли видим мы в одном из сидуровских «Гробов»? «Это не сумасшествие,— подтверждает он нашу догадку,— это попытка найти способ изображения гроб-мира».

9. «ПРАВДА БЕЗОБРАЗНА И УЖАСНА»

«Правда безобразна и ужасна»,— сказал мне однажды Сидур. За этой фразой стояло многое: мироощущение, философия и эстетика.

Я вспоминал ее, когда Дима показывал мне модель неосуществленного памятника писателю Василию Гроссману. Об этом человеке он всегда говорил с особым почтением, книгу его «Жизнь и судьба» называл «великой»: «Это как библия нашей жизни». Они встречались однажды в 1960 году, когда Гроссман только что закончил свой роман, еще не подозревая его драматической судьбы. «Не могу объяснить, почему он произвел на меня впечатление очень значительного человека, самого значительного из всех, кого я видел. А я видел и Солженицына, и Неруду, и Бёлля... да кого только не видел. И при этом он был самый ненапыщенный из знаменитых людей... Мы провели в раговорах целый день...

Так вот, о памятнике. На одной его стороне был барельеф: девочка закрывает руками глаза взрослому. Оказывается, был у Гроссмана такой сюжет: во время расстрела девочка закрыла рукой глаза своему старому учителю: не смотри, это очень страшно.

Поистине впечатляющий образ — один из символов нашего времени; для Сидура он заключал в себе нечто глубоко существенное.

Трудно, не отворачиваясь, взирать на все страдания и ужасы, которыми столь богат оказался наш век,— как бы говорит нам этот образ.— Порой действительно надо прикрыть глаза, иначе просто не выдержать. И все ли нам, в самом деле, надо видеть, всю ли правду — о мире, о людях, в конце концов о себе самих — обязательно знать, до всего ли надо доискиваться, докапываться, все ли покровы срывать? Человек не просто может — он имеет право чего-то не знать. Более того, он должен в своем поиске где-то остановиться, не доходить до бездн, ведь забота его — не просто истина, а счастье...

Сам Сидур говорил о разрушительном человеческом «любопытстве», которому просто необходимо бывает положить предел — например, в научных экспериментах и поисках, которые нередко оказываются антигуманными, потенциально губительными для самого рода человеческого: именно об этом буквально вопиют иные его скульптуры («После эксперимента») и рисунки («Мутации» и др.). И не только в науке. Может, стремление к познанию, ничем не ограниченному, к проникновению за всякий предел — в каком-то смысле соблазн, не сулящий удовлетворения, ибо сама сущность человеческая — конечна, и нашей жизни, как и нашим устремлениям, не зря положен предел? Может, истина сама по себе — забота и цель одиночек, а для сообщества людей важней устойчивость, равновесие, создаваемое среди прочего системой запретов, умолчаний (разве не на них строится вся культура?), а то и необходи-

мой — да, да, необходимой — лжи? Ведь прикрываем же мы наготу одеждой — и разве в наготе больше истины? разве и кожа не прикрывает чего-то: внутренностей, костей, жалкой, смертной, безобразной плоти, обреченной на тление? И если какие-то свои отправления мы совершаем уединенно, скрывая их от людей,— не означает же это лицемерия и желания утаить правду.

Вопросы отнюдь не риторические. В своем «Мифе», в сценарных заметках к одноименному фильму, в самом фильме Сидур с неслучайным упорством и последовательностью фиксирует не самые лестные для себя моменты. Он ловит себя на жестокой мысли по отношению к ребенку, который мешает ему спать,— всего лишь мысли, какие знакомы каждому и вряд ли характеризуют нас более справедливо, чем наши дела,— но и она записывается в счет. Он подробно описывает и демонстрирует с экрана процесс изъятия зубных протезов — его лицо, исполненное своеобразной красоты, при этом резко меняется,— но больше ли в нем правды, чем до сих пор? Он показывает себя в позах самых не эстетичных, посвящает строки стихов физиологическим отправлениям, о которых мы обычно не говорим,— потому ли, что избегаем правды? Для него в этом, очевидно, есть смысл. Какой?

«Я буду рад, если успею дать свидетельские показания...— отвечает он в записи 24.09.74.— ...МИФ я расцениваю именно так, хотя эти показания будут, возможно, против меня».

«Истина страшна и безобразна»,— эту фразу Сидур, варьируя, повторял не один раз. Понятно стремление человека отгородиться от ужасов жизни, набросить на них покровы — но недаром искусство в нашем веке, как никогда прежде, училось эти покровы снимать. Для чего-то людям нужна и служба бесстрашных одиночек, которые ни от чего не отводят взгляда и не щадят себя в поиске. Может быть, для того, чтобы не успокаивалась человеческая душа, ибо такое успокоение грозит загниванием и угасанием самой жизни.

Сидур чувствовал себя художником, осуществляющим не в последнюю очередь эту нелегкую миссию. Он не отворачивается от ужасного, «неэстетичного». Он детально описывает бойню, на которой работал в начале войны, инвалидов в челюстно-лицевом госпитале, подробности пережитой им мучительной операции. Раненые, калеки, человеческие обрубки, страдающая плоть и страдающая душа становятся темами многих его работ — и оказываются явлениями искусства. Искусство не знает безобразного в том смысле, в каком, по выражению Пастернака, «состав земли не знает грязи». Но это отнюдь не эстетизация безобразия, во взгляде Сидура на мир нет изощренности холодного наблюдателя, отнюдь! — иначе ему была бы другая цена. Он страдает вместе со страдающими — как с мукой вглядывался в лицо умиравшей матери: «Седые волосы стояли дыбом. Глаза были круглые и полные ужаса...» В его ушах до сих пор ее крик: «Товарищи! Что вы делаете! Кончайте! Сколько это может продолжаться!»...

Тема предсмертных страданий занимает его всю жизнь, неотступно. Отвернуться он себе не позволяет — и не всегда это дано. «Не тешьте себя, что вам сделают укол,— говорил Иов» (18.03.74).

10. ТЕМА СМЕРТИ

Переломным в своем человеческом и художественном развитии сам Сидур называл 1961 год, когда ему случилось перенести инфаркт. Не впервые дохнуло на него холодком смерти, но теперь это отозвалось иначе, нежели в юности. «Результатом того, что я в 37 лет второй раз заглянул за пределы жизни, было четкое осознание... что третий раз может наступить каждую минуту и быть последним».

Это сознание отныне становится для него постоянным, окрашивая повседневную жизнь и определяя отношение к работе. «Каждый день чувствую, как смерть своей отвратительной лапой хватает меня за сердце». «Мне кажется, я наконец понял, в чем разница моего отношения к миру и отношения к миру В., Н., Э. и т. д.— записывает он 25.06.74.— Я ежеминутно, ежедневно, ежечасно готовлюсь к смерти... а они готовятся к длительной жизни».

Он не раз заявлял, что своим творчеством хочет напомнить людям о их смертности: забвение этого,— утверждал он,— первопричина зла на земле. Эта убежденность многое объясняет в творчестве Сидура, в частности, происхождение «Гробарта» — целой серии скульптур, собранных из разнообразных частей и помещенных в деревянные ящики-гробы. «Гробы стоящие, сидящие, лежащие,— перечисляет он их мыслимые разновидности, на колесах, летающие, гробики детские, гробы девичьи... гробы обнимающиеся, гробы целующиеся, гробы совокупляющиеся... гробы беременные гробами... гробы ненавидящие, завидующие... гробы поглощающие, гробы извергающие еду... гробы распинающие, пытающие, пытаемые...» Перечень бесконечен, как бесконечно разнообразие людей, от рождения несущих в себе смерть, но предпочитающих не вспоминать об этом; жить с этой мыслью повседневно, пожалуй, нельзя. В стремлении напомнить об этом есть что-то религиозное, оно вполне соответствует мироощущению художника, призывающего не отворачиваться от безобразного и ужасного — как и его взгляду на современность. «Воспеть величие эпохи, в которой убитые исчисляются миллионами, жизнерадостно и оптимистично, по силам только гробарту» (03.04.74).

Тема смерти, в разнообразных ее проявлениях, преследует его постоянно — Сидур словно сам хочет, чтобы она «стучала в его сердце» почти буквально: он долго хранит в платяном шкафу урны с прахом матери и отца, возвращается к ним то и дело мыслью, вспоминает угнетающее бездушие модернизированного похоронного ритуала: «„Родственники, подходите прощаться“,— приказала женщина в синем халате. В одной руке у женщины молоток, в другой гвозди». А время спустя воспроизводит почти ту же сцену, разрабатывая для своего киносценария эпизод похорон героя — своих собственных похорон: «Гроб. В гробу я... Гроб медленно опускается, темные шторки смыкаются над ним»... Как будто подсмотрел заранее — так оно все потом и было. Впрочем, особого провидения тут и не требовалось — ритуал остался стандартным.

Важно отметить другое: все то же, предельное бесстрашие мысли, обращенной к теме смерти,— в том числе (и прежде всего) своей собственной.

«Я не верю, что не все кончается земной жизнью. Я знаю, что умрут все и не воскреснет никто, и в этом вижу высшую демократичность истинно божественного начала».

Трагизм мироощущения не смягчен здесь никаким мнимым утешением, никаким псевдорелигиозным паллиативом. Тем больше цена реальной жизненной стойкости. «Может быть, самое трудное,— записывает Сидур 25.08.74,— ...зная бессмысленность существования, продолжать жить и работать. А если ты веришь в НЕГО, то гораздо легче. ОН думает за нас. ОН спасет. ОН наградит».

11. РЕЛИГИЯ

Один из персонажей Даниила Хармса назвал «неприличным и бестактным» вопрос: «Веруете ли вы в Бога?» Обоснование Хармса звучит юмористическим парадоксом, но затруднение, которое порой вызывает этот вопрос и у верующих, и у неверующих, заставляет ощутить в самой его постановке какую-то упрощенность, некорректность.

Сидур в одной из записей (18.03.74) называет себя «атеистом, верующим в Христа — сына человеческого». Говоря о «религиозном начале» в своем творчестве, он в интервью пояснял, что имеет в виду, прежде всего, христианские заповеди, «ибо до сих пор люди не смогли сформулировать ничего более человечного». Распятие, голова Спасителя в колючем венце, библейские образы — постоянные мотивы его графики, живописи и скульптуры.

Но что общего у этого «религиозного начала» с какой-либо церковной верой? В конкретном исповедании Сидуру видится уступка, слабость, упрощение, в конечном счете идолопоклонство. «Если верят в ТЕБЯ, зачем в церковь ходят? — записывает он воображаемый разговор с Богом.— Идолопоклонством занимаются... Сам идолам поклонялся,— тут же, впрочем, признается он.— Не только на церковь, на светофоры молился». Речь идет о переживаниях в пору предсмертной болезни матери — знакомые, наверно, каждому мгновения отчаяния и слабости, когда готов взывать к кому угодно, цепляясь за любую надежду, даже если не веришь в нее... Сидур упоминает об этом именно как о слабости. «Единственным человеком в моей жизни, у которого не было никаких шашней с богом, был мой отец. Самый честный, самый добрый, не противящийся злу насилием».

Можно у него встретить и запись другого рода. «А все-таки от веры и стало быть от церкви, или если хотите наоборот, от церкви и стало быть от веры, во всяком случае в нашей стране не уйти никуда!» (15.04.74).

Как это толковать? Что значит «не уйти»? Относил ли это Сидур к себе?.. Думаю, то, что он называл у себя «религиозным началом», имело все-таки мало общего с исповеданием слабых духом — тех, для кого вопросы кончаются там, где для души, трагически взыскующей, они лишь начинаются, тех, кто облегчает себе страх смерти надеждой на загробное продолжение и вместо выстраданных, пугающих, не всякому посильных истин предпочитают готовые, желательно утешительные. В этом противопоставлении нет оценки — людям, большинству их, такая вера действительно бывает нужна как повседневная опора и утешение.

Думаю, в случае Сидура следует говорить не о вере как исповедании, а об импульсе, который можно назвать религиозным, об отношении к бытию, которое предполагает изумленное благоговение перед непостижимой загадкой жизни, любви, разума, перед бесконечностью и вечностью, когда нас касается чувство, что мы не так уж сами распоряжаемся собой, что есть что-то больше нас — о мироощущении, предполагающем поиск, пусть безнадежный, но зачем-то кому-то нужный...

Сидуру были присущи элементы, я бы сказал, космического мироощущения. Как-то в разговоре зашла речь о разрушенных кладбищах — одна из болезненных тем нашей жизни. «Даже места вечного упокоения не вечны»,— сказал я. И Дима вдруг заговорил о преходящести человека в мире.

— Меня с детства смущала громадность Вселенной. Человек в ней такой маленький, ничтожный.

— Зато ум все способен вместить, вот тоже чудо,— сказал я.

— А может, и зря ему дан такой ум. Может, животные, кошки, собаки — счастливее.

И стал говорить, какая радость увидеть среди природы кошку или собаку, какая в них грация.

Ход мысли в этом разговоре (как он оказался записан) лишь по видимости прихотлив: его объединяет чувство единства мира во всех его проявлениях, чувство, родственное тому, что Альберт Швейцер называл «благоговением перед жизнью». Перед жизнью как таковой — не только человеческой.

«Я глубоко уверен, что животные и растения испытывают боль, ужас, а потому, скажем, коровы не должны быть съедены, деревья срублены и сожжены»,— записывает Сидур 08.04.74. Это чувство не предполагало практического вегетарианства, тем не менее не приходится сомневаться в его искренности — с ним просто приходится жить, хотя жизни оно отнюдь не упрощает. «Как трудно не убить! Копнешь землю лопатой и нарушишь жизнь тысяч живых существ».

Все это — тоже элементы мироощущения, которое можно назвать религиозным. Это мироощущение человека, не страшащегося истины ужасной и безобразной, но чувствующего, что тут лишь одна из ипостасей бытия, лишь часть какой-то более цельной правды, включающей красоту и добро, любовь и разум. Хотя бы потому, что без этого мироздание обратилось бы в хаос. Между тем мир как целое не саморазрушается — есть нечто, позволяющее ему существовать, поддерживающее его устойчивость и тепло, напряженную живую гармонию. Это мироощущение человека, знающего не только трагизм, но и счастье существования. Он в самом деле был по-настоящему счастливым человеком.

«Разум и добро — не выдумки,— записывает Сидур 25.08.74,— а лучи, доходящие из абсолютного бытия. А другие верят только в бессмысленные столкновения частиц, а человек — порождение этой бессмысленности».

И в другом месте: «Где истина, где ложь? Как может установить человек, если нет Высшего начала» (25.08.74).

Не правда ли, это приводит на память другой, прозвучавший однажды вопрос: «Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет?» Творческий импульс, пожалуй, столь же мало поддается рациональному объяснению, как и импульс религиозный,— в природе их есть нечто общее.

Опыт творчества, наверно, и впрямь близок опыту мистическому. Кто, как не художник, может понять Творца, переливающего себя в свое создание,— чтобы продолжиться в нем и уже не страшиться собственного исчезновения? Кто, как не он, способен ощутить служение свое в том, чтобы своим трудом, метанием, любовью и мукой поддерживать непрерывную энергию творчества?

12. СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА

«Зачем мне это нужно? — повторяет Сидур все тот же вопрос в разговоре с женой.— Зачем я делаю скульптуру, рисую, пишу? Что заставляет меня приниматься за тяжелую долгую работу? Ты сама прекрасно знаешь, что скульптура скорей всего никогда не будет выставлена, рисунков никто не увидит, а „Миф“ никто не прочтет. А что со всем этим станет, когда я умру, об этом лучше вообще не думать. Я даже не знаю, радости или муки больше испытываю, когда работаю. Я ничего не знаю».

Какое облегчение переписывать эти строки в пору, когда сохранность его работ, кажется, обеспечена, по крайней мере на ближайшее будущее! Историческая перемена на сей раз подоспела вовремя; а как все повернулось бы, запоздай она года на два или умри он сам годом раньше? Кто знает, сколько творений наших современников исчезло бесследно вместе с их создателями? И мы даже не подозреваем, что они существовали, как не подозревали бы о существовании «Мастера и Маргариты» или стихов Мандельштама, если б не выжили те, кому дано было их сохранить? Ведь кто-то и не выжил.

Мысль о судьбе работ мучила Сидура неотступно. «Я все хожу и присматриваюсь к особнякам,— сказал он мне как-то во время прогулки.— Иметь бы особняк, чтобы расставить там свои работы,— и больше мне ничего не надо. А то я вот задумал одну скульптуру, с тебя ростом, и не могу делать. Некуда ставить. Я стал чувствовать, что невозможность иметь собственность — очень плохая вещь. Нам ничего не принадлежит. Квартира — кооперативная, не моя. Дача? Какая она моя, земля мне не принадлежит. Мастерская — вообще даже не Союза, он ее арендует у жэка».

Я вспоминал этот разговор, когда после его смерти несколько месяцев тянулась неясность, продлит ли МОСХ наследникам срок аренды на Подвал и если нет, куда девать сотни тяжелых скульптур и как их сохранить? Сидур не переставал думать об этом до самой смерти.

Не могу умереть спокойно
Мучаюсь мыслью
Что с детьми будет моимв,
Когда я исчезну,—

писал он в стихах. Речь, конечно, шла о скульптурах — за живых детей он мог беспокоиться меньше.

И уже перед самой смертью, в больнице:

Я пропадаю
Мне худо
Вы томитесь в опустевшей квартире
Белые девы
Мои глупые дети
Не в силах понять
Куда я пропал
А я пропадаю
Боюсь вас покинуть
Но верю в свиданье
Если увижу вас снова живыми
Тройняшки-близнята
Голеньких нежных
Друг друга ласкающих
Меня ожидающих
То снова воспряну
Вернусь с того света
Мы вместе над смертью одержим победу
Но это пока большой от всех секрет
Мы сделаем с вами
«Висящего Деда»
Мой автопортрет.

Я видел этот автопортрет на поминках после похорон — вырезанный из бумаги, он висел под потолком, изгибаясь на деревянных жердочках и ниточках, воспроизводя одну из давних графических идей Сидура. Три голенькие белые довы смотрели на него с дивана — мягкие тряпичные куклы-скульптуры, последняя фантазин мастера, может быть, дань давнему воспоминанию о девочках, качавшихся перед окном на качелях. На стеллажах в квартире, сразу ставшей мемориальной, стояли модели скульптур — и все вместе было как подтверждение, что победа над смертью все-таки одержана. Этому в конечном счете служит искусство.

Зачем мы это делаем? «Завоевать и преобразить человечество, изменить понимание живого и мертвого» — вот чего — не более, не менее — хочет добиться художник своим творчеством» (запись 08.10.74). «Мне смешно, когда говорят: мир спасет красота. Настолько неоднозначно понятие красоты. В этом случае правильнее говорить: искусство спасет мир» (15.04.74).

Здесь чувствуется отголосок убеждения об истине безобразной и страшной — упрощенное понимание красоты как красивости к ней неприменимо; и все-таки служить ей, искать ее и выявлять как нечто оформленное — значит помогать замыслу Творца, самой жизни. Жизнь требует формы, ибо противоположность ей: бесформенность, хаос, распад — означает смерть. И в этом смысле форма все же связана с красотой, как бесформенность — с безобразием, в этом смысле творчество есть служение жизни...

Вот дошел до понимания, казалось бы, своим умом — но заглянул в Платона: у него, оказывается, давно есть про это: «Все, что вызывает переход из небытия в бытие,— творчество»,— объяснила Сократу много веков назад мудрая гетера Диотима. Вот то, что роднит искусство со всякой животворящей энергией человека, будь то любовь или культурное деяние. Творчество — то, что способствует сохранению и поддержанию жизни физической и духовной...

Примерно об этом я писал четыре года назад в небольшом тексте к каталогу Бохумской выставки Сидура. Я перечитываю его — и словно обвожу еще раз прощальным взглядом удивительную мастерскую.

Существо человека вряд ли сильно изменилось с библейских времен. Многие наши идеи лишь кажутся нам новыми — нова разве что наша подпись. И это не так уж мало. Потому что каждый живет (и умирает) впервые, единственный и последний раз — в мире, которого не было прежде и уже никогда не будет...

Есть существа, которые погибают в любовном акте — акте продолжения жизни. Творец переходит в свое творение. Если наш мир был кем-то создан, то не такой ли ценой?..

Мысль становится неожиданной в воздухе, напрягшемся вокруг этих работ... Мастерская скульптора завалена обломками катастрофы, исковерканным, сплющенным, растерзанным металлом. Будто наплывы магмы затвердевают, вырвавшись на поверхность. Напор стихийных сил оформляется мыслью трезвой, выверенной, жесткой.

Это искусство не отворачивается от страшного и безобразного. Но соглашается ли оно принять трагизм и абсурд жизни, страдание и зло? Такое приятие может называться даже героическим — так Ницше призывал оценивать человека мерой страданий, которые он способен вынести. Отсюда недалеко до эстетического любования насилием, ужасом, гибелью. Этот трагизм не интересуется другими, слабейшими, он высокомерен и лишен любви.

В работах Сидура — боль, крик, предостережение, жалость, в них сострадание, нежность, любовь.

Бессмысленный хаос преображается, из безнадежно мертвого материала вновь и вновь выявляется форма, смысл, красота, начало женское и начало мужское, Адам, Ева, дитя. Тогда искусство представляется силой, призванной противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего-то создан, то не для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без него?

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Александр МАТЫШЕВ

ДИКТАТОР

> ...когда нас упрекают в жесткости, мы недоумеваем, как люди забывают элементарнейший марксизм.
>
> *В. И. Ульянов (Ленин)*

Кризис СССР, охвативший все стороны жизни страны, угрожающе углубляется. Несмотря на то, что примерно год назад это были вынуждены признать даже высшие эшелоны власти и вот уже шестой год в стране идет «перестройка», реальные перспективы улучшения обстановки до сих пор весьма туманны. В сущности, связано это с тем, что термин «перестройка» не несет особенной смысловой нагрузки, кроме желания что-нибудь изменить. Медлительность и отсутствие концептуальности сплошь и рядом подменяются привычными клише, полуправдой, стремлением осуществить половинчатые реформы. Такое уже было после хрущевской оттепели, когда железный занавес только колыхнулся, а для мысли лишь слегка приоткрыли щель, чтобы удушить первые же ростки этой освобождающейся мысли в обстановке брежневского режима.

С тех пор кризис стал всеохватывающим. Еще немного — и в стране может произойти чудовищная катастрофа. Нужно приложить все силы, чтобы, пока не поздно, предотвратить ее. Налицо, однако, усугубление обстановки антидемократическими мерами вроде отмены прямых и равных выборов в высший орган государственной власти. Так кризис не преодолеть.

Пусть читатель не ищет в настоящей статье рецепта ото всех бед. Такие рецепты должны дать законодатели, которым народ доверил власть. Цель автора другая и более скромная — расширить плацдарм свободной мысли, сделать еще один шаг в установлении причин бедствий, охвативших страну; указать на опасный стереотип [1], ограничивающий продвижение вперед.

[1] Именно потому, что в сознании людей еще живет масса стереотипов, вбитых за последние 70 лет террором и обманом, и процесс их преодоления труден и долог, все исторические персонажи, упоминаемые в статье, называются только их подлинными фамилиями и именами. Так легче расставаться с мифами. И не нужно искать в этом никакой националистической подоплеки.

Все еще модно сваливать вину за все постигшие Россию несчастья на Джугашвили и, в крайнем случае, на весьма ограниченный круг его подручных. Сторонником такой точки зрения является, например, М. Шатров, «кому пепел оболганной, преданной и расстрелянной Сталиным Октябрьской революции постоянно стучит в сердце» [1]. В статье В. Костикова в «Огоньке» (1989, № 32) вина за все беды возлагается на неких «людей в сапогах», к которым причислены Джугашвили, Бронштейн, Каганович и которым противопоставлены «люди гражданского мира» В. Ульянов и Бухарин. Несколько дальше пошел Л. Хаиндрава в интересной работе «Некоторые мысли по поводу современной „Сталинианы"» (Литературная Грузия, 1989, № 1), где уже в целом ряду высших партийных чиновников, ответственных за произвол, называется и их глава — В. Ульянов.

Более того, желание беспристрастно исследовать случившуюся в России трагедию Шатров характеризует в упомянутой беседе как «серьезную и грозную опасность, разъедающую души людей». Если подобная опасность и существует, то только для тех «людей», которые продолжают ассоциировать себя с хладнокровными, бесчеловечными убийцами, во имя догматически воспринятой теории совершившими величайшие преступления в истории человечества.

Таким образом, обществу предлагается упрощенный подход к мучительной теме, позволяющий, однако, сделать кардинальный для современности вывод (на глазах превращающийся в новую и очень опасную догму) о том, что в октябре 1917 года было выбрано единственно верное направление развития России, способное наилучшим образом разрешить все вопросы русской жизни, но... но коварный Джугашвили спутал карты «настоящих» ленинцев.

Крупным шагом вперед явилась статья А. Ципко «Истоки сталинизма», опубликованная в «Науке и жизни» (1988, № 11—12; 1989, № 1—2). А. Ципко, опираясь на марксистское положение о том, что практика — критерий истины, высказывается за право судить о социализме по прошедшим 70 годам, «судить о марксизме с позиций нашей социалистической истории». Ожидаемый же будущий опыт, надежду он не признает аргументом в научном споре.

Прибавим к этому, что развитие социализма ни в одной стране мира не продемонстрировало преимуществ этого строя, так что тезис об особых его преимуществах — догма, в которую можно только верить. Более того, прибавим, что единого понимания социализма вообще никогда

[1] См. пьесу «Дальше, дальше, дальше...» и беседу с ним (Огонек, 1988, № 45).

не существовало и не существует, так что фраза о преимуществах того, о чем до сих пор нет ясных представлений, не более чем словесная эквилибристика.

Пусть читатель не усматривает в таких утверждениях в настоящее время нападок на «социализм» в противовес «капитализму», потому что сейчас нельзя однозначно связывать многие государства с определенным общественным строем, о чем очень вовремя напомнил на I Съезде народных депутатов Ч. Айтматов: «Пока мы гадали, судили и рядили, каким должен быть и каким не может быть социализм, другие народы уже его имеют, построили и наслаждаются его плодами. Причем мы своим опытом сослужили им хорошую службу, показав, как не следует строить социализм. Я имею в виду процветающие правовые общества Швеции, Австрии, Финляндии, Норвегии, Голландии, Испании, наконец, Канады за океаном. О Швейцарии я уже не говорю — это образец. Рабочий человек в этих странах в среднем зарабатывает в четыре-пять раз больше, чем наши рабочие. Социальная защищенность, уровень благосостояния трудящихся этих стран нам может только сниться. Это и есть реальный и, если хотите, рабочий профсоюзный социализм, хотя эти страны и не называют себя социалистическими, но от этого им не хуже» [1].

Чтобы устранить возможные кривотолки и искажения, автор настоящей статьи, разделяя оценку, данную народным депутатом правовым обществам перечисленных им государств [2], высказывается за разумный коллективизм в жизни людей, взаимопомощь, демократию, народовластие (пусть оно называется Советским, главное не в обозначении его словом, а во вкладываемом в него содержании), стремится к социальной справедливости, к приоритету общечеловеческих ценностей, словом, стремится к тому, к чему, вероятно, стремятся все нормальные люди во всех странах мира.

Вернемся, однако, к статье А. Ципко. В ней обосновывается мысль, что Джугашвили «строил социализм в соответствии с предначертаниями теории, пытался как мог ускорить движение России к коммунизму, начатое в октябре 1917 года», что его представления о «социализме были типичными для марксистов того времени». Анализируя источники коммунистических воззрений того времени, А. Ципко аргументированно указывает при этом на левый радикализм, «левацкий экстремизм». Однако вопрос о том, насколько левый радикализм был присущ главе большевиков В. Ульянову, остался вне подробного рассмотрения. Попытаемся разобраться в этом очень важном для современности вопросе, так как нам предстоит решать, как же жить дальше после стольких лет кошмара, как же избежать рецидивов сталинщины ли, хрущевщины ли, брежневщины ли и так далее, как, одним словом, стать нам нормальным демократическим обществом. Ведь многочисленные догмы все еще опутывают людей, не давая свободно и безбоязненно вносить конструктивные предложения по выходу из кризиса.

Воспользовавшись незабвенным советом, «посмотрим в корень», то есть в такое положение марксизма, которое сам В. Ульянов считал главным, «коренным содержанием пролетарской революции» (Т. 37. С. 240) [1]. Что же он имел в виду? А в виду В. Ульянов имел диктатуру, диктатуру пролетариата. Кстати, в том, что диктатура пролетариата — главное в марксизме (хотя точнее было бы выразиться, как ниже увидит читатель, в марксизме-ленинизме), можно легко убедиться, заглянув в предметный указатель выпущенного в 1988 году Политиздатом четырехтомного Собрания сочинений В. Ульянова.

Вот что он писал о ней в октябре 1918 года: «Это — вопрос, имеющий важнейшее значение для всех стран, особенно для передовых, особенно для воюющих, особенно в настоящее время. Можно сказать без преувеличения, что это — самый главный вопрос всей пролетарской классовой борьбы» (Т. 37. С. 240). А вот в каком контексте упоминается диктатура пролетариата в работе «Очередные задачи Советской власти» (апрель 1918 года): «⟨...⟩ всякая великая революция, а социалистическая в особенности, *даже если бы не было войны внешней, немыслима без войны внутренней* *, то есть гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя ⟨...⟩». Чуть далее следует вывод: «Этот исторический опыт всех революций, этот всемирно-исторический — экономический и политический — урок и подытожил Маркс, дав краткую, резкую, точную, яркую формулу: диктатура пролетариата» (Т. 36. С. 195—196).

Попутно отметим, отвлекаясь немного от диктатуры пролетариата, что всего за год до этого, в сентябре 1917 года, В. Ульянов писал нечто диаметрально противоположное; вот выдержки из его статьи

[1] «Известия» № 155 от 4 июня 1989 г.
[2] Хотя сомнения вызывает излишняя краткость списка государств. Или Ч. Айтматову видится существенная разница между упомянутой им Норвегией и, например, не упомянутыми Данией, Бельгией, Великобританией, Францией?

[1] Ссылки на труды В. Ульянова приводятся по последнему, 5-му, якобы Полному собранию его сочинений.
* Здесь и далее курсив, помеченный звездочкой, принадлежит автору статьи.

«Русская революция и гражданская война»: «Говорнт о „потоках крови" в гражданской войне. ⟨...⟩ Эту фразу повторяют на тысячи ладов все буржуа и все оппортунисты. ⟨...⟩ Над ней смеютсн и будут смеяться, не могут не смеяться после корниловщины все сознательные рабочие» (Т. 34. С. 224). «Никакие „потоки крови" во внутренней гражданской войне не сравнятси даже приблизительно с теми *морями* крови, которые русские империалисты пролили после 19-го июня ⟨1917 года⟩» (Т. 34. С. 226).

Так какое же утверждение принимать за чистую монету: из «Очередных задач Советской власти» о том, что гражданская война после социалистической революции неизбежна и страшнее войны империалистической, или из «Русской революции и гражданской войны», где В. Ульянов призывает посмеяться над мерещащимися всяким там оппортунистам ужасами? [1] Официальные идеологи у нас не любят указывать на такие прямые противоречия в работах В. Ульянова. Рискнем все-таки высказать предположение, зачем он так писал. Дело в том, что в сентябре 1917 года В. Ульянов изо всех сил толкал своих соратников-большевиков на насильственный захват власти, а наиболее видные из них — Л. Бронштейн, Г. Радомысльский, Л. Розенфельд, И. Джугашвили — не очень-то к этому стремились. Приходилось В. Ульянову представлять все в розовом цвете, лишь бы толкнуть партию на переворот. А вот уже после него, после разгона Учредительного собрания, когда власть можно было удерживать только силой, опирающейсн на невероятную жестокость [2], и понадобилось ее теоретическое обоснование.

Так истина приносилась в жертву политике, потребе дня, удержанию власти «во что бы то ни стало»...

Вернемсн к именно такому обоснованию диктатуры пролетариата В. Ульяновым, ссылавшимся, правда, в вышеприведенном отрывке из «Очередных задач Советской власти» на Маркса. Однако сам Маркс единственный раз в жизни, да и то мимоходом, употребил такое выражение. Вот место из «Критики Готской программы», где им упомянута диктатура пролетариата: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата.*

Но программа не занимается ни этой последней, ни будущей государственностью коммунистического общества.

Ее политические требования не содержат ничего, кроме всем известных демократических перепевов: всеобщее избирательное право, прямое законодательство, народное право, народное ополчение и прочее» [1].

Пришлось В. Ульянову самостоятельно раскрывать смысл термина «диктатура пролетариата», обогащая тем самым марксизм. Вообще упоминания о диктатуре рассыпаны по очень многим его работам. Вот, например, из тех же «Очередных задач Советской власти»: «⟨...⟩ диктатура есть большое слово. А больших слов нельзя бросать на ветер. Диктатура есть железная власть, революционно смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть — непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо» (Т. 36. С. 196). Но настоящее, научное определение было дано в работе «Пролетарскан революция и ренегат Каутский», написанной в связи с выходом в Вене в 1918 году работы Каутского «Диктатура пролетариата», в которой последний как раз и указал на то, что Маркс только раз употребил термин, ставший одним из краеугольных камней ленинизма.

Вот чем ответил В. Ульянов:

«От определения диктатуры пролетариата отлынивать посредством умствований о деспотизме есть либо крайнян глупость, либо весьма неискусное мошенничество.

В итоге мы получаем, что, взявшись говорить о диктатуре, Каутский наговорил много заведомой неправды, но никакого определения не дал! Он мог бы, не полагаясь на свои умственные способности, прибегнуть к своей памяти и выложить из „ящичков" все случаи, когда Маркс говорит о диктатуре. Он получил бы, наверное, либо следующее, либо по существу совпадающее с ним, определение:

---

[1] Маленькая историческая справка: в июньском наступлении 1917 г., которое упоминул В. Ульянов, Россия потеряла около 60 *тысяч* человек (см. «Историю гражданской войны в СССР». М., 1935. Т. 1. С. 142), в то время как в гражданской войне, даже по официальным советским данным, в России погибло 8 *миллионов* человек (см. энциклопедию «Гражданская война и военнан интервенция в СССР». М., 1983. С. 14). Впрочем, последняя цифра теперь подвергается сомнению. В советской печати понвились работы, где убыль населения в России только за часть периода правленяя В. Ульянова (1918—1922 гг.) считается большей 15 *миллионов* человек!

[2] Как вспоминал Л. Бронштейн, еще до начала гражданской войны, в начале 1918 года В. Ульяиов восклицал: «Неужели же вы думаете, что мы выйдем победвтелями без жесточайшего революционного террора?» (Огопек. 1989. № 17. С. 5).

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 27—28.

Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанное никакими законами.

Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами» * (Т. 37. С. 244—245) [1].

В той же работе В. Ульянов попутно отмечал, что Каутский сказал «явную историческую неправду, будто диктатура означает власть одного лица», что будто бы «диктатура не обязательно означает уничтожение демократии для того класса, который осуществляет эту диктатуру над другими классами».

Чувствуя, видимо, шаткость своей позиции, В. Ульянов характеризует взгляды Каутского как «ренегатские», «бесхарактерные», «либеральные и лживые», как «ренегатские софизмы», обзывает его «лакеем буржуазии», «начетчиком в марксизме», «слепым щенком», оскорбляет фразами типа «точно во сне мочалку жует» или, например, такой: «О, ученость! О, утонченное лакейство перед буржуазией! О, цивилизованная манера ползать на брюхе перед капиталистами и лизать их сапоги! Если бы я был Круппом, или Шейдеманом, или Клемансо, или Реноделем, я бы стал платить господину Каутскому миллионы, награждать его поцелуями Иуды, расхваливать его перед рабочими, рекомендуя „единство социализма" со столь „почтенными" людьми, как Каутский» [2] (Т. 37. С. 254).

Ругань, однако, аргументом не является. История подтвердила правоту в споре о диктатуре не В. Ульянова, а К. Каутского. Уже в конце своей жизни В. Ульянов начал понимать, что складывается новый культ одного из его учеников, который позднее заполучил, пользуясь теоретическими открытиями учителя, власть, не снившуюся ни одному русскому императору. Отчасти и сам В. Ульянов стал жертвой изолнровавшего его последователя. Это уже не говоря о пролетариате, классе, о котором так пеклись марксисты. Достаточно сказать, что еще при В. Ульянове, в ходе гражданской войны, численность пролетариата в России сократилась вдвое, а промышленное производство сократилось в 5—25 раз от уровня 1913 года.

Прав оказался Каутский и в понимании диктатуры пролетариата не в буквальном смысле насилия (пресловутое «грабь награбленное» В. Ульянова), а мирного завоевания большинства при буржуазной демократии. Подтверждение тому — приход к власти во многих странах Западной Европы социал-демократических партий, их политика на основе созидательных компромиссов, национального согласия, демократических свобод, позволившая построить процветающие правовые общества, далеко обогнавшие в своем развитии страны Восточной Европы!

Тогда же в России победил В. Ульянов, требовавший власти, не ограниченной законами. И первые пять лет после революции так оно и было: Уголовный кодекс РСФСР был разработан лишь в 1922 году, хотя Конституцию РСФСР приняли уже в 1918 году. Да законы, в соответствии со взглядами В. Ульянова, были и не нужны, власти ведь руководствовались революционным правосознанием. Ну, например, уже 5 сентября 1918 года был подписан декрет Совета Народных Комиссаров о красном терроре, создании концлагерей.

А как же в целом, на практике, должна была осуществляться диктатура пролетариата, если сам В. Ульянов еще в работе «Что делать?» (1902 год) открыто признавал, что «классовое политическое сознание может быть принесено рабочему классу только извне», если им открыто признавалась в той же работе «стихийность» рабочего движения?

Понятно, что нужен был поводырь, авангард пролетариата, построенная на принципах демократического централизма партия нового типа, созданная В. Уль-

---

[1] И позднее В. Ульянов повторял почти слово в слово это определение: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (Т. 41. С. 383).

[2] Вообще, при внимательном чтении работ В. Ульянова бросается в глаза использование применительно к его политическим оппонентам выражений типа «политическая проститутка», «говно», «смердящий труп», «сволочь», «тупица», «педант» и т. д. и т. п. Это, конечно, не делает ни автору чести, ни работы более убедительными. К сожалению, политическая ругань до сих пор в почете среди многих последователей В. Ульянова. Поэтому вкратце остановимся на этом аспекте стиля работ главы большевиков и укажем, что делалось это, конечно, сознательно, чтобы работы были доходчивей для «массы», не слишком глубоко задумывающейся над содержанием. Подтверждением того, что В. Ульянов стремился сделать свои работы как можно более доступными для людей, недавно научившихся читать, служит его заметка «Об очистке русского языка», где есть такое признание: «Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя» (Т. 40. С. 49). Впрочем, объяснения желанием подладиться под «массу» недостаточно. Несомненно, роль играл и темперамент, если даже в письме А. Пешкову от 15 ноября 1919 года, имея в виду русскую интеллигенцию, В. Ульянов писал: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г⟨овно⟩» (Т. 51. С. 48).

яновым. Отметим, что этот авангард к октябрю 1917 года едва насчитывал 350 тысяч человек, причем собственно рабочих в партии было около 60 %.[1] Более того, собственно промышленный пролетариат, даже по официальным советским данным, в России со 150-миллионным населением, не превышал 3,5 миллионов, общая же численность лиц наемного труда (в том числе, например, домашняя прислуга) не превышала 18 миллионоа человек. Зато так называемой мелкой буржуазии, к которой большевики, а вслед за ними официальная наука, относили такие разнородные группы населения, как крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы, служащие, интеллигенция, в России было более 80 %[2]. Жизнь этих миллионов людей и пошла под откос в угоду теории, созданной именно длн того, чтобы оправдать насилие над ними.

Итак, на самом деле все свелось к фактической диктатуре ничтожного меньшинства над подавляющей массой населения России.[3] Зато до сих пор «Советский энциклопедический словарь» (М., 1984) в анонимной статье, как раз посвященной работе В. Ульянова «Пролетарская революция и ренегат Каутский», утверждает, что диктатура пролетариата как форма пролетарской демократии «дала невиданное в мире расширение демократии для гигантского большинства населения». Комментировать это высказывание смысла не имеет.

Зато имеет смысл задуматься над тем, какой же аппарат руководил самой партией большевиков, выполнял роль авангарда авангарда?

В своих запоздалых прозрениях, теперь именуемых обычно «Последними письмами и статьями», В. Ульянов, прежде всего имея в виду партию, признался, «что мы аппарат, в сущности, взяли старый от царя и от буржуазии» и предложил привлечь «многих рабочих в ЦК» (Т. 45. С. 347).

В это же время В. Ульянов дал известные характеристики своим шестерым товарищам по ЦК, причем сделал это за их спиной, совершенно секретно, так, чтобы только после его смерти это стало достоянием очередного партийного съезда. Где же при этом была его партийная принципиальность, партийная этика, наконец? Не это ли теперь называется «ленинским стилем работы»? Почему он держал в руководстве всех этих людей при своей жизни и вовремя не заменил другими, если не дал ни одному члену ЦК РКП(б) безоговорочно положительной характеристики?

Да, не зря Джугашвили, которому все секреты В. Ульянова в то время становились немедленно известны, потом говаривал: «Останетесь без меня, погибнете. Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». И действительно, на что рассчитывал В. Ульянов, давая подобные характеристики подобным образом? Что «рабочие из-под станка», как их называл Джугашвили, смогут унять беспринципных и бесчеловечных политиканов, обладавших в глазах тех же рабочих непререкаемым революционным авторитетом, узурпировавших в своих руках колоссальную власть?

Да, на XIII съезде число членоа ЦК РКП(б) было увеличено с 27 до 53 человек, но нужно обладать удивительным воображением, чтобы считать этих людей профессиональными рабочими. Кстати, в соответствии с большевистской доктриной, сами-то они материальных ценностей не производили и, по Конституции РСФСР, «в целях уничтожения паразитических слоев общества» подлежали «всеобщей трудовой повинности!». Но законы были писаны не для всех. Они себя ими не ограничивали!

Что же касается увеличения состава ЦК, то мера эта и вовсе оказалась косметической, поскольку в соответствии с пресловутым демократическим централизмом над ЦК стоял еще один орган — Политбюро ЦК, которое избиралось Пленумом ЦК РКП(б). Последнее Политбюро, в которое входил В. Ульянов, кроме него состояло из Л. Бронштейна, Г. Радомысльского, Л. Розенфельда, И. Джугашвили, А. Рыкова и М. Томского, а после смерти В. Ульянова вместо него в Политбюро выбрали Н. Бухарина. Вот и все кадровые перестановки, которые получились в результате «Письма к съезду».

В свою очередь, пока В. Ульянов был здоров, он лично почти монопольно направлял деятельность своих товарищей, сосредоточив в своих руках колоссальную власть главы правительства, не связанного законами, и главы пpаящей партии. Что это не противоречило его теоретическим взглядам, свидетельствует «Речь памяти Я. М. Свердлова на экстренном заседании ВЦИК 18 марта 1919 г.». Вот что можно узнать из нее об авторитете в понимании В. Ульянова:

[1] Октябрьская революция. Вопросы и ответы. М., Политиздат, 1987. С. 225.

[2] Там же.— С. 49

[3] В соответствии с теоретическими открытиями В. Ульяиова, одна из главных ролей в осуществлении диктатуры пролетариата отводилась карательным органам: «*Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата* * и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров — нет. Этим и занимается ЧК, в этом их заслуга перед пролетариатом» (ПСС. Т. 37. С. 174). Заодно уж вспоминается и еще одно откровенно-циничное признание В. Ульянова: «Хороший коммуиист в то же время есть в хороший чекист 〈...〉»!

«На взгляд людей, поверхностно судящих, на взгляд многочисленных врагов нашей революции или тех, кто и доныне колеблется между революцией и ее противниками,— на взгляд этих людей более всего бросается в глаза та черта революции, которая выразилась в решительной, беспощадно твердой расправе с эксплуататорами и врагами трудоаого народа». Видя в Я. М. Свердлове одного из вождей такой революции, он продолжает: «Если нам удалось в течение более чем года вынести непомерные тяжести, которые падали на *узкий круг беззаветных революционеров* *, если руководящие группы могли так твердо, так быстро, так единодушно решать труднейшие вопросы, то это только потому, что выдающееся место среди них занимал такой исключительный, талантливый организатор, как Яков Михайлович. Только ему удалось соединить в себе удивительное знание личного состава руководящих деятелей пролетарского движения, только ему удалось за долгие годы борьбы,— о которой я могу сказать здесь лишь слишком кратко,— выработать в себе замечательное чутье практика, замечательный талант организатора, тот *безусловно непререкаемый авторитет* *, благодаря которому крупнейшими отраслями работы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, которые под силу были лишь группе людей,— целиком и исключительно единолично ведал Яков Михайлович. Только *ему удалось завоевать такое положение, что достаточно было в громадном числе крупнейших и важнейших организационных практических вопросов, достаточно было одного его слова, чтобы непререкаемым образом, без всяких совещаний, без всяких формальных голосований, вопрос был решен раз навсегда, и у всех была полная уверенность в том, что вопрос решен на основании такого практического знания и такого организаторского чутья, что не только сотни и тысячи передовых рабочих, но и массы сочтут это решение за окончательное* * (Т. 38. С. 77—78).

Эта неприкрытая проповедь авторитаризма импонировала «узкому кругу беззаветных революционеров», а Джугашвили, наверное, уже строил комбинации, как же ему, вслед за В. Ульяновым и Свердловым «завоевать такое положение, что достаточно было...» и далее по только что процитированному тексту. Дальнейшие комментарии были бы излишни, если бы сейчас не шла довольно острая дискуссия о таких преступлениях Свердлова, как секретная директива об уничтожении мужского казачьего населения[1], как зверское убийство Николая II с семьей и приближенными[2], как распоряжение Свердлова расстрелять без суда есерку Ф. Каплан[3] (Ройд).

Последние две акции затрагивают личную репутацию В. Ульянова как лица заинтересованного: в случае с Николаем II как брата казненного А. Ульянова, а в случае с Каплан — как непосредственной жертвы покушения. Остро встают вопросы о том, обсуждались ли эти акции или они были предприняты Свердловым единолично? Знал ли о них В. Ульянов заранее? Необходимо отметить, что приведенные взгляды на власть, не связанную никакими законами, на последующее одобрение всей деятельности Свердлоаа дают однозначный ответ на вопрос о взглядах В. Ульянова на внесудебные казни.

Что же касается специально Николая II, то оправдание его убийства без су-

[1] Речь идет о директиве Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 января 1919 года, в которой приказывалось: «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью 〈...〉». Интересно, что после таких уроков должен был вкладывать И. Джугашвили в формулу «уничтожении кулачества как класса»?

[2] Вот как, по описанию одного из охранников, происходило убийство Николая II, его жены, дочерей Ольги (22 года), Татьяны (20 лет), Марии (18 лет), Анастасии (16 лет), сына Алексея (14 лет), известного русского врача Е. С. Боткина, комнатной девушки Демидовой, повара Харитонова, лакея Труппа: «Стреляли исключительно из револьверов. Вслед за первыми выстрелами раздались крики нескольких женских голосов. Первым пал Николай, за ним Алексей. Демидова же металась, закрывалась подушками, была потом приколота штыками. Когда все было кончено, их стали осматривать и некоторых достреливать и докалывать» (Цит. по содержательной статье И. Непеина «После расстрела» в спец. выпуске Челябинской обл. писат. организации «Уральская новь» от ноября 1988 года). В целом же акция по уничтожению царской семьи в административном порядке была тщательно спланирована и, безусловно, направлялась лично В. Ульяноаым из Москвы: 13 июля 1918 г. в Перми был расстрелян в. к. Михаил Александрович (брат Николая II), 17 июля — сам Николай II, 18 июля в Алапаевской тюрьме расстреляны 18 членов императорской фамилии с детьми и слугами, 22 июля — в Ташкенте расстрелян в. к. Николай Константинович (см. публикацию В. Сироткина «Еще раз о белых пятнах». Неделя. 1989, № 25).

[3] См. об этом поразительный по цинизму рассказ палача — в прошлом матроса, коменданта Московского Кремля П. Малькова, который ходил советоваться со Свердловым, что делать с трупом Каплан, а Свердлов велел труп уничтожить (П. Мальков. Записки коменданта Московского Кремля. М., 1959. С. 159—161), а также добавления Л. Разгона о том, как П. Мальков вместе с пролетарским поэтом Е. Придворовым сожгли труп Каплан в Кремлевском саду (Л. Разгон. Непридуманное. Юность, 1989, № 2. С. 53).

да (вопрос о расстреле жены, детей и обслуживающего персонала В. Ульянов опустил, видимо, как несущественный?) есть еще в одной работе В. Ульянова, опять громившего «ренегата» Каутского в сентябре 1919 года за выпуск брошюры «Терроризм и коммунизм», где последний обвинял большевиков, в частности, в проведениях массовых расстрелов. И вот как защищался В. Ульянов спустя всего год после зверского убийства Николая II и его близких, о чем он не мог не знать: «На II съезде нашей партии, в 1903 году, когда возник большевизм, составлялась программа партии, и в протоколах съезда значится, что мысль вставить в программу отмену смертной казни вызвала только насмешливые возгласы: „и для Николая II?“. Даже меньшевики в 1903 году не посмели поставить на голоса предложения об отмене смертной казни для царя» (Т. 39. С. 183). Не к месту ссылаясь на меньшевиков, как бы пытаясь на них переложить преступления возглавляемого им правительства и партии, В. Ульянов передергивает карту. Ведь на самом-то деле речь шла о том, что Николая II должна была судить Россия в лице Учредительного собрания, что казнен русский император мог быть только после законного приговора суда. А В. Ульянов и после свершившегося факта _продолжал защищать бесчеловечную внесудебную расправу_.

С нашей точки зрения, данное признание в совокупности с положительной оценкой личности и деятельности Свердлова целиком разрешает вопрос об отношении В. Ульянова к расстрелу Николая II _вместе с семьей_, к последующим расстрелам членов царской фамилии.

Только что приведенную цитату из работы «Как буржуазия использует ренегатов» В. Ульянов продолжает так: «А в 1917 году, во время керенщины, я писал в „Правде“, что ни одно революционное правительство без смертной казни не обойдется и что весь вопрос только в том, _против какого класса_ направляется данным праавительством оружие смертной казни». И далее, оправдывая массовые расстрелы: «Мыслима ли пролетарская революция, вырастающая из такой войны, без заговоров и контрреволюционных покушений со стороны десятков и сотен тысяч офицеров, принадлежащих к классу помещиков и капиталистов?»

Так превентивно были приговорены к смерти десятки тысяч боевых русских офицеров.[1] Из этих строк сочится кровь

[1] Однако репрессий против офицеров В. Ульянову было недостаточно. Он преследовал и их семьи! Вот фрагмент из его записки Э. М. Склянскому от 08.06.1919: «Надо усилить взятие заложников с буржуазии и с семей офицеров — ввиду учащения измен. Сговоритесь с Дзержинским» (ПСС. Т. 50. С. 343).

два года спустя расстрелянного поэта, русского офицера Н. Гумилева.

Более того, все в той же работе «Как буржуазия использует ренегатов», В. Ульянов, оправдывая массовые казни в России, ссылается на убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург в Германии!

Конечно, было бы несправедливо возлагать ответственность за гражданскую войну и ее ужасы на одного В. Ульянова, но и закрывать глаза на то, что именно он был одним из ее рьяных вдохновителей, теоретиком насилия и диктатуры, нельзя.

В среде своих единомышленников он, пользуясь любым случаем, вколачивал с самого начала революции мысли о безжалостности к «врагам», о неизбежности жесточайшего террора. Об этом вспоминал Л. Бронштейн, жестокий убийца, которого зато В. Ульянов и ценил очень высоко.[1] Вот эта обширная, зато показательная цитата, рисующая ход мысли В. Ульянова: «Это был период, когда Ленин при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности террора. Всякие проявления прекраснодушия, маниловщины, халатности — а всего этого было хоть отбавляй — возмущали его не столько сами по себе, сколько как признак того, что даже верхи рабочего класса не отдают еще себе достаточного отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь мерами чудовищной же энергии. „Им,— говорил он про врагов,— грозит опасность лишиться всего. И в то же время у них есть сотни тысяч людей, прошедших школу войны, сытых, отважных, готовых на все офицеров, юнкеров, буржуазных и помещичьих сынков, полицейских, кулаков. А вот эти, извините за выражение, „революционеры“ воображают, что мы сможем совершить революцию по-доброму да по-хорошему. Да где они учились? Да что они понимают под диктатурой? Да какая у него выйдет диктатура, если он сам тютя?» Такие тирады можно было слышать _десятки раз на дню_ *, и они всегда

[1] Хорошо зная, с кем имеет дело, В. Ульянов выдал в 1919 г. Л. Бронштейну следующий беспрецедентный документ: «Товарищи! Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело».

Перед этим документом меркнут даже lettres de cacket французских королей, раздававших своим приближенным все же только право на заключение в тюрьму или ссылку. Ульянов же, будучи членом правительства и дав Л. Бронштейну право на _любые_ действия, во-первых, лишний раз продемонстрировал диктаторскую основу коммунистической власти, а во-вторых, несет прямую ответственность за массовые казни, проводившиеся по многочисленным приказам Л. Бронштейна.

метили в кого-нибудь из присутствующих, подозрительного по «пацифизму». Ленин не пропускал ни одного случая, когда говорилось при нем о революции, о диктатуре, особенно, когда это происходило на заседаниях Совнаркома или в присутствии левых эсеров или колеблющихся коммунистов, чтобы не заметить тут же: «Да где у нас диктатура? Да покажите ее! У нас — каша, а не диктатура». Слово «каша» он очень любил. «Если мы не умеем расстрелять саботажника-белогвардейца, то какая же это великая революция? Да вы смотрите, как у нас буржуазная шваль пишет в газетах? Где же тут диктатура? Одна болтовня и каша»... Эти речи выражали его действительное настроение, имея и то же время сугубо умышленный характер: _согласно своему методу, Ленин вколачивал в головы сознание необходимости исключительно суровых мер для спасения революции»_ * (Огонек, 1989, № 17. С. 5) [1].

Л. Бронштейн написал в данном случае правду, так что, конечно же, В. Ульянов несет прямую ответственность за то, что случилось с Россией в его правление, за то, что с ней сделали потом его ученики, за концлагеря, за пытки, за казни, за нравственное разложение народа. Здесь невозможно не остановиться хотя бы на нескольких эпизодах, несомненно имеющих прямую связь с мыслями В. Ульянова о русских офицерах.

Первые два примера — литературные, пусть читатель не указывает на натяжку. По канонам социалистического реализма литература — высшая правда жизни, ее квинтэссенция. Поэтому вспомним обманутую героиню лавреневской повести «Сорок первый» Марютку, убивающую

[1] Воспоминания Л. Бронштейна подтверждает письмо самого В. Ульянова к Г. Радомысльскому следующего содержания: «⟨...⟩ Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере _рабочие_ хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты и пекисты) удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, _тормозим_ революционную инициативу масс, _вполне_ правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего _решает»_ (Т. 50. С. 106).

Внушение В. Ульянова даром не пропало: 19 августа 1918 года был опубликован декрет, подписанный Г. Радомысльским как председателем СНК Союза коммун Северной области, по которому за контрреволюционную агитацию — расстрел на месте (Подробнее см. статью А. Смолина «У истоков красного террора». Ленинградская панорама, 1989, № 7. С. 26).

почти автоматически своего синеглазенького только за то, что он — офицер (поручик); на эту же тему — всего два отрывка из романа «Россия, кровью умытая», автор которого Н. Кочкуров позднее был расстрелян коммунистами:

«Как-то зимой приплыл в Новороссийск из Турции Варнавинский полк и мортирный дивизион. Немало тут с солдатами митинговали, долго их уламывали и в конце концов уговорили наступать на Екатеринодар, свергать Кубанскую раду. Ладно, согласились, получили на руки провиант, но перед самым выступлением офицеры-варнавинцы заартачились и объявили _нейтралитет_ *. Ревком арестовал сорок три офицера и приказал миноносцу отвезти их в Феодосию, в распоряжение квартировавшей там дивизии. Проходит день, проходит два дня, об офицерах ни слуху ни духу. Шлет ревком радиодепешу: „Где арестованные?“ Из моря команда миноносца тоже по радио отвечает: „Свое мы дело совершили“ — и больше ни звука... Чисто сработано?.. Ха-ха-ха... Рыбаки нас костят на все корки — в бухте то и дело утопленники всплывают, а на базаре рыбу и даром никто не берет, брезгуют» (Артем Веселый. Избранные произведения. М., 1958. С. 336).

«На базаре было весело, как в балагане.

Спозаранок на пустых хлебных ларях, на солнечном угреве сидели солдаты, вшей били и, давясь слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливцы громят винные склады.

Через толпу пробирался бородатый красногвардеец — винтовка принята на ремень, на штык насажен кусок сала и связка кренделей. Молодые казаки остановили и окружили бородача.

— Купи, дядя, офицера?

— Какого офицера?

— Хороший офицер, нашей второй сотни офицер, но для беднейшего сословия вредный. Мы его пока заарестовали и содержим в своем эшелоне, под охраной.

— Зачем он мне?

— Расстреляешь.

— А вы — сами?

— Он перед нами ни в чем не виноват.

Пока разговаривали, один из казаков срезал у бородача со штыка и кренделя и сало, другой — вынул затвор из винтовки.

— Так не купишь офицера?

— Нет... Мы их и некупленных подушим, наших рук не минуют.

— Ну, прощай... А затвор-то у тебя где? Пропил?

Тот схватился — нету затвора.

— Отдайте, ребята...

Посмеявшись над бородачем, променяли ему его же затвор за осьмушку махорки.

На расправу *базарного суда** приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на базаре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и *какого-то прапорщика»* * (Артем Веселый. Там же.— С. 154—155).

Чтобы не создавалось ощущения некоторой легковесности примеров, вспомним фрагмент автобиографической повести А. Жигулина «Черные камни»: «В зимнем начале 1920 года дед возвращался из Ростова (где несколько недель лежал в тифозном бараке) в Воронеж. Где-то под Лисками его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные матросы, скорее всего анархисты. Не понравился им офицерский китель деда. Хоть и не было погон, но видно было, что мундир офицерский. Когда выбросили из вагона, дед не разбился насмерть, а мог еще идти. Но пока добрался до Лисок, безнадежно простудился — было очень ветрено и морозно, а шинель осталась в вагоне. Доехал до Воронежа и вскоре умер от крупозного воспаления легких. Шел ему тогда сорок шестой год» (Знамя, 1988, № 7. С. 11).

Конечно, матросы, топившие боевых офицеров, только накануне вернувшихся с турецкого фронта и не захотевших участвовать в войне гражданской, могли сами и не читать трудов В. Ульянова. Но ведь повсюду были члены партии большевиков, объяснявшие политику ЦК, ведь из Петрограда и Москвы рассылались комиссары, призывавшие безжалостно расправляться с «врагами народа». И лично В. Ульянов рассылал секретные письма и телеграммы, в которых приказывалось убивать, убивать, убивать...

Воспроизведем всего три таких документа, отправленных в течение только двух дней в Пензу, Саратов и Нижний Новгород.

«⟨9.VIII.1918

Телеграмма Пензенскому Губисполкому⟩

⟨...⟩ Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города ⟨...⟩[1]

Предсовнаркома Ленин»

(Т. 50. С. 143—144).

«10/VIII—1918

Цюрупе:

(1) Это архискандал, бешеный скандал, что в Саратове есть хлеб, а мы не можем свезти!! ⟨...⟩

(2) Проект декрета — в каждой хлебной волости 25—30 ***заложников*** *из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков ⟨...⟩»*

(Т. 50. С. 144).

«9.VIII.1918

т. Федорову![1]

В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов (Вас, Маркина и др.), навести ***тотчас*** *массовый террор,* ***расстрелять и вывезти*** *сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. ⟨...⟩*

Петерс, председатель Чрезвычайной комиссии, говорит, что от них тоже есть ***надежные*** *люди в Нижнем.*

Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. ⟨...⟩» (Т. 50. С. 142).

Вот как рисовалась власть, неограниченная законами, В. Ульянову, вот как он ее использовал, заглазно осуждая на смерть сотни женщин (интересно, как определяли, проститутка расстреливаемая или нет?), вводя институт заложничества, основывая концлагеря, давая фактически разнарядки из центра на уничтожение людей...

Против всего этого и протестовал неуслышанный К. Каутский! У В. Ульянова был иной склад мышления, о котором свидетельствует и телеграмма из Москвы в Харьков, данная им И. Джугашвили, как видно из текста, в благодушном расположении духа: «Сегодня я слышал Вас и всех великолепно, каждое слово. Пригрозите расстрелом тому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (Т. 51. С. 134).

Несчастный телеграфист, расстрелял ли тебя И. Джугашвили?

Несчастная Россия! Надо ли говорить, что с «помещиков и капиталистов» террор очень быстро перешел на рядовых рабочих и крестьян, не понимавших гранди-

---

[1] В статье «Сенсации и факты: о публикациях на ленинскую тему» («Правда» № 103 от 13.IV.89) А. Совокин полемизирует с Л. Хандравой, который в упомянутой статье неверно указал, что декрет СНК от 5.IX.1918 о концлагерях подписал не В. Ульянов, а комиссар юстиции Д. Курский и комиссар внутренних дел Г. Петровский. Но ведь В. Ульянов не отменил этот декрет. Быть может, А. Совокин дезавуирует и подпись В. Ульянова под телеграммой Пензенскому Губисполкому от 9 августа 1918 года? Или докажет, что В. Ульянов телеграмму из Москвы с требованием сажать «сомнительных» в Пензе в концлагерь подписывал с закрытыми глазами? Так кто же инициировал декрет от 5.IX.18?

[1] Г. Ф. Федоров (1891—1936), председатель Нижегородского губсовдепа. Характерно, что при И. Джугашвили это письмо напечатали, да и то не полностью, в № 2 журнала «Большевик» за 1938 год!

озных замыслов преобразования России. Например, после выступления вчерашних крестьян, именуемого ныне «Кронштадским мятежом», без суда и следствия были расстреляны тысячи рядовых его участников.[1]

Чтобы закончить с вопросами, касающимися смертной казни, рассмотрим, как же В. Ульянов захотел ввести их в уголовное право, когда на повестку дня встал вопрос об ограничении власти законодательством[2].

Неудобно было перед лицом всех социалистических партий всего мира приговаривать к смерти вчерашних товарищей по борьбе с царизмом, социалистическую партию, не имея даже писаных законов!

Проект УК РСФСР был разработан в комиссариате юстиции, комиссар Д. Курский прислал его В. Ульянову на просмотр. Тот, помня о предстоящем суде, очень своеобразно дополняет «Вводный закон к УК РСФСР»:

«т. Курский!

По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу) ⟨...⟩ ***ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т. п.****; найти формулировку, ставящую эти деяния* ***в связь с международной буржуазией*** *и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п.).*

Прошу спешно вернуть с Вашим отзывом.

15/V» (Т. 45. С. 189).

На следующий день (или 17 мая — спешка-то какая — не может начаться суд над эсерами!) В. Ульянов лично инструктирует Курского, однако последний, видимо, никак не мог найти такой чудовищной формулировки, которая *любой вид деятельности оппозиционной партии* карала бы смертью. Пришлось В. Ульянову писать самому именно такую формулировку:

«17.V.1922.

т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного Кодекса. ⟨...⟩ Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически узкое) положение, мотивирующее ***суть и оправдание террора****, его необходимость, его пределы.*

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. ***Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого****.*

С коммунистическим приветом

Ленин

Вариант 1:

Пропаганда, или агитация, или участие в организации, или содействие организациям, ***действующие*** *(пропаганда и агитация)* ***в направлении помощи*** *той части* ***международной буржуазии****, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному ее свержению, путем ли интервенции, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и т. под. средствами,*

карается высшей мерой наказания*, с заменой, в случае смягчающих вину обстоятельств, лишением свободы или высылкой за границу.*

Вариант 2:

а) Пропаганда или агитация, объективно содействующие * *той части международной буржуазии, которая и т. д. до конца.*

б) ***Такому же наказанию подвергаются*** *виновные в участии в организациях или в содействии организациям или лицам, ведущим деятельность, имеющую вышеуказанный характер (деятельность коих* ***имеет вышеуказанный характер****.*

* вариант 2б содействующие или способные содействовать»

(Т. 45. С. 190—191).

Кровь стынет в жилах от этой проповеди беззакония, когда правосудие подменялось «революционным правосознанием»,

---

[1] Бесчеловечные репрессии по отношению к крестьянам направлялись и лично В. Ульяновым. Например, в Постановлении Совета Труда и Обороны от 15.02.1919, председателем которого также являлся В. Ульянов, предписывалось следующее: «⟨...⟩ Дзержинскому немедленно арестовать несколько членов исполкомов и комбедов в тех местностях, где расчистка снега производится не вполне удовлетворительно. В тех же местностях взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны» (В. И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917—1922). М.: 1975. С. 151—152). Кстати, в упомянутом почти 700-страничном сборнике, заинтересованный читатель найдет массу материалов о прямом руководстве В. Ульяновым мероприятиями чрезвычаек, доходящем до конкретных указаний о способах проведения карательных мероприятий.

[2] Одним из побудительных импульсов, подвигавших В. Ульянова, был, несомненно, предстоящий суд Верховного революционного трибунала над эсерами, их ЦК, о котором ГПУ сообщило еще 28 февраля 1922 года.

когда за агитацию и пропаганду — расстрел. А чего стоит формулировочка «способные содействовать», с помощью которой можно послать на смерть любого человека в мире, руководствуясь «революционной совестью»?

Чтобы у читателя не создалось впечатления, что взгляды на террор были чужеродными для В. Ульянова, что они были вызваны ожесточением гражданской войны, подчеркнем, что писались эти указания Курскому после ее окончания, причем В. Ульянов не довольствовался только областью политики. Тремя месяцами ранее он давал аналогичные советы Г. Бриллианту, в то время работавшему в комиссариате финансов, карать за экономические проступки в мирное время: «Обдуманы ли формы и способы ответственности членов правлений трестов за неправильную отчетность и *за убыточное* ведение дела? Не спит ли у нас НКюст? Тут нужен ряд *образцовых* процессов с применением *жесточайших* кар. НКюст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует *новых* способов *новой жестокости* кар»[1] (Т. 54. С. 160).

При жизни В. Ульянова секретные указания Курскому света не увидели, зато были учтены в разделе УК «О контрреволюционных преступлениях». Характерно, что первое письмецо от 15 мая 1922 года впервые было опубликовано как раз в 1937 году, но и тогда не полностью!

Итак, III сессия ВЦИК (12—26 мая 1922 года) утвердила первый советский УК, 1 июня он был введен в действие, а 8 июня начался суд над эсерами: 12 человек были приговорены к смертной казни.

Какая школа для И. Джугашвили! Печально знаменитая «58-я» зрела у него в голове!

В связи с письмами В. Ульянова Курскому, содержащими обоснование физического уничтожения социалистической оппозиции в стране, возникает еще один вопрос: забыл или нет В. Ульянов о своих обещаниях периода гражданской войны? Впрочем, обещания — не совсем точное слово. Судите сами.

На пленуме Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов он выступал 11 апреля 1919 года с докладом, а потом отвечал на вопросы. Один из них касался забастовки в Туле. Вот что услышали собравшиеся: «Я конкретными материалами относительно Тулы не располагаю ⟨...⟩. Но я знаю политическую физиономию газеты „Всегда Вперед!“[1]. Это — не что иное, как подстрекательство к стачкам. Это есть попустительство по отношению к нашим *врагам — меньшевикам* *, которые подстрекают на забастовки. Кем-то мне был задан вопрос: доказано ли это? Я отвечу, что, если бы я был адвокатом[2] или стряпчим или парламентарием, я был бы обязан доказывать[3]. Я ни то, ни другое, ни третье, и этого я делать не стану, и это мне ни к чему. Допустим, что ЦК меньшевиков лучше, чем те меньшевики, которые прямо изобличены в Туле, что они подстрекали[4],— я даже не сомневаюсь, что часть ближайших членов меньшевистского комитета лучше,— но в политической борьбе, когда вас берут за горло белогвардейцы, разве можно это различать? разве нам до того? ⟨...⟩ *Может быть* *, через два года, когда мы победим Колчака, мы будем в этом разбираться, но не теперь ⟨...⟩» (Т. 38. С. 291—292).

«Может быть», сказанное в адрес меньшевиков, как видим, закончилось указаниями комиссару юстиции Курскому через три года «расширить применение расстрела» «ко всем видам деятельности» членов социалистических партий! Воистину, горе побежденным! Воистину, далеко смотрел один из любимых писателей В. Ульянова, цитатами из которого так любил он оживлять свои статьи. Вспомним к месту и мы одну цитату из сказки (сделаем исключение для великого русского писателя — приведем его псевдоним) М. Е. Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц», которому собиравшийся его съесть волк говорил: «Сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

А теперь у нас, не краснея, любят говорить *о* том, что однопартийная система в СССР сложилась исторически, забывая при этом, что вся история сводится к бесконечному мартирологу расстрелянных, зверски убитых, высланных.

И начиналось это до начала гражданской войны и даже Октябрьской революции, когда В. Ульянов объявлял партии социал-демократов (меньшевиков) и социалистов-революционеров, партии социалистические, ставящие своей конечной целью построение социализма в России

---

[1] Имея в виду извечную сумятицу в советской экономике, страшно запутанную отчетность, как не вспомнить, в связи с данным указанием В. Ульянова, шахтинское дело, процесс Промпартии?

---

[1] «Всегда Вперед!» — орган социал-демократов (меньшевиков), выходил в Москве: 1918 год — один номер, 1919 год — с 22 янв. по 25 фев., газета закрыта большевиками.

[2] А ведь были такие времена: В. Ульянов сдал экзамены за юридический факультет Петербургского университета и в молодости зарабатывал себе хлеб тем, что был помощником присяжного поверенного.

[3] Воистину, ответ диктатора.

[4] Да, совсем забыл В. Ульянов свое прошлое периода «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

(и который их единомышленниками за рубежом уже построен — вспомним Швейцарию, Швецию, Австрию, Финляндию и так далее), так вот В. Ульянов эти партии объявил мелкобуржуазно-демократическими, «ближайшими противниками», «враждебными» большевикам! Что стоило потом И. Джугашвили, после таких заверений учителя, объявить главными врагами коммунистов в Германии социал-демократов, что в 1933 году позволило прийти к власти национал-социалистам, причем парламентским путем!

Итак, уже при В. Ульянове сложилась структура над рабочим классом, над всем остальным населением России, осуществлявшая диктатуру от имени пролетариата. Диктатуру, не ограниченную никакими законами. На вершине пирамиды находился В. Ульянов, сконцентрировавший необъятную власть.

Отметим, что цезарепапизм пришел на Русь еще аж из Византии, где «глава государства, император, обладал несомненным верховенством над церковью, соединяя в себе светскую власть на территории империи с авторитетом духовного главы не только всех ромеев, но и народов, входивших в диоцезию константинопольского патриарха»[1].

В 1917 году один идеологический догмат — религиозный — заменили другим — марксистским, но традиции, как видим, сохранились, вплоть до того, что поклонение мощам киево-печерских и других старцев было заменено поклонением мощам В. Ульянова и И. Джугашвили. Последнего, правда, все же похоронили.

Эти замечания требуют, пожалуй, маленького дополнения. В. Ульянов, являясь главой партии, стал единоличным главой государства.

(И вот в конце XX века мы решили пойти еще дальше. На XIX партконференции М. Горбачев «неожиданно» выдвинул идею совмещения постов, чего не было даже в царской России, где посты губернатора и митрополита были все-таки разделены.)

Вернемся, однако, к В. Ульянову. Он давал стратегическую линию партии и государству, он указывал идеал. А идеал — коммунизм, основа которого — коммунистический труд. И вот над залитой кровью братоубийственной войны страной, доведенной до людоедства, несется:

«Коммунистический труд ⟨...⟩ есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, *труд вне нормы, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении* *, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд, как потребность здорового организма» (Т. 40. С. 315).

Неизвестно, придет ли когда-нибудь человечество к такого рода организации труда и стоило ли ради нее проливать потоки крови, но зато природа создала несколько сообществ, давно живущих по-коммунистически. Это муравьи, пчелы, термиты и тому подобное.

А как же собирался людей приучать к такому труду В. Ульянов? В той же статье под характерным названием «От разрушения векового уклада к творчеству нового», есть и ответ: «Субботники, трудовые армии, трудовая повинность — вот практическое осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда».

Итак, снова насилие, повинности, трудовые армии... Неужели В. Ульянов не понимал, что насилием и разрушением он ничего не добьется? Что террором можно уничтожить людей, но заставить их производительно работать нельзя? По-видимому, нет, если завершал упомянутую статью так: «И мы возьмемся за эту работу со всей энергией. Выдержка, настойчивость, готовность, решимость и умение *сотни раз испробовать, сотни раз исправить и во что бы то ни стало добиться цели* * ⟨...⟩»

Как цинично это «во что бы то ни стало добиться цели», лишь немного перефразируемое иезуитское «цель оправдывает средства»!

Итак, абсолютизация классовой диктатуры, насилия, всяческие методы подавления, метод проб и ошибок, черно-белое упрощенное видение мира, когда не признавалось право на существование другого мнения.

Настала пора стереть пыль с иконописного лика и, вглядевшись пристальнее в это трагическое лицо, почувствовать его жуть, ужаснуться содеянному и перестать совершать трагические ошибки. В этом сейчас задача: чтобы не было пути к возврату прошлого, к крови, к страданиям, к диктатуре, замешанной на старых идеологических догмах.

Нельзя экспериментировать на народе! Пора это понять руководству и сойти с непроторенной тропы. Пора это осознать и народу. Слишком велика, как показывает исторический опыт, цена таких экспериментов. Нам и нашим детям уже не

---

[1] Я. Н. Щапов. Государство и церковь в Древней Руси (конец X — первая половина XIII в.). В кн.: Введение христианства на Руси. М., 1987. С. 129.— Ромеями называли себя византийцы; диоцезия *(лат.)* — в Древнем Риме городской округ или часть провинции.

хватит сил и средств расплачиваться за ошибки очередного лидера, счет которым открыл В. Ульянов.

Его главной ошибкой стал насильственный захват власти в стране, впервые за всю свою историю поворачивающейся лицом к демократии. Заканчивая «Государство и революцию», перед самым Октябрем, В. Ульянов написал: «(...) приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать» (Т. 33. С. 120).

Он считал, что все пойдет по им писанному, однако действительность очень скоро опровергла все его прогнозы, главным из которых был, пожалуй, в том, что война империалистическая превратится в войну гражданскую не только в России, но и в Германии, Франции, Англии, и придет помощь с Запада. Этим мессианским пророчеством пестрят его статьи и речи периода гражданской войны, в которых чувствуется страстное желание их осуществления. Вот, например, фрагмент речи 11 (24) января 1918 года на III Всероссийском съезде Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов: «(...) Теперь мы видим, что во всех странах мира социалистическая революция зреет не по дням, а по часам». Мы-то теперь видим другое: в этих словах сквозила поразительная слепота накануне национальной катастрофы, которую большевики энергично инициировали!

Впрочем, В. Ульянов ссылался на авторитет «великих основоположников социализма Маркса и Энгельса», которые «говорили, что в конце XIX века будет так, что „француз начнет, а немец доделает"» (Т. 35. С. 278). А далее В. Ульянов раскрывает процитированное им «пророчество» Маркса из письма Энгельсу от 12 февраля 1870 года: «Француз начнет потому, что в течение десятилетий революции он выработал в себе тот беззаветный почин в революционном действии, который сделал из него авангард социалистической революции». И вот как заканчивает речь В. Ульянов: «Наша социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами. Там — драка, война, кровопролитие, жертвы миллионов людей, эксплуатация капитала, здесь — настоящая политика мира и социалистическая республика Советов.

Дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс, они дали нам, русским трудящимся и эксплуатируемым классам, почетную роль авангарда международной социалистической революции, и мы теперь ясно видим [1], как пойдет далеко развитие революции; русский начал — немец, француз, англичанин доделает, и социализм победит» (Т. 35. С. 279).

Какая жуткая ошибка, идущая от самоуверенности марксистов, якобы познавших законы истории! «Немец» отнюдь не доделал. Он, наоборот, изо всех сил навалился на слабого противника — Россию, армию которой большевики сознательно разваливали и, придя к власти, демобилизовали [1] в слепой надежде на германскую революцию. Итог был немедленный — позорный Брестский мир. Но и после Бреста В. Ульянов упрямо продолжал твердить: «(...) насильники приставили револьвер к нашему виску, мы сказали: получите оружие, деньги, мы с вами потом расквитаемся иными средствами. На немецкий империализм мы знаем другого врага, которого слепые люди не замечали, — немецких рабочих» (Т. 38. С. 342—343).

Но только новые жертвы сотен тысяч людей «там», на Западном фронте, на котором Германия с удвоенной силой воевала благодаря ограблению России, только фактически благодаря победе Антанты Россия смогла аннулировать Брестский мирный договор [2].

А задумывался ли кто-нибудь о том, что было бы с Россией, если бы тогда победила Германия? Что сделал бы тогда Вильгельм II с В. Ульяновым и его решительными соратниками? А может, учел бы их старания по развалу русской армии?

В связи с унизительным для России Брестским миром следует сказать, что снова В. Ульянов оказался не правым, а правыми оказались «революционные оборонцы», пытавшиеся предотвратить национальную трагедию.

Итак, переоценил В. Ульянов «немцев», не получилось и «Всемирной Советской республики». Все тяготы построения «социализма» обрушились на далеко не передовую страну, на несчастную Россию.

И что же получилось в итоге?

[1] Этот пример показывает, что научная база ленинизма вовсе не безупречна, если включает в себя такого рода «ясновидение».

[1] В сущности, это было преступное, безответственное «авось», когда судьба России ставилась в зависимость от положения дел в воюющей с ней Германии.

[2] Об ожесточенности сражений на Западе в 1918 году свидетельствуют данные о потерях. Германия, например, из 1 773 700 человек, убитых за всю первую мировую войну, в 1918 году потеряла на Западе около 800 000. Для сравнения приведем цифры потерь в войне основных стран Антанты (по данным Британской энциклопедии, 1964. Т. 23. С. 775): России — 1 700 00, Франции — 1 357 800, Британская империя — 908 371, Италия — 650 000, США — 126 000, Сербия — 45 000.

После заключения Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года ВЦИК 13 ноября аннулировал Брестский мир. Сепаратный выход России из войны (незавершенность конфликта) стал одной из глубинных причин новой войны с Германией в 1941 году.

Будем честны сами перед собой: большая часть задуманного В. Ульяновым не осуществилась. Не осуществились надежды на Всемирную пролетарскую революцию, не осуществились планы создания в России строя, превосходящего капитализм, ибо нельзя же всерьез настаивать на успехах государства, где в угоду идее были принесены в жертву несколько поколений людей, где долгие годы осуществлялся настоящий геноцид, где эксплуатация человека человеком заменена значительно более тяжелой и изощренной эксплуатацией человека государством, где абсолютное большинство населения — бедные [1], где средний возраст людей низок, не хватает продовольствия, экологическое состояние катастрофично, национальный вопрос обострен до предела, гибнут люди, зато преступность цветет пышным цветом, где социальная несправедливость бросается в глаза, медицинское обслуживание находится почти в первобытном состоянии, просвещение оставляет желать лучшего, где...

Впрочем, список можно продолжать очень долго — по всем социально-экономическим показателям страна попадает в разряд слаборазвитых, а величие империи держится только ее размерами да иссякающим терпением некогда трудолюбивого народа.

Необходимо также, наконец, признать, что В. Ульянов был деятелем левоэкстремистского толка, порвавшего с общечеловеческой моралью. Каковы бы ни были мотивы его поступков, необходимо признать, что он активно способствовал уничтожению миллионов, лично отдавал приказы об убийствах заведомо ни в чем не виновных людей. Пора, наконец, судить об исторических лицах не по замыслам, а по результатам их деятельности.

Как известно, основатель христианства сам пошел на крест, на мучительную смерть, чтобы искупить грехи человеческие. Неудивительно, что память о его самопожертвовании, его учение стали священны и поныне составляют одну из основополагающих частей современной цивилизации. Однако нашлись такие последователи Христа, которые во имя идеи стали сжигать людей на костре, а один из фанатиков — Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов (1534) — провозгласил принцип допустимости любого преступления ради «вящей славы божьей». Кстати, основными организационными принципами иезуитского ордена стали строгая централизация, повиновение младших по положению старшим, абсолютный авторитет главы ордена, взаимный шпионаж членов.

Схожие организации не раз возникали в истории человечества. И каждый раз, когда фанатизм брал на вооружение иезуитчину, результаты были ужасающие. Таким был национал-социализм, таким был ефрейтор Шикльгрубер, сумевший наладить уничтожение людей в первую очередь по национальному признаку. Таким оказался В. Ульянов, наладивший уничтожение людей по признаку классовому. Иезуитчиной же своей глава большевиков явно бравировал: «Нас упрекают за диктатуру пролетариата, за железную, беспощадную, твердую власть рабочих, которая *ни перед чем не останавливается* * и которая говорит: *кто не с нами — тот против нас* *, и малейшее сопротивление против этой власти будет сломлено. *А мы этим гордимся* * (...). Мы гордимся этой диктатурой, этой железной властью рабочих, которая сказала: мы свергли капиталистов и мы ляжем все костьми при малейшей попытке их снова восстановить свою власть» (Т. 40. С. 295).

Фанатизм В. Ульянова, возглавившего самую кровавую в истории человечества гражданскую войну, просто чудовищен. Ужасно и печально, что несомненно существовавшая историческая перспектива развития России по демократическому пути (февраль 1917 года) не осуществилась. Не прислушалась в свое время Россия к пророческим призывам Льва Толстого. Стихия кровавого бунта, веками копившегося под гнетом российских самодержцев (кому-то теперь, на фоне большевиков, кажущихся образцом нравственности), захлестнула страну. К несчастью, в малограмотной и озлобленной стране, доведенной бездарным Николаем II до трагического взрыва, не хватило внутренних сил для разумного разрешения конфликтов. Ситуацией гениально сумел воспользоваться В. Ульянов, установивший в России бесчеловечную диктатуру. В сознание людей им лично и его последователями была внедрена идея насилия как допустимого способа разрешения конфликтов.

Наше будущее, будущее всего мира (начиненного оружием массового уничтожения) зависит сейчас от того, сумеем ли мы преодолеть синдром насилия, глубоко въевшийся в нас наравне с рабством. С каким теоретическим багажом шагнет страна в XXI век? Надо откровенно признать, что намечающийся сейчас поворот общественного сознания к общечеловеческим ценностям есть открытый разрыв с ленинизмом. Так смелее вперед, освобождаясь от фанатизма, насилия и рабства.

Довольно крови, довольно насилия!

Июль — август 1989
Саки — Ленинград

[1] См. интересные данные А. Заиченко, считающего бедными 86,5 % населения СССР (Аргументы и факты, 1989, № 27), и А. Попова, относящего к «нижнему» классу 61,6% населения СССР (Там же. 1989, № 42).

Виталий
СТАРЦЕВ

ПОЛИТИК И ЧЕЛОВЕК

Получив из редакции статью А. А. Матышева «Диктатор», я уехал на две недели в Англию. Там мои друзья, которые до этого девять лет безуспешно пытались меня пригласить, подарили мне пару научно-фантастических романов. Это моя слабость, из наших авторов я поклонник братьев Стругацких, а из англоязычных люблю классику — Азимова и Кларка. Среди этих подаренных книг был роман американцев Ларри Нивена и Джерри Пурнелла «Соломинка в божьем оке» (использована знаменитая пословица «а чужом глазу соломинку мы видим, а у себя не видим и бревна»). Сказали: «Это как Азимов!» И вот Матышева я читал пополам с этой «Соломинкой». Добрался я до сцены, когда главный боевой космический корабль Второй империи «Ленин» отправляется для установления контакта с внеземным разумом. Дело происходит в 3017 году! И тут меня прямо в сердце сразил контраст. Вы подумайте! Два американских ученых, математики и инженеры, писатели и футурологи, предлагая в форме научно-фантастического романа свой прогноз развития человечества на тысячу с лишним лет вперед, предвидят конвергенцию и слияние двух потоков мировой цивилизации. Имя Ленина для них священно и вечно. Именно этим именем правительство Второй империи после двух космических войн (оцените юмор — «Великой Отечественной» и «Войн раскола», последняя длится почти триста лет) называет свой самый мощный боевой корабль, а наш автор в 1989 году, всего через 72 года после Октябрьской революции, затыкает уши и не желает его слышать! Максимум, на что он согласен, назвать этого «диктатора» Ульяновым. Сколько же необъективности и ненависти надо скопить, сколько неуважения иметь к истории собственной страны, к тому, что БЫЛО, чтобы провозгласить программной задачей уничтожение псевдонимов, партийных кличек ради раскрытия «подлинных фамилий и имен». «Так легче расставаться с мифами»,— пишет А. А. Матышев. Полноте! В этом ли дело? Под чужими именами вошли в историю и литературу Марк Твен и Льюис Кэррол, Горький и Ахматова, Гитлер и Сталин. История литературы и общества будет выглядеть по-иному, если мы заменим эти «псевдонимы» на настоящие имена. Что за претенциозная затея! Но это к слову. Кроме антисемитов, испытывающих физическое наслаждение, когда Троцкого они открыто могут назвать Бронштейном, в Каменева — Розенфельдом, вряд ли кто поддержит «революционное» предложение А. А. Матышева. В свое время частное совещание членов Государственной думы 19 июля 1917 года назвало на своем заседании, а потом и опубликовало подлинные еврейские фамилии около 30 лидеров Петроградского Совета и Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов (р. и с. д.— данное сокращение они тоже «расшифровывали» по-своему — «рачьих и собачьих депутатов»), всех — большевиков, меньшевиков, эсеров. И что же из этого получилось? Народ все равно пошел за Советами, за их лидерами, независимо от их национальности, и прогнал от власти представителей истинно русских помещиков и капиталистов, генералов и чиновников. Да еще пошел за самыми левыми экстремистами из них, за большевиками! Поэтому я отношусь к идее А. А. Матышева как к смешной причуде, на которую он в наш век плюрализма, конечно же, имеет право. Но я по-прежнему буду называть Иосифа Джугашвили Сталиным, а Владимира Ульянова — Лениным. Думаю, что это нисколько не помешает ни мне, ни читателям расставаться с мифами.

Второе предварительное замечание о «диктаторе». Наш автор не первый называет так В. И. Ленина. Владимиру Ильичу пришлось услышать это от весьма близкого ему человека и соратника уже на шестой день после того, как он стал Председателем Совета Народных Комиссаров. И называл его так А. В. Луначарский (Кстати, отцом «Луначарского» был некто Антонов, который вскоре женился на его матери. Но маленький Толя родился тогда, когда она еще формально была замужем за полтавским помещиком Луначарским. Тот дал свою фамилию родившемуся ребенку. Следуя логике А. А. Матышева, мы должны были бы Луначарского именовать «Антоновым»!). Недавно у нас впервые опубликована «пропавшая грамота» — протокол заседания Петербургского комитета РСДРП(б) от 1 ноября 1917 года, который был вырван из корректуры сборника «Первый легальный Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 г.», изданного в 1927 году, за то, что Ленин там позволил себе назвать Л. Д. Троцкого «лучшим большевиком». Разумеется, это никак не могло быть напечатано в 1927 году, когда по требованию Сталина лидер оппозиции «большевиков-ленинцев» был исключен из большевистской партии. 1 ноября 1917 года — это момент, когда войска Военно-революционного комитета Петроградского Совета только-только добились победы над войсками Керенского — Краснова, заключили перемирие с казаками, а в Москве еще продолжалась вооруженная борьба. По требованию Всероссийского исполнительного комитета железнодорожников (ВИКЖЕЛЬ), угрожавшего Совнаркому всеобщей железнодорожной забастовкой, были начаты переговоры с меньшевиками, правыми эсерами, меньшевиками-интернационалистами, левыми эсерами и народными социалистами об образовании «однородного социалистического правительства». ЦК большевиков вынужден был согласиться идти на эти переговоры и даже на то, чтобы Ленин и Троцкий в такое правительство не вошли (а вот Луначарского на пост министра народного просвещения меньшевики и правые эсеры охотно соглашались взять). Переговоры вели от имени ЦК РСДРП(б) Л. Б. Каменев и Г. В. Сокольников. Идею отказа от чисто большевистской власти поддерживало в этот момент значительное число большевиков, в том числе В. П. Ногин, А. И. Рыков, Г. Е. Зиновьев, А. В. Луначарский, А. Г. Шляпников, В. П. Милютин, И. А. Теодорович. Луначарский к тому же, узнав о том, что большевики в Москве применяют артиллерию в борьбе с юнкерами и уже обстреляли Кремль, в газетах за 1 ноября напечатал свой протест против этого варварского разрушения культурного наследия страны.

Заседание началось с того, что Ленин предложил немедленно исключить Луначарского из партии. Но, как записано в протоколе, «исключение отвергается». Расхрабрившийся Луначарский в своей речи, защищая принцип разделения власти с другими «советскими партиями», в частности, заявил: «Мы стали очень любить войну, как будто мы не рабочие, а солдаты, военная партия. Надо созидать, а мы ничего не делаем. Мы в партии полемизируем и будем полемизировать дальше, и останется один человек-диктатор» (Вопросы истории, 1989, № 10. С. 122). После этих слов раздались аплодисменты. Кто же защитил Ленина? Другой кандидат в диктаторы, если верить сегодняшней публицистике, Троцкий. «Аплодисменты Луначарскому за фразу о диктатуре одного лица,— сказал Троцкий,— это я с горечью здесь слышал. Почему, на каком основании партию, которая захватила власть в бою, в котором была пролита кровь, они хотят обезглавить, отстранив Ленина?» (Там же. С. 124.)

И вот еще одно свидетельство близкого человека, друга и соратника, принявшего последний вздох Владимира Ильича. Недавно в «Правде» был перепечатан отклик Н. И. Бухарина на смерть Ленина, впервые опубликованный той же газетой 24 января 1924 года. Бухарин подчеркивал простоту Ленина, горячо любимого в то же время своими соратниками. «И вместе с тем,— откровенно писал Николай Иванович,— Ленин властно вел всю партию, а через нее всех трудящихся. Он был диктатором в лучшем смысле этого слова. Впитывая в себя, точно губка, все токи жизни, перерабатывая в своей изумительной умственной лаборатории опыт сотен и тысяч людей, он в то же время мужественной рукой вел за собой, как власть имеющий, как авторитет, как могучий вождь. Он никогда не подлаживался к отсталости, он никогда пассивно не „регистрировал" событий. Он мог идти против течения со всей силой своего бешеного темперамента. Таким и должен быть настоящий массовый вождь» (Правда, 1990, 21 янв.).

Итак, «диктатор» через 6 дней после захвата власти, «диктатор» и через шесть с лишним лет! Идущий против течения, против большинства ЦК, зовущего сдать власть, 1 ноября 1917 года; и державший эту власть шесть лет, проведший своей рукой, «как власть имеющий», страну через четыре года гражданской войны и повернувший ее к миру, к восстановлению, к нормальной хозяйственной жизни. «Диктатор»... Когда употреблял это слово Луначарский, то грозил: мы все уйдем, а Ленин останется в партии один. Что же получилось? Они все остались с Лениным, как бы ни грозили ему, как бы ни расходились с ним по многим вопросам. «Диктатор»... когда говорил это Бухарин, то имел в виду «лучший смысл этого слова». Он был нашим товарищем, но он был и народным вождем, он был диктатором, умевшим перерабатывать волю миллионов в единственно возможное решение и добиваться его выполнения. Сначала это было удержание власти, защита государства Советов, затем переход к миру, восстановление нормальной жизни.

А что же имеет в виду наш автор, употребляя слово «диктатор» в заглавии своей статьи? Для него диктатор В. Ульянов — вождь «хладнокровных, бесчеловечных убийц, во имя догматически воспринятой теории совершивших величайшие преступления в истории человечества». Ленин с небольшой группой «бесчеловечных убийц», будучи злонамеренным догматиком, заранее разработал план порабощения народа России, план проведения догматических экспериментов на его теле, непонятным образом захватил власть, и, упиваясь кровью, заставил 150 миллионов людей принудительно трудиться. Переход к нэпу не уменьшил числа жертв, лишь изменились формы кровавого террора. Джугашвили-Сталин — только способный ученик своего учителя, который воспользовался уже готовой бесчеловечной машиной террора и исправно пускал ее в дело. Надо скорее отказаться от всего прошлого, от Ленина в первую очередь, и вернуться в лоно

социал-демократии, к Каутскому. Такое вот избавление от мифов.

Надо сказать, что А. А. Матышев не одинок в высказанном выше взгляде. Не опускаясь слишком глубоко в историю, не упоминая о критике ленинизма со стороны российских меньшевиков и эсеров, судьбу которых столь близко к сердцу принимает наш автор, тем более не тревожа прах давно почивших русских монархистов и черносотенцев, надо сказать, что сходные взгляды высказал в «Архипелаге Гулаге» еще в 1974 году А. И. Солженицын. Полтора года назад свою интерпретацию этой точке зрения дал Владимир Солоухин в своем памфлете «Читая Ленина». Наконец, А. Ципко, взгляды которого понравились А. А. Матышеву (он имел в виду серию его статей в журнале «Наука и жизнь» в 1988—1989 гг.), хотя и критиковались им за недостаточную последовательность, теперь вполне может считаться его полным единомышленником. В «Литературной газете» (1990, № 3, 17 янв.) Ципко заявил вполне в духе нашего автора: «Я все же думаю, что главное в том, что для Ленина Россия — это способ реализации, пусть из гуманных соображений, марксистской теории революции. И здесь трудно спорить с Солженицыным». Спасибо, хоть гуманные соображения признал. Впрочем, про гуманизм — это для отвода глаз. Главное для Ципко вот в чем. Обращаясь к весьма популярному публицисту нашей эпохи проф. В. Сироткину, он говорит там же: «Вы, Владлен, не хотите признать, что исходная система ценностей, которой Ленин руководствовался в период гражданской войны, была ошибочной. Вы не хотите признать, что надежда большевиков на мировую пролетарскую революцию, во имя которой они с чистой совестью жертвовали человеческим потенциалом России, была такой же иллюзией, как и их вера в возможность коммунизма. Я не могу не видеть, что борьба Ленина с так называемой буржуазной интеллигенцией, желание побыстрее избавиться от тех, кто не разделял его веру в грядущее коммунистическое царство, нанесла невосполнимый урон и нашему народу, и нашему государству».

С поразительной быстротой двигаемся мы «вперед» в сфере идей. В октябре 1986 года с призывов М. С. Горбачева и Е. К. Лигачева на совещании представителей кафедр общественных наук стереть «белые пятна» в истории и «назвать все имена» началась «гласность». Первым ответом на эти призывы были публикации В. Логинова и М. Шатрова, Ю. Афанасьева в «Московских новостях» в ноябре-декабре того же года. Призыв Логинова и Шатрова в ЦДЛ в Москве реабилитировать «всех соратников» Ленина воспринимался тогда как «контрреволюция». В ноябре 1987 года М. С. Горбачев в своем докладе назвал впервые имя Бухарина как одного из борцов против «троцкизма». Но вот реабилитирован по государственной и партийной линиям Н. И. Бухарин, признаны невинно убиенными Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, идет «де-факто» реабилитация Л. Д. Троцкого, публикуются некоторые его произведения. Еще ничего толком не разобрано, ничего толком не прочитано, ничего почти не напечатано. Не высказан еще правдивый, цельный, новый взгляд на историю партии, на историю Советского государства, на 72 с лишним года истории России.[1] Но Ципко и Матышев, и десятки других машут руками и кричат нам: «Да ничего этого и не нужно!», «Ведь все 72 года были ошибкой!», «Надо выбросить все это из памяти народной», «Ленин со всей своей сворой Троцких, Зиновьевых и Бухариных был тираном и палачом во власти иллюзий!», «Сталин порожден Лениным», «За борт всех их!», «Вернемся назад, к естественному пути развития!»

Стоп. Здесь начинаются расхождения. Солженицын зовет нас к монархии; Матышев, ссылаясь на Чингиза Айтматова, к «социалистическому раю» Швейцарии, Швеции и других стран; Ципко — к чему-то непонятному, но коренному, русскому. «Поэтому,— говорит Ципко,— важно быстрее вернуться к тому, к чему еще можно вернуться, что осталось от старой России, вернуть исконные права православной церкви, возродить народные промыслы, традиционное русское производство, свободного крестьянина, традиции, символы старой России, надо, в конце концов, вернуть Сибирь, ее земли предприимчивому русскому человеку». Полагаю, что социализмом в этой буколической картинке вообще не пахнет. Но наш-то автор за демократический социализм, поэтому и почвы общей у нас с ним все-таки больше.

Я попробую остановиться на некоторых чертах концепции Матышева, изложенной в статье, чтобы показать, что автора мало интересует истина, действительные причины событий, соотношения замыслов и результатов. Его интересует осуждение Ленина, осуждение «ленинизированного» марксизма, показ злонамеренности Ульянова, когда «убыль населения в России только за часть периода правления В. Ульянова (1918—1922 гг.) считается большей 15 миллионов человек!» Во имя этой цели все сгодится: и монтаж из цитат, и полное забвение факта гражданской войны (ее же специально вызвали «ульяновцы» для осуществления геноцида!) и пр. и пр.

Насилие и террор в политической жизни России. Эти методы решения общественных и политических конфликтов в нашей стране были изобретены задолго до большевиков и до рождения «диктатора» Ленина. Не будем углубляться в десять веков ее истории, заглянем только в последний, одиннадцатый век. 1903—1904 годы — убийство эсерами министров внутренних дел Сипягина и Плеве, убийство финляндскими «активистами» генерал-губернатора Бобрикова, десятки удачных и неудачных покушений эсеровских боевиков на губернаторов и вице-губернаторов. 1905 год начался 9 января. В ходе расстрела рабочих демонстрантов погибло свыше двухсот человек. Издание Манифеста 17 октября сопровождалось дикими еврейскими погромами на Украине, убийствами революционеров, организованными черносотенцами. В ходе восстаний в Кронштадте и в Прибалтике убиты десятки офицеров и полицейских. Руководство всеобщей стачки в Москве в декабре 1905 года, состоящее из эсеров, меньшевиков и большевиков, не посоветовавшись со своими центрами, решает перевести стачку в вооруженное восстание. В это время большевики и Ленин, не имея ни малейшего представления о планах москвичей (Ленин «планировал» организацию восстания против царской власти на весну 1906 года), едут в Таммерфорс, в Финляндию, на свою конференцию. В результате этого неорганизованного и во многом стихийного восстания — тысячи жертв среди рабочих, солдат и мирного населения. Сотни жертв в результате стихийных восстаний по всей стране. Кронштадтские матросы, сами участвовавшие в антиправительственном восстании в конце октября 1905 года, теперь «смывают кровью позор», зверски подавляя крестьянское восстание в Латвии. Организация отрядов боевиков (в основном под руководством меньшевиков и народников) в Грузии, бои, партизанская война. Сотни убитых русских солдат и грузин.

В 1906 году эскалация насилия и террора продолжается. Русская армия, возвращаясь после проигранной русско-японской войны с Дальнего Востока, расправляется вдоль транссибирской магистрали с участниками восстаний и забастовок, крестьянских мятежей. Опять сотни убитых и раненых. В июле 1906 года произошли восстания моряков и солдат в Свеаборге и Ревеле. Организаторы — эсеры и большевики. Но главное — стихийные взрывы недовольства солдат. Убийства офицеров, расправы, расстрелы, суды. Август 1906 года — эсеры-максималисты устраивают покушение на П. А. Столыпина, взорвав его дачу на Каменном острове в Петербурге. Столыпин не пострадал, ранены его дети, убито около тридцати ни в чем не повинных людей, записавшихся к нему на прием, охрана, швейцар и сами покушавшиеся. Тогда Столыпин проводит указ о военно-полевых судах. Вылавливается почти вся партия эсеров-максималистов. Вешают почти три тысячи ее членов, казнят также несколько десятков боевиков других партий. 20 апреля 1907 года Вторая Государственная дума отменяет столыпинский указ. Но еще два года судит и вешают по приговору судов обычных. Добавим к этому, что в ходе антипомещичьих крестьянских восстаний и мятежей в период первой русской революции крестьянами было разграблено и сожжено около 15 % всех помещичьих имений. При этом было убито немало помещиков, управляющих и членов их семей, а сотни крестьян были в отместку расстреляны, выпороты, судимы, сосланы. И напомним читателю, что большевики практически не имели связей с крестьянами в это время, большинство этих антипомещичьих выступлений были стихийными, а часть организована партией эсеров. Присовокупим ко всему этому жертвы удачных и неудачных экспроприаций и партизанских действий, совершенных боевиками эсеров, максималистов и большевиков. И получим итог в десятки тысяч убитых. Вину за эти жертвы надо, как минимум, поровну распределить между революционными партиями (эсерами, эсерами-максималистами, анархистами, меньшевиками, большевиками, национальными народническими и марксистскими партиями) и царской властью. Именно негибкость русского правительства, неумение вовремя идти на уступки и компромиссы, рефлекс применения оружия по каждому поводу, эти вечные качества русской государственной власти множили число жертв, делали неизбежным насильственный путь решения вопросов революции, проблем общественной жизни. После двух-трех лет затишья — убийство П. А. Столыпина эсером Богровым, имеющим связи и с царской охранкой. Это сентябрь 1911 года. А в апреле 1912-го — расстрел рабочих полицией на прииске «Лена-голдфилдс». Перед самой войной — всеобщая стачка в Петербурге, баррикады, стычки с полицией, снова пролита кровь. Ну, а уж в обстановке войны, когда кровь льется рекой, насильственные способы решения внутренних конфликтов становятся допустимым с моральной стороны для всех участников этой неразрешимой распри.

С осени 1915 года часть руководителей русской либеральной буржуазии планирует проведение дворцового переворота. С осени 1916 года его готовят две параллельные группы. Предусматривается возможность убийства Николая II, если он окажет сопротивление. И это не Я. М. Свердлов и другие, «хладнокровные, бесчеловечные убийцы», а весьма респектабельные — лидер октябристов

[1] Статья написана в январе 1990 г.

А. И. Гучков, инженер и левый кадет Н. И. Некрасов, миллионер М. И. Терещенко, «непротивленец» князь Г. Е. Львов, тифлисский богатей и городской голова А. И. Хатисов. Просчитываются варианты заключения царицы и царской семьи, возможной ликвидации Александры Федоровны в случае сопротивления охраны. Такие мысли роятся и в окружении Председателя Государственной думы октябриста М. В. Родзянко. В его присутствии генерал А. М. Крымов заявляет, что царя надо убить! А в это время сама царица в письмах к Николаю II настаивает на том, чтобы Гучков и Керенский были повешены. На фронте множатся случаи неповиновения, солдаты отказываются идти в наступление. С максимальной нагрузкой работают военные юристы, приговор — расстрелы, стреляют из наганов в головы солдат прапорщики и поручики, полковники ставят пулеметы за наступающими частями.

Военный переворот готовился слишком медленно. На фоне упрямого нежелания власти считаться с угрозой катастрофы, отказа от необходимых уступок на пути превращения России в нормальное конституционное правовое государство начинается забастовка 23 февраля 1917 года в Петрограде. Каков ответ власти? Полиция и войска выходят на улицы. Вид войск, как это всегда бывает, лишь распаляет демонстрантов. Три дня демонстрации военной силы приводят к тому, что забастовка в Петрограде, во время внешней войны, стала всеобщей. Тогда по приказу царя 26 февраля стреляют в народ, вводят чрезвычайное положение. Сотни убитых и раненых! Но в эту же ночь солдаты, стрелявшие в своих братьев, в жен и сестер, решают отказаться от выполнения приказов. Утром 27 февраля 1917 года происходит восстание солдат в Петрограде и соединение их с забастовщиками. Как ни пыжились медные лбы из историков партии 70 лет доказать, что февральская революция была организована большевиками, это не так. Это был стихийный взрыв. Сегодня мы видели копию этой революции — это декабрьская стихийная народная революция 1989 года в Румынии.

Насилие справляет свой праздник. «Фараоны»-полицейские стреляют с крыш, используются пулеметы противовоздушной обороны. Убийства и линчевание полицейских со стороны рабочих, солдат, студентов. Убийства офицеров и генералов. В Кронштадте убит комендант крепости. Свыше сотни офицеров схвачены и посажены в холодное арестное помещение: у них отобраны сапоги, шинели, им дают хлеб и воду. В Гельсингфорсе толпа матросов убивает командующего Балтийским флотом адмирала Непенина. Новые убийства, аресты офицеров, волна насилия против командного состава прокатывается по тыловым гарнизонам и действующей армии. Убивают командиров, берут штурмом гауптвахты и тюрьмы. Дисциплина в армии рушится. И все это делает не злонамеренный диктатор Ульянов, а миллионы наших простых и хороших русских людей. Революция началась. Волна насилий, самовольств, издевательств над человеческим достоинством, уличных расправ, убийств началась. И началась задолго до создания ЧК, до ленинских телеграмм 1918—1919 годов. Даже в Таврическом дворце, центре февральской революции, резиденции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного комитета Государственной думы, охрана из солдат-преображенцев издевалась над стариками — царскими министрами и генералами, свезенными со всего города, заставляя вставать и садиться по приказу, не пуская в уборную, матеря и покрывая оскорблениями и пинками. И все это задолго до Октября и гражданской войны. Народная жестокость, озверение, насилие и издевательство над «врагом», попавшим в твои руки, началось с февраля 1917 года. Народ вымещал свой страх и затаенную злобу перед сильным, власть имущим, а теперь повергнутым. Не случайно церковь как бы потерялась в 1917 году. Никакая религия не могла сдержать разгулявшийся народный гнев. Надо ясно сознавать, что, если бы тюремный монолит царской власти не рухнул в феврале 1917 года, если бы народные инстинкты не разнуздались после исчезновения с улиц городовых и жандармов, никакой Октябрьской революции и гражданской войны не было бы. Вот с чем не хотят считаться А. А. Матышев и сторонники аналогичных взглядов.

Временное правительство оказалось слабым и не способным вернуть возбужденную страну в нормальное состояние. По русской государственной традиции оно затягивало решение вопросов, затрагивающих интересы миллионов. Война была непопулярна, и ее нужно было кончить как можно скорее. Временное правительство не сделало этого. Нужно было докончить разрушение помещичьей собственности на землю, отдать всю землю крестьянам. Временное правительство тоже не сделало этого. А только эти две меры могли создать популярность и поддержку власти. Анархия, слабость центральной и местной власти обнаруживались с каждой неделей. На этом фоне все громче звучали групповые и классовые интересы. Любой акт власти, с которым были не согласны солдаты и рабочие, вызывал немедленный стихийный ответ. А он, в свою очередь, новую кровь. Так 20—21 апреля в ходе стихийной (не организованной ни большевиками, ни Петроградским Советом) антиправительственной демонстрации в стычках противников и сторонников Временного правительства получил смертельные ранения 18-летний путиловский рабочий. Десятки людей были ранены и получили травмы. 3 июля 1917 года вопреки призывам большевиков началась июльская антиправительственная демонстрация. Ее организаторами были петроградские анархисты. Грузовики с пулеметами и черными знаменами сеяли страх среди двух с половиной миллионов жителей столицы. На знаменах были лозунги: «Берегись капитал, булат и пулемет сокрушат тебя!», «Да погибнет капитализм от наших пулеметов!». Это делали не большевики, хотя им и пришлось присоединиться к движению, чтобы попытаться придать ему мирный и организованный характер. В результате перестрелок, имевших место 3 и 4 июля, было убито 18 человек, еще 6 умерли от ран, получили ранения, увечья и контузии около 700 человек. После июльских дней правительство восстановило смертную казнь на фронте, ввело «военно-революционные суды». Опять были приговоры, расстрелы. Солдаты отвечали бегством с фронта, самосудами, линчеванием командиров. Снаряжая генерала Крымова с отдельной Петроградской армией в столицу, генерал Корнилов в конце августа был уверен, что тот перевешает на фонарях весь состав Петроградского Совета. Сам Корнилов рассчитывал заманить Керенского и Савинкова в Могилев, в Ставку, под предлогом обеспечения их безопасности, а там убить их. Корниловское восстание было подавлено. Но в ходе его окончательно испарилась власть командиров в армии. Солдаты возненавидели Ставку. Прошла новая волна самосудов в армии. В Выборге бесчинствующие солдаты ворвались в крепость, в штаб гарнизона и 42-го армейского корпуса, захватили с десяток генералов и офицеров, сбросили их с крепостного моста в воду и расстреляли их там сверху... Вот на каком фоне появился призыв В. И. Ленина к восстанию.

Ленин о гражданской войне до Октября. В момент выхода из подполья после февральской революции только 23 тысячи человек объявили о своей принадлежности к большевистской партии. Это была маленькая группа по сравнению с быстро росшей массовой партией социалистов-революционеров. Большевики в этот момент не помышляли о большем, чем быть левым флангом единой «революционной демократии». Приезд Ленина привел к кризису в большевистской партии. Его «Апрельские тезисы» были отвергнуты руководством партии в Петрограде. Министр иностранных дел Временного правительства, лидер партии кадетов П. Н. Милюков благодушно успокаивал посла Франции Мориса Палеолога: «Ленин не опасен, он провалился в Совете рабочих депутатов». Лидер партии эсеров В. М. Чернов пытался смягчить общественную неприязнь к Ленину. Он писал, что Ленин субъективно честный человек, но что его идеи настолько не подходят для русских условий, что их можно не бояться. Идея Ленина была в том, что после первого этапа русской революции, который дал власть буржуазии, должен наступить второй. И он должен дать власть представителям пролетариата и беднейшего крестьянства. Под этими «представителями» Ленин прямодушно понимал только большевиков. За границей он полагал, что народ настолько разобрался в империалистическом характере Временного правительства, что готов немедленно свергнуть «гучковско-милюковское» правительство вооруженным путем. Приехав в Россию, он увидел, что народ еще не дорос до этой идеи. Он доверяет Советам, руководимым эсеро-меньшевистским большинством, а через них — Временному правительству. Оно же, вопреки марксистским прогнозам, не применяет оружия против народа! Но Ленин был уверен: рано или поздно оно скатится к репрессиям! «Пока правительство не начало войну, мы проповедуем мирно»,— провозгласил он. И скоро дождался этого...

Правительство возложило ответственность за организацию июльского движения на большевиков, которых оно не отличало от анархистов. Это было неверно и несправедливо. Но это устраивало правительство, которому большевики уже стали причинять беспокойство. Оказалось, что к их простым лозунгам, к их левому радикализму прислушивается все больше и больше людей. И если на I Всероссийском съезде Советов, открывшемся в начале июня 1917 года, большевиков и сочувствующих со всех «градов и весей» было только 10 %, то на проходивших в те же дни в Петрограде всеобщих выборах в районные думы (они занимались примерно тем же кругом мелких хозяйственных вопросов, до которого низведена сегодня деятельность районных Советов), большевики получили 20 процентов голосов! Лидеры большевиков — Ленин и Зиновьев — были обвинены в подготовке антиправительственного заговора, в измене Родине (какое исключительно гуманное и демократическое обхождение!), выданы были ордера на их арест, на квартирах был произведен обыск. Были арестованы Каменев, Троцкий, Луначарский, сотни офицеров-большевиков, участвовавших в событиях 3—5 июля. Вот тут впервые Ленин и заговорил о восстании, о насильственном свержении Временного правительства путем вооруженной борьбы. Ему казалось 8—10 июля, что это

восстание сможет произойти только после конца войны. Но жизнь с каждым днем стала приносить факты о все убыстряющемся темпе политической борьбы, обострения внутреннего кризиса. В конце июля Ленин уже считал, что новый взрыв недовольства масс, новая стихийная вооруженная демонстрация против правительства может произойти скоро, через несколько недель или дней. И тогда большевики должны дать лозунг взятия власти этим сотням тысяч вооруженных людей, которые выйдут сами по себе на улицы обеих столиц. Корниловщина убедила его, что момент этот близок. Он расценил корниловское восстание как начало гражданской войны со стороны буржуазии. И это действительно было так! Пусть А. А. Матышев опровергнет это. И только после корниловщины Ленин стал разрабатывать вплотную тему о близкой гражданской войне, о том, что она будет значить для буржуазии и для пролетариата. В работах, о которых идет речь,— они написаны в первой половине сентября 1917 года, до знаменитых ленинских писем о восстании,— Ленин рассматривал гражданскую войну как альтернативу мирному развитию революции. Он считал, что разгром корниловщины создал уникальную возможность замены правительства Керенского (его он считал «буржуазным») однородным социалистическим правительством из меньшевиков и эсеров, без участия большевиков. Этот «лидер хладнокровных палачей» предлагал другим социалистическим партиям составить правительство, передать мирно на местах всю полноту власти Советам, а не комиссарам Временного правительства. От имени же большевиков он обещал, что они прекратят пропаганду насильственного свержения правительства, пропаганду новой социалистической революции. Это в очередной раз было признано нереальным чудачеством. Компромисс Ленина был высокомерно отвергнут меньшевиками и эсерами. Так все это было перед Октябрем, которого могло и не быть, если бы ЭТИ доктринеры думали о России, о грозной опасности, нависшей над нею, а не о своих партийных амбициях. А ведь большевики стали уже силой! Их ряды росли. В июле — 240 тысяч членов, в начале октября — 400! Партия же меньшевиков дробилась, из них выделялись группы «левых», рост их замедлился. Почему? Потому что Временное правительство при поддержке меньшевиков и эсеров оттягивало решение вопросов о мире и земле. А большевики говорили людям: окажите нам доверие сегодня, и мир будет заключен завтра! Дайте власть Советам сегодня — земля будет у крестьян завтра! Отчаявшись за семь месяцев революции (во время настоящей революции события бегут быстрее, чем во время «революционной перестройки») получить мир и землю от Временного правительства, от партии эсеров, народ поверил большевикам. Он голосовал за их резолюции, которые еще месяц-другой назад подвергались осмеянию, казались фантастическими и невыполнимыми. 10 миллионов солдат, рабочие, миллионы крестьян увидели в большевиках последний шанс для осуществления своих классовых интересов, и не только классовых (земля, рабочий контроль), но и общечеловеческих — мир, равноправие, свобода, ликвидация привилегий высших сословий. Вот кто вручил власть «узурпаторам» Ленину и Свердлову, вот кто поддержал их поставленное вооруженным путем правительство в первые, самые трудные месяцы, когда их аппарат власти обладал силой недоношенного младенца.

Но А. А. Матышеву и его единомышленникам нет дела до этих фактов, до этой правды. Мы знаем, что 72 года было плохо, были аресты и задержания, насилия и расстрелы. Все за борт! Нам нужна одна правда — долой Ульянова! И все же, что именно писал Ленин за месяц с лишним до вооруженного восстания, как рисовалась ему гражданская война задолго до ее начала? А. А. Матышев считает, что Ленин злонамеренно приуменьшил ее масштабы, чтобы склонить на свою сторону товарищей по партии, чтоб, так сказать, грех, который им придется взять на душу, выглядел поскромнее. Так ли это? 6—7 сентября в статье «Задачи революции» Ленин пишет о существующей еще возможности мирного развития революции, мирной передачи власти Советам. «Если эта возможность будет упущена, то весь ход развития революции, начиная от движения 20 апреля и кончая корниловщиной, указывает на неизбежность самой острой гражданской войны между буржуазией и пролетариатом. Неминуемая катастрофа приблизит эту войну. Она должна будет кончиться, как показывают все доступные уму человека данные и соображения, полной победой рабочего класса, поддержкой его беднейшим крестьянством, для осуществления изложенной программы, но она может оказаться весьма тяжелой, кровопролитной, стоящей жизни десяткам тысяч помещиков, капиталистов и сочувствующих им офицеров. Пролетариат не остановится ни перед какими жертвами для спасения революции, невозможного вне изложенной программы. Но пролетариат всемерно поддерживал бы Советы, если бы они осуществили последний их шанс на мирное развитие революции» (ПСС. Т. 34. С. 238). Что это? Программа «геноцида», хладнокровный план уничтожения части собственного народа? Конечно, нет! Это научный прогноз развития ближайших событий, результат «всех доступных уму

человека данных и соображений». Ленин «преуменьшал» здесь количество жертв, говорил только о десятках тысяч (но, заметьте, жертвы «пролетариата» он вообще не считал, говорил только, что он не остановится ни перед какими жертвами), а получились миллионы! К кому обращены слова о десятках тысяч? Не к большевикам, а к меньшевикам и эсерам,— статья В. И. Ленина была напечатана в «Рабочем пути», центральном органе большевистской партии 26—27 сентября 1917 года,— если вы не возьмете власть мирно, в ближайшее время, вот какие могут быть последствия, научный анализ говорит, гражданская война тогда неизбежна. Вот и все.

Был ли такой прогноз единственным в России тех дней? Отнюдь нет. Вот знаменитая речь П. П. Рябушинского на Торгово-промышленном съезде 3 августа 1917 года, за месяц до ленинского взгляда в ближайшее будущее. «Настоящая революция — буржуазная,— говорил Рябушинский строго по марксистской догме,— буржуазный строй неизбежен. Пусть делают из этого логические выводы. Управляющие государством должны буржуазно мыслить и буржуазно действовать. В этом нет отрицания коалиционности, нужна работа всех живых сил, но без доктринерства, а в сознании необходимости вывести страну из трудного положения. Сейчас торгово-промышленный класс не может никого убедить, не может повлиять на руководящих лиц. Но естественное развитие жизни идет своим чередом и жестоко покарает нарушителей экономических законов. Может быть неизбежен для России финансово-экономический провал. И лишь тогда, когда катастрофа станет всем очевидной, поймут, каким неверным шли путем. Костлявая рука голода и народной нищеты схватит за горло «друзей народа», членов разных комитетов и Советов. Тогда они опомнятся. Стонет русская земля от их товарищеских объятий. Скоро поймет народ и скажет: „Прочь, обманщики народа!“» (Русские ведомости. Москва, 4 августа 1917 г.). К кому обращены эти угрозы? Не к большевикам, их Рябушинский еще и всерьез не принимает, а к тем же меньшевикам и эсерам: уйдите с дороги, дайте власть настоящему хозяину, иначе народ схватит вас за горло, начнется гражданская война!

Но вернемся к Ленину. Вслед за статьей «Задачи революции» он написал еще статью «Русская революция и гражданская война. Пугают гражданской войной», где горячо убеждал и своих сторонников, и пролетариат в том, что нам бояться гражданской войны не надо, ибо ждет там пролетариат полная победа. Гражданская война Ленину представлялась меньшим злом для народа, чем продолжение войны империалистической. Именно из этой статьи А. А. Матышев привел цитату о «потоках крови». Но только надо добавить, что и в этой статье Ленин считал еще возможным мирный путь российской революции. А гражданскую войну рассматривал как нежелательную альтернативу, которой, впрочем, не следовало бояться. Сказал бы еще и это А. А. Матышев, и было бы тогда честное цитирование, верная передача смысла ленинских слов о грядущей гражданской войне.

К статьям, где Ленин еще признавал возможным компромисс с меньшевиками и эсерами и мирное развитие революции, примыкает и брошюра «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», начатая автором 10 сентября 1917 года. Там, критикуя все тех же меньшевиков и эсеров, «запуганных демократов», Ленин рисует «экономическую» политику настоящего революционно-демократического правительства, каким бы оно должно было быть. «Революционные демократы, если бы они были действительно революционерами и демократами, немедленно издали бы закон, отменяющий торговую тайну, обязывающий поставщиков и торговцев отчетностью, запрещающий им покидать их род деятельности без разрешения власти, вводящий конфискацию имущества и расстрел за утайку и обман народа, организующий проверку и контроль *снизу*, демократически, со стороны самого народа, служащих, рабочих, потребителей и т. д.». К слову «расстрел» Ленин делает такое примечание: «Мне уже случалось указывать в большевистской печати, что правильным доводом против смертной казни можно признать только применение ее к *массам* трудящихся со стороны эксплуататоров в интересах охраны эксплуататоров. Без смертной казни по отношению к *эксплуататорам* (то есть помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое ни на есть революционное правительство» (ПСС. Т. 34. С. 174). Все сказано заранее, Ленин ничего не скрывал ни от друзей, ни от врагов. Программа революционной власти, применение насилия и террора к КЛАССУ ЭКСПЛУАТАТОРОВ — все это было провозвещено заранее. Более того, это вытекало из опыта всех революций — английской, французской,— из практики применения насилия и террора властью против массы трудящихся, из опыта политической жизни XX века в России.

Теория и практика. В чем ошибался Ленин? Уже первые восемь дней гражданской войны доказали Ленину, что он был прав по всем пунктам. Большевики одержали победу над юнкерами в Петрограде, над казаками под Царским Селом и Гатчиной. В Москве бьют советские пушки. Надо еще нажать, и победа в гражданской войне будет выиграна! «Кто же думал, что

мы не встретим саботажа буржуазии? — спрашивал Ленин на заседании ПК 1 ноября.— Это же младенцу было ясно. И мы должны применить силу: арестовать директоров банков и пр. Даже кратковременные аресты уже давали результаты очень хорошие. Это меня мало удивляет, я знаю, как они мало способны бороться, самое главное для них — сохранить тепленькие местечки. В Париже гильотинировали, а мы лишь лишим продовольственных карточек тех, кто не получает их от профессиональных союзов. Этим мы исполним свой долг». И несколько ниже: «Мы у власти. Переходить теперь в „Новую жизнь“ (газета, издававшаяся Максимом Горьким и осуждавшая захват власти большевиками. В ней сотрудничали Луначарский, Зиновьев, Каменев, Рыков и Ногин, требуя от Ленина и Троцкого сдачи власти «однородному социалистическому правительству».— *В. С.*), на это кто способен? Слизняки, беспринципные: то с нами, то с меньшевиками. Они говорят, что мы одни не удержим власть и пр. Но мы не одни. Перед нами целая Европа. Мы должны начать. Теперь возможна только социалистическая революция. Все эти колебания, сомнения — это абсурд. Когда я говорил: будем бороться хлебными карточками, лица солдат оживляются. Утверждают, что солдаты не способны к борьбе. Но нам говорят ораторы, что они не видали еще такого энтузиазма. Только мы создадим план революционной работы. Только мы способны бороться и пр. А меньшевики? Они за нами не пойдут. Вот на предстоящей конференции и нужно поставить вопрос о дальнейшем социалистической революции. Перед нами Каледин, мы еще не победили. Когда нам говорят, что „власти нет“,— тогда необходимо арестовывать. И мы будем. И пускай нам на это будут говорить ужасы о диктатуре пролетариата. Вот викжелевцев арестовать — это я понимаю. Пускай вопят об арестах. Тверской делегат на съезде Советов сказал: „Всех их арестуйте“ — вот это я понимаю, вот он имеет понимание того, что такое диктатура пролетариата. Наш лозунг теперь: без соглашений, т. е. за однородное большевистское правительство» (Вопросы истории, 1989. № 10. С. 120, 121). Эти ленинские слова говорят нам лучше о характере человека и его планах, чем десятки страниц рассуждений о злонамеренности «диктатора». Приведем еще слова первого помощника «диктатора», Л. Д. Троцкого. Его намерения и взгляды не отличались в тот момент от ленинских. Выше мы приводили его слова о том, что сторонники соглашения с меньшевиками и правыми эсерами хотят обезглавить партию, удалив из правительства Ленина. Он привел аналогию с Милюковым, когда «пролетариат наступил на грудь кадетам». «А сейчас? — говорил Троцкий.— Кто нам наступил на грудь? Никто. Мы восемь дней стоим у власти. Мы строим нашу тактику на революционном авангарде масс. Нам говорили в защиту соглашательства, что иначе Балтийский флот не даст ни суденышка. Это не оправдалось. Нас пугали тем, что рабочий не пойдет. Между тем Красная гвардия храбро умирает. Нет, к промежуточной политике, к соглашательству возврата нет. Мы введем на деле диктатуру пролетариата. Мы заставим работать. Почему же общество существовало и массы работали при прежнем терроре меньшинства? А тут ведь не террор меньшинства, но организация классового насилия рабочих над буржуазией» (Там же. С. 124). Вот вам интервью из первых дней Октября (не прошло даже ридовских «10 дней»). Где злонамеренность вождей большевизма? Где запланированное заранее убийство миллионов? А. А. Матышев и его единомышленники абстрагируются от всего, кроме внешнего подобия репрессий при Ленине и при Сталине. И абстрагируются прежде всего от гражданской войны, от ее реальной истории, от того, как медленно, с перерывами и отливами она начиналась, как вдруг конвульсивно и внезапно разгоралась, как боевое счастье металось от одной к другой стороне. И, пожалуй, самая главная их ошибка в том, что они не видят в этой гражданской войне ВТОРОЙ СТОРОНЫ. Ненависть к Ленину и большевикам застилает им поле зрения. Все жертвы, все миллионы приписываются только одной стороне, вернее, вина за них. Второй словно и не существует.

А разгоралась эта война с большой неохотой. Несмотря на то, что Советская власть «триумфально шествовала» по стране и очаги сопротивления ей были невелики и быстро подавлялись, власть нового правительства была еще эфемерна и ничтожна. На первый взгляд — это было гигантское усиление того безвластия и анархии, которые все увеличивались и при Временном правительстве. ЧК была еще почти беспомощна, трибуналы выносили смехотворные по своей мягкости приговоры, лидеры всех враждебных партий открыто жили и в Петрограде, и в Москве, буржуазную печать невозможно было удушить, ни связи с местами, ни контроля за исполнением декретов не было налажено. Ленин метал молнии из Смольного. Но кто к ним особенно прислушивался? Старый принцип Козьмы Пруткова — «не всегда с точностью понимать должно» — царствовал на всей необъятной России.

И именно к этому времени относятся слова Ленина о «каше» вместо Советской власти. Он старался приучить и центральных работников и местных, которые «университетов не кончали», к тому, что-

бы быть властью, осуществлять ее на деле, бороться за революцию, за социализм, за классовые интересы пролетариата. Диктатура пролетариата еще переживала свой утробный период. После заключения Брестского мира Ленину казалось, что гражданская война уже кончена, что одержана победа и на внутреннем и на внешнем фронте. Советская власть выстояла, выжила. Ленин думал о ее «очередных задачах». А вместо этого обрушился голод, крестьянские восстания, недовольство рабочих. Затем чехословацкий мятеж, левоэсеровский мятеж, ярославский мятеж, образование Комитета членов Учредительного собрания в Самаре. За несколько недель от Советской России, простиравшейся от Белоруссии до Дальнего Востока, остался маленький лоскут, едва одна десятая часть бывшей Российской империи. Об этом тоже надо помнить критикам Ленина, о том, что власть «диктатора» не распространялась на всех подданных бывшего огромного государства. На девяти десятых его территории управляли другие большие и малые диктаторы, правительства, комитеты. И каждый имел свою «ЧК», свои лагеря, свои тюрьмы и места казни. А тут еще интервенты: англичане, немцы, американцы, канадцы, японцы. И у них свои контрразведки, свои тюрьмы, свой остров Мудьюг. С лета 1918 года гражданская война пошла всерьез и кровь полилась рекой с обеих сторон. Начались покушения, белый и красный террор. Только с этого времени под влиянием острейшей необходимости, вопроса о том, кто кого, начал формироваться настоящий военно-репрессивный аппарат Советской власти и первая командно-административная система военного коммунизма. Она функционировала два — два с половиной года, в ходе которых ее территория то сокращалась, то ненадолго расширялась. Вместо гильотины, которую в ноябре 1917 года Ленин высокомерно третировал и собирался заменить контролем за выдачей продовольственных карточек, заработали повсеместно чрезвычайки и трибуналы, машина террора пожирала виновных и подозреваемых. Но при всем при том террор этот имел ярко выраженную классовую направленность. И в этом его отличие от сталинского террора, развернутого в МИРНОЕ время и против ВСЕГО НАРОДА, независимо от социального происхождения, от классовой принадлежности в прошлом и настоящем. Мы можем сегодня иметь другое мнение относительно классовой морали, можем обвинять ее приверженцев в узости, отсутствии гуманизма и прочее. Но отрицать ее существование, начиная с 70-х годов XIX века, нельзя. Несколько поколений революционеров воспитывалось в России на принципе — «нравственно то, что соответствует интересам пролетариата, делу революции». И большевики здесь были одними из многих. Классовая мораль и нравственность в противоположность общечеловеческой и христианской, диктатура пролетариата в противоположность «буржуазной» демократии, классовый террор в противоположность буржуазному правовому государству — это были реальности большевистской теории и практики. Они поддаются если не оправданию, то объяснению. Сталинский геноцид и террор объяснению не поддаются, они иррациональны.

Но было ли правильно все то, что делал Ленин? Ошибался ли он в своих расчетах и действиях? Вправе ли мы критиковать В. И. Ленина? Да, мы вправе его критиковать. И наше время гласности, небывалой в России с 1917 года, делает такую критику возможной и даже необходимой. Но, на мой взгляд, она должна вестись корректно, с должным уважением не только к «диктатору», но и к главе правительства, занимавшему этот пост на протяжении пяти лет истории нашего государства.

Итак, в чем же Ленин ошибался применительно к прогнозам о гражданской войне между пролетариатом и буржуазией в такой мелкобуржуазной стране, как Россия? (Я высказываю, разумеется, свое личное мнение, и не претендую на окончательные выводы.) *Во-первых*, В. И. Ленин преуменьшил волю буржуазии и вообще правящих классов страны к борьбе. Он считал, что даже демонстративные акты применения силы быстро сломят сопротивление этих классов. И капиталисты будут продолжать делать свое дело организации производства под контролем рабоче-крестьянской власти. Вместо этого большинство капиталистов свернуло производство, бросило свои предприятия, пытаясь спасти часть капитала и выехать за границу. В результате экономическое положение страны ухудшалось с каждой неделей. И «катастрофа», которую предсказывали Ленин и Рябушинский, наступила. Рябушинский оказался прав в том, что Советская власть не спасет страну от катастрофы, а Ленин оказался прав в том, что народ будет винить в этом капиталистов, а не Советы. К этому надо добавить и то, что расчеты Ленина и большевиков на то, что рабочий класс после экспроприации капиталистов будет работать не хуже, чем он работал на капиталистов, а лучше, не оправдались. Нарушение хозяйственных связей, потеря поставщиков сырья и материалов, безработица — вот что наступило уже в первые месяцы Советской власти вместо предсказывавшегося большевиками удачного социалистического выхода из общенационального экономического кризиса. Никакой действительно *экономической* программы большевики и Ленин не имели. То, что мы

называем этой программой, на самом деле было программой экспроприации и национализации, программой применения методов прямого насилия в экономике. Мы на своей шкуре за 72 года поняли, что экономикой командовать нельзя, она за это мстит нищетой, регрессом, отставанием.

Во-вторых, Ленин ошибался в том, что считал колебание мелкобуржуазной массы населении России (крестьянства, городского мещанства и низших отрядов городских средних слоев) в сторону большевиков в октябре 1917 года ПОСЛЕДНИМ. После того как это колебание гигантского большинства мелкой буржуазии России, и, следовательно, большинства народа России вообще, произошло, ему, по Ленину, колебаться больше «не полагалось». Ленин, много раз писавший до Октября о том, что колебания имманентно присущи мелкой буржуазии, отмечавший каждое такое колебание за 8 месяцев революции 1917 года, теперь стал как бы глухим к этим колебаниям. Почему? Потому что уже весной 1918 года гигантское большинство крестьянства (получившего от большевиков помещичью землю), значительная часть рабочих (чья повседневная жизнь резко ухудшилась в результате захвата власти большевиками), часть демобилизованных развращенных солдат и даже красноармейцев-добровольцев из городских люмпенов колебнулись в очередной раз: от большевиков к мелкобуржуазным партиям и буржуазии. Если бы в стране проводились выборы (свободные, разумеется), то большевики потерпели бы сокрушительное поражение, вынуждены были бы отдать власть назад эсерам и навсегда сошли бы с политической арены в стране. Но на то и установлена была диктатура пролетариата, чтобы никаких свободных выборов в этой стране больше не допускать. Ленин признал в 1919 году, что даже результаты выборов в Учредительное собрание, проводившихся еще 12 ноября 1917 года — а они дали свыше 50 % голосов эсерам,— ПРАВИЛЬНО отражали симпатии народа в тот момент. Конституция 1918 года лишила представителей свергнутых классов права голоса. Тогда же, вслед за царскими законами, представительство крестьянства было уменьшено *в несколько раз* по сравнению с рабочим классом, как раньше его уменьшали по сравнению с дворянами. Так, уничтожив всеобщее избирательное право, наделив пролетариат преимуществами недемократического характера, большевики обеспечили себе «конституционные подпорки» для диктатуры пролетариата.

Но в обстановке гражданской войны голосовать можно было не только бюллетенями, но и оружием, руками и ногами. Полумиллионные и сотенносячные армии Колчака, Деникина, Врангеля состояли не из одних юнкеров, буржуазных сынков и дворян. Их по всей России не наскрести было бы на одну такую армию, а их было до десятка. В этих армиях русское крестьянство, казачество, городское мещанство вместе с узким слоем представителей дворянства, чиновничества и интеллигенции (народной, самой низшей) боролись с оружием в руках против власти большевиков. Этого Ленин не предвидел. Он полагал, что «беднейшее крестьянство», к которому он причислял 3/4 крестьянского населения России, немедленно и НАВСЕГДА поддержит пролетариат и большевистскую власть. Поэтому Ленину никогда (кроме единственного случая в марте 1921 года) не хватало мужества признать эти новые антисоветские колебания мелкой буржуазии. Он всегда объяснял себе и народу дело так, что это все дело кулаков и подкулачников, что это результаты неправильной политики отдельных представителей местных властей. В самые трагические для Советской власти дни Ленин уверял себя, что это временные трудности, происки врагов, обман буржуазии и так далее и тому подобное. Воистину, как зло шутили меньшевики по поводу любимого изречения Ленина: «Власть легче взять, чем ее удержать» — «Власть легче удержать, чем от нее отказаться!»

Разумеется, колебания мелкой буржуазии продолжались и дальше. В конце 1919 года и в начале 1920 года она вновь колебнулась в сторону большевиков, видя в них избавителей от крутых мер белых армий. Этому способствовало и то, что большевики отказались от комбедов, от раскулачивания конца 1918 года и начала 1919 года, от попыток первой, «ленинской», насильственной коллективизации и «коммунизации». Но продразверстка, сурово введенная на Украине и в Западной Сибири, вновь вызвала восстания крестьян в этих районах, новые колебания. К счастью, для большевиков все эти выступления крестьян, даже вооруженные, были разрозненными, нескоординированными, лишенными единого политического руководства. Только нэп, закрепивший право на индивидуальное крестьянское хозяйство и действительно отдавший землю в свободное пользование крестьян-единоличников, окончательно примирил российскую мелкую буржуазию до 1929 года с Советской властью.

Третья ошибка Ленина многим кажется наиболее существенной. Это надежда на скорую мировую революцию. Но ошибка ли это? События конца 1918 года — поражение Германии и Австро-Венгрии в первой мировой войне, революции в Германии, Венгрии — давали основания для таких прогнозов. Небывалого размаха достигло тогда рабочее движение и в других развитых капиталистических странах. Но отлив движения, поражение конкретной революции предсказать точно никто не может. Разве кто-нибудь в мире в первой половине 1989 года мог предсказать революцию в Восточной Европе, мощную антитоталитарную, антисталинскую революцию, охватившую Польшу, Чехословакию, Венгрию, ГДР, Болгарию и даже Румынию?! Никто. Так же никто не мог предсказать поражение европейской революции в 1919 году, а вот успех ее предсказывали многие.

И последнее. Был ли Ленин диктатором? Был, конечно. Но в том смысле, в котором писал о нем Н. И. Бухарин. Назвав Ленина там диктатором в лучшем смысле слова, Бухарин свои заметки-то назвал «Товарищ». Ленин — это и товарищ для членов партии, и вождь для малограмотных масс народа, и глава правительства для всей Европы, и олицетворение диктатуры пролетариата. Но ни время, ни злобная критика не смогут умалить значение этого человека, уменьшить его редкий дар политика и государственного деятеля. И даже ошибки и просчеты, которые мы будем находить в его взглядах и деятельности все больше, не изгладят память о нем ни в нашем народе, ни в народах всего мира.

ТЕХНОСИСТЕМА, НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРИРОДА

1

В этой статье я попытаюсь дать краткое описание и толкование двух явлений, накладывающих отпечаток на развитие современного промышленного общества, в особенности в странах рыночной экономики. Эти явления носят название *интернационализация* и *приватизация* производства. Мною они воспринимаются как тесно связанные друг с другом — и я постараюсь привести доводы в поддержку такого мнения.

Всякий, кто хотя бы поверхностно следит за общественными дискуссиями, может подтвердить тот факт, что эти понятия в высшей степени актуальны и живо комментируются газетной печатью и средствами массовой информации. Тем не менее эти явления — явно в силу своей новизны — пока лишь в довольно незначительной степени подвергались теоретическому анализу. Я имею в виду попытки сопоставить их с другими чертами и тенденциями развития или попытки понять и истолковать их так называемый «смысл».

Моя собственная попытка, несомненно, многим покажется непрофессиональной, может быть, даже слишком оторванной от реальности и спекулятивной. Однако мнение философа здесь вполне уместно, ибо, по-моему, ни экономистам, ни политологам, ни социологам не принадлежит монополия в этих вопросах. Разумеется, это не означает, что именно *мое* суждение наиболее соответствует истине. Но я буду рад, если оно вызовет дискуссию.

Прежде всего — небольшое замечание по поводу терминологии.

Я нахожу, что термины «интернационализация» и «мультинациональный» в некотором смысле могут вводить в заблуждение. Если бы речь шла о явлениях, где действующими лицами являются нации или национальные государства — как, например, в ООН, они бы не вызывали возражений. Но это не так: речь идет здесь о процессах, проходящих скорее *над* головами народов и государств, чем *между* ними. Поэтому точнее будет употреблять слово «сверхнациональный», а не «интернациональный», что, собственно, означает «международный». Иногда лучше говорить о *глобализации*, чем об «интернационализации».

Георг Хенрик фон ВРИГТ род. в 1916 году в Хельсинки. Доктор философии, эссеист, активный участник общественной полемики. Ученик, потом соратник Витгенстейна, редактор его трудов. Автор монографии «Объяснение и понимание», 1971, и сборника философских эссе «Гуманизм как отношение к жизни», 1978. В популярных полемических эссе излагает оригинальные философские идеи по актуальным этическим и общественным темам.

2

В чем же, собственно, суть дела? Как мне представляется, происходит следующее: основанная на науке и технологии промышленная форма производства отделяется от национального государства, ее прежние связи с ним слабеют. Промышленные предприятия вырываются из своих традиционных политических и социальных рамок. Вместе взятые, они образуют автономную систему, развитие которой идет по ее собственным законам. Этот союз науки, технологии и индустрии я буду здесь называть *техносистемой* или *техносферой*.

Внутри техносистемы предприятия ставят себе задачу жить и развиваться в соперничестве друг с другом, не обязательно в первую очередь заботясь о материальном благосостоянии собственной нации — если таковую вообще можно определить. Ответственность руководства предприятием прежде всего устремлена на обеспечение успеха самого предприятия. Борьба за власть между владельцами — вот тот наивысший интерес, ради которого в случае конфликта можно поступиться как безопасностью рабочих и служащих, так и потребностями и желаниями потребителей.

Обрисованная здесь картина, конечно, чрезвычайно схематична. Она не стремится отразить готовое положение вещей, но пытается схватить тенденцию развития, спроецированную на еще окончательно не сложившееся будущее. Эта тенденция представляется мне как глубоко важная для нашего времени. Поэтому явления интернационализации и приватизации, упомянутые выше, заслуживают внимания в качестве знамения времени, и более других достойны общественно-философских размышлений. Развитие, о котором идет речь, находится пока в своей первоначальной стадии. Его темпы и направление находятся еще в сильной зависимости от давления политической системы. Но если я прав, то это давление постепенно ослабевает.

Многие, без сомнения, захотят подвергнуть сомнению истинность такого взгляда на вещи. Однако возражения, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться, коренятся, как кажется, отчасти в склонности предпринимателей недооценивать свою фактическую власть над развитием общества, а отчасти в склонности политиков ее переоценивать.

3

Представляется заманчивым поразмыслить как над причинами текущего развития, так и над его влиянием на все то, что остается за пределами техносистемы.

Промышленное производство с первых дней своего существования было нацелено на преодоление национальных границ: на ввоз сырья, подлежащего индустриальной переработке, и на продажу готовых изделий кроме внутреннего рынка, по возможности, и за границей. В этом обстоятельстве заложена основа глубокого противоречия между промышленной системой и политической системой национального государства.

В течение первого столетия «промышленной революции», то есть в XIX веке, это противоречие в основном оставалось подспудным, ибо национальные государства в тот период имели возможность расширить свои территории — явление, известное под названием колониализма. Не только великие европейские державы — Великобритания, Франция, Германия,— но и малые государства, например, Бельгия и Голландия, географически разрослись в огромные империи.

Для промышленности это в первую очередь означало доступ к дешевому сырью, которое после обработки продавалось с немалой прибылью, нередко обратно в страну-источник сырья, не затронутую процессом индустриализации. Это привело к созданию в странах центральной и западной Европы неслыханного дотоле материального благосостояния, хотя на первых порах оно крайне неравномерно распределялось среди населения.

В эпоху колониализма промышленность и национальное государство жили в относительном согласии. Крупная промышленность оставалось национальной. Влияющих на мировую экономику мультинациональных предприятий в то время почти не существовало. Это означает, что борьба индустрий за рынки сбыта в большой мере совпадала с борьбой за власть между странами. В шутливой форме об этом говорят известные слова о причинах первой мировой войны: войну сделала не Германия, а «Сделано в Германии».

Гармония интересов между промышленностью и политикой сильно поколебалась в своих основах в середине нашего века, когда старая колониальная система распалась, и национальные государства вошли в свои прежние границы. Их военный и политический нажим на бывшие колонии ослаб, что повлекло за собой радикальную перемену в условиях существования промышленных предприятий. Техносистеме пришлось жить «своими средствами». Скрытое прежде противоречие между сферами технологии и политики стало теперь явным. В этом заключается движущая сила «интернационализации».

4

Очевидно, что подобная смена декораций повлияла на внутреннюю и внешнюю политику национальных государств. Ни одна из европейских стран не является сейчас «самостоятельной» в том смысле, как это было до второй мировой войны; единственное, но вряд ли завидное исключение — это Албания. Новая индустриальная динамика порождает опасения и вызывает растерянность прежде всего на внутренних рынках труда. Ведь мультинациональные предприятия могут перемещать производство туда, где рабочая сила дешевле и себестоимость ниже.

В то же время условия труда подвергаются влиянию технического развития, автоматизации и роботизации, постоянно снижающих потребность в рабочей силе при одновременном росте производства товаров. Безработица стала общим бичом индустриальных государств, а занятость населения их общей заботой. Эти постоянные проблемы не разрешимы без серьезных социальных реформ.

Другим следствием интернационализации можно считать *стандартизацию*. Товары потребления, от автомашин до микрокалькуляторов, распространяются по земному шару в виде массовой продукции, в свою очередь создающей единообразие привычек, мод и представлений о том, что считать «хорошей жизнью». Подобное униформирование идеалов происходит и там, где относительная нищета день за днем отдаляет практическое достижение идеалов, которые тем самым оказывают все более гнетущее влияние на психику.

Но всего сильнее давление стандартизации и массового производства сказывается, по-видимому, не столько на жизненном стиле, сколько на общественном мнении и образе мыслей, благодаря сверхнациональным средствам массовой информации и развлечений. Этот процесс пока только начался — настоящий взрыв кабельной и сателлитной информации еще впереди. Возможно, здесь кроется зародыш новой глобальной культуры, хотя до сих пор мы наблюдаем скорее ломку старых форм традиционной культуры, нежели создание новых форм глобальной общности. При этом чувство национальной принадлежности, объединявшее людей внутри прежних национальных госу-

дарств и специфически окрашивающее вклад отдельных народов в общую культуру, оказалось теперь под угрозой частичной утраты, если не полного исчезновения.

Национальное самосознание — это не то же самое, что шовинистское самовосхваление. Его можно определить как сознание длительной принадлежности к общей культурной традиции в ее взаимодействии с другими нациями, стремящимися определить *свое* самосознание. Иногда оно удачно подкрепляется воспоминаниями о «славе былых времен».

В перспективе ослабление национальной принадлежности не обязательно приведет к катастрофе. Но для индивида ближайшим следствием этого процесса становится дезориентация, ощущение безродности, потеря своей системы ценностей, что губительно отражается на морали и чувстве солидарности. Отдельная личность превращается в нечто все более самодостаточное, самодовольное, самовлюбленное. Не удивительно, что подобная отрешенность приводит к возрождению национализма, чье настоящее имя — ксенофобия, ненависть к представителям другой национальности. Тот, кто не уверен в собственном достоинстве, легко воспринимает все необычное как угрозу. На политической арене это проявляется в растущем конформизме, в страхе перемен, в новом консерватизме. Здесь налицо одна из сторон взаимоотношений техносистемы и политической системы национального государства: если первая стремится к динамизму, во второй нарастает застой.

Подобные процессы в моей собственной стране, Финляндии, все более вызывают у меня беспокойство. Страна едва успела, после вековой иностранной зависимости, обрести свое лицо, как ей снова грозит потерять его в пробуждающемся интернационализме или же провалиться в, казалось бы, давно уже преодоленное «патриотическое варварство». Не уверен, что такая опасность не угрожает и Швеции, хотя отчасти по другим причинам.

Наконец, вероятным последствием усиления техносистемы за счет политической системы является тот факт, что международные — в прямом смысле этого слова — организации типа ООН и ее побочных органов, прежде всего ЮНЕСКО и ФАО, борются с трудностями, порой угрожающими самому их существованию. Организация Объединенных Наций, как и ее равно почившая предшественница, Лига Наций, основана на идее, что парламент, составленный из принципиально равноправных национальных государств, способен повернуть глобальное развитие в сторону царства мира и справедливости. Мне эта идея представляется иллюзорной, что ничуть не умаляет ценности конкретной работы, проводимой в рамках ООН. Следует все же признать, что по мере ослабевания политического авторитета этого международного органа усиливается ведущая роль техносистемы в глобальном развитии. А *эта* система далеко не озабочена обеспечением мира и справедливости в международных отношениях. Если ей вообще может быть приписана какая-либо цель, это скорее обеспечение экономического прироста и повышение материального благосостояния.

5

К чему же ведут отмеченные мною современные тенденции, которые я попытался кратко охарактеризовать? Допустим, что эти тенденции будут продолжаться, существенно не меняя своего направления. Я не утверждаю, что именно так и будет, но верю, что мое предсказание достаточно реалистично, чтобы по нему можно было составить сценарий, мало-мальски независимый от наших собственных пожеланий и надежд на будущее.

Одна из достойных внимания линий возможного развития — это постепенное отмирание национального государства. Нигде не указано, что оно является лучшей или окончательной формой политической организации. Первые европейские национальные государства зародились в конце средневековья, а последние из более крупных, Италия и Германия, окончательно оформились немногим более столетия назад. Национальным государствам предшествовал в Европе более универсальный и одновременно более раздробленный порядок. Возможно представить себе, что эпоха национальных государств подходит к концу, и мы стоим на пороге нового «универсализма». Прежний имел своим идеологическим источником идею «теократии», католического божественного государства с папой во главе и с императором в качестве высшего вассала; будущий станет, вероятно, «технократией», управляемой банками и индустрией в сообществе и взаимном соревновании.

Мысль об исчезновении национального государства не нова в наши дни. «Отмирание государства» — одно из центральных положений классического марксизма, а общественная философия Маркса, прежде всего, является анализом основанного на науке и технике промышленного производства и его внутренних возможностей, или «противоречий».

Другие мыслители, в том числе Бертран Расселл, мечтали о мировом государстве, чье правительство обладало бы законодательной и исполнительной властью в вопросах общего процветвния человечества. Лично я не могу всерьез принять ни ту, ни другую версию: мне они кажутся слишком далекими от той политической действительности, в которой мы существуем. Более реальной в таком случае представляется мне космополитическая мечта о мире, управляемом сообща силами науки, технологии и индустриального производства. Под сенью техносистемы человеческая жизнь будет протекать в сильно изменившихся формах политической и социальной организации. Если мы захотим составить себе представление об этих формах, необходимый толчок фантазии может дать изучение европейских средневековых обществ. Разумеется, не может быть и речи о «возврате» к уже пройденным этапам истории.

И в нашей теперешней действительности заметны признаки переживаемого нациями кризиса. Сигналы тревоги раздаются с двух противоположных сторон, одна из которых — растущее сопротивление национальных меньшинств против действительного или воображаемого гнета. Лучшим примером этого будет, вероятно, Испания, где не только свободолюбивые баски, но и значительная группа каталонцев бросает вызов центральной власти. Подобные проблемы имеются, соответственно, в большинстве европейских стран. Можно сказать, что национальные государства трещат по швам под давлением своих национальных меньшинств. Но не слишком вероятно, тем не менее, что это приведет к созданию *новых* национальных государств, как при распаде габсбургской империи после первой мировой войны.

Другой признак кризиса национального государства состоит не в дроблении, а в стремлении к интеграции, очевидным примером чего является Европейское Сообщество. Оно явно представляет собой *экономическую* «общность», и в этом качестве может рассматриваться как проявление интегративной силы, которой обладает техносистема применительно к государствам. Разумеется, можно считать ЕС знаком европейского самоутверждения в силовом поле между двумя сверхдержавами. Политики предпочитают, по всей вероятности, именно так смотреть на вещи, и я не стану отрицать их право на это. Сам я придерживаюсь скорее точки зрения, рассматривающей политические реальности как подчиненные стремлению европейской индустрии, пока еще национальной в своей основе, к укреплению и расширению территориальной базы для своей деятельности.

6

Для малонаселенных стран, расположенных на периферии, как Швеция и Финляндия, интегративное развитие влечет за собой особые проблемы. За некоторыми исключениями, предприятия северных стран отличаются малыми размерами по сравнению с американскими, западноевропейскими или японскими гигантами. Сверхнациональная экспансия станет необходимостью, если наши предприятия хотят выжить в глобальной конкуренции. Но она будет служить и национальным интересам защиты собственной страны от экономической и политической зависимости по отношению к внешним силам.

Если, как мы ежедневно слышим, международная конкуренция продолжает обостряться, то достаточно ли жизнеспособны наши предприятия в этой «войне всех против всех», определяющей внутреннюю динамику техносистемы? Задавая этот вопрос, следует учесть, что промышленные фирмы мирового масштаба стремятся стать разносторонними, чтобы защитить себя от перепадов спроса и конъюнктуры. В результате предприятие, даже «лучшее в мире» в одной какой-либо узкой области, рискует быть проглоченным многоотраслевым гигантом.

Разность в величине представляется мне чреватой опасностями для национальных предприятий, базирующихся на основе малых государств. Опасность таится не только в возможности проигрыша в международном состязании. Риск заключается еще и в том, что тогда на внутреннем рынке станут командовать иностранные фирмы, и рабочая сила тем самым превратится в товар на международном рынке труда. В этой новой конкуренции страны с высоким уровнем заработной платы и развитой охраной труда непоправимо проигрывают, что неизбежно отразится на тех, кто свои средства на жизнь приобретает трудом на производстве.

Меня могут упрекнуть в преувеличении. Ведь наши северные страны — суверенные государства, способные путем законодательства и правительственных решений предотвратить вредное для национальных интересов развитие. Разве государство не может обеспечить занятость и поддержать производства необходимых товаров — например, на случай кризиса? Упомянем и о том, что большинство индустриальных стран взвалили на свои плечи тяжелое бремя сохранения остатков прежде доминирующих форм производства на своих территориях. Вот почему сельское хозяйство становится все более головоломной проблемой в странах, где индустриализация производства пищевых продуктов идет полным ходом.

Если верно мое утверждение о том, что глобальная экспансия индустрии ведет к фактическому ослаблению правительственной власти, то способность государства брать на себя новые обязанности по обеспечению равновесия в общественном развитии все более сокращается.

7

В связи с данной проблематикой особый интерес представляет феномен приватизации, в котором, пожалуй, с наибольшей отчетливостью выражается происходящее в наше время ослабление роли государства. Можно различить две основные формы приватизации.

Одна из них затрагивает государственные предприятия. Их более или менее полный переход в частные руки может быть вполне оправдан экономически, и это не обязательно влечет за собой резкое обострение социальных проблем — разумеется, при условии, что приватизированное предприятие жизнеспособно, а не тотчас же попадает обратно в поддерживающие объятия государства.

Более проблематична другая форма приватизации: та, которая касается социальных услуг и государственных учреждений. Сюда относятся, например, больницы и здравоохранение вообще, общественный транспорт, почта, средства массовой коммуникации, полиция, тюрьмы, школы, университеты. Представление о том, что упомянутые выше учреждения должны находиться на содержании у государства, не обязательно подчиняясь ему целиком, входит в само определение так называемого «государства общего благосостояния». Поэтому далеко зашедшая приватизация этих учреждений означает постепенный отход от самой идеи государственной опеки.

До сих пор наиболее смелые шаги в направлении приватизации были предприняты в Англии, Франция идет по тому же пути. В США это явление менее заметно: Соединенные Штаты, собственно, и не имели целью создание «государства общего благосостояния». Зато в США мы видим пример того, до каких пределов может дойти приватизация. Обнадеживает ли опыт США? Это зависит от точки зрения. Если рассматривать этот опыт в перспективе экономической самоокупаемости учреждений и эффективности обслуживания, в целом приватизацию можно расценивать положительно. Зато на обеспечении потребностей среднего гражданина в социальных услугах — в пределах его экономических возможностей — далеко зашедшая приватизация, вероятно, скажется отрицательно.

Подобно тому, как интернационализация ведет к положению, напоминающему средневековый универсализм, приватизация имеет средневековую аналогию — феодализм. Феодальное государство можно рассматривать как приватизацию общественных функций. На своей территории феодал имел судебную и полицейскую власть и обладал даже известной свободой в разрешении военных конфликтов. В дальнейшем эти права и свободы были поглощены централизованными органами власти национального государства.

Возрождение некоторых феодальных структур и прав в современном технологическом обществе не может не повлечь за собой ряд труднообозримых и опасных последствий, особенно в Европе, где сама идея национального государства уже подорвана как развитием сверхнациональных техносистем, так и движением многих национальных и региональных меньшинств, с давних пор ставящих под сомнение законность централизованной политической власти.

8

Известный экономист Джон Кеннет Галбрайт в статье под заглавием «Революции в наше время» утверждает, что появление «государства общего благосостояния» спасло капиталистическое производство от предсказанного Марксом кризиса и окончательной гибели. По всей вероятности, его наблюдение справедливо, но к перечисленным в статье факторам следует добавить роль рабочего движения и социал-демократии, «ревизионистской» с точки зрения ортодоксального марксизма, в деле создания «государства благосостояния».

Может возникнуть вопрос: к каким последствиям приведет постепенное ослабление и распад государства этого типа в будущей капиталистической экономике?

Приобретет ли пророчество Маркса о переходе капитализма в социализм новую актуальность, и государство вновь обретет руководящую и контролирующую власть над производством? Однако такой «диалектический прыжок» противоречит предсказанному выше ослаблению государства вследствие роста самостоятельности техносистемы. Поэтому развитие в сторону социализма представляется мне маловероятным. Очевидно, нам предстоит длительный период свободной торговли и экономической вседозволенности, когда текущее развитие техносистемы, все более свободное от ограничений, будет определяться внутренней игрой независимых рыночных сил. Промышленная конкуренция принимает все более неудержимые и беспощадные формы. В то же время занятые на производстве массы испытывают растущую неуверенность в завтрашнем дне, а незанятые обречены на обессмысленную жизнь.

Не берусь утверждать, что развитие пойдет именно таким путем: уравнение содержит множество неизвестных, здесь сознательно опущенных. Решающим будет, очевидно, отношение двух социалистических гигантов — СССР и Китая,— к рыночной техносистеме. Будут ли они

со временем вовлечены в ее глобальную сеть — и как в таком случае это повлияет на дальнейшее развитие этой сети? Или же они в основном останутся за ее пределами, продолжая строить свои замкнутые миры,— к чему их побуждает, вероятно, чувство самосохранения? Сегодняшние тенденции указывают скорее в направлении первой альтернативы.

Но все же предлагаемый набросок сценария, даже ограниченный рыночной экономикой, заслуживает серьезного внимания тех национальных государств, которые пытаются прогнозировать свое будущее и формулируют цели своего общественного развития. Лучшим примером страны, где воля к этому еще не угасла, является, по-видимому, Швеция. Оттого, наверное, и нелегко со шведского горизонта обнаружить актуальность в намеченной мною перспективе.

9

Необходимость описываемого здесь развития может показаться неумолимым детерминизмом. Чтобы устоять в условиях конкуренции, предприятие должно прибегать к интернационализации и даже к приватизации, и в отдельных случаях это неизбежно. Но мы редко спрашиваем себя, почему предприятия должны конкурировать и выигрывать в соревновании. Разве это не самоочевидно? Да, если смысл существования предприятия искать внутри самой техносистемы, а развитие техносистемы видеть как стремление преодолеть все, что затрудняет или останавливает внутреннюю игру рыночных сил.

Тем не менее, существует фактор, силу которого не может игнорировать ни одна созданная человеком система. Эта сила — природа. Разоренная и опустошенная земля, отравленный воздух, мертвые моря и реки не могут быть основой человеческого существования.

По отношению к природе промышленность и техника представляют собой нечто искусственно созданное, абсолютно неестественное, короче говоря: антиприроду. Но материальной базой всего искусственного является все та же природа. Невозможно развить искусственность настолько, чтобы исчезло все естественное.

Эта тривиальная истина слишком хорошо известна всем: не только политически бессильным «зеленым», но и правительствам индустриальных государств, все более вынужденным подчиняться условиям техносистемы и понимающим необходимость мер по охране ресурсов и среды. Мне лично трудно поверить в то, что мы найдем спасение от экологических катастроф большего размаха, нежели те, что уже посетили нас. Остается только надеяться, что сама техносистема дойдет до понимания условий выживания и научится более чуткому общению с единственной превосходящей ее силой — с окружающей природой.

Не стану гадать о вероятности такого развития. До тех пор, пока конкуренция играет ведущую роль в действиях предприятий, маловероятно, чтобы техносистема сама осознала свою уязвимость и перестроилась. Следует, однако, учесть, что промышленное производство основано на технологии, исходящей из научных знаний о природе, то есть в конечном счете и оно является продуктом человеческого разума. Если мы не хотим верить в принципиальную неспособность разума сохранить биологически приемлемые условия жизни на земле, будем хотя бы надеяться, что более глубокое понимание этих условий окажет сдерживающее влияние на промышленную технологию.

В современной науке явно не случайно выделяются линии исследований — в физике, биологии, социологии,— подчеркивающие важность баланса между притоком и потреблением энергии в открытых динамических системах. Исследования в этой области являются самым разительным вкладом нашего времени в научную картину мира, и многие ученые характеризуют их как начало следующей великой революции в истории науки. Здесь угадывается зародыш возможного слияния естественной биосферы и созданной разумом техносферы в нечто, по В. Вернадскому и Тейяру де Шардену, называемое ноосферой — от греческого «ноус», разум. Ее можно себе представить как экологическую систему, развитие которой определяется разумом и охраняется принципом равновесия.

Таков, вероятно, залог надежды для человечества. Однако считать, что техносистема сама заинтересуется гармонией с природой, было бы слишком наивно. Подобная заинтересованность предполагает новое поведение человека и новую систему ценностей. Неизвестно, что может вызвать их к жизни. Но весь исторический опыт подсказывает, что осознание более разумных условий существования превращается в действие только тогда, когда человек *вынужден* поступать по велению разума. И вряд ли это вынужденно разумное поведение возникнет, минуя невыносимые страдания населения или страшную угрозу всеобщей гибели.

Перевела с финского

Е. ХЕЛЛБЕРГ-ХИРН

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Евгения
ЩЕГЛОВА

ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ

Если бы мне надо было во всей прозе И. Меттера найти слова, самые для него характерные, я бы выбрала, пожалуй, реплику старухи — героини рвсская «Мать». Один ее сын, младший, в колонии, аторой, вроде бы благополучный,— под каблуком вздорной и скверной жены. К тому же старший стал человеком, что нвзывается, важиым, офицером — первым на селе, а иметь брата-заключенного для него — «срамотища». Вот и попрекает ов мать, наградившую его таким родственником,— «вы меия, пожалуйста, с ним не равняйте. Я еще пока балаяду в колонив не пробовал».

Тут и говорит мать, не вникая, разумеется, в смысл слов старшего: «Гришуня, а из чего ее варят?»

И сразу горестно, безнадежно щемит сердце. И. Меттер не произносит никаких сочувственных слов,— он только на минуту, на секунду приоткрывает дверь в жуткое одиночество. В материнскую жизнь, которую яикто, кроме матери, никогда не поймет. И все. Ничего не нужно больше рвсскаэывать о том, как больио и страшно живется старухе, как сердце ее рвется от тоски по тому сыяу, которому сейчас тяжко. И думать ова не может, ие хочет, виновен он или нет. Ему тяжко — и этим для нее все сказано.

Как, помните, у Шукшина: «...Где замаячила боль родному дитю, мать не способна восприиимать посторонний разум, и логика тут ни при чем».

Здесь, в этом лаконизме (в ситуации, где иному писателю понадобилась бы уйма объяснений),— весь И. Меттер. Его лаконизм того же свойства, что и чеховский, о котором Антон Павлович писал брату: «Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев». Но не только в краткости дело. Дело, прежде всего, в безмерном сострадании *обиженным* — судьбой ли, временем ли, жестокими ли обстоятельствами — сострадании, которое и есть стержень всего, что написано Меттером. Именно в незвметном, скрытом от равнодушных глаз трагизме обыденных мелочей, быть может, с особой силой сказалось чудовищное неблагополучие нашей жизни. И оно тем страшней, что не миновало абсолютно никого — ни заброшенных старух, ни ученых, ни учителей, ни военных, ни поселковых жителей, ни городских... Вот почему молоденький юрист («Практикант») во время обыска думает не о хитрых махинациях ворюги-завмага, а о его старой, ничего не понимающей матери и маленькой дочке. А судьба знаменитого Мухтара — служебно-розыскной собаки — поражает трагическим сходством с человеческой. Мухтар олицетворяет трагедию неблагодарности, предательства тех, кому ои верно служил всю свою собачью жизнь.

А когда читаешь трогательный и грустный рассказ «На коммутаторе» — коротенькую историю знакомства телеграфистки Даши и солдата Пети,— конечно, понимаешь, что, увы, не соединиться им, бедолагам. Слишком нивелированы «поселковой», и не городской и не деревенской, жизнью их естественные чувства, слишком включены они оба в поток стандартных «ритуальных» фраз. Уж как хочется некрасивой, неудачливой Даше походить на подруг — и зввивку она сделала, и бусы у Нины взяла, и фрвзы чужие, тысячи раз слышанные, примеряет на себя, словно те бусы... И так пронзительно жаль делается ее — ведь все у нее, бедняжки, чужое, как и у ее солдата, вырвала их жизнь из родного сельского дома, оторвалв от естественного быта, от той работы, что веками делвли их предки!

Безмерная русская жалость к «униженным и оскорбленным» имеет, однако, в наши дни определенную специфику. Л. К. Чуковская записала в своей книге слова, сказанные некогда А. Ахматовой: «Теперь арестованные вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и тв, которую посадили». Жалеть *обиженных* без брезгливости к сажавшим, пытавшим, издевавшимся, чуявшим сладостную власть над слабыми у нас невозможно. Неправдоподобно это будет, фальшиво. Но, говоря о зле, снизу доверху пропитавшем жизнь, надо ли рассказывать непременно о следователях либо охранниках? А тот сын, что в рассказе «Мать» попрекает старуху каждым куском,— не зло? Та учительница, что изо дня в день калечит детей с помощью идиотских методик (рассказ «Свободнвя тема»), не вкладывая в дело ни капли любви,— не зло? Не подлость — спокойное существование (правда, до поры до времени) того егеря-пьяницы, из-за которого погиб ни в чем не повинный парень («Мой друг Антон»)? Не взращены ли эти образчики бездушин и хамства той самой фвльшивой обстановкой, при которой бывшим охранникам преотлично живется? Они ведь и по сей день чувствуют себя «на коне» — даром что обрушились на их головы гималаи обвинений в таких злодеяниях, перед которыми бледнеет инквизиция. Об одном из подобных типов — некоем Василии Семеновиче — рассказал Меттер в «Поселковых замстках». Некогда тот был *прикосновенен*, от него *зависело*, работа карателя стала единственным, так сказать, ремеслом, которому его научила жизнь,— и оттого по сей день несет он в себе важность и адскую самоуверенность. Пусть былых «дел» его мы не знаем — перед нами на редкость красноречивый тип, сформироввнный эпохой человеконенавистничества. Ублюдочное мировоззрение позволяет ему безапелляционно судить о целых нациях. «У них народ такой. Вся ихняя польская нация. Хитрые, подлецы: за чужой счет жить хотят. Мы их кормим...»

Узнаете? Лютая злоба, проистекающая «от высокой сознательности»,— вот вам итог «идеологической» обработки общества!

«Склеротическая атрофия всякого живого человеческого чувства» — так по-медицински квалифицировал когда-то Вересаев подобное духовное омертвение.

Вспоминается тут один из главнейших мотивов толстовской «Смерти Ивана Ильича». Смертельно заболевший прокурор Головин, мучительно думая о прошлой своей жизни, припоминает и то, что все отвратительное в ней — и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина, и подслуживание начальнику — все это делалось «с чистыми руками» и «в самом высшем обществе, следовательно, с одобрения высоко стоящих людей». Наше общество, конечно, сделало мощный рывок вперед — темные дела, лежащие *на* «совести»(?) немалого числа смутных людей, чистыми руками уже не делались, однако санкция начальства как была, так и осталась единственным их нравственным кодексом. Толстой, однако, не делает даже малейшей попытки оправдать тем самым никчемность жизни Ивана Ильича: ничто, по его мнению, не снимает с человека личной ответственности за содеянное.

Этот историко-философский вопрос, который ныне занимает умы писателей и ученых, гуманистическая, настоящая русская литература — не казенная, не булгаринско-катковская — решала всегда однозначно. Она уважала личность — и вследствие этого имела право быть требовательной. В романе «Тысяча душ» А. Писемского один из героев в ответ на чьи-то сетования, что, мол, гоголевского Чичикова «среда заела» и из-за этого его нельзя ни в чем обвинять, говорит: «Но что тут общество сделает, когда он сам дрянь человек. Натуришка гадкая! ...В противном случае можно дойти до ужасного заключения, что совесть — дело условное».

Это сказано задолго *до* трагических катаклизмов, обрушившихся на страну в двадцатом веке. Но, как писала Л. Гинзбург о рассказах Кафки, написанных до фашистского переворота, «современный читатель не может не проецировать на эти произведения все, что он знает о фашизме». Когда в очередной раз всплывает занудливый и, надо сказать, бесконечный спор — люди ли виновны во всем, что с нами произошло, или обстоятельства, вынудившие их стать таковыми, давайте лишний раз вспомним нашу классику. Она, прежде всего, завещала нам не кивать до скончания веков на государство, не оправдывать собственные малопочтенные поступки влиянием «среды» — этак можно в наших условиях оправдать любую низость,— а памятовать о совести. Об ответственности перед потомками. О «Боге в душе». О сострадании. О достоинстве. О чести.

И если интеллигентный герой рассказа И. Меттера «Покой» в зрелом возрасте с горечью и страхом обнаруживает, что сын безнадежно отошел от него, что в отношениях Бориса с его глуповатой и пустенькой Аленой есть что-то грубо животное (не случайно «собачья свадьба» в квартире так настойчиво лезет ему в глаза), писатель отнюдь не собирается винить в том зловредную улицу, среду, эпоху, уведшую детей от родителей, и т. д. и т. п. Нет, не эпоха, а сам Владимир Сергеевич прозаично развеичивал в глазах маленького сына чудеса жизни, объясння их «научно» и «правильно», но на диво бездушно; не эпоха, а сам он решил раз и навсегда не вмешиватьсн в мелкие «домашние подробности» и не посвящать сына в собственные сомнения и раздумья. Работа же Владимира Сергеевича — социология — как-то к непредвзятому отношению с родными не располагала. Берёг, одним словом, он свой покой, свой тихий мирок...

А мы? Разве не берегли многие из нас недавно свой покой, свой мирок, понимая, что нас кругом окружает чудовищная ложь? Я уж не говорю о временах сталинского всевластья: покой ли берегли тогдашние «охранители устоев» или попросту шкуру, вопрос не такой легкий. Однако Н. Мандельштам, не колеблясь, писала — дело не в Сталине, дело в нас. И доныне крепчайшее оцепенение тех лет никак не покинет многих и многих. Так ли хорошо жилось при застое? Да нет, вроде бы — хотя и погуще на прилавках было; зато мертвечина пропитывала почти все журнальные публикации, для «оживляжа» время от времени сдабриваемые вялой псевдодискуссионной жвачкой. Это еще, так сказать, на подмостках; а за кулисами — на весь мир прославив-

шиеся психушки и лагеря постсталинского типа. Правда, В. Солоухин в письме в «Советскую культуру» и сейчас (вспоминая участь Пастернака) полностью оправдывает и себя, и сотоварищей, голосовавших за исключение, элегически восклицая — такие уж были времена (как говорил Глебов из романа Ю. Трифонова «Дом на набережной»: «Не люди виноваты, а времена»). Превосходно сформулированное кредо «истинно русского» писателя — еще один итог печального развития отечественной словесности.

Нас утешает, что, как написал Б. Сарнов, «все мы немного Солоухины». Однако...

...Вспоминая известную встречу А. Ахматовой и М. Зощенко с английскими студентами, Меттер рассказывает, как после оскорбительных выступлений Вс. Кочетова и К. Симонова Михаил Зощенко попытался в последний раз защитить свое поруганное достоинство. Как в «обморочной тишине» зала звучали слова этого рыцаря русской литературы, который хотел, чтобы все поняли — «брань, которой облил его Жданов, непереносима и для нас». «Его речь,— пишет И. Меттер,— была заряжена силой необычайной мощи: мощью непривычного тогда еще для нас человеческого достоинства и душевной прозрачности и одновременно — такой детской незащищенности, что, слушая его, невозможно было удержаться от спазм в горле».

В гулкой тишине переполненного зала раздались аплодисменты одного человека — И. Меттера. Он был уверен тогда — весь зал подхватит их. Зал отмолчался. Так что рассказ Меттера о «благоразумии» интеллигенции наводит на вполне конкретные и близкие ассоциации.

Я помню, как на праздновании восьмидесятилетия писателя в 1989 году кто-то преподнес ему цветы со словами — «это вам за ваши аплодисменты».

Так что все-таки не все у нас Солоухины.

Наверное, на протяжении эпохи (изящно именуемой «застоем») сохраниться нашей литературе в лучших ее образцах помогла классика. Помогли ее гоголевские, чеховские, толстовские традиции. Им тесновато жилось в «застойном» мундире, их укорачивали под «мундирные» размеры, но они выжили, как толстовский чертополох. Сострадание, которым жила проза Меттера,— оттуда.

Мне кажется, что в недавнее время рассказ был единственным жанром прозы, не утерявшим *человека*. Пространство романа волей-неволей обязывало к большим и нежелательным тогда для настоящего писателя обобщениям. Ведь именно романная проза представлена в истекшее двадцатилетие именами Ан. Иванова, П. Проскурина, И. Стаднюка, А. Чаковского. И в то же время что дало нам большее и лучшее представление об изувеченности общества, чем маленькие рассказы В. Шукшина с их трагическим вопросом — «что же с нами происходит?!» И «поселковые» рассказы и заметки И. Меттера вовсе не случайно «поселковые». Полугородской-полудеревенский поселок под Ленинградом — своего рода микромир, в котором, пожалуй, отчетливее, нежели в большом городе, видны трагические несуразности жизни. Вообще «периферийная» русская проза — так уж у нас повелось от Писемского, Лескова, Чехова,— показывая Россию не только вглубь, но и вширь, подробно изучая особенности ее быта и характера, всегда обогащала и питала «большую» литературу (сама становясь при этом «большой»). Есть у нее и еще одна крайне существенная особенность. Возникая, как правило, не только на территориальной периферии, но и на периферии русской общественной мысли, она порой аккумулировала в себе нечто новое, едва брезжущее, в корне отличное от господствовавших в столицах традиций. Так произошло с А. Чеховым, который возник в период кризиса народнических иллюзий и народнической литературы.

«Поселковые» рассказы и повести И. Меттера показали миру и нам, в каком чудовищно искаженном обществе мы живем и как привыкли к его уродливой форме, словно иной и быть не может.

Вот рассказ «Хворь» — давний, кстати... В поселковое отделение связи приехал новый начальник. Странноватый, нелюдимый. Ничего он как будто особо странного не говорит,— все то же, что слышали мы не так давно по радио. «Перед молодежью все двери открыты»; «рабочий класс у нас доминирует»; «госдоходы идут на удовлетворение нужд трудящихся»... Веет, правда, от него какой-то окаменелостью, стылостью,— ну, да не больно ли много мы хотим?

Да только оказался тот Петр Васильевич... не вполне нормальным. Врач-психиатр больницы, куда он угодил, спрашивает у оператора Пани — не замечали подчиненные что-либо странное в его поведении? Нет, говорит она. Нормально все было.

Боже мой, да что же это с нами происходит? Ни у одного человека ни на минуту не закралось подозрение, что начальник-то их сумасшедший, что пустые слова, в которых нет ни грамма содержания, слова-автоматы, паразиты, произносит он лихо и браво потому, что *своих слов* у него нет, ибо душа его больна? Ведь от него иной раз сочувствие требовалось, самое простое человеческое участие — а он, как машина, лозунги выдает! И никто ничего не замечает! Так, может быть, это мы все больны? Все общество?

Бездушный автоматизм слов этого больного напоминает набор непробиваемых трафаретов отставника-рыболова «из органов», о котором Меттер написал в повести «Пятый угол». Помните? Ему рассказчик — про то, как детей отбирали у арестованных родителей, как отдавали их в детдом под номерами, про то, что новорожденных сажали в тюрьму вместе с матерями,— а он про то, что «двадцать пять лет стоял на охране ее (Советской власти.— *Е. Щ.*) идей... От государства имею полное уважение» (замечу в скобках — вот еще один источник внутреннего трагизма сегодняшней ситуации. «Они» у государства пока что в полном почете. От «них» оно не отреклось).

Вот она, давняя писательская боль. Насколько же точно уловлен именно в таких рассказах трагизм пустой души. Трагизм ситуации, когда этот прискорбный человеческий изъян всемерно поощряется «верхами», упорно не понимающими, что идеологические клише и штампы годны только на то, чтобы прикрывать внутреннее убожество — больной ли души, как у Петра Васильевича, или отсутствия ее, как у того отставника.

Не могу не остановиться на великолепной картинке, запечатленной Меттером в «Поселковых заметках» (кстати, напечатанной, в отличие от большинства заметок, недавно). Она как раз и говорит, насколько в поселке, на периферии отчетливее видны перекосы, в городе давным-давно ставшие привычными. Первомайская демонстрация на пыльной поселковой площади. Обычное мероприятие, проводимое из года в год. Мы давно уже свыклись с тем, что лозунги, выкликаемые с трибун, к нашей жизни не имеют абсолютно никакого отношения. «Притерпелись». В поселке же масштабы иные. И натужный оптимизм там настолько смешон и противоестествен, что читать, право, и горько, и страшно. На чем мы воспитывались с младых ногтей! «На площадь выходят Герои труда!» — выкрикивается в микрофон. «Из-за дома,— комментирует писатель,— выходят два старика: аптекарь и зверовод, им лет по семьдесят, у них красные банты на груди...» «Идет колонна трудящихся!» — и пояснения автора: «Эти поселковые жители работают на единственном в нашем населенном пункте предприятии — фабричке пластмассовых пуговиц и игрушек... Продукция этой фабрички почти тотчас же уходит в ларьки уцененных товаров». «Да здравствует научно-техническая революция!» — и такие же иронично-невозмутимые комментарии: «В поселке нет канализации, нет в домах водопровода — здесь впору провозглашать цивилизацию, самую рядовую цивилизацию...»

В принципе эта сцена — настолько точная и сжатая картина всеобщей нашей *заболтанности*, что ее можно рассматривать как ключ к массе явлений и проблем. Эта заболтанность — отечественный феномен, взращенный десятилетиями. Вот уж где мы и впрямь «впереди планеты всей»! Подобная болтовня мало того что кормила и по сей день сытно кормит миллионы удобно устроившихся соотечественников — относительно недавно с ее помощью и ссылали, и пытали, и убивали. А сегодня бывшая трагедия стала комедией. Но и сейчас это далеко не безобидные «идеологические клише», над которыми можно лишь всласть посмеяться! Если мы не поймем, что нужны они были исключительно для того, чтобы маскировать человеконенавистнические планы (не случайно они так поощрялись в государственном масштабе — для их утверждения усердно работала целая армия штатных и сытых борзописцев), что они были *взамен* ума, совести, милосердия, сострадания,— мы легко сможем заменить одни клише другими. А вот это уж не дай Бог!

И. Меттер еще давно, в 50—60-е годы написанных повестях, подчеркивал: приверженность к подобной «шаманской» фразеологии есть прикрытие низости. Недаром в его книгах подлецы всех мастей прямо-таки обожают щеголять «политической грамотностью». Читатель ведь преотлично видит, например, всю дрянность милиционера Дуговца из «Мухтара», антипода Глазычева; но посмотрите, какие на диво правильные мысли высказывает этот мерзавец! Придя с доносом на ветеринарного врача, он не забывает сдобрить свою подлость фразами типа «воспитывать молодежь надо и на мелочах» (кстати, удивительна беспримерная забота отечественных охранителей всех калибров именно о молодежи, так точно уловленная писателем. А. Жданов, помнится, поливая грязью М. Зощенко и А. Ахматову, тоже страстно пекся о будущем советской молодежи). Не забывает Дуговец и о народе,— тоже, не правда ли, «очень похоже»? «Кино снимается для народа» — значит, тот, кому, допустим, что-то в фильме не понравилось, «не народ». Исключительно удобная формула, с помощью которой (если отвлечься от повести Меттера) можно отлучить от народа кого угодно. Что, впрочем, и делалось (и делается!). Вспомним знаменитый титул — «враг народа»: знали милые наши идеологи, чем поддеть интеллигенцию, которая чувствовала себя вечно виноватой перед народом! Впрочем, «народа» как такового при тоталитарном режиме не бывает. «По существу,— говорит герой повести «Пятый угол»,— титулом народа обладал один человек — Сталин».

Написанный еще во времена «Нового мира» А. Твардовского рассказ «Свободная тема» повествует о том, насколько казенная демагогия, словно ржавчина, разъела общество на всех уровнях. Ловко замаскированная душевная пустота калечит людей со школы. Не зла, не коварна, «как демон», молоденькая учительница литературы Тамара, а посмотрите, как удобно и тепло сумела она расположиться в жизни! «Каждый человек должен на своем месте честно выполнять свой долг»; «тебе доверена судьба будущего поколения»; «нашему поколению дано строить новую жизнь»,— и никаких сомнений и проблем. Тамара — человек послушный, и я подозреваю (заглядывая за грань рассказа), что в детстве ее очень расхваливали учителя! Ведь и поныне что прежде всего требуется от учеников — послушание, послушание и послушание, а всякие сомнения и «провокационные» вопросы убиваются в них на корню (о чем не так давно говорил С. Соловейчик). Так что перед нами не заурядный демагог, а своего рода «венец творения».

Между прочим, не имеем ли мы сегодня дело с выросшими учениками Тамары, подгоняющими любое *живое* слово к мертвой фразе? «Это то, что болит»,— сказал когда-то о рассказе А. Твардовский, напечатав его в своем журнале.

Орудуя лозунгами, как щитом, Тамара не замечает — не хочет? не может? не обучена? — что дети со своими проблемами и размышлениями безмерно далеки от нее, что духовная жизнь в ее классе течет *помимо* заезженных формул, что вырастить по ее методу (который ни на йоту не отступает от рекомендованных методик, и Меттер об этом не забывает) можно разве что еще одного Борьку Калитина — будущего карьериста и делягу. Так что же, виноваты методисты, инспектора? Ведь сюжетом рассказа стала борьба вокруг двух свободных тем, поразивших Колю Охотникова — другого учителя литературы — своим бесстыдством. «Положительные и отрицательные черты моих родителей» и «Мои достоинства и мои недостатки». Изволь-ка в шестнадцать лет искренне написать на этакие темы! С их помощью разве только очередного Дуговца воспитывать. Самое же любопытное, что Меттер их отнюдь не выдумал — это действительно существовавшие когда-то темы!

Не будем, однако, обличать только методики, хотя от них и впрямь хочется кричать «караул!». Кто же не знает, что дети наши в школе частенько озабочены не тем, как полнее постичь Толстого и Чехова, а тем, как бы половчее распознать, чего от них надобно учителю. Знали бы классики, как с их помощью выращиваются будущие Молчалины! А уж об учебниках и методике преподавания *советской* литературы и говорить нечего — никакая перестройка там и не ночевала, о чем сегодня с болью и ужасом пишут критики и прогрессивные педагоги. Писатель Меттер забил тревогу уже давно, по-писательски точно уловив один из самых болезненных вопросов современности. И то, что никто не вслушивался в голоса наших писателей, стоит нам сегодня невообразимо дорого (хотя — разве только в проблемах школы дело? Школа издавна была точнейшим слепком с общества, и ее беды — прямое производное от бед государства).

Что же противопоставить этой драме, если скрупулезное следование чудовищным методикам охотно поощряется, а самостоятельность, смелость мысли почитаются смертным грехом и караются увольнением? Как, спрашивается, разбить эту стену, возведенную руками миллионов очень послушных и очень старательных *первых учеников*?

Меттер не дает нам рецептов спасения мира. На то он и писатель, чтобы правильно *поставить вопрос*. «Будет и того,— писал М. Лермонтов,— что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!» Но у нас-то ныне куда запущеннее социальные болезни, у нас — продолжу медицинскую терминологию — давно пошли метастазы по всему организму. Упомянутому выше Коле Охотникову тяжко придется в жизни. Потому что у него есть совесть. А наличие ее — вот беда — не предусмотрено было в государственной политике.

Колина судьба — это трагедия русской интеллигенции, родившейся *не вовремя* (а впрочем, когда ей, бедной, было *вовремя* родиться?). Как — помните — Герцен писал о причинах ранней смерти поэта Веневитинова: «...нужен был другой закал, чтобы вынести воздух этой мрачной эпохи; ...надо было приспособиться к неразрешимым сомнениям, горчайшим истинам, к собственной немощности, к постоянным оскорблениям каждого дня; надо было с самого нежного детства приобрести навык скрывать все, что волнует душу...»

В давних рассказах Меттера сегодня просматривается масса точно увиденных штрихов, переживших свое время. Рассказу «Свободная тема» четверть века. Но поглядите-ка, насколько точно предугадана и запечатлена в нем прискорбная черта бюрократической мысли — хоть школьной, хоть литературной, хоть номенклатурной! Директриса школы укоряет совестливого мальчика, возмущенного бездельем вечно пьяного бригадира, из-за которого накопанная ребятами картошка осталась под снегом, и написавшего об этом заметку в стенгазету. «Написано это казенно и сухо, прости меня, по-канцелярски,— говорит она.— А ведь территория „Рассвета“ расположена в живописнейших местах! Почему ты не описал природу, восход солнца, лесной массив на горизонте?»

В статье Н. Федя (Наш современник, 1988, № 6), где, в частности, речь идет о романе «Дети Арбата», автор с прискорбием нам поведал, что Саша Панкратов (который отправляется в ссылку без вины) почему-то не видит красот окружающей природы! «Заметил ли он,— укоряет героя, а заодно и автора, природолюб,— что-нибудь интересное, привлекательное в окружающем его мире, в удивительно богатой и прекрасной сибирской природе?»

Не правда ли, любопытное сходство?

Когда в последние годы Меттер выступил с воспоминаниями о писателях, близко ему знакомых,— А. Ахматовой и М. Зощенко, И. Бродском и А. Твардовском, О. Берггольц и Ю. Германе,— в их трагических судьбах он, как, пожалуй, никто из сегодняшних мемуаристов остро и зорко увидел драму мужества и борьбы таланта с давящей на него, убивавшей, но не убившей посредственностью. Увидел с огромной, страстной *человечностью*.

Меня постоянно удивляет колоссальное количество друзей, обнаруживающихся у великих писателей после очередного реабилитанса. Наши журналы — ярчайший тому пример. Воображаю, как удивлены были бы, случись им воскреснуть, покойные! А. Ахматова как-то рассказала, что, когда она приехала с очередной просьбой о помиловании сына, знакомые не впустили ее в дом. Она, правда, на них не обиделась. Не удивлюсь, если сейчас кто-нибудь из них напишет о ней самые трогательные воспоминания!.. Кто ж, однако, не знает, что любые мемуары есть прежде всего автопортрет мемуариста, даже если он изо всех сил старается кое-что скрыть. Но только близкому взору откроется не просто всем известная и ставшая чуть-чуть банальной грусть в улыбке великого нашего сатирика М. Зощенко, а то, что писателю этому была свойственна особая — грустная — отрешенность от жизни. *От той* жизни... Недаром переводчики рассказов М. Зощенко на иностранные языки по сей день удивляются, что мы над ними смеемся,— это же драмы, говорят они, трагедии, а никакая не сатира! А нам вот смешно... Над чем, как говорится, смеемся... Не случайно сам Зощенко словно бы удивлялся, слыша в залах громовой хохот. «С годами,— пишет И. Меттер,— эта улыбка стала еще и печальной: вроде бы и ничего в ней не переменилось, но, глядя, как Зощенко улыбается, улыбается несмотря ни на что, мне хотелось провалиться от боли и стыда сквозь землю».

Восхищаясь строгой красотой личности прекраснейшего нашего писателя, грубо и страшно вырванного из литературы и убитого в конце концов *системой*, Меттер словно заново, с той же болью переживает ужас случившегося. И обострен этот ужас тем, что Зощенко был человеком необычайно ранимым, деликатнейшим, страшившимся причинить другому хоть малейшую обиду. «В крайне редких и скупых выступлениях Зощенко,— пишет мемуарист,— была всегда такая обезоруживающая чистота и даже наивность, ...что обычно после его выступлений наступала какая-то виноватая тишина». И далее: «Мне казалось тогда, что само физическое присутствие Михаила Михайловича как бы создавало вокруг него бактерицидную среду,— этим свойством обладают благородные металлы. Серебро, золото, платина».

Нет, никогда я не поверю, что человек, любящий в других *себя*, смог бы увидеть писателя вот так.

А вспоминая позорный суд над И. Бродским, Меттер рисует незабываемый портрет судьи Савельевой, коей доверено было решать судьбу гениального поэта. «...Природа не стала лукавить. Натура Савельевой была крупно и четко отпечатана на ее лице — настолько четко, что отсутствие специального переводчика не помешало бы любому иностранцу, несведущему в русской речи, синхронно понимать по выражению лица судьи все, что она выталкивала из своих вполне обычных губ. Угрюмым хамством, пещерным невежеством, сладострастием власти сверкали ее глаза... когда она чаще, нежели ежеминутно, перебивала тихие, учтивые, а порой и задумчивые ответы Бродского».

Насильственная отторгнутость Ахматовой от читателей, «вырубленность» ее голоса на десятилетия; искренняя и беззоглядная доброта Ю. Германа, распространявшаяся даже на его героев, ибо автор способен был влюбиться в них до самозабвения; строгая требовательность к себе и другим А. Крона; участь А. Твардовского, «совесть которого,— пишет И. Меттер,— предстанет на Страшном суде грядущего измученной, но чистой»,— все это, конечно, мог увидеть только тот, кто страстно болеет за горести, что с избытком выпали на долю нашей литературы.

Писателю Меттеру можно верить. Можно — потому что и себя он судит таким же строгим и бескомпромиссным судом. Недавно опубликованная повесть «Пятый угол», конечно, не вполне автобиографична, но, судя по всему, герой ее Борис — это во многом автор. Вглядываясь в даль ушедших лет, он мучительно проворачивает в памяти былое и с болью, с трепетом, беспощадно спрашивает себя: как же все это — все, что с нами было,— могло произойти? Когда *это* началось? С чего? И кто же во всем этом опять-таки виноват? Пе-

ребирая в мыслях годы юности и молодости, которые — как убежден рассказчик — дают каждому человеку почувствовать себя неповторимой личностью (и признавая это право первейшим, о чем — к величайшему горю нашему — позабыто было целых семьдесят лет), он снова и снова ищет ответа, зная, что не найти его, не найти... Трудно людям этого поколения. Немногие оставшиеся в живых — после испытаний «на прочность» и в 20-е, и в 1937-м, и в военные годы, и в не менее тяжелые послевоенные — идут по этой жизни одиноко, боясь опереться на локоть ровесника... Годы ли виновны во всем — или сами люди сделали эти годы страшными... Конечно, сами. Но вот чем виноват перед миром и людьми погибший на фронте Саша Белявский, умница, талант? Чем виноват исчезнувший в тридцать седьмом другой друг юности Бориса — Толя Зунин, молодой профессор Харьковского университета? А сам Борис — никогда совесть не позволяла ему словчить, меж тем не он ли наставлял когда-то своих учеников (одно время герой Меттера был учителем): математика — наука, дескать, классова, есть «математика кулаков и математика рабочих в союзе с беднейшим крестьянством». «Спрос на эту точку зрения был велик»,— говорит он, не оправдывая, однако, себя. В одной из сочиненных героем задач, рассказывается в повести, путем мудреной софистики доказывалось не что иное, как предательство убитого впоследствии Ломинадзе. В 1965 году рассказчик встретился в доме отдыха с его вдовой, «немолодой женщиной, у которой в результате допросов трудно поворачивалась голова». И он вспомнил свою задачку. «С помощью нескольких цифр в этой задаче доказывалось, что Ломинадзе — враг народа.

Я доказал — его расстреляли»...

Можно ли простить себе это? Простить сегодня, когда счет идет на миллионы погибших? И имеет ли он право требовать от других, если сам не без греха?

Мы, однако, не поймем эту повесть, если забудем о Кате. О той Кате, которая ворвалась в жизнь героя, когда ему было семнадцать лет, и заставила на долгие годы «ослепнуть и оглохнуть от любви», испортить жизнь доверчивой Вале Снегиревой, на которой он поспешно, не любя, женился в ослеплении горя от Катиной неверности. Конечно, неверные и ветреные, но безмерно обаятельные Кати встречаются во все времена, и во все времена абсолютно невозможно сказать, за что любят их. И слава Богу, что нет тут объяснений. Но Катя Голованова...

Время, ты ли виновно перед Катей за все ее ошибки, метания, за страшную гибель в тюрьме, или она виновата? Для среды порядочных людей свойствен последний ответ. Но ведь пятый угол — в него загоняли не только Катю, как представляется герою в бессонные ночи. Это его самого жизнь столько раз пыталась загнать туда!

«Что же я делал в это время? Как я смел что-нибудь делать в это время (когда умерла Катя.— *Е. Щ.*). Все делали, и я делал. Может быть, я в ту минуту, когда она искала в четырехугольной комнате пятый угол, где-нибудь смеялся. Может, я в это время сидел в театре. Может, я в это время жил?»

Пятый угол — пятая категория (самая последняя в нашей, уже, слава Богу, несуществующей «табели о рангах»: сын частника, «капиталиста») — пятый пункт анкеты... Между этими понятиями, за каждым из которых — горе, страх, унижения, поломанные жизни — бьется мучительная мысль рассказчика. Как, оказывается, невероятно тесно человеку, когда бессмертную его душу, неповторимую личность, его «Я» втискивают в жуткую эту клетку!

И на что же можно опереться теперь, после всего пережитого, которое даже сниться не могло писателям-классикам? Один из возможных ответов — в книгах Меттера: «Я просто и незамысловато верю в добро»; «я перебрал все, что есть в мире, все, что придумано человечеством. Мне ничего не подходит, кроме того, во что верил с самого начала».

Верил в добро.

В этом Меттер совершенно солидарен со своим героем.

...Встречая частенько соседа по дому, бывшего полковника, десятилетиями одержимого странной на посторонний взгляд идеей — отыскать и похоронить погибших своих бойцов, герой-рассказчик повести «Пятый угол» вдруг понимает, что оба они «больны одним безумием.

Мы оба бродим среди неотысканных могил».

Под журнальным вариантом этой повести стоит дата — 1967 год.

Напечатать ее смогли — в полном, неизувеченном виде — только сейчас, спустя двадцать с лишним лет.

Будем же благодарны писателю И. Меттеру за то, что все эти долгие тяжелые годы он помогал каждому из нас оставаться самим собой. Что он в наш «жестокий век» проповедовал Человечность и сострадание.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. М.: Книга, 1990.

Вот еще книга, к которой, прочитав однажды, хочется возвращаться снова и снова. Не стихи, не рассказы, не роман — письма. Мы говорим как о литературных произведениях о письмах Тургенева и Чехова. Читая переписку трех выдающихся поэтов XX века, ловишь себя на мысли: это — удивительная проза (что безоговорочно относится к неповторимой стилистике Цветаевой, и каким же чувством языка надо обладать, чтобы перевод с немецкого воспринимался как глубоко индивидуальный язык и стиль поэта; К. М. Азадовский-переводчик показал себя в этой работе во всем своем блеске).

Это книга — о Любви. Любви большой и трагической. Это книга — о Поэзии и Поэтах, которых разделяли языки и границы и которые «поверх барьеров» (и не только языковых и государственных) тянулись друг к другу. И в то же время эта книга — не просто публикация, а некое связное повествование, где текст публикаторов (Е. Б. и Е. В. Пастернаков, К. М. Азадовского) переходит в словесную ткань писем и выходит из нее (не случайно оно разделено на главы — как роман, как исследование; собственно, перед нами и есть нечто вроде романа-исследования).

Прекрасная книга! И жаль, конечно, что мы в очередной раз оказались «впереди прогресса» (в 1980—1985 годы она была издана за рубежом на итальянском, французском, немецком, сербском, испанском, английском языках). И тем более жаль, что книга не свободна от огрехов и недоговоренностей (так, не сказано, что повесть «Царевна в зелени», которую Цветаева запомнила со своих шести лет, написал Андре Террье, довольно популярный в России в 1880—1990-х годах; интересно, что в сборнике 1940 года «Из шести книг» Анна Ахматова открыла «Вечер» поэтической цитатой из него).

Кроме переписки с Рильке и Цветаевой, книга содержит также переписку Пастернака с отцом, известным художником, и с сестрами. Что касается основного массива переписки Пастернака с Цветаевой, то мы сможем ознакомиться с ним не раньше начала следующего века, когда кончится срок запрета, наложенного на него дочерью Цветаевой, А. С. Эфрон. Сама же книга смогла появиться только потому, что в 1977 году истек срок «табу», наложенный Цветаевой на ее письма к Рильке.

Так что «давайте, ребята, жить...» долго!

М. ЭЛЬЗОН

Кантор В. К. Историческая справка: Повести, рассказы. М.: Советский писатель, 1990.

Насколько верно солженицынское замечание, что интеллигент — это человек с индивидуальным интеллектом, настолько же справедливо будет сказать, что новый сборник В. Кантора — о псевдоинтеллигенции. Недо- и псевдоинтеллигенты пятидесятых и шестидесятых, случайные заботы, заботы, заботы, наполняющие их существование. Истинная, великая цель — она когда-нибудь осуществится, время еще есть, а пока — пока надо срочно написать заметку в журнал, надо сходить за продуктами, с кем-то встретиться, о чем-то договориться, и надо позвонить в ЖЭК, чтоб прислали наконец водопроводчика... «Он настолько раньше был уверен, что не умрет, пока не создаст то, для чего призван на свет, что не только не боялся тратить время на мелкие халтуры, но и не боялся летать на самолетах. А тут он вдруг почувствовал, что... пропустил свой час, что умрет до срока именно потому, что ничего еще даже не начал такого, что побуждало бы его экономить время и жить...» Была она, есть она у нас — интеллигенция? — или только отдельные интеллигентные люди, а остальное и вправду «образованщина», угрюмая и скоро позабытая толпа?

«Случайные заботы и смерть» — один из рассказов, помещенных в книге, так и озаглавлен. Вся жизнь героев, все внимание автора сосредоточены на случайных заботах — это, пожалуй, и определило языковую тональность повествования: о пронзительном и раздирающем душу — меланхолично, будто слова тоже увязли в серой повседневности, до тоски однообразной — даже не отделаться от ощущения, что во всех рассказах один и тот же персонаж. И если бы не повесть «Крокодил», одновременно и открывающая сборник и как бы подводящая ему итог, то, наверно, немало нашлось бы читателей, решивших, что одним метким заголовком о «случайных заботах» исчерпывается содержание всей книги, и кто прочел этот рассказ Кантора, тот прочел все его рассказы. В «Крокодиле» — выявленность последнего предела: у погрязшего в пьянстве образованца-шестидесятника тот же интеллект и те же духовные запросы, что и у чинно-благопристойных его двойников-собратьев, притязающих на причастность к интеллигенции.

И. РАК

Элиас Канетти. Человек нашего столетия. Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1990.

Среди западных сочинений, которые в СССР скрывали, были и книги Канетти, одного из крупнейших представителей того жанра, который у нас не мог сложиться по понятным причинам,— философской публицистики. В текстах Канетти и в нем самом — сейчас это видно — не устраивало все: и жанр, и свобода мысли, и содержание, и национальность. «Думать о вещах не новых так, будто они никогда до сих пор не существовали»,— эта дневниковая запись (1981) точно передает суть метода Канетти: пройти по утоптанной в камень дороге, как по целине.

Нет возможности говорить о воспоминаниях, о портретах... Выделяются, волнуя воображение, два исследования: «Гитлер по Шпееру» и «Масса и власть» (к сожалению, в виде отрывка).

Первое — размышления над «Воспоминаниями» А. Шпеера, нацистского обер-архитектора; анализ строительных фантазий Гитлера, выливающийся в исследование психологии диктатора. Канетти демонстрирует различные формы, в которых реализуется маниакальное стремление к превосходству. Примитивность качества этих форм искупается грандиозностью количеств (гора трупов, стодвадцатиметровая высота триумфальной арки, тысячелетний рейх), не только вбирающих все доступное захвату пространство-время, но и переходящих за черту действительности.

Эссе о Гитлере — пример анализа манипулирования массой и ее сознанием. В общем виде проблема рассмотрена в главной книге Канетти-публициста — «Масса и власть» (1960). За этим исследованием стоит одно из ключевых открытий XX века: массы легче не обучить и поднять (о чем мечтали в наивном XIX веке хотя бы некоторые), массами важнее управлять, «заменяя воспитание пропагандой» (Т. Манн, «Внимание, Европа!», 1935). Для нас, вкусивших все плоды такой замены, анализ свойств сплоченного, слипшегося в нерасчленяемый ком МЫ представляет не абстрактный интерес, а является необходимым инструментом самоанализа. Ибо по-прежнему нас *делают* «медленной массой», как выражается Канетти: *держат* вместе, *насильно двигают* к потусторонней цели, *не дают* распасться, из «товарищей» стать индивидуумами. Ведь без массы невозможны ни власть, ни властитель. Не случайно немецкое название — «Masse und Macht» — звуковым подобием сближает смыслы: явления эти возникают и умирают вместе.

М. ЗОЛОТОНОСОВ

Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л.: Советский писатель, 1990.

Для университетцев моего поколения этот человек был зримой легендой. Еще не прослушав ни одной его лекции, мы знали, что на них собирается не один факультет и не один институт. И книги его тогда воспринимались нами прежде всего как материализовавшиеся традиции Alma Mater, олицетворение и символ Золотого (или Серебряного?) века блистательной кафедры русской литературы Ленинградского университета 50—60-х. Сегодня же это — классика литературоведения.

Ценно все, что создано большими учеными. Однако, как у больших артистов — лучшие роли, есть у каждого из них — свои вершины. Конечно, часть монографии, посвященная Тургеневу, много даст и школьнику, и филологу, и любителю словесности. Введен в научный оборот немалый материал, в нестандартном ракурсе представлены нам знакомые с детства книги, тонко и неожиданно проанализированы многие их страницы — чуткость Бялого к писательскому слову, к нюансу, детали была уникальной даже для той уникальной кафедры. Но... впереди для читателя — чеховский раздел, и тут-то ждет нас подлинное литературно-критическое открытие.

В основе творений Чехова, по мысли Бялого, лежит высокий гуманистический идеал *нормы человеческой жизни*. Соль чеховских смешных и печальных житейских комедий, малых и больших драм повседневного существования — а том, что такую норму мы (не до сих пор ли?) считаем аномалией, а аномалию возводим в норму. Это делают и толстый, и тонкий, и торжествующий победитель. Это с горечью, болью, отчаянием осознают Николай Степанович, Мисаил Полознев, Лаптев, Гуров с Анной Сергеевной. А вот проницательнейший критик и властитель дум целого поколения Н. К. Михайловский сурово порицал Чехова за несоответствие его творчества высоким идеям времени. Не потому ли пережил в сознании читателей Антон Павлович своего умного и строгого судью, что лишь норма истинно человеческого бытия, в отличие от всех «идей времени»,— вечная категория этики? С воистину чеховской грустью вслед за Григорием Абрамовичем Бялым задумываемся мы над этим именно теперь...

А. ХОДОРОВ



Борис ГУСЕВ

РАЗВЕДЧИЦА

Помню тот весенний день — почти четверть века назад,— когда я впервые поднялся на третий этаж Ленинградского Дома книги, где помещалось отделение издательства «Советский писатель», и оказался в узком коридоре. В конце его была стеклянная дверь в небольшой кабинет, в котором стояло впритык пять столов, а единственное окно выходило во двор-колодец.

— ...Садитесь!.. Ну что ж, я прочла вашу рукопись. Так вот...

Я впервые увидел эту женщину. У нее красивое смуглое лицо, черные, слегка вьющиеся волосы. Живой взгляд.

...Начался разговор редактора с начинающим писателем. Я только вступил в союз, работал в журналистике. В газете «Известия» печатались первые главы, или, точнее, отрывки, имеющие вид газетного очерка, полная рукопись книги «За три часа до рассвета» теперь была в ее руках. Книга о разведчиках Кузьме Гнедаше и Кларе Давидюк. Я нашел в архиве военной разведки закрытое дело нашего старшего резидента в Отечественную войну. И он, и она (его связистка) погибли... Но я разыскал их соратников, собрал большой материал...

Это был долгий процесс редактирования — месяца три, за которые я, по существу, почти переписал повесть. Хотя в то же время вроде все так и осталось. Иногда она говорила: «Вот н не вижу этой сцены. Почему он вошел в землянку? Что ей сказал? Это надо мотивировать как-то?» Но в то же время она никогда не правила меня. Вообще она даже не употребляла этого слова «править». Она говорила:

— ...Наиболее сложная третья часть: «Четверть века спустя» ваши герои, те, что остались в живых, чувствуют себя как-то неловко... Как вы это объясните?

— Они чувствуют свою вину, что ушли, оставив их двоих...

— Это лишь отчасти: они ведь подчинились приказу. Взгляните глубже, что произошло?

— Не сбылось? — воскликнул я.

— Вот! И это главное! И это надо показать, но не в лоб... Конечно же: представление о том, какой будет жизнь после войны, не осуществилось, не реализовалось... Не сбылось!

Странно. Обычно редакторы старались стушевать наиболее острое. А *она* наоборот. Она подталкивала к постановке острых проблем. В итоге обычный детектив о разведчиках обретал иной колорит. Она как бы вытягивала у неопытного автора то, что он хоть и знает, но без точно поставленного редакторского вопроса сказать не сможет. У нее был высокий жизненный тонус, она заряжала своей энергией...

Работали мы без конфликтов, я как-то сразу поверил в своего редактора. Кроме чисто деловых, творческих разговоров, невольно возникали и человеческие отношения: я уже знал, что у нее есть сын Миша, студент; у меня дочь поступила в вуз — общие интересы, волнения за своих детей. Но кончался этот разговор и начинался другой. Начиналась работа.

Повесть одновременно шла в одном из толстых журналов. Там третью часть совсем отсекли, мотивировав это необходимостью сокращения. Я понимал неизбежность сокращенного журнального варианта, но они выбросили как раз то, что для меня стало особенно дорого. Ибо я, спустя четверть века после войны, прошел по следам моих героев,— тех, кто остался жив... Жизнь их в конце шестидесятых была неустроенной. Кто-то уже отсидел, кто-то маялся с жильем, несмотря на военные заслуги, и тому подобное. Действительно, многое — не сбылось. В журнале все это сократили. Я рассказал об этом своему ленинградскому редактору.

— В каком номере журнала идет ваша вещь? — спросила она.

— В пятом.

— Юбилейный!.. Ну, все ясно. А мы в книге оставим все эти сцены. Но пора уже подумать о художнике. Об оформлении. Я сейчас приглашу Михаила Ефремовича. Давайте поговорим.

У меня были по поводу оформления большие планы,— мои герои, окруженные, сидят в замаскированной землянке; поездки нашего разведчика по оккупированному Киеву в форме штандартенфюрера... Все это выглядело бы очень эффек-

тно. И я рассказал художнику М. Е. Новикову об этих планах.

— Я подумаю, кто из наших художников возьмется... Я, лично, график... И вряд ли смогу,— сказал он, кивнул и вышел. Я был удивлен.

— Вы настаиваете на таких иллюстрациях? — спросила редактор.

— А почему — нет?

— Да ведь ваша повесть документальная! Если есть фотографии — пожалуйста!.. Иллюстрация — это творческая фантазия художника, но не документ. Дело ваше, но я не советовала бы.

— В чем же тогда будут состоять иллюстрации? — угрюмо спросил я.

— Ну, фотографии главных героев, Гнедаша и Давидюк, мы поместим. А затем — шрифты, спуски, главки... Сама обложка! Это же очень важно... И как раз в этом Михаил Ефремович — специалист. Советую, чтобы художником был он.

Вскоре книга вышла. И тут я оценил мастерство Михаила Ефремовича Новикова: из слов названия книги он составил как бы монумент; рисунок тотчас привлекал внимание. Хотя иллюстраций, о которых я мечтал, не было, но все оформление было отличным. Пришли письма, отклики, в том числе от бывших однополчан погибших героев. Я дополнил повесть, и спустя год она была переиздана тем же издательством.

— Что ж дальше? — спросила меня редактор.

Я ответил, что пишу и вскоре принесу повесть.

— Документальную? — спросила она.

— Вообще, да, но... фамилию главного героя я бы хотел изменить...

— Почему, если это документально? — спросила она.

— Конечно, я мог бы поставить и настоящее имя, но... Давайте решим, когда я закончу и покажу вам...

Но над новой повестью о блокадном Ленинграде работа моя затянулась. У меня случилось большое горе — скончалась мать. Это выбило из колеи.

Однажды мне позвонила моя редактор и спросила, как дела с повестью,— договорные сроки истекают...

— Плохо,— ответил я.

— Продлите договор, но надолго не откладывайте: сейчас одно может отвлечь вас от тягостных мыслей — работа.

— В сущности повесть написана: мне не хватает лишь главного поворота — зачем, я сейчас, то есть спустя тридцать лет, возвращаюсь к тем, далеким событиям Отечественной войны, к блокаде,— сказал я.— Тут нужна какая-то идея, ибо просто читать про войну уже неинтересно.

— Знаете, что? Я подумала вот о чем: в войну мы были одни, сейчас — другие. Попробуйте здесь что-то искать — война и — сегодня, а? — сказала она.

В тот же вечер я перечел повесть и вдруг понял, что надо делать. Повесть автобиографична, и единственный «вымышленный» герой — это я. *Она* права! Я должен вести диалог с самим собой... И тот шестнадцатилетний мальчишка-солдат судит меня, сегодняшнего. И это делает повесть современной. Я начал писать сквозной диалог, который прошел через всю повесть. Затем я перепечатал все и отнес в издательство. Но все-таки не был уверен, то ли?..

Она позвонила мне на следующий же день. И неожиданно веселым, совсем не редакторским голосом сказала:

— Это интересно. Мне нравится. И это знакомо. Я имею в виду те места, которые вы описываете... Шувалово, Осиновая Роща, так? Правда, вы назвали Осиновую Рощу — Дубовой, но это уже не принципиально,— рассмеялась она.

— Это я в интересах цензуры. Там и СМЕРШ упоминается. Назовешь настоящее месторасположение — начнут придираться, хотя в этом уже нет никакого секрета.

— Пожалуй, вы правы. Ну заходите, поговорим.

— Когда? — спросил я, ибо знал по опыту, что каждая ее минута расписана. Ее постоянно осаждали коллеги, писатели, в самом издательстве даже поговорить было негде. Обычно мы беседовали на выходе из коридора, где стояло старое кресло и стул. (В кабинете редакторов всегда был народ, авторы.)

— Завтра. Тянуть нельзя, у нас сроки. Но завтра у меня неприсутственный день... Знаете, приходите ко мне домой: Моховая, 36. Учтите: вход со двора, налево...

Идя к ней, я, кажется, волновался. Впервые за семь лет редактор сказала: «Мне понравилось». Обычно разговор у нас был чисто профессиональный. Редактор указывала мне на просчеты, или недоработку образа... Она стояла как бы в стороне, не высказывая своего отношения. И я невольно задумался, а как она редактировала Анну Ахматову? Под ее редакцией вышел последний прижизненный сборник поэта в середине шестидесятых, когда отношение официальных властей к Ахматовой было более чем сдержанным. И надо было иметь гражданское мужество, чтобы в то время подписать к печати ахматовский «Бег времени». Ведь критики, обругав автора, обычно брались за редактора,— куда смотрел редактор?

Ленинградский литератор, мой тезка, однажды сказал мне: «Тебе повезло, ты нашел стратегического редактора...» Да, конечно, она давала направление... И очень точную оценку.

...Я быстро взошел на четвертый этаж старого дома на Моховой — лифта там не

было. Позвонил, мне открыли, и я оказался в старой петербургской квартире с длинным коридором. В большом кабинете стоял старинный письменный стол; стеллажи с огромным количеством книг уходили к высокому, вовсе не современному потолку с лепным украшением. Хозяйка села за стол, предложив мне сесть рядом. Она перелистывала отмеченные ею страницы...

— Много работы? — спросил я.

— Нет. Совсем немного... Мелочи, чисто редакторские. Быстро сдадим, чтоб не нарушать график. Но вот проблема: кому отдать на рецензию? (В издательствах существует правило: рецензирование рукописи членами редсовета.)

Редактор продолжала:

— За эту вещь я не боюсь... Но время, время! Нужно, чтоб кто-то быстро, отложив дела, прочел и написал короткую внутреннюю рецензию. Кто?

Я предложил направить рукопись известному писателю. Она кивнула:

— Да, я уже подумала об этом, но! Но с ним трудно... Он возьмет, конечно, в этом я уверена, но затянет дело в лучшем случае на месяц. Но вы же знаете...— она назвала известного писателя по имени-отчеству.— А потом уедет в Японию.

— Да, пожалуй,— согласился я.

Наконец, мы остановились на писателе не столь известном, но обязательном. Можно было уговорить его быстро прочесть рукопись. Прогнозы наши сбылись лишь отчасти; писатель прочел мою повесть быстро, за сутки, и позвонил мне, чтоб я приехал за рецензией. Поехал. Рецензия была хорошая, но... он категорически возражал против сквозного диалога, проходившего через всю повесть.

— А почему? — спросил я.

— Нет-нет, Боря, это лишнее... Ненужные параллели нашего времени с тем, военным... Это опасно. Тебя не поймут.

— Подожди, но уж если редактор не возражает, давай оставим...

— Я высказал свое мнение, а там решайте.

Я приехал в издательство с рецензией. Редактор взглянула, быстро пробежала глазами и улыбнулась:

— Испугался Володечка наш — и чего? Впрочем, параллели действительно есть. И не в пользу нашего времени.

Мы разговорились.

Был расцвет эпохи Брежнева. Отводя душу, мы говорили о некомпетентности руководства, беспорядке, равнодушии, охватившем все общество... Потом заговорили о своих детях. Ее сын уже окончил вуз и работал инженером.

— Не женился еще? — спросил я.

— Нет, но, кажется, к этому идет... Впрочем, я не вмешиваюсь, пусть будет так, как хочет он. А у вас дочери — как?

— Старшая собирается замуж...

Потом вновь вернулись к работе. Как быть с диалогами? Считаться ли с мнением рецензента? Формально мы не могли полностью его игнорировать, тем более, что мнение было выражено в категорической форме.

Подумав, она сказала:

— Мы все оставим, но... давайте уберем прямую речь. Поставьте кавычки! Все, весь текст заключите в кавычки.

— И что? — еще не понимая, спросил я.

— Ничего! Останется все то же, что было! Мы ответим формально на формальное требование. В конце концов, за книгу отвечаю я. А в случае неприятностей с цензурой рецензент может быть спокоен: его замечание не учли.

Пришел Михаил Ефремович Новиков, и мы вновь думали над оформлением книги. Сейчас я с тоской вспоминаю о том времени, хотя теперь мы его окрестили застойным. Но что-то в нем было, а? Несомненно. Приученные к тому, чтобы жить лишь надеждой, мы невольно надеялись на то, чего быть не могло. Ибо очевидно для всех хирело, приходя к полному упадку, наше сельское хозяйство, ну и, естественно, все другое. Старая бюрократическая машина работала уже во многом по инерции. Еще оставались работники. Верх наши имели лишь одну мудрость: ничего не трогать, ничего не менять. Расхожей была фраза будто бы сказанная *самим*: «Не колышьте... Доплывем».

...Уже шли чистые листы книги, когда мне позвонила редактор и просила срочно приехать в издательство. «В чем дело?» — спросил я. «Цензор не дает визы»,— ответила она.

Я ехал с тревогой. Все ясно. Кавычки не помогли, он обнаружил подтекст, а это значит... Плохо, очень плохо. Зарубит книгу, черт побери!

И вот я на Невском. В том кабинетике с окном во двор. Редактор сидела и улыбалась.

— Вы знаете, к чему он придрался? У вас там в повести на конвертах стоит номер с тремя нолями впереди — «000», он уверяет, что вы дешифруете секретный документ?!

— С ума сошел! После войны прошло треть века...

— Нет, «сходить» ему явно не с чего!.. Это его единственная претензия. Все-таки иногда некомпетентность бывает полезна. Он мог бы доискаться до того, что насторожило рецензента! Но в литературе он ни черта не смыслит, а потому — советую: снимите эти три ноля — они никакой смысловой нагрузки не несут... Упоминаются лишь в двух случаях.

— Да, конечно. Я думал о худшем...

— Слава богу, нет!.. А оформление Михаил Ефремович придумал, по-моему, неплохое.

Так мы и работали — редактор, художник и автор. И я думал, что так будет всегда. Постепенно я в разговорах с писателями узнавал, что мой редактор пользуется большим авторитетом в издательстве. Что подписанные ею к печати книги главный редактор визирует, не читая, что ее, ничем не знаменитую женщину, окружают знаменитости. Этому я сам был свидетель.

Чуть не каждый раз, когда я бывал в издательстве, в тот кабинетик весело заглядывал Михаил Дудин или Глеб Горбовский, заходил всегда значительный Гранин и уже достигший ступени великих Федор Абрамов... и менее значительные из немногих ленинградских знаменитостей. И различных групп.

Группы, как известно, существуют во всех писательских организациях. Но она была, по-моему, вне групповых интересов. И вела одновременно более десятка книг.

А жизнь шла и даже кажется, проходила... *Она* стала бабушкой, внука назвали Саша, а спустя год у моей дочери родилась дочь и я стал дедом. Уже в этом издательстве вышли четвертая и пятая мои книги под ее редакцией — сборник уже издававшихся повестей и рассказов. В великолепном оформлении М. Е. Новикова.

Приближалось сорокалетие Победы. Я сдал своему редактору шестую книгу — «Выход из окружения» и теперь ждал, как она будет оценена. В весенний день 5 апреля 1985 года я утром вышел на прогулку, прошел свой круг, купил газеты и вернулся домой. В «Ленинградской правде» я еще на стенде заметил большую статью, посвященную грядущему юбилею,— «В строжайшей тайне» полковника Л. Винницкого — старшего научного сотрудника Музея истории Ленинграда. Все, что касалось моего города, меня интересовало, и я принялся читать статью. В ней речь шла об обстрелах Ленинграда в 1941—1943 гг. Об этом я писал — о контрбатарейной борьбе... Но здесь были новые данные, связанные с радиоразведкой! Гм...

Конечно, нам важно было знать, когда и по какому объекту *он* начнет бить, то есть вести обстрел!.. Так, это ясно. «Задача разведки вражеской артиллерии продолжала оставаться для нас одной из главных,— читал я.— ...Разведчики сумели проникнуть в тайны управления огнем фашистской дальнобойной артиллерии... Первым удалось выполнить... За обнаруженной сетью установили постоянное наблюдение опытные радиоразведчики. Лейтенанту М. И. Дикман...» Неужели она? — мелькнуло в мозгу, и тут же прочел: «(ныне старший редактор издательства „Советский писатель") ...прекрасно владевшей немецким языком, поручили изучить и проанализировать все элементы скрытого управления. После настойчивых поисков лейтенанту Дикман удалось подобрать ключ к системе управления дальнобойными батареями противника. Она раскрыла код. Это позволило заблаговременно, накануне дня обстрела определить, когда и по какому квадрату города будет произведен налет, месторасположение командного и наблюдательного пунктов противника и районы огневых позиций его дальнобойных батарей...»

...Я долго сидел задумавшись, размышлял о превратностях жизни. Еще в газете я вел поиск героев войны и особенно героев обороны Ленинграда. Редактировала мои книги — в прошлом разведчица. И первый боевой орден получила в начале сорок третьего года — в то время награды давали скупо. «Генерал Евстигнеев доложил эти результаты... командующему фронтом... Л. А. Говорову. Действия радиоразведчиков... высокую оценку...» Я набрал номер ее домашнего телефона. Трубку сняла она. Я поздравил ее.

— Спасибо, мне уже сказали!.. Но сама я еще не читала...— отвечала она,— дочитываю вашу вещь...

— Я знаю, она не удалась... Не читайте дальше!

— Нет, Борис Сергеевич, надо же поговорить!.. Я вам скажу, вы уже не в первый раз впадаете в ошибку... Там, где документально, у вас все получается. Но! Например, лирическая линия вашего героя и его роман с молодой женщиной — не получилась... Впрочем, что за разговор по телефону? Приезжайте на Моховую часам к пяти, устраивает?

— Да, благодарю вас,— ответил и положил трубку. И задумался: отчего к пяти? Обычно, она назначала дневное время.

И вот я снова на Моховой, в старой петербургской квартире. Беседуем по рукописи. И мне совестно, что я так дурно написал, или, как выражаются критики,— прописал — лирическую линию... Все понятно, потому что я ее выдумал. Да...

— ...Я не понимаю, почему вы стыдитесь документалистики? Это как раз у вас получается. И документалистика сейчас интересует всех... И знаете, почему?

— Потому что нет Льва Толстого,— мрачно отвечал я.

— Ну, можно и так объяснить,— улыбнулась она.

Мы проговорили часа два. Потом она вдруг сказала: «Поужинайте с нами!» Я не знал, как ответить. «Ну, посидите, я сейчас!» — и вышла из комнаты. Потом вдали я слышал голоса ее, ее мужа. Он — ученый, доктор наук. Потом вошла она и повторила: «Пойдемте поужинаем!» В полустоловой-полукухне был накрыт стол на троих. Здесь же был мальчик лет семи — внук. Молодые были где-то в гостях.

— Юра! — вдруг сказала она значительно мужу,— достань там!..

Он кивнул и достал из холодильника бутылку кубанской водки.

— Ну, что? Мы, наверное, не увидимся до праздника? Давайте выпьем...

Себе она налила немного, а мужу и мне по полной рюмке. Мы выпили.

— Видите, у нас в доме все наоборот,— улыбаясь, сказал муж,— ведь обычно автор поит редактора своих книг, а?

Мы рассмеялись.

— ...А ваша воинская часть, как я поняла еще из той, прежней вещи, стояла на западном берегу озера? Где железная дорога?.. Так?

— Да! А ваша где?

— Рядом, на северно́м берегу!..

— Погодите, где ж там? Не в бугре?!

— Вот именно в бугре!.. Мы ж были сверхсекретные и скрыты под землей... А наши антенны скрывали сосны, росшие над бугром...

Все правильно, там были сосны! Так не там ли, часто проходя мимо, я видел смуглую девушку в пилотке? Сорок лет назад... Нет, больше, ведь это было в сорок третьем!

— Знали мы, что там, в бугре, находится сверхсекретная часть. Прекрасно знали! Мы, стало быть, с вами почти однополчане?

— И с Юрой тоже. Мы с ним встретились там! Он попал к нам в часть после ранения. Мы были фронтового подчинения.

— Хорошо у вас,— сказал я, оглядывая все кругом.

— Да, но вот приходится уезжать... Отсюда, с Моховой! Нам надоело воевать с соседствующей музыкальной школой: им нужно помещение. Расширяются. Мы сначала подумали так: нас не тронут,— тем более, что Юра — инвалид войны. А когда нас не станет? И мы решили уступить, тем более, что новый директор издательства Трофимов принял горячее участие в этом, хлопотал и уверил меня, что нам, взамен этой, дадут не худшее... Признаться, меня это даже удивило: за треть века я не очень-то избалована вниманием администрации,— с юмором закончила она.

Когда что-то должно произойти, то начинается дождь — дождь причин, которые появляются внезапно, чтобы затем объяснить свершившееся. Сперва по капле, потом капли учащаются... В том, что позднее произошло, первой каплей был переезд и все связанные с ним хлопоты.

Хотя, надо отдать справедливость, что ей помогли; издательство хлопотало, и получилась квартира на улице Чайковского, почти у Таврического сада. Чудесное место: она даже не вдруг поверила в это: «Но ведь там дают квартиры лишь генералам!» — удивилась она. «Вы и есть генерал»,— сказал директор. Ей даже выхлопотали,— поскольку одна АТС,— чтоб и номер телефона остался прежний!.. Но сам переезд шел на нервах, недаром говорят: два переезда равняются одному пожару.

...Умер автор, книги которого она редактировала много лет; несколько дней ходила мрачная. Между тем прошел юбилей издательства и мой редактор, как старейший работник, получила медаль... К ней пришло и официальное признание. Но поздно, поздно!.. Дождь забот по ремонту новой квартиры — так как, естественно, многое пришлось переделывать — падал на ее плечи. И не потому, что ей не помогали, а потому, что она сильней других воспринимала все события...

Моя повесть уже в переработанном виде лежала у моего редактора.

— Вы предполагаете печатать ее в журнале? — спросила она.

— Да. Такой разговор был.

— Где? В каком журнале?

Я ответил. Она задумалась. Спросила — когда. Но этого я не знал.

— Да, этот журнал стоит того, чтобы пойти даже на сокращения. Однако, если мы выйдем раньше, журнал не будет печатать. Давайте сдвинем сдачу на последний квартал года, а? Согласны? Я так и буду планировать. А вы возьмите пока рукопись назад, посмотрите, я бы советовала сократить чисто бытовые сцены...

Я взял рукопись, последовал ее совету, перепечатал и вновь отдал в издательство. Редактор должна была прочесть ее в окончательном виде и сдать в производство. Сперва читают корректоры, это сложный процесс... Михаил Ефремович уже подготовил оформление. Обложку он сделал прекрасно, я видел ее макет. И поскольку сдача в производство была отнесена на конец года, оставалось ждать. В сентябре я уехал на юг. И вернувшись, позвонил редактору. Телефон не отвечал. Вечером позвонил домой. Трубку взял муж.

— Она не здорова...— озабоченно ответил он.

— Что-то серьезное?

— Нет... Но... Словом, она в больнице. Сердце.

Я просил передать привет и пожелание скорого выздоровления и положил трубку. Хотел было навестить своего редактора в больнице, но подумал, что это может быть истолковано так, что я интересуюсь

судьбой рукописи... Зашел в издательство. Теперь оно располагалось в новом, великолепном помещении на Литейном проспекте в доме Некрасова — как раз угол улицы Некрасова. Редакторы получили кабинеты. Все сияло. Вместо драных кресел была новая мебель, мягкая дорожка — в общем все, как полагается.

— Рукопись здесь,— сказал мне главный редактор,— она не подписана вашим редактором. Вы знаете, что она больна... Предынфарктное состояние.

— Да, да... Мне говорили. Что ж, не будем торопиться.

— Да, время есть... Можно сдать в декабре. Надеюсь, к тому времени редактор ваш уже выйдет на работу.

Прошел месяц. Изменений не произошло. Я зашел в издательство к Михаилу Ефремовичу. Он по обычаю сидел, склонившись над столом. Тоже прошел войну, фронт...

— Видите, как получилось,— грустно сказал он.— Да, сердце... Она всегда все принимала на себя... Она подписала в печать?

— Нет. Но в общем рукопись готова... Просто мы ждали плановый срок.

— А вы узнайте... Может, она даст добро. К ней ездят наши.

— А, ну тогда я, наверное, тоже смогу поехать...

Вечером я позвонил ее мужу. Подумав, он ответил:

— Врачи не рекомендовали расширять круг посетителей. Из издательства у нее бывает лишь один человек, ее давняя приятельница... Вы ее знаете, вероятно... Да, да, она. В отношении рукописи я не в курсе дела.

И я повидался с этой приятельницей и попросил ее узнать, как обстоит дело с рукописью. Но это было позже... Да, точно позже, уже в 1989 году. Болезнь затянулась. Эта приятельница, тоже редактор, обещала узнать. Сказала: «Позвоните мне через несколько дней». За прошедшую неделю я звонил домой моему редактору, желая узнать о ее здоровье. Когда трубка была снята, я услышал лай собаки и уже хотел, было положить трубку, так как у них нет собаки, но услышал голос ее мужа.

— ...Вы знаете, она просила прислать вашу рукопись ей в больницу,— сказал он.

Я стал ждать. Заходил в издательство, в его просторные коридоры. Вот и *ее* кабинет. Пуст.

— Борис Сергеевич!

Навстречу мне шла *та* ее приятельница, что бывает в больнице.

— Здравствуйте, как дела *там?* — спросил я.

— Ну, дела, в общем, не очень... Она просила передать вам, что рукопись еще не готова... Она требует работы.

— Как?

— Рукопись не готова к сдаче. Это мнение редактора. Вашего редактора. Я просто передаю его вам.

Это было сказано строго и непреклонно.

Можно было пойти в больницу, но я не хотел делать это без разрешения родных. И я уехал в командировку.

Когда я вернулся, мой редактор была уже дома, хотя еще и на бюллетене. И она пригласила меня зайти — уже на новую квартиру — на улице Чайковского. Утром, в назначенный день я вошел в дом почти против Таврического сада. Дверь открыл муж.

Моя редактор встретила меня в домашнем платье. Я заметил, что она изменилась, мы не виделись несколько месяцев. На столе лежала моя рукопись.

Я спросил о самочувствии, она ответила, что вполне удовлетворительно.

Начался деловой разговор. Она предложила сократить две главы, мотивируя это их ненужностью. Подумав, я согласился.

Мы еще не закончили разговор, как пришел врач. Хозяйка попросила меня подождать минут пятнадцать, и я вышел в переднюю, уступив место доктору. Когда врач ушел, я вернулся. Взглянул на моего редактора,— лицо ее было совсем темно, она явно была чем-то удручена.

— Что вас так расстроило? — спросил я.

— А, глупости... Врач настаивает на том, чтобы я взяла инвалидность. Зачем? Что мне это даст? Свои сто тридцать два я заработала...

— Так вы не хотите на инвалидность? Чего проще — не ходите на комиссию! Насильно никто вас не заставит... Сущая чепуха... Стоит расстраиваться?!

Потом мы закончили разговор по рукописи и она сказала:

— Ну, так!.. Значит, вы все это сделаете, там работы на полдня. И давайте не тянуть, сдадим завтра, все под Богом ходим, как говорится. Я должна подписать на титульном листе «в набор», и вы тоже. Но это надо на листе со штампом... Какая досада, что я не предупредила вас!.. Но все равно, завтра, перед тем, как идти ко мне, вы зайдите в издательство, возьмите у наших девочек, знаете, у кого?.. Да, пусть они возьмут чистый лист, поставят на нем штамп издательства, потом заходите ко мне и мы подпишем.

Затем мы невольно заговорили о делах насущных. Все бурлит... Как это не похоже на прежние годы!.. И в то же время — очереди, и чем дальше, тем хуже... Она переживала за Ельцина. («Я прочитала его программу, и что — разумно...») В это время в передней хлопнула дверь, раздался веселый ребячий голос — это внук вернулся из школы.

Мы, как прежде, поговорили, отводя душу. Раздался звонок в дверь — пришел курьер из издательства, принес новые рукописи на прочтение.

— Мое издательство полагает, что я буду жить вечно! — воскликнула она, и я почувствовал в ее интонации гордость тем, что ей продолжают слать рукописи на дом. И продолжала: — Это как раз хорошо! А что? Сидеть и предаваться мрачным мыслям?

На следующий день я поехал в издательство, чтобы поставить штамп на титул. Поднялся по мраморной лестнице и увидел в коридоре группы сотрудников.

— ...Вы уже знаете? Она умерла. Сегодня ночью, в больнице,— сказала мне Соня, старшая машинистка. Кругом я видел грустные лица, знакомые мне десятки лет.

Подошел директор. Были произнесены слова, которые в таких случаях говорят.

— ...А для нас, издательства, это огромная потеря! Ее так ждали авторы. Хорошо хоть вашу рукопись она успела подписать,— сказал он.

— Как? Она не успела!..

— Успела, успела,— повторил он и пошел по коридору.

Было ничего не понятно, но я не стал ни о чем расспрашивать. К чему?

Потом — что? Гражданская панихида в Доме писателя на улице Воинова; цветы, цветы... И строго очерченный профиль покойницы. Умерла она во сне. Легкая смерть. Такую надо заслужить.

Парнас

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

В ОКАЯННЫЕ ДНИ

Кто знает жизнь города лучше, чем редактор местной газеты? Я выдвигаю в архиве ящик-посылку из прошлого, пахнущую клеем и скрывающую время, измеренное жизнью и трудом редактора «Одесского листка» Сергея Федоровича Штерна. Это время называется: фонд Р-156, опись № 1, единица хранения № ...— а дальше дела, дела, различаемые по инвентариым номерам, заголовкам и датам.

Год 1918, декабрь. В это время в Одессе, в домике, сползающем с обрыва в море, жил Иван Алексеевич Бунин. Усталый и раздраженный. И почерк у него был резкий, с раздраженной буквой «т», словно перечеркнутый знак восклицания.

Открываю дело № 38. На листах 45 и 46, я знаю из путеводителя по архиву, должны быть рукописные стихи Бунина. Листаю. Удивительно и незабываемо бежит по обычной, в голубую линеечку, бумаге нервный бунинский почерк с просьбой к редактору: «В том тексте, что Вы мне прислали, я сделал поправки, но думаю, что там их трудно разобрать. Вот вам текст, который и прошу воспроизвести как можно точнее. Ив. Бунин».

Кто, кто уже читал это?! Ко внутренней стороне обложки подклеен листок использования дела, и я узнаю, что оно просматривалось дважды. Я третья. Жаль, что не первая. Я сразу бы знала, что делать,— проверять! Впрочем, это не поздно.

Кто, когда, где говорил об этих стихах? Одно — «Поэтесса» — вспоминается. Где-то встречала.

Другое стихотворение не знакомо. Постоянно спотыкается на букве «т» — нервное, злое. Отчаянное. Ничего о нем не нахожу. И вдруг в «Окаянных днях»... (Господи, как трудно было их отыскать!) В дневнике, изданном в 1953 году в Лондоне, Канаде, издательством «Заря», на стр. 143 с печальной усмешкой Иван Алексеевич вспоминает: «Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в „Южном рабочем" (газета меньшевиков, издававшаяся в Одессе до прихода большевиков.— *О. И.*):

Испуган ты и с похвальбой сумбурной
Согнулся вдруг холопски пред варягом...

Это по поводу моих стихов, напечатанных в „Одесском листке" в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов». И это — о стихотворении из дела Штерна, мне повезло! Теперь можно точно продатировать публикацию в «Одесском листке». На листочке, отправленном Буниным Штерну, стоит: декабрь 1918 г. А в «Дневнике» — «...в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов».

Они три дня высаживались, французы,— 27, 28, 29-го. Хорошо бы саму публикацию отыскать. Увы... Многое унес и припрятал этот переломный одесский год.

Надо готовить публикацию. Надо, чтобы строчкой к строчке возвратилась память об этих днях, пусть даже «окаянных», изо всех заграниц туда, где ей надлежит быть. Если написано это род-

ным языком, многострадальным — о многом страдании.

Но мне говорят: «Что ты, это непубликабельное стихотворение, и к тому же не лучшее бунинское».

От поэта, покидающего Родину на изломе судьбы, потомки ожидают стихов светлых, вне сомнений, страха и упрека... Вне боли. Чтобы они удобно укладывались в избранные сочинения.

Иван Алексеевич Бунин писал так, как жил и как думал в окаянные свои дни декабря 1918 года в Одессе. Мучаясь. Не принимая. Честно. Ибо лгать не мог.

И боль, и стыд, и радость. Он идет,
Великий день,— опять, опять Варягу
Вручает обезумевший народ
Свою судьбу и темную отвагу.

Да будет так. Привет тебе, Варяг!
Во имя человечности в Бога,
Сорви с кровавой бойни наглый стяг,
Смири скота, низвергни демагога.

Довольно слез, что исторгал злодей
Под этим стягом «равенства и счастья»!
Довольно площадных вождей
И мнимого народовластья!

Ив. Бунин. 1918 г.

Это, может быть, последнее стихотворение И. А. Бунина, написанное на родной земле. Мы имеем право любить, понимать и знать судьбу и творчество поэта во всей полноте, а не отредактированный вариант. Судьба и творчество инвариантны.

Довольно слезъ, что исторгалъ злодѣй
Подъ этимъ стягомъ «равенства и счастья»!
Довольно площадныхъ вождей
И мнимаго народовластья!

Ив. Бунинъ

Письма из прошлого

Вл. КУПЧЕНКО

«А ВСЕ-ТАКИ — СЕВЕР РОДНЕЕ»

Эрих Федорович Голлербах (1895—1942), искусствовед, литературовед и библиофил, был одним из первых, кто мечтал написать отдельную книгу о поэте и художнике Максимилиане Александровиче Волошине (1877—1932). «Я назвал бы ее „Pontifex maximus“ [1],— писал Голлербах в 1934 году,— потому что основным в образе Волошина было нечто жреческое, нечто античное». Еще 21 июля 1920 года Эрих Федорович напечатал в петроградской газете «Жизнь искусства» статью о Волошине «Поэт-ювелир». Личная же встреча произошла только через четыре года...

«Впервые я увидел Волошина весной 1924 года на площади Островского, около Публичной библиотеки,— вспоминал Эрих Федорович.— Он шел под руку с женой по направлению к Невскому, повидимому, только что побывав у Е. С. Кругликовой, живущей против Александринского театра. Я узнал его по фотографиям и по рисунку Головина. [...] На ходу я не успел вглядеться в его глаза, в очертания рта, и запомнил, главным образом, своеобразный склад фигуры — очень дородной, плечистой, животастой, с короткими руками и ногами; голову — с пепельной шапкой кудрей, с округлой рыжевато-седой бородой, торчащей почти горизонтально над мощной, широкой грудью. [...] Познакомился я с М. А. через несколько дней на квартире Бернгардта, где он остановился по приезде в Ленинград.

24 апреля 1924 года Голлербах подарил Волошину свою книгу «В. В. Розанов. Жизнь и творчество», надписав ее: «Максимилиану Александровичу Волошину от одного из почитателей его прекрасной поэзии». На другой день, 25 апреля, Эрих Федорович сообщал Волошину письмом: «Я привез Вам ряд книг, которые мне

[1] Верховный жрец *(лат.)*.

удалось получить в Госиздате. [...] Я предупредил А. Я. Головина, что Вы будете в Царском Селе, и он будет ждать Вас в воскресенье, в 12 ч.». 30 апреля Голлербах подарил Волошину — «поэту, художнику, мудрецу — в знак глубокого уважения и любви» — свой портрет работы М. В. Добужинского. А 26 мая, уже после отъезда Волошина в Крым, писал ему вслед: «В Царском часто заходит речь о Вас и Ваших стихах, мы вспоминаем Вас с любовью и благодарностью».

Летом 1924 года Голлербаху не удалось воспользоваться приглашением Волошина посетить Коктебель. Но в 1925 году такая возможность появилась — и 13 апреля, вместе с Т. И. Хижинской, женой художника, он прибыл туда. 14-го Эрих Федорович надписал Волошину только что вышедшие «Воспоминания» А. Г. Достоевской: «Эта книга, сопутствовавшая мне по дороге в Коктебель, пусть войдет в Вашу библиотеку, дорогой Максимилиан Александрович, как малый знак моей большой к Вам привязанности и благодарности»...

В доме Волошина в это время среди гостей находились: Леонид Леонов с женой, искусствовед А. Г. Габричевский с женой, пианистка М. А. Пазухина с двумя сыновьями. В письмах к мужу в Москву Пазухина упоминала такие события коктебельской жизни: 15 мая Волошин читал гостям свою поэму «Протопоп Аввакум», 22 мая — «неизданные стихотворения Вячеслава Иванова»; была общая прогулка к прибрежным гротам Карадага, а затем — на лодке до скалы Золотые ворота. 23 мая Голлербах преподнес Волошину свою книгу «История гравюры и литографии в России»: «Максимилиану Александровичу Волошину, вписавшему прекрасные строки в историю русского искусства, с глубоким уважением и любовью». А 26 мая он пишет стихотворение, посвященное Волошину: «Силена стан, апостола осанка...»:

Не ведаю, столетье иль неделя
Мной прожита в кругу его пенат,
Но память вдалеке от Коктебеля
Не раз с тоской оглянется назад,
Чтоб вновь найти, средь киммерийских кряжей,
На берегу пустынном и нагом,
Как некий храм, хранимый верной стражей,
Наставника гостеприимный дом...

Вернувшись в Ленинград, Голлербах договаривается с И. Г. Лежневым, редактором журнала «Новая Россия», о публикации «очерка о Коктебеле». О себе он сообщает 14 июля 1925: «Я „варюсь“ в петербургском зное (который куда менее приятен, чем крымский!), в делах госиздатовских и литературных (что — увы — не одно и то же). Редко приходится дышать воздухом лесов и полей. А все-таки — север милее, роднее, лучше,— природа благороднее, нежнее, чем в Тавриде; простите, если это звучит нелюбезно,— но как мне понятна ялтинская тоска Чехова»...

Волошин отвечает 20 июля: «Дорогой Эрих Федорович, я получил от Вас письмо из Ялты (от 2/VI) и сейчас письмо из СПБ от 14/VII и адрес библиофилов — и за все горячо благодарю Вас. [...] Ради Бога убедите Лежнева не давать и и к а к о й статьи о Коктебеле, ибо это может быть губительно для всего моего дома и дела. У меня (вернее, у моего имени) слишком много журнальных врагов и всякое упоминание его вызывает газетную травлю».

Опасения Волошина привлечь внимание к летней коммуне, созданной им в своем доме в Коктебеле, были обоснованы. В конце 1923 года журнал «На посту» опубликовал статью Б. Таля «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина» — политический донос, чреватый серьезными последствиями для поэта. Правда, ответ Волошина Талю был напечатан журналом «Красная новь» (1924, № 1), а его поездка в Москву той же весной и встречи с А. В. Луначарским и Л. Б. Каменевым укрепили его положение. Но попытка отметить в мае 1925-го тридцатилетний литературный юбилей (с той же целью — «укрепить положение Коктебеля и дома») наткнулась на сильное противодействие...

28 июля Голлербах отвечал: «Ваши пожелания я считаю для себя обязательными: если Вы не хотите видеть в печати статью о Коктебеле, она н е появится. Не скрою, что для меня это огорчительно. Статья, кажется, удалась, что случается не часто. Написана она „с размахом“, искренно и горячо. [...] Моя недолгая и горькая романическая эпопея, кажется, кончилась. Какое блаженное освобождение,— одиночество и тишина! Досуги мои — в зелено-голубом мире царскосельских парков»...

Уезжая из Коктебеля, Голлербах получил от Волошина клише двух экслибрисов, сделанных для него в Париже мексиканским художником Диего Риверой. 3 сентября 1925 года Эрих Федорович — страстный книголюб, председатель ленинградского Общества библиофилов — послал поэту отпечатки, присовокупляя в письме: «Я нарочно напечатал их в ограниченном количестве (по 60 экз. кажд., из коих 10 разрешите оставить мне для друзей-коллекционеров,— посылаю всего 100), чтобы сохранить за ними библиофильское значение („редкость!“)».

Только 22 ноября Волошин написал ответное письмо. «Дорогой Эрих Федорович, я не настолько виноват перед Вами, как это может показаться (и самому сейчас кажется) за мое долгое и упорное молчание: не только необычйная люд-

ность этого лета (400 человек!!) мне мешала, но и болезнь. Я умудрился заболеть в июле полачим воспалением легких и проболел долго. [...] Празднование моего „юбилея", не состоявшееся в мае, было приурочено к дню моих именин в августе. Это был как раз день кризиса в моей пневмонии, и я присутствовал в жару и полусознании. Но все прошло очень хорошо»...

В ответном письме от 1 декабря Голлербах писал: «С трепетом читал я Ваши строки о четырехстах пилигримах: только при Вашем терпеливом, доброжелательном и благостном отношении к людям можно выдержать такой натиск. [...] Одинокие вечера (в моей петербургской квартире) в окружении книг и эстампов я начинаю предпочитать ненасытной погоне за „короткими и тесными мигами" счастья. Только в одиночестве — „покой и воля", только в одиночестве — тишина и радость созерцания. Спокойный свет лампы, шуршание книжных листов. Иногда — сумерки театрального зала, взвивающийся занавес, музыка. Потом — бег саиок по ночным морозным улицам — и снова одиночество и тишина. [...] Вашу записку Ионову я передал. В Ленгизе у нас сейчас некоторое смятение, ожидается слияние с московским Госиздатом. [...] У меня возникла, как-то „экспромтом", книга об Алексее Н. Толстом. А. Н. пишет к ней автобиографию». 12 декабря Голлербах писал о намерении поместить во втором сборнике ленинградского Общества библиофилов «воспроизведения четырех адресов» — Волошину, М. А. Кузмину, Академии наук и Русскому обществу друзей книги — и просил прислать волошинский адрес для фотосъемки.

20 декабря Максимилиан Александрович отвечал: «Дорогой Эрик Федорович, получил оба Ваши письма (1/XII и 12/XII). Последнее — сегодня — и одновременно высылаю Вам просимый адрес заказною бандеролью. [...] „Соблазн одиночества" имеет большую власть над моей душой. И это не покаянная диета после моих летних человеческих невозде[р]жанностей, а равносильная, очередная потребность. Хотя мы живем с М[арией] С[тепановной] с глазу на глаз и неделями не видим чужого лица, но все же я мечтаю иногда с завистью о царских казематах Петропавловской крепости, где служители ходили в войлочных туфлях и всегда молча, и при этом прекрасная библиотека! [...] Но все-таки и в Коктебеле нельзя так наслаждаться всею горечью одиночества, как в большом городе. Париж в этом отношении идеален. А Ваши строки заразили меня ядом петербургского одиночества»...

Взволнованным было письмо Голлербаха от 29 декабря: «Пишу Вам под тяжелым впечатлением смерти Есенина, покончившего самоубийством в ночь с 27-го на 28-е, в номере гостиницы „Интернационал", где он в последнее время жил. Я только что вернулся из Союза писателей, где происходило прощание с телом Есенина. Никогда не видел я покойника с таким мучительно-трагическим выражением лица,— он похож на древнегреческую маску, выражающую ужас и боль. Он избрал повешение и оттого, вероятно, такое искажение лица (но без синевы и вздутости). Смерть Есенина явилась неожиданностью даже для тех, кто знал все его безумства и буйства последних лет. Особенно потрясены те, кто пестовал его на первых порах, кто ввел его в литературу — Клюев, Иванов-Разумник... Сегодня тело Есенина перевозят в Москву. Из письма Вашего усматриваю, что Вы вполне одолели недуг, работаете и, как всегда, исполнены светлой мыслью, окрашенной ласковой иронией. Посылаю Вам крохотную книжечку стихов, в которой Вы найдете и свой портрет, сделанный минувшей весной. По внешности издание, во всяком случае, своеобразно: оно сплошь „автографично" и выполнено цинкографским способом, без набора. К сожалению, по экономическим причинам пришлось ограничиться всего восемью „портретами" — неизданными. В начале я предполагал поместить в книжке всю серию, включая и напечатанные ранее в различных журналах (напечатаны были: „Белый", „Розанов", „Блок", „Гумилев", дважды — „Кузмин" и дважды „Ахматова")».

Голлербах послал Максимилиану Александровичу свою книжку стихов «Портреты», выпущенную тиражом в сто экземпляров, куда вошло и стихотворение, посвященное Волошину. О своей службе Эрих Федорович сообщал: «В Госиздате, точнее, в Ленгизе, большие перемены, в частности и подо мной колеблется почва, не знаю — устою ли... А было бы жаль оставлять любимое дело. Не говорю уже о том, как скверно могут сложиться дела материальные. Чем жить — неизвестно...».

Волошин ответил только через три месяца — 4 апреля 1926 года. Он благодарил за «изящную по изданию и прекрасную по форме книжку портретов», сожалел, что Голлербах не навестит летом Коктебель, передавал привет Всеволоду Рождественскому. 15 апреля Эрих Федорович пишет в ответ: «Ваша открытка доставила мне большую радость. Часто вспоминаем Вас в нашем кружке (Рождественский, Кривич, Белкин и др.). Кстати, Вы спрашиваете, как отчество Рождественского: Александрович. Адрес его: Рузовская, 2, кв. 6. Л. И. Гиринский по-прежнему служит в Горсовете; встречаться с ним мне не приходится. А. Я. Головин только что перенес тяжелую болезнь, у него была водянка, быстро прогрессировавшая. Едва удалось спасти его жизнь. С Ленгизом я расстался с большой горечью, потому что любил свою работу. Сейчас Ленгиза уже не существует, он утратил автономию и превратился в Ленотгиз. Работаю сейчас в Производ[ственном] Бюро Академии художеств»...

21 июня Голлербах пишет снова: «Сегодня [...] мы много говорили о Вас с О. Д. Форш, живущей сейчас в Царском, по соседству с нами. Не совсем соглашаясь с тем портретом Вашим, какой рисует она, я все-таки совершенно поражен „мастерством исполнения" этого портрета. Другими словами: не совсем то, что в действительности (по-моему), но замечательно п о х о ж е».

Волошин не понял, о каком портрете идет речь: «Была ли это у с т н а я характеристика или она н а п и с а л а мой литературный портрет?» — спрашивал он в письме от 27 июня. Голлербах отвечал 6 июля: «Портрет был нарисован в беседе, это была блестящая и почти исчерпывающая (насколько возможно „исчерпать" чужое „я") характеристика». И рассказывал далее: «В Петербурге — дремотно. „Тихо, и будет все тише...". Приехал на днях из Парижа Бенуа. Но и он не внес оживления в нашу тишь. Был я у него раза два. Несмотря на свой успех у парижан, он настроен как-то пасмурно. В Царском видаю Сологуба. Он все время ворчит, ворчит, но по временам озаряется и способен растрогать до глубины души. Рождественский уехал куда-то на юг».

Весной 1927 года Волошин с женой приехал в Ленинград. 2 апреля в его записной книжке появляется пометка: «11. Голлербах ко мне». 14 апреля в Доме печати состоялось открытие выставки волошинских акварелей. На сделанной в тот день фотографии Максимилиан Александрович запечатлен рядом с Голлербахом, А. П. Остроумовой-Лебедевой (сидят) и С. Н. Жарковским, В. А. Рождественским, А. И. Шварцем, Е. С. Кругликовой, Е. И. Замятиным (стоят). В тот же день в «Красной газете» появился отзыв о выставке, написанный Голлербахом,— «Легенда о Тавриде». Он же написал предисловие («Миражи Киммерии») к каталогу.

К осени вышла из печати книжка Голлербаха «Город муз (Детское Село как литературный символ и памятник быта)». Послав ее в Коктебель, Эрих Федорович 21 октября 1927 года запрашивал Волошина о получении. 29-го Максимилиан Александрович отвечал: «Я ее прочел сейчас же, в первый же вечер, и прочел с упоением. Книги такого рода очень любят и умеют писать французы. Но в русс[кой] литературе это новость. Ваша тема очень благодарна, и Вы прекрасно использовали все ее выгодные стороны.



Первый ряд: Э. Ф. Голлербах, А. П. Остроумова-Лебедева, М. А. Волошин, Е. И. Васильева; второй ряд: С. Н. Жарковский, В. А. Рождественский, А. И. Шварц, Е. С. Кругликова, Е. И. Замятин. Ленинград, 1927

Портретные абрисы и бытовые черты Вам очень удались»...

К Новому году Волошин послал Голлербаху очередную свою акварель. 19 января 1928 года Эрих Федорович, благодаря за поздравление, писал: «Я сделался почти постоянным жителем Ленинграда. В Царском — пусто, мертво. Кажется, там ничего не осталось, кроме могил и воспоминаний,— по крайней мере, для меня. Головин очень болен, почти не работает, по временам совсем плох. На днях выйдет моя монография о нем, которой я мало доволен — и с внешней стороны (ни одной красочной репродукции!), и со стороны содержания (недостаточно „монументально"). Немножко полемизирую с Вами (по поводу оценки портретных работ Головина)».

Волошин не ответил, лишь через год Голлербах получил от него традиционное поздравление на обороте акварели. В ответ Эрих Федорович благодарил «за прелестные пейзажи» и задавал ряд вопросов о Головине, чьи воспоминания готовил к печати. Далее — постскриптум: «Вы читали, вероятно, „Дневник" Блока. Каково Ваше впечатление? Многие мои друзья жестоко разочарованы: „Дневник" кажется им бессодержательным, даже пошлым. Некоторые считают, что благодаря „Дневнику", Блок бесповоротно развенчан. Я не разделяю этого суждения, но мое впечатление от „Дневника" тоже довольно безотрадно»... [...] У меня новый адрес (осенью, после женитьбы, я переменил в Ленинграде квартиру): ул. Чайковского (б. Сергиевская), д. 18. кв. 7».

Не дождавшись ответа, Эрих Федорович снова пишет 23 мая 1929 года: «Получили ли Вы весною мое большое письмо с некоторыми вопросами об А. Я. Головине? [...] На днях много говорили о Вас у А. Н. Толстого, ставшего с прошлого года постоянным обитателем Ц. Села». Ответа снова нет — и следующее письмо Голлербаха датировано 19 апреля 1930 года: «Дорогой Максимилиан Александрович,— очень давно не имею от Вас „рукописных знаков": слыхал о том, что Вы были больны, что теперь, слава Богу, здоровье вернулось к Вам. В прошлом году был и я очень болен,— три летних месяца навсегда останутся одним из самых кошмарных моих воспоминаний. Сегодня мы похоронили Александра Яковлевича Головина. Вы знаете лучше, чем кто-либо, кого потеряла наша художественная культура. [...] Он похоронен — по мудрой случайности — недалено от могилы Александра Иванова на Новодевичьем кладбище. Именно Александра Иванова он особенно чтил и ставил его едва ли не выше всех русских художников прошлого века. У нас организуется комитет по увековечению памяти А. Я.; возможно издание сборника, и очень хотелось бы, чтобы Вы приняли в нем участие».

На этот раз ответ не замедлил — в первых числах мая Волошин выражал готовность участвовать в сборнике и пояснял: «Я не писал Вам потому, что в декабре у меня был удар и я 1/2 года не мог писать. Теперь я, кажется, уже совсем оправился». 30 июня Голлербах уведомлял Волошина: «По поводу сборника о Головине все еще ведутся переговоры с Госиздатом, о результатах сообщу. Посылаю Вам свою новую книжку». Возможно, речь тут идет о втором издании «Портретов», но в том же 1930 году в Нью-Йорке вышла еще одна книжка Голлербаха, изданная Марией Бурлюк,— «Искусство Давида Д. Бурлюка».

Без ответа остались последние два письма Голлербаха к Волошину. Одно, от 18 мая 1932 года, он послал с оказией — с В. А. Рождественским и художником С. М. Пожарским. Выражая надежду приехать осенью «в дом отдыха Литфонда», Эрих Федорович подчеркивал: «Две недели, проведенные мною в Коктебеле в 1925 г.— для меня незабываемы». Возвращая доски волошинских экслибрисов, он писал: «Рад был бы присоединить к этому что-нибудь из моих последних работ, но, к сожалению, среди них нет таких, которые могли бы считаться „самообнаружением", т. е. чем-то значительным и характерным для автора: это, большею частью, мелкие „заказы", сделанные „без божества, без вдохновенья". Ограничиваюсь посему посылкой программы библиофильского вечера памяти Гете и составленного мною (анонимно) альбома сегодняшних архитектурных проектов. Больше всего занят сейчас своим произведением, носящим гордое и ответственное имя — Александр»...

25 мая Голлербах послал Волошину поздравительную открытку ко дню рождения. А 11 августа того же года Максимилиан Александрович скончался... Вскоре, на собрании ленинградских художников, посвященном памяти поэта, Голлербах выступил со «словом» о нем, закончившимся так: «Всегда верный самому себе, неутомимый в творчестве, ненасытный в познании, щедрый в дружбе, бережно хранящий „закон святого ремесла",— ты шел путем неустанного восхождения над временным и тленным».

28 ноября Эрих Федорович писал А. Н. Толстому в Детское Село: «Дорогой Алексей Николаевич, группа друзей М. А. Волошина затевает сборник памяти покойного. У нас есть статьи Радлова, Остроумовой-Лебедевой, Кругликовой, моя и стихи — Брюсова, Шервинского, Рождественского и др. Нам очень хотелось бы иметь Вашу статью — хотя бы 2—3 странницы»...

К сожалению, задуманный сборник не был осуществлен — как и книга о Волошине, о которой мечтал Голлербах. А вот мечта о поездке в Коктебель осуществилась: в сентябре 1934 года Эрих Федорович навестил Дом поэта и его могилу. Тогда же, по просьбе М. С. Волошиной, он написал краткие воспоминания о поэте. В собрании Голлербаха был целый ряд портретов Волошина — и сам он запечатлел его в технике силуэта. Этот силуэт был помещен в июньском номере «Невы» за 1986 год.

Перечитывая старые письма

Б. СУРИС

ПРОЩАНИЕ С ТЫРСОЙ

Как-то позвонил мне Иван Иванович Харкевич — художник еще довоенного поколения:

— Я тут перебираю старые бумаги, нашел письмо ко мне Николая Андреевича Тырсы. Времен начала войны. Не интересно ли вам?

— Конечно! — воскликнул я.— Условимся скорее о встрече.

Я давно занимаюсь Тырсой, опубликовал о нем несколько работ, пишу монографию. Письмо! Это очень важно. Документов, связанных с Тырсой, в общем не так уж мало, а вот собственные его письма редки. Тем более относящееся к войне — вовсе единственное.

И вот оно в моих руках. Не письмо даже, а, скорее, записка.

Поначалу я немного разочаровался,— на первый взгляд оно показалось не Бог весть каким содержательным. Но потом понял, сколько всего стоит за ним, если вчитаться.

Вчитаемся же.

Что касается самого Николая Андреевича Тырсы, то о нем можно говорить нескончаемо.

«Для художника творчество — это вся его жизнь», — произнес однажды Тырса, и это не было фразой, как и в другой раз, когда он, заполняя какую-то из анкет, на вопрос, сколько лет работает художником, ответил: «Всегда».

Творческая личность активная, динамичная, яркая, редкостно разносторонняя — таким был Тырса на всем протяжении своего пути.



Н. А. Тырса в дни блокады. Ноябрь 1941. Фото В. В. Стрекалова. Публикуется впервые

За ним слава одного из первоклассных рисовальщиков своего времени, станковиста и иллюстратора. Его имя мы называем среди имен ближайших соратников В. Лебедева, создателей современной художественной книги для детей. Из его рук вышло множество произведений, писанных акварелью и маслом, и их удивительный, специфически «тырсовский» колоризм, утонченный и богатый,— непреходящей ценности достояние отечественной живописной культуры. Но во всем этом еще не весь он. В молодости он занимался декоративными росписями интерьеров в петербургских особняках, затем участвовал в оформлении города к первым революционным праздествам. В поздние годы выступил одним из реформаторов нашего художественного стеклоделия, зачинателем массового литографского эстампа. На протяжении всей жизни преподавал. Кипучей была его деятельность в стенах Ленинградского Союза художников, одним из членов-учредителей которого он являлся...

Однако вернемся к письму.

Предварительное замечание: в письме речь идет о выставке.

Надо сказать, довоенные годы не были щедры на персональные выставки художников. Первая — она осталась и последней при жизни — выставка Тырсы открылась в залах Русского музея ровно за неделю до начала войны — 15 июня 1941 года.

Вернисаж собрал массу народа. Не только художников; один из присутствовавших вспоминает среди публики С. Маршака, М. Зощенко, Д. Шостаковича, О. Форш, Г. Уланову.[1]

Открывая выставку, заместитель директора музея Г. Е. Лебедев сказал о «виновнике торжества»:

«Мажорный строй его жизнеутверждающего искусства направлен в будущее» [2]. Искусствовед В. Петров вспоминал позднее: «В залах выставки постоянно была толпа. Даже для тех, кто хорошо знал и любил творчество Тырсы, выставка стала откровением. ⟨...⟩ Мы почувствовали величину масштабов художника и покоряющую силу его таланта».[3]

Но...

Выставка просуществовала всего несколько дней. 23-го музей закрылся, началась подготовка фондов к эвакуации.

Тырса, подобно многим, был уверен, что беда скоро минет, враг будет разбит быстро и «малой кровью».

Он адресуется приятелю, который уже мобилизован и направлен в действующую армию.

И. И. Харкевичу
20 июля 1941 г.

Дорогой Иван Иванович,

Ваши работы еще у меня в мастерской, но надеюсь на днях сдать их на хранение в те помещения Русск[ого] музея, где с завтрашнего дня будет сохраняться моя выставка — это нижний этаж Р[усского] м[узея] в том здании, где была моя выставка.

Разумеется, сейчас нет речи о каких бы то ни было выставках.

Свою я подробно переписал, наклеил на каждую работу особый ярлык с моей печаткой и номером, и теперь всю выставку сняли и вещи в рамах, не раскантовывая, оставляют в указанном помещении до того дня, когда снова можно будет открыть выставку. Это мне обещано Р[усским] м[узеем], и в залах даже шнуры остались висеть на своем месте, так что в один день можно будет все восстановить.

Пакет с Вашими работами сдам в Русск[ий] муз[ей] под расписку, и сможете их получить в сохранности, когда понадобится.

Борис Семенов не в городе, адреса не знаю и кроме того, что он в армии, сообщить ничего не могу.

Вчера взят [в армию] Тамби. «Боевой карандаш» продолжает работать, издательство «Искусство», со своей стороны, печатает плакаты. Некоторые товарищи работают для этикетов и упаковок, которые постепенно принимают вид военного времени, с соответствующими изображениями и лозунгами. Эта работа, как Вам известно, перешла к ЛОСХу из Торговой палаты,[4] я ее здесь наладил, а теперь за нее взялся Хигер,[5] который всем этим и руководит.

В городе все нормально. Редкие воздушные тревоги не доставляют нам не только хлопот, но даже и развлечения. Все проходит пока очень благополучно.

Разумеется, очень чувствуется сокращение профессиональной работы и перестройка жизни на военный лад.

Самое существенное, конечно,— информации с фронта, которыми и живем. Буду рад, если станете иногда сообщать о себе, как живете. Желаю Вам удачи и здоровья.

Н. Тырса

Особенно впечатляющи тут, пожалуй, пресловутые «шнуры», воспринимающиеся неким символом надежды. Но вошедший в поговорку оптимизм Тырсы, к несчастью, не оправдался. Ни «шнуры», ни, увы, сам художник не дождались конца войны.

Поначалу в осажденном городе Тырса не сбавлял своей активности. Он делал иллюстрации к детским книжкам, тематически созвучным происходящему («1812 год» Дениса Давыдова, «Осада мельницы» Э. Золя), пробовал делать открытки с батальными сюжетами («Атака торпедных катеров»), свой опыт и энергию принес в «Боевой карандаш», где выпустил два плаката. Один — «Урожай» — привычного сатирически-лубочного характера. Другой — «Тревога» — по стилистике необычен и для «Боевого карандаша», и для Тырсы. Это своего рода героический пейзаж, каких прежде не знало искусство художника. В последний раз предстал тут нежно любимый им Ленинград. Патетичны и сумрачный колорит листа, и торжественная картинность композиционного строя, и обостренные контрасты света и мрака. Новую трагедийную красоту увидел художник в облике города, где даже памятники классического прошлого стали насторожены и грозны. Город-крепость, город-воин дает отпор врагу.

Плакат оказался последним произведением Тырсы; он был отпечатан и выпущен в свет уже посмертно.

Блокадная зима далась Тырсе крайне тяжело.

Осенью, подобно многим представителям ленинградской художественной интеллигенции, он нашел приют в эрмитажном бомбоубежище.

Приведем отрывок из неопубликованных записок художника М. А. Григорьева [6]. «В подвалах Зимнего дворца устроены бомбоубежища. Там светло, пока еще тепло и дают кипяток. Кроме того, старинные толстые своды поглощают звук, и ничего не слышно: ни сирены, ни зениток, ни разрывов бомб. Получил пропуск в бомбоубежище № 5... Это длинная сводчатая полутруба, похожая на выбеленную римскую Cloaca Maxima.[7] Внутри сделаны топчаны, принесены раскладушки, тюфяки, подушки. Отдельные семьи отгородились занавесками. Что-то вроде бесконечно вытянувшейся ночлежки из „На дне“ Горького. Электричество часто выключают. Тогда зажигают огарочки и коптилки всех систем; лица освещены по-рембрандтовски, на сводах колеблются огромные тени. Много знакомых художников, скульпторов, архитекторов, искусствоведов. Вспоминается Н. Н. Пунин [8], зеленый, небритый, растерянный и испуганный. И его жена, Марта Андреевна [9], хрупкая пепельная блондинка, похожая на Гретхен из „Фауста“, которая вывезла из Ленинграда старуху-мать, вернулась в осажденный город под бомбежками, а сейчас тушит пожары и вытаскивает пострадавших из-под обломков в качестве рядового бойца МПВО. Н. А. Тырса рассматривает какой-то фолиант при свете коптилки и похож на истощенного постом Пимена».

А вот отрывок из воспоминаний художника В. И. Курдова [10]:

«...Начинался голод. Тырса был вместе с нами. Он не жалел себя: дежурил на крыше, работал не покладая рук в холодной литографской мастерской. Мы получали тарелочку дрожжевого супа, прозрачного, как слеза. Тырса похудел, осунулся и ослаб. Но одно было неизменно в нем — душевная сила, твердая вера в победу и будущую мирную жизнь. Он часто говорил о счастье, которое будет после войны: „Только бы дожить!..“ — твердил он.

Однако физических сил оставалось с каждым днем все меньше, и Николай Андреевич решил эвакуироваться.

Через Ладогу на Кобону отправлялся последний возможный эшелон. Я простился с Николаем Андреевичем в Союзе за час до его отъезда...

Тырса как-то весь уменьшился. Худенький, в валенках, в завизанной ушанке, с рюкзачком за плечами. Впервые увидал я его печальным и грустным.

Мы обнялись. Я передал ему письма на Большую землю. Он сказал, что взял с собой краски, захватил и любимый им офорт Пикассо, единственный в России. Вот и все».

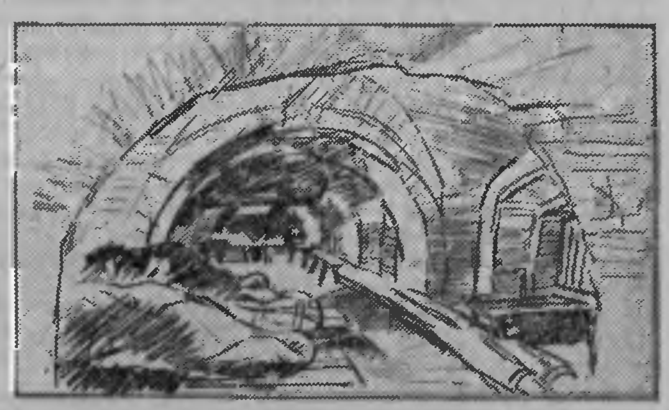
Дополнительные штрихи — в блокадных дневниковых записях Г. Е. Лебедева.[11] Под 11 апреля 1942 года читаем:

«Сегодня узнал о смерти Николая Андреевича Тырсы. ⟨...⟩ Накануне эвакуации... [он] приходил ко мне прощаться. Ирония его растворилась в дыме „времянки“, элегантная грассировка — в 125-граммовом хлебном пайке. Без тени улыбки он уверял меня, что страстно любит сливочное масло и без масла жить не может.

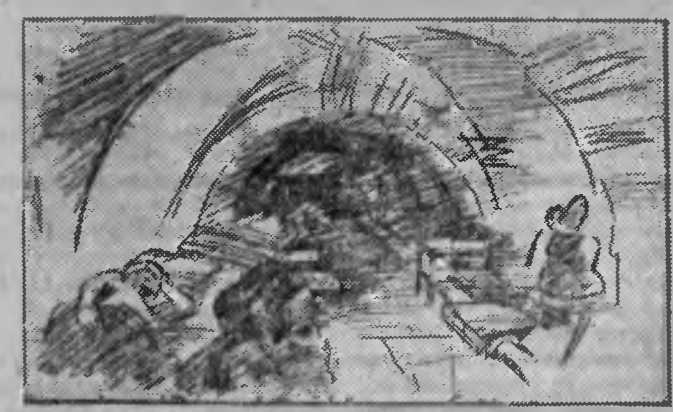
— Это наиболее реальный импульс, побудивший меня к эвакуации. И кроме того, у меня такое желание работать! Везу с собой лучшие краски. Уж вы, Георгий Ефимович, позаботьтесь о моих вещах.



Н. А. Тырса. Ленинградка-литейщица. Рисунок. Осень 1941. Публикуется впервые



Н. А. Тырса. В бомбоубежище. Рисунок. Осень 1941. Публикуется впервые



Н. А. Тырса. В бомбоубежище. Рисунок. Осень 1941. Публикуется впервые

Выставка его работ, которой я был отчасти инициатором и в которой принимал самое деятельное участие, была прервана войной. Все картины остались у нас в музее. Когда рядом во дворе упала фугасная бомба, а выставочный корпус Бенуа раскололся надвое, пришлось в лютый мороз, шатаясь от слабости, переносить все его картины и рисунки в другое крыло здания. Об этом Николай Андреевич не знал: я берег его нервы. ⟨...⟩ Уже стоя у двери, он глухо говорил о том, что его поездка будет не длительной, что хорошо было бы поселиться нам в одной квартире, что общую кухню можно было бы отделать в голландском духе:

— Знаете, такой большой камин, а на стенах — китайский фаянс и старенькие [одно слово в тексте отсутствует.— *Б. С.*].

На нем были неуклюжие, разбившиеся валенки. Апостольская борода поседела. В фигуре что-то обреченное, жертвенное».

То было начало конца. Измученный перенесенными лишениями, Тырса не выдержал трудностей пути и умер по дороге, в госпитале в Вологде. Это случилось 10 февраля 1942 года.

Вещи, находившиеся с ним, пропали бесследно. Местонахождение могилы установить не удалось.

Что же касается «шнуров»... Персональная выставка Тырсы была возобновлена в Ленинграде пять лет спустя — в мае 1946 года, но не в музее, а в залах Союза художников.

О том, как воспринималось сразу после войны творчество Тырсы, говорит статья Владимира Михайловича Конашевича, напечатанная тогда в «Ленинградской правде»: «Это жизнеутверждение, эта твердость духа — не случайное явление, не личное только качество художника, сказавшееся в его работах: это черта национальная. Это наша сила. С ее помощью мы перенесли все ужасы войны, с ее помощью мы разгромили врага».[12]

Статья была озаглавлена: «Творчество, полное оптимизма».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Семенов Б. Ф. Тырса рядом с нами.— «Нева», 1987, № 10. С. 176.

[2] Лебедев Г. Е. Блокадные мемуары. Цитир. по экземпляру авторской машинописи, находящемуся в Секторе рукописей Государственного Русского музея, ф. 100, ед. хр. 484.

[3] Петров В. И. Из «Книги воспоминаний».— Панорама искусств, вып. 3. М., 1980. С. 129—130.

[4] В 1939—1941 годах Тырса по поручению ЛОСХа помогал организовывать при Ленинградском отделении Торговой палаты сектор рекламы и торговой пропаганды, ведавший промграфикой, и состоял здесь консультантом художественного совета.

[5] Хигер Ефим Яковлевич (1899—1955). Занимался книжной иллюстрацией, промграфикой. Перед войной председатель графической секции ЛОСХа.

[6] Григорьев Михаил Александрович (1899—1960) — художник театра. Рукопись его военных записок — у Л. М. Григорьевой (Ленинград).

[7] «Большая клоака» — канализационное сооружение Древнего Рима, историческая достопримечательность.

[8] Пунин Николай Николаевич (1888—1953) — художественный и общественный деятель, критик, историк и теоретик искусства, музейный деятель, преподаватель. Война застала его профессором Всероссийской Академии художеств. В начале 1942 года тяжело больным был эвакуирован с Академией в Самарканд.

[9] Голубева Марта Андреевна (1909—1963) — искусствовед, преподаватель той же Академии.

[10] Цит. по рукописному варианту воспоминаний В. И. Курдова, находящемуся у автора настоящей публикации.

[11] Цит. по источнику, указанному в примеч. 2.

[12] «Ленинградская правда», 1946, 21 мая.

Петербург. Петроград. Ленинград

А. ИВАНОВ

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

Любой вечерний город несколько загадочен. Ленинград — особенно, он меняет свой облик по самым разнообразным причинам, зависящим не только от времени года и суток, но и от состояния погоды. Еще Козьма Прутков утверждал: «Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие — женщину; но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими; ибо всего переменчивее петербургская атмосфера!». А сколько стихов написано о наших фонарях! И все-таки, наверное, лучше всех знал и любил их Александр Блок. У него они то «мигают», то «мерцают», то «качаются», то бросают «светлый и упорный луч», то выстраиваются в «убегающий ряд», сливаясь в «желтые полосы».

Когда же город на Неве впервые осветил свои улицы? Кто и когда создал те прекрасные фонари, которыми мы любуемся и поныне? Кто зажигал и тушил их в далекие времена и кто это делает сегодня?

История уличного освещения Петербурга начинается 23 ноября 1706 года, когда праздновалась победа русских войск над шведами под Калишем. Вечером по приказу Петра на фасадах домов четырех улиц, выходящих к Петропавловской крепости, были развешаны вынесенные из помещений фонари. С перенесением в 1712 году столицы в Петербург вопросы строительства и благоустройства города встали особенно остро: Петр I не желал, чтобы его столица уступала в чем-либо европейским. Осенью 1718 года возле его Зимнего дворца, на месте нынешнего Эрмитажного театра, были установлены уже четыре стационарных фонаря, изготовленных по проекту архитектора Ж.-Б. Леблона, а в 1721 году петербургский генерал-полицмейстер А. М. Девьер, в соответствии с приказом Петра «завести в городе регулярное уличное освещение», просил Сенат выделить на освещение улиц 21436 рублей 90 копеек. В эту сумму входили стоимость 595 фонарей, годичный расход на конопляное масло, фитили и содержание фонарщиков. Много это или мало? Судите сами: стекло для фонаря стоило 11 рублей 92 копейки, тогда как фунт ржи — 1 копейку, овца — 35 копеек, теленок — полтора рубля, а строители петровского «Парадиза» за шестнадцатичасовой рабочий день получали три копейки.

С великими трудностями эти 595 фонарей были все же установлены к концу 1723 года на главнейших магистралях новой столицы. Располагались они на расстоянии пятидесяти сажен один от другого и горели не более пяти часов в сутки, «только в темные часы по присылаемым из Академии о темных часах таблицам»,— так было сказано в сенатском указе.

Внешний облик тогдашнего фонаря — полосатый деревянный столб, кронштейн, светильник — оставался на протяжении целого века без изменений: на него возлагалась единственная, чисто утилитарная функция — освещать место вокруг себя. Отсюда — простота и целесообразность. Те фонари, конечно, не сохранились. Но описание их можно найти в книге известного петербургского историка XVIII столетия Г. Георги: «Освещение главнейших улиц предписано было Петром Великим; мало-помалу начали такожде освещать и прочие улицы. Для сего имеются по оным деревянные голубою и белою краскою выкрашенные столбы, из коих каждый на железном пруте поддерживает шарообразный фонарь, спускаемый на блоке для чищения и наливания масла...». К этому следует добавить, что столб был четырехгранным, а железный прут изогнут в виде латинской буквы «S». К верхней части прута и крепился с помощью простейшего блока шарообразный светильник. Такую форму он имел потому, что в России тогда еще не умели делать плоское стекло.

Изготовление такого стекла возросло к середине XVIII века, а это позволяло делать светильники самых разнообразных форм. И тут зодчие вспомнили древнее искусство русских кузнецов: каркасы для фонарей стали ковать из железа, придавая им от трех до восьми граней. Их ставили только возле некоторых памятников и особняков: освещать улицы фонарями ручной работы было бы весьма накладно. Мы и сегодня любуемся шестигранными растреллиевскими фонарями-подвесами на цепях в подъездах Эрмитажа, изумительными по рисунку шестигранными бра на кронштейнах, украшающими фасады Никольского морского собора, созданного С. И. Чевакинским, скромными фельтеновскими бра при входе в Старый Эрмитаж.

В конце XVIII века в столице развернулись большие работы по архитектурному благоустройству набережных Невы, многочисленных рек и каналов. Через многие из них перебрасывались мосты. Для их облицовки архитекторы использовали гранит — материал долговечный и красивый. Из него же вырубали и опоры для фонарей. Особое внимание было тогда уделено Фонтанке, Мойке и Екатерининскому каналу (ныне канал Грибоедова). Через них в конце XVIII — начале XIX веков было построено несколько каменных мостов, украшенных красивыми фонарями, своим внешним видом резко отличавшимися от старых.

В 1780—1789 годах на Фонтанке появились семь однотипных мостов с четырьмя гранитными башнями на каждом. Два из них: мост Ломоносова (бывший Чернышев) и Старо-Калинкин служат нам по сей день. Со временем фонари этих мостов пришли в ветхость и были сняты. В 1912 году архитектор И. А. Фомин создал для Чернышева моста новые фонари в стиле конца XVIII столетия. Они так органически слились с архитектурой моста, что теперь только специалисты знают о том, что они отлиты и установлены здесь в начале нынешнего века.

В 1783—1787 годах через Екатерининский канал были построены Мало-Ка-

линкин, Аларчин и Пикалов мосты — каждый с четырьмя четырехгранными гранитными обелисками, увенчанными бронзовыми золочеными шарами. На металлических кронштейнах к обелискам прикреплены матовые светильники: на Мало-Калинкином — шарообразные, на Аларчином и Пикаловом — овальные. После капитального ремонта в 1983—1984 годах на Пикаловом мосту поставили светильники нового типа — матовый опрокинутый усеченный конус с металлической крышкой наверху. Пока что это новшество смотрится несколько необычно — очень уж эти фонари изящны для тяжеловесных гранитных обелисков. Однако уже сейчас видно, что они прекрасно гармонируют со стрельчатой колокольней Никольского собора.



Фонарь на Поцелуевом мосту. 1808—1816. Автор — инженер В. И. Гесте

Светили масляные фонари тускло, часто гасли, да к тому же были еще и небезопасны для прохожих. Н. В. Гоголь в повести «Невский проспект» остерегал: «Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом». Масляные фонари просуществовали в Петербурге более века, их видели Пушкин и Лермонтов, Белинский и Некрасов, Чернышевский и Достоевский... В 1794 году их насчитывалось 3400.

Но вот пришел XIX век. Уже почти столетие с наступлением темноты на центральных магистралях Петербурга зажигались уличные фонари. И хотя светили они плохо, петербуржцы очень ими гордились: не так уж много было тогда в России, да и в Европе, городов с уличным освещением.

Однако на фоне великолепных зданий, воздвигнутых к тому времени в столице, полосатые деревянные столбы уличных фонарей стали восприниматься как нечто инородное, портящее «строгий, стройный вид» столицы. Гранитные же опоры были слишком дороги.

По-видимому, последний пример их использования — Красный и Поцелуев мосты через Мойку, сооруженные в 1808—1816 годах по проекту инженера В. И. Гесте: как и на мостах Екатерининского канала, их устои украсились четырехгранными гранитными обелисками с бронзовыми шарами наверху, хотя светильники с матовыми стеклами здесь совсем иные — четырехгранная опрокинутая усеченная пирамида. Поэтому зодчим, работавшим в те годы в Петербурге, пришлось задуматься над тем, как привести уличные фонари в соответствие с новыми архитектурными ансамблями. Решение было весьма простым — вновь обратились к искусству русских литейщиков прошлых веков, непревзойденных мастеров отливки пушек, колоколов, решеток.

Сейчас трудно сказать, кто из архитекторов начала XIX столетия первым применил чугун для отливки фонарных столбов. По-видимому, к такому решению одновременно пришли многие. А вот об авторе первых чугунных фонарей, установленных на Невском проспекте в 1820 году, мы знаем из заметки столичного журналиста П. П. Свиньина, опубликованной в журнале «Отечественные записки»: «50 фонарей с реверберами (рефлекторами.— *А. И.*), привешанных на чугунных столбах изящной фигуры,— отлитых на заводе г. Кларка по рисункам инженера генерал-майора Базена,— будут разливать яркий свет на сем пространстве улицы (имеется в виду участок от Мойки до Фонтанки.— *А. И.*). Каждый из сих столбов имеет 3 сажени в вышину и поставлен на гранитном пьедестале вышиною около $7^1/_2$ аршин».

Скажем прямо: утверждение о том, что новые фонари «будут разливать яркий свет»,— явное преувеличение. О каком ярком свете могла идти речь, когда и в этих новомодных фонарях горело все то же конопляное масло! Однако сам факт появления чугунных опор весьма примечателен — фонари теперь стали произведением искусства, непременным элементом архитектурного убранства улицы, площади, набережной, моста, дворца или собора, из предмета сугубо утилитарного они сделались непременной деталью архитектурного убранства города, или, как теперь говорят, архитектурой малых форм.

К сожалению, эти базеновские фонари давно утрачены, как, впрочем, и большинство петербургских уличных фонарей прошлого и начала нынешнего веков. Они сохранились в основном только на мостах, возле памятников, дворцов, церквей и особняков.

Познакомимся поближе с фонарями близ Марсова поля, где уже к 1830 году сложился художественно цельный ансамбль мостов, тесно связанных с окружающей природой и архитектурой соседствующих зданий. На юго-западной его окраине в 1828—1829 годах инженеры Е. А. Адам и Г. И. Треттер построили два моста через Мойку и канал Грибоедова — Малый Конюшенный и Театральный. Оба декорированы одинаковыми невысокими чугунными торшерами на прямоугольных гранитных основаниях. Каждый торшер венчает чугунная чаша, в которой лежит матовый шарообразный светильник, накрытый чугунной крышкой. Проект оформления этих мостов выполнил К. И. Росси в 1824 году.

В нескольких сотнях метров вниз по течению Мойки в эти же годы Адам построил Большой Конюшенный мост. Он тоже украшен изящными чугунными торшерами со светильниками, но уже четырехгранными, также созданными под руководством Росси.

Но особенно органична связь архитектурного убранства окружающих зданий с 1 и 2-м Инженерными мостами, сооруженными в 1828—1829 годах в непосредственной близости от Инженерного замка. В те годы в нем размещалось Главное военно-инженерное училище. Эти мосты — своеобразные памятники Отечественной войны 1812 года. Свидетельством тому служат примененные в их оформлении воинские доспехи: щиты, мечи, шлемы, копья, боевые топоры. По мысли их создателей (они проектировались и строились уже упомянутым инженером П. П. Базеном при активном участии К. И. Росси), эти мосты должны были напоминать грядущим поколениям о ратных подвигах русских воинов, «покрытых славою чудесного похода и вечной славою двенадцатого года». Прекрасны на этих мостах и фонари. Их композиция исключительно проста, изящна и оригинальна: на гранитной прямоугольной тумбе — ствол в виде пучка из шести скрещенных копий, схваченных посредине венком, а на верхних концах копий укреплен шестигранный застекленный светильник. Так тема победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года нашла свое выражение не только в сооружении таких величественных памятников военной славы, как Нарвские ворота, Арка Главного штаба, Александровская колонна, но и в скромном архитектурном убранстве петербургских мостов.

Возле Инженерного замка есть еще два моста с фонарями и решетками из воинских доспехов: Садовый через Мойку и мост Пестеля через Фонтанку. По первому впечатлению, они созданы одновременно с Инженерными — очень уж их фонари похожи на фонари 30-х годов прошлого столетия: основание — гранитный прямоугольник, ствол — связка из восьми вертикально поставленных копьев с римским штандартом посредине. В центре ствола с лицевой и тыльной сторон на скрещенных коротких мечах укреплен щит с головой Медузы-Горгоны. Шестигранный сужающийся книзу светильник подвешан на стреле, укрепленной перпендикулярно стволу. Это общие элементы композиции. Но есть и различия: на Садовом мосту щит ромбовидный, на мосту Пестеля — овальный; на Садовом — в центре венка, венчающего штандарт, вмонтирована пятиконечная звезда, на мосту Пестеля — на венке сидит двуглавый орел. Ну чем не фонари первой трети XIX века! В действительности же они перестраивались в 1907—1912 годах Л. А. Ильиным (в 1925—1938 годах он был главным архитектором Ленинграда) и тогда же получили это архитектурное оформление: автор последовал примеру П. П. Базена.

А вот еще один пример — пример участия К. И. Росси в создании фонарей. В 1825 году военный инженер Лебедев перестраивал наплавной Троицкий мост, названный после этого Суворовским, потому что в 1818 году по проекту Росси на левом берегу Невы была образована Суворовская площадь с памятником в центре. По совету зодчего капитан Зуев создал проект фонарей для моста с композицией из воинских доспехов. В 1897 году, в связи с началом строительства постоянного Троицкого моста (ныне Кировский) на месте наплавного, десять фонарей перенесли на нынешнюю площадь Революции, где они стоят и поныне. В 1975 году их отреставрировали, а еще раньше, в 1951—1952 годах, копии зуевских фонарей украсили самый первый петербургский мост — Иоанновский, соединяющий площадь Революции с Петропавловской крепостью (авторы проекта А. Л. Ротач и Г. Ф. Перлина). По количеству установленных на нем фонарей этот мост не имеет равных: его длина 75 метров, а на нем стоит 9 пар фонарей двух типов. Основание у них одинаковое — чугунная прямоугольная коробка. Светильники тоже одинаковые — опрокинутая усеченная пирамида, закрытая матовыми стеклами. А вот стволы разные. Ствол первой пары (при въезде с площади) — пучок из восьми копий, в центр которого вставлен римский штандарт, увенчанный двугла-



Фонари на Иоанновском мосту. 1825. Автор — капитан Зуев

вым орлом. К средней части пучка с лицевой и тыльной сторон прикреплены перекрещивающиеся короткие мечи, а на них наложен щит с головой Медузы-Горгоны. Светильник подвешан на стреле. Таких фонарей шесть пар. Ствол второй пары фонарей — пирамидальный чугунный обелиск, увенчанный металлической каской с высоким шишаком. На средней части обелиска, как и на первой паре, укреплены мечи и щиты с головой Медузы-Горгоны. Так же укреплен и светильник.

Сохранились в нашем городе и подлинные россиевские фонари, спроектированные им самим. Два из них стоят перед фасадом Академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Когда-то их насчитывалось здесь тридцать шесть, и они были вмонтированы в ограду сквера, разбитого К. И. Росси перед театром. Точно такие же фонари стояли и возле Елагина дворца. К сожалению, до наших дней они дошли уже в искаженном виде: на одних утрачены детали, на других стволы, сохранились лишь основания и светильники...

Уличные фонари создавали и скульпторы. Например, академик П. П. Соколов, автор знаменитой «Девушки с разбитым кувшином» в Екатерининском парке города Пушкина. В 1830-х годах он одновременно оформлял три моста: Банковский и Львиный через канал Грибоедова и Египетский через Фонтанку. На Банковском мосту с помощью специального фигурного кронштейна шарообразный светильник укреплен над головой каждого из четырех грифонов, сидящих попарно на устоях. На Львином только два фонаря в центре — невысокие торшеры, увенчанные восьмигранным расширяющимся кверху светильником. Египетский мост, рухнувший в 1905 году при проходе через него войск, спешивших для расправы с питерским пролетариатом, был восстановлен в 1955 году. Архитекторы П. А. Арешев и В. С. Васильковский в оформлении его использовали отдельные детали, созданные Соколовым. К сожалению, не были восстановлены шестигранные светильники, укрепленные на кронштейнах над головами всех четырех сфинксов, лежащих попарно на устоях моста.

В середине прошлого века в Петербурге был построен первый постоянный мост через Неву — Николаевский (Благовещенский). Фонари для него создал прапорщик Д. Цветков. С 1918 года мост носит имя героя первой русской революции лейтенанта Шмидта. Во время перестройки моста в 1936—1938 годах четыре фонаря перенесли на Марсово поле и установили возле Памятника героям революции и гражданской войны, добавив к ним еще двенадцать, отлитых по их образцу. Сейчас в шестигранных светильниках установлены темно-оранжевые стекла, что придает по вечерам Марсову полю особо торжественный вид.

Говоря об архитектурном убранстве города первой половины XIX века, следует обратить также внимание на фонари Демидова моста через канал Грибоедова. Есть не подтвержденные архивными данными сведения, что автором их является выдающийся русский архитектор В. П. Стасов.

К тому времени улицы Петербурга освещались уже фонарями совершенно новых типов, о каких Петр не мог и мечтать. В 1835 году было создано «Общество освещения газом Санкт-Петербурга», на набережной Обводного канала построившее газовый завод, а на улицах установившее 204 газовых фонаря. Газовое освещение, хоть и обходилось в пять раз дороже масляного (уголь для получения светильного газа привозили морем из Англии), было несомненным шагом вперед — газ горел значительно ярче масла. Неудивительно, что новинку встретили с восторгом. «Когда проезжаешь вечером по Морской (ныне улица Герцена.— *А. И.*) и Невскому проспекту, освещенным газом, душе как-то весело! Лишь только миновал перекресток, где начинается Литейная и Владимирская, как будто свалился в яму — фонари, кажется, показывают только место, где должно быть освещение»,— свидетельствует современник.

Высокая стоимость газового освещения заставила химиков искать горючее подешевле, и в 1849 году в Петербурге появились уличные фонари со спирто-скипидарной смесью. Они излучали не столь яркий свет, как газовые, зато обходились не так дорого, этим и объясняется их сравнительная популярность. В 1858 году в городе было 4426 спирто-скипидарных фонарей, 936— газовых и 3132— масляных.

В начале 1860-х годов в Петербурге появился весьма предприимчивый американец, венгр по национальности, по фамилии Шандор. С непостижимой легкостью он получил от городской Думы откуп на освещение столичных улиц керосином, который тогда, кстати сказать, называли минеральным маслом. 1 августа 1863 года на улицах Петербурга зажглись шесть тысяч керосиновых светильников, и с этого времени масляное и спирто-скипидарное освещение стало достоянием истории.

В 1870-х годах в России почти одновременно изобретаются два вида электрических ламп, пригодных для практического освещения, в том числе и уличного. В 1872 году отставной офицер А. Н. Лодыгин подал заявку и два года спустя получил в России патент на лампу накаливания с угольной нитью. Однако в России эти лампы долго не находили применения: развитие техники в стране не позволило в те годы наладить их массовое производство. Лодыгину приходилось делать их в домашней мастерской кустарным способом. Чтобы привлечь к своему изобретению внимание ученых, общественности, промышленников, он решает показать свою лампу прямо на улице. И вот летом 1873 года в петербургских газетах появилось сообщение о том, что «11 июля на Одесской улице, на Песках, будут показаны публике опыты электрического освещения улицы». Как отмечали современники, в тот вечер массы петербуржцев, кто на извозчике, кто пешком отправились на далекую в те времена Одесскую улицу. «Вдруг из темноты,— вспоминает очевидец,— мы попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливающими яркий белый свет». Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались «этим огнем с неба», «светом без огня». Многие принесли с собою газеты и сравнивали расстояние, на котором можно было читать при свете керосинового фонаря и лампы накаливания. Нужно ли говорить, что сравнение было не в пользу керосина!

Изобретение Лодыгина получило высокую оценку русских ученых, в 1874 году Петербургская Академия наук присудила ему Ломоносовскую премию. К сожалению, триумф лампы накаливания на родине на этом и завершился. Не получив поддержки ни у правительства, ни у промышленников, Лодыгин вынужден был уехать сначала в Европу, а затем в Соединенные Штаты.

Сходная судьба постигла и другого русского изобретателя, П. Н. Яблочкова, создавшего дуговую лампу, которую во всем мире назвали «свечой Яблочкова». Ему было отказано не только в налаживании производства этих «свечей», но и в выдаче патента. Изобретатель уехал во Францию. За рубежом «свечи Яблочкова» имели небывалый успех. Они осветили театры и улицы Парижа, развалины римского Колизея, улицы и площади Лондона. «Русский свет» вспыхнул даже во дворце короля Камбоджи и гареме персидского шаха.

Столь блистательный триумф «свечи Яблочкова» вынудил все же царское правительство и русских промышленников обратить на нее свое внимание. Яблочкова пригласили в Петербург, и в начале 1879 года он показал свое изобретение на наплавном Дворцовом мосту через Неву. Весной, во время ледохода, Дворцовый мост разобрали, а фонари перенесли на площадь перед Александринским театром (нынешняя площадь Островского). Газеты того времени писали: «Освещение началось в 9 часов вечера 14 апреля. Первые три дня освещение продолжалось до 12 часов вечера, а с 17 апреля по 2 мая всю ночь... Ежедневно от 10 до 12 часов показывали публике опыт мгновенного тушения и зажигания электрических фонарей, причем публика предварялась об этом свистками...».

Эффект этих опытов был настолько очевиден, что в 1881 году в Петербурге было создано товарищество «Электротехник», предложившее городским властям на свои средства организовать освещение Невского проспекта «свечами Яблочкова». Незначительным большинством голосов городская Дума приняла это предложение (против него выступали хозяева керосиновых и газовых компаний, имевшие долгосрочные договоры на освещение улиц русской столицы — газом в центре и керосином на окраинах). Товариществу выделили место возле Казанского собора для строительства электростанции. Но неожиданно против электричества выступило духовенство: «святые отцы» посчитали, что такое строительство — не что иное, как осквернение святыни, а следовательно, противно Богу. Спорить с Синодом городские власти не решились, и дело едва не зашло в тупик. Но на выручку пришли энтузиасты во главе с инженером-технологом А. А. Троицким и будущим изобретателем радио А. С. Поповым. Они предложили смонтировать электростанцию на речной барже, поставив ее возле Полицейского (ныне Народного) моста через Мойку. 30 декабря 1883 года

на Невском проспекте от Большой Морской улицы до Фонтанки впервые зажглись тридцать две «свечи Яблочкова».

15 января 1884 года «Правительственный вестник» сообщал: «Сила света электрических фонарей, расположенных на Невском проспекте, равняется 1500—2000 свечей. Первая проба электрического освещения Невского проспекта производилась 24 декабря 1883 года, причем были пущены в дело все тридцать два фонаря, расположенные по освещенному проспекту. 25 декабря пробовали осветить только одну половину улицы; оказалось, что и этого половинного количества достаточно для удовлетворительного освещения».

(Сравним: в наши дни суммарная мощность трех ламп, установленных на одном столбе, составляет 1500 ватт, а таких столбов от Адмиралтейства до площади Александра Невского насчитывается более двухсот.)

И все-таки, несмотря на явное преимущество электрического освещения над всеми другими, внедрение его шло поначалу очень медленно: на пороге XX века улицы столицы освещало всего 213 электрических фонарей, а в 1916 году из 15 тысяч уличных фонарей только три тысячи были электрическими.

Сегодня город освещают более 120 тысяч фонарей.

Совсем недавно. Совсем давно

Н. ЖЕРВЭ

ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ ВО СЛАВУ

Если спросить новгородцев, знакомо ли им имя Василия Степановича Передольского, большинство ответит отрицательно. А ведь современники считали его «пионером по исследованию археологии Новгорода» и были убеждены, что «будущий историк города отведет ему самую почетную страницу». Книги Василия Степановича «Бытовые остатки насельников волховско-ильменского побережья новгородского великодержавства» и «Новгородские древности» давно уже стали библиографической редкостью, а сведения о его жизни и трудах надежно покоятся в архивных папках с документами семьи Передольских.

Сын дьячка, родившийся 26 декабря 1833 года в Передольском погосте Лужского уезда, Василий Степанович должен был тоже стать священником, но случай резко изменил его судьбу. После окончания гимназии Передольский поступил на юридический факультет Петербургского университета. Юрист по образованию, а по призванию — историк, археолог, антрополог, краевед, он посвятил почти шестьдесят лет жизни изучению древностей новгородского края, поискам древних памятников и созданию музея на основе этой коллекции.

Увлечение историей началось еще в гимназии. В обомшелых подвалах и на затянутых паутиной чердаках — повсюду Василий Степанович обнаруживает старинные рукописи, грамоты, книги. Перед ним открылся удивительный мир прошлого. А равнодушие к прошлому своей земли Передольский всегда считал признаком грубости и необразованности.

В середине XIX века на глазах у изумленных россиян археология превращалась в интереснейшую, увлекательную науку. Открытия Буше де Перта, Эванса, Локбока и других европейских исследователей увлекли Василия Степановича и на эту стезю. Более полутора лет он набирался опыта и знаний во Франции, Германии, Англии, а вскоре по возвращении в Россию оставил службу в Министерстве внутренних дел и переселился в Новгород, где деятельность адвоката соединил с изучением и коллекционированием древностей, отдавая явное предпочтение последним.

В 1888 году произошло событие, ставшее этапным в археологической деятельности Василия Степановича. В шести верстах от Новгорода, в местности Коломцы, почти напротив Перынского скита, им были открыты следы обширного поселения человека каменного века. Только обследование поверхностного слоя дало около двух тысяч различных предметов: осколков костей, черепков посуды, наконечников стрел, кремневых ножей, скребков. Начавшиеся вслед за этим раскопки увеличили за последующие десять лет коллекцию Передольского до шестидесяти тысяч единиц.

В 1889 году была организована первая выставка коломецких находок в Археологическом институте в Петербурге, после чего Василий Степанович избирается его почетным членом, а два года спустя становится сотрудником.

Коломецкие открытия окрылили исследователя, и в 90-е годы он осуще-

ствляет раскопки в черте самого Новгорода. Об интересе к деятельности Передольского и к его коллекции древностей свидетельствует хотя бы то, что в 1888 году на основании его описи директор Археологического института отметил ценность и значительность этого собрания, «единственного не только в России, но и Европе». Но большой успех и широкая известность пришли к Василию Степановичу после его участия в нескольких крупных выставках: в Археологическом институте (1889), на VIII археологическом съезде в Москве (1892), на выставке в Николаевском дворце в Петербурге (1893), на франко-русской выставке Красного Креста в Петербурге (1900).

А в 1894 году по инициативе в при активном участии Передольского в Новгороде создается общество любителей древностей — с целью изучения памятников старины в пределах Новгородской губернии и наблюдения за их сохранностью, сбора, описания и хранения остатков старины, проведения раскопок, разбора рукописей. Но препятствия местных властей помешали расширению деятельности общества. Особенно возмущали Передольского, его председателя, случаи варварского расхищения и продажи церковниками старинной утвари, «поновление» древних фресок, разрушение старинных зданий (таких, как Евфимиева палата и Ярославова башня, и стены и башни «Детинца»). С болью и негодованием писал он о плачевном состоянии коллекции Земского музея, основанного в 1865 году Н. Г. Богословским, и Публичной библиотеки Новгорода, открытой в 1880 году.

В середине 90-х годов и его собственной коллекции стало явно тесновато в отведенных ей помещениях. Научные учреждения (например, Императорская Археологическая комиссия) не раз предлагали передать экспонаты в их ведение, но «упрямый новгородец» желал видеть их выставленными именно в Новгороде, «а не в столицах или других больших городах, где скучено множество собраний всевозможных блестящих, ласкающих изнеженный глаз зрителя изяществом предметов искусства и художественного творчества». Выделить же казенное помещение в Новгороде для музея Передольского местные власти не посчитали возможным и, словно в насмешку, предлагали занять одну из башен «Детинца» — грязную, сырую, использовавшуюся как отхожее место.

И тогда в 1900 году собиратель решается на последний шаг: на взятые взаймы деньги он строит двухэтажный деревянный дом на углу Ильинской и Николаевской улиц, против церкви Филиппа Апостола. Строительство закончилось лишь к следующей зиме. В первом этаже дома разместилась коллекция, во втором — жила семья Передольских. Хозяин любил сам встречать посетителей, охотно и обстоятельно показывал, рассказывал. За два только года музей посетило более двух тысяч человек. Свободный доступ к обозрению экспонатов предоставлялся новгородцам по воскресеньям, а заезжим гостям — в любой день, когда хозяин бывал дома. Появление этого музея стало заметным событием в культурной жизни Новгорода.

Долгие часы просиживал Василий Степанович за разборкой и изучением своих экспонатов. В рукописях дошли до нас его труды, посвященные прошлому Новгорода и его памятникам: «Новгородский „Детинец“», «Ярославово дворище», «Богатырские века полночного славянства». Однажды Передольский простудился в плохо отапливаемых помещениях первого этажа, где работал, сильный бронхит перешел в воспаление легких, и в марте 1907 года он умер.

О могиле Василия Степановича Передольского помнят лишь немногие старожилы Новгорода да сообщают скупые строки архивных документов: у двух лип в ограде церкви Филиппа Апостола, с северной стороны от алтаря был похоронен «кровный новгородец», не сдававшийся до последних дней и убежденный, что его работа — на благо любимого города и Отечества!

После смерти Передольского начались споры между его детьми — Надеждой, Ольгой и Владимиром о дележе наследства. Денежного состояния не было — только предметы древности, книги, дом. Основная часть коллекции досталась Владимиру — антропологу, преподававшему в Петербургском университете, но он, в отличие от отца, не стремился сделать коллекцию всеобщим достоянием.

В 1920 году отдел по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины Новгородской губернии произвел осмотр собрания Передольского, и ввиду его большой ценности было решено передать его в ведение Новгородского губмузея. Тогдашний директор Новгородского губмузея Сергей Михайлович Смирнов вспоминает, что Владимир Васильевич Передольский встретил комиссию крайне нелюбезно, отказался предоставить какие-либо описи коллекции, а когда началась регистрация вещей, обнаружилось отсутствие многих достаточно известных к тому времени ценных экспонатов, например собрания новгородских гривен,

части бумаг из архива графа Аракчеева и других. Основная часть коллекции перешла все же в ведение новгородского Исторического музея, но была в 1941 году вывезена немецкими оккупантами...

Сейчас в фондах Новгородского государственного музея лишь около пятисот экспонатов из нескольких десятков тысяч, а в составе книжного фонда — более восьмисот книг, принадлежавших Передольскому (судя по архивным данным, библиотека Василия Степановича составляла свыше пяти тысяч томов). Дом Передольского — одна из немногих уцелевших после войны в Новгороде деревянных построек начала XX века — а плачевном состоянии. Радует, однако, то, что в последнее время дирекция музея проявила серьезный интерес к своему забытому земляку, решен вопрос о восстановлении дома и размещении в нем экспозиций.

Антресоли

Билл САТТОН

СРЕДСТВО ОТ НАРЫВОВ

Предлагаемый вниманию читателей рассказ был опубликован в новозеландском журнале «Фернфаер». В этом журнале публикуются рассказы и очерки на медицинские темы и большинство авторов — врачи по специальности. Билл Саттон, написавший этот рассказ, работает в одной из клиник Веллингтона. Печататься начал в начале шестидесятых годов.

Ни за что на свете не допущу больше ни единого нарыва. Да я лучше на любое испытание соглашусь, готов выигрыш в лотерее потерять, только бы снова не пройти через все эти муки! И не потому, что я слабак,— совсем нет; ведь нарывы — ерунда. Лечение их — вот что меня доконало.

Первым был дядюшка Джим. Угораздило же меня сказать ему про свой нарыв и что я собрался в клинику. Дядюшка на это снисходительно улыбнулся; потрогав нарыв на моей руке, он с видом знатока заявил:

— Малыш, нарывы — это как раз то, в чем я разбираюсь: раствори чайную ложку соли в стакане воды и принимай три раза в день. И поверь, твой нарыв умрет естественной смертью.

Конечно, я знал, что дядя — дока по части игры в карты, кегли, разведения цветов; но и подумать не смел, что он отважится вторгнуться в область медицины. Но когда у человека нарывы, он готов на все, лишь бы полегчало! Так вот я и лечился по его методу дна дня: в результате — еще один нарыв и страшная жажда.

К тому времени о моих злоключениях прослышала тетка Джоан. Она явилась ко мне и прямо с порога начала:

— Ну и насмешил: поверил этому старому дурню Джиму! Да что он смыслит в нарывах? Он в этом деле полный профан! Младенцу известно, что единственное средство избавиться от нарывов — шесть раз в день натирать их луком.

Не успел я опомниться, как тетка вернулась из кухни с нарезанным луком и провела первый сеанс лечения.

«Ладно,— подумал я,— почему бы не рискнуть. Терять мне нечего — разве что собственную руку».

Луковая терапия длилась всего один день. Вместо того, чтобы лишиться нарывов, я лишился нескольких друзей. Стоило мне приблизиться к кому-нибудь из приятелей, чтобы пригласить на кружку пива или просто перемолвиться словечком, как я ловил на себе выразительный взгляд: «Неужто его лучшие друзья не подскажут ему...» И тут же выяснялось, что друг спешит на важную деловую встречу.

Тетушка признала себя побежденной, только когда число нарывов утроилось.

Появление новых нарывов прибавило мне решимости, и я собрался было идти к врачу, но тут кто-то позвонил. Едва я открыл дверь, как в комнату ворвался Гарри Хокинс по прозвищу Везунчик — конюх с ипподрома. Таких типов, как Везунчик Гарри, вам, думаю, доводилось встречать. Если он ставит дыхание лошадям и лечит их лошадиные болячки, то уже считает себя крупным специалистом и по всем человеческим болезням, ну и нарывам — как в моем случае. Ни слова не говоря, Гарри толкнул меня в кресло.

— Пластырь — то, что надо,— захрипел он мне в ухо.— У меня тут все под рукой. Помнишь ту старую кобылу Ласточку, что пару лет назад отхватила кубок? За даа дня до скачек у нее вся шкура была а нарывах. Владелец хотел снять ее с дистанции. Приготовил я смесь — вот эту самую, смазал нарывы, а остальное ты сам знаешь — она запросто всех обошла.

Он говорил и одновременно со знанием дела намазывал нарывы на моей руке смесью, выглядевшей весьма подозрительно. Затем он перебинтовал руку, хлопнул меня по плечу и исчез.

«Ну что ж,— подумал я,— что Ласточке полезно — сгодится и для меня».

Часом позже я понял, почему Ласточка взяла кубок. От такой страшной боли не только человек, но и лошадь помчится быстрее ветра. С таким раздражителем я бы запросто выиграл чемпионат мира по бегу — на любой дистанции. Я торопливо сорвал бинты: нарывы были на месте, а вот приличного куска кожи не хватало.

«Ну теперь-то даже если путь в клинику мне преградит наводнение, пожар, эпидемия чумы — меня ничто не остановит»,— сказал я себе.

Но человек существо слабое, и меня остановил не пожар и не наводнение, а огородник Фред. Его садик был как раз на полпути между моим домом и клиникой. Черт меня дернул ему поклониться.

— Слышал, у вас появились нарывы? — начал он.

Я попытался перевести разговор на другую тему, но не тут-то было.

— Все дело, понимаете ли, в диете,— продолжал он как ни в чем не бывало.— Взять, к примеру, эскимосов. У них диета почти исключительно мясная, а они, представьте, единственная нация, которая никогда не воевала. Я-то, правда, не считаю, что мясная диета поможет избавиться от нарывов. Держу пари, вам нужна тертая морковь. Трижды в день.

И прежде чем успел сообразить, что делаю, я уже с бессмысленным видом шагал обратно, держа в здоровой руке огромный пучок моркови. Соблюдая морковную диету, я, может, и впрямь избавился бы от нарывов. Правда, неизвестно, что произошло бы раньше — выздоровление или смерть от недоедания.

Поздно ночью, чтобы избежать встречи с назойливыми тетками, дядями, конюхами, морковоедами, я добрался, наконец, до больницы...

Через неделю меня вылечили.

Перевел с английского
Александр БРАНСКИЙ

ДЖОРДЖ С. КАУФМАН

ПОЖАР

Джордж С. Кауфман (1889—1961) — один из самых оригинальных представителей американской бытовой комедии. Он автор нескольких пьес, написанных в содружестве с различными драматургами. Самая знаменитая — первая его комедия «Далси» (1921), написанная в соавторстве с М. Коннелли. Ее сатирическая направленность, как полагают, больше рассчитана на восприятие серьезным зрителем, нежели на посетителей бродвейских залов.

За этой пьесой последовали другие — «Нищий на коне», «О тебе пою», «Кадиллак из чистого золота», тоже быстро завоевавшие популярность. У себя на родине Дж. Кауфман известен также и как постановщик, и как ведущий телевизионных передач. А его литературная деятельность принесла ему Пулитцеровскую премию 1937 года.

Комедия «Пожар», предлагаемая читателям «Невы»,— пожалуй, наиболее характерный образчик писательской манеры Дж. Кауфмана. Основанная на фарсовой ситуации, она отмечена незатейливостью развития интриги и своеобразным «кауфманским» юмором. Прочтенная (или сыгранная) так, как того требует автор, пьеса запомнится как весьма необыкновенное происшествие, случившееся при обыкновенных обстоятельствах.

(Существенное замечание: важно, чтобы в продолжение всего действия актеры играли подчеркнуто вежливо и спокойно, как в английской салонной комедии. Никто ни разу не повышает голос; каждая фраза произносится так, будто это приглашение выпить чашку чая. Если этому указанию не следовать, то пьеса теряет всякий смысл.)

Сцена представляет собой гостиничный номер. На заднем плане — два окна и кровать между ними. Рядом с кроватью на столике телефон; шкаф — с другой стороны кровати. Справа — дверь, ведущая в коридор, около двери стоит стул. Слева — дверь в другую комнату; возле нее — маленький столик и два стула.

На сцене Эд и Боб. Когда занавес поднимается, Эд надевает пальто. Оба стоят у двери, ведущей в коридор.

Эд. Ну что ж, Боб, очень рад был тебя видеть снова.
Боб. И я был рад тебя видеть.
Эд. Ты так редко бываешь в городе, что у меня совсем нет...
Боб. Ну, ты и сам знаешь. Командировка есть командировка.
Эд. В следующий раз обязательно заходи к нам.
Боб. Хотелось бы выбраться. Но в этот раз я был просто привязан к гостинице.
Эд. Понимаю. Ну что ж, кланяйся Эдит.

Боб *(вспоминая что-то)*. Кстати, Эд. Погоди-ка.
Эд. Что там у тебя?
Боб. Я тут хотел показать тебе кое-что. *(Подходит к столу, достает из ящика чертежи.)* Ты знаешь, что я собираюсь строить новый дом?
Эд *(подходит к столу)*. Дом?
Боб. Самый настоящий дом! *(В дверь стучат.)* Войдите! *(Разворачивает чертежи.)* Я их только что получил.
Эд *(присаживается)*. Очень интересно! *(В дверь снова стучат — на этот раз громче. Мужчины поворачиваются к двери.)*
Боб. Входите. Да входите же!
Коридорный *(входит)*. Мистер Барклай?
Боб. Да?
Коридорный. Я должен кое-что передать мистеру Барклаю лично.
Боб *(подходит к мальчику)*. Я мистер Барклай. Слушаю.
Коридорный. Гостиница горит, сэр.
Боб. Что, что?
Коридорный. Гостиница горит.
Эд. Эта гостиница?
Коридорный. Да, сэр.
Боб. И что — сильно горит?
Коридорный. Кажется, что да, сэр.
Эд. Значит, она может сгореть совсем?
Коридорный. Мы думаем, что да, сэр.
Боб *(присвистывает от удивления)*. Да-а! Надо выезжать.
Коридорный. Да, сэр.
Боб. Так, значит, и сгорит, а?
Коридорный. Да, сэр. Если вы подойдете к окну, то сами можете увидеть.

Боб подходит к окну.

Боб. Да, сильно горит. Хм. *(Эду.)* Послушай-ка, на это стоит посмотреть...
Эд *(подходит к окну и выглядывает в него)*. Огонь добрался уже до этажа, который прямо под нами.
Коридорный. Да, сэр. Нижняя часть гостиницы уже почти дотла сгорела, сэр.
Боб *(выглядывает в окно; смотрит вверх)*. А там, наверху, все в порядке. *(Оборачивается к мальчику.)* Пожарным уже сообщили?
Коридорный. Не знаю, сэр. Я всего лишь коридорный.
Боб. Нужно непременно вызвать пожарную команду *(кивает головой, будто его осенила блестящая мысль)*. Позвоните им, скажите, как называется эта гостиница...
Эд. Погоди-ка. Можно сделать лучше. *(Коридорному.)* Позвони шефу и скажи ему, что тебя просил позвонить Эд Джемисон. *(Бобу.)* Мы с ним вместе в школу ходили.
Боб. Просто замечательно. *(Мальчику.)* Смотри, ничего не перепутай. Скажи шефу, что мистер Джемисон просил тебя позвонить.
Эд. Эд Джемисон.
Боб. Да, Эд Джемисон.
Коридорный. Да, сэр. *(Поворачивается, собираясь уходить.)*
Боб. Да! Мальчик! *(Достает из кармана горсть мелочи; отбирает одну монетку.)* Вот, возьми.
Коридорный. Спасибо, сэр. *(Уходит.)*

Эд садится за стол, закуривает сигарету и бросает спичку на ковер, но потом наступает на нее ногой. Минутная пауза.

Боб. Да-а! *(Подходит к окну и выглядывает в него.)* Скоро придется съезжать отсюда.
Эд *(направляясь к окну)*. Как там, не лучше?
Боб. Да, пожалуй, хуже. Скоро огонь и до нас доберется.
Эд. А какой это этаж?
Боб. Одиннадцатый.
Эд. Одиннадцатый. Отсюда и не выпрыгнешь.
Боб. Нет. Ни за что не выпрыгнешь. *(Отходит от окна и направляется к шкафу.)* Что ж, пора собираться. *(Достает чемодан.)*
Эд *(разглаживая чертежи)*. А кто их для тебя сделал?
Боб. Один знакомый — его зовут Роллинз. *(Складывает рубашку.)* Мне надо бы позвонить в какую-нибудь другую гостиницу насчет номера.
Эд. Я думаю, ты устроишься.
Боб. Бывает, что это не просто сделать. *(Неожиданно поднимает ногу и внимательно рассматривает подошву ботинка.)* Смотри-ка, пол уже совсем горячий.

Эд. В самом деле. Да и в комнате что-то душно. Уф! *(Осматривается, будто ищет что-то, и подходит к телефону.)* Алло. Принесите воды со льдом в номер одиннадцать-восемнадцать. *(Подходит к столу.)*
Боб *(стоит около кровати)*. Вот и хорошо. *(Упаковывает вещи.)* Знаешь, если я переберусь в другую гостиницу, то не смогу получать почту. Все знают, что я остановился здесь.
Эд *(изучая чертежи)*. А что, неплохо.
Боб *(с радостью)*. Тебе нравится? *(Вспоминая о своих горестях.)* А если я остановлюсь в другой гостинице, а там тоже пожар, тогда что?
Эд. Все равно надо попытаться.
Боб. Знаю, но здесь я чувствую себя как-то увереннее. *(Звонит телефон.)* Будь добр, Эд, сними, пожалуйста, трубку. *(Идет к шкафу и возвращается назад.)*
Эд *(подходит к телефонному аппарату)*. Конечно. *(В трубку.)* Алло... Ну, разумеется. Это будет просто прекрасно. Что? Погодите-ка. *(Бобу.)* Там внизу пожарники, и они хотят зайти в этот номер.
Боб. Пусть заходят.
Эд *(в трубку)*. Хорошо. Поднимайтесь. *(Вешает трубку, подходит к столу и садится на стул.)* Что-то теперь произойдет.
Боб *(выглядывает из окна)*. Слушай, а народу-то на улице сколько собралось!
Эд *(рассеянно, рассматривая чертежи)*. Может, там что-то произошло?
Боб *(выглядывает снова, в руке держит чемодан)*. Нет. Скорее всего, они прослышали о пожаре. *(Стук в дверь.)* Войдите.
Коридорный *(входит)*. Прошу прощения, мистер Барклай, прибыли пожарники.
Боб. Приглашай их. *(Подходит к двери.)*

Открывается дверь. Появляются два Пожарника в полной амуниции. Первый Пожарник держит шланг и плащ, в руке второго — скрипка в футляре.

Первый Пожарник *(извиняющимся тоном)*. Мистер Барклай?
Боб. Да, я мистер Барклай.
Первый Пожарник. Мы пожарники, мистер Барклай. *(Снимают шляпы.)*
Боб. Здравствуйте.
Эд. Здравствуйте.
Боб. Рады вас видеть, весьма. Извините, что в комнате беспорядок, но...
Первый Пожарник. Не беспокойтесь. У вас тут очень домашняя обстановка.
Боб. Позвольте представить моего друга, мистера Эда Джемисона...
Первый Пожарник. Очень приятно.
Эд. Очень приятно. *(Второй Пожарник кивает.)* Я знаю вашего шефа.
Первый Пожарник. Правда? Он знает шефа, нашего распрекрасного шефа. *(Второй Пожарник хихикает.)*
Боб *(в смущении)*. Я полагаю, вы, друзья, хотите приступить к работе?
Первый Пожарник. Да, если вы не против. Нам тут нужно немного побрызгать.
Боб. Вам помочь?
Первый Пожарник. Да, будьте добры. *(Боб помогает ему надеть плащ. В это время Второй Пожарник, не говоря ни слова, кладет футляр на кровать, раскрывает его, достает скрипку и начинает ее настраивать.)*
Боб *(глядя на него)*. Я не совсем понимаю.
Первый Пожарник. Видите ли, Сид не может много репетировать дома. Иногда во время пожара, когда мы ждем, что вот-вот обвалится стена или еще что-нибудь в этом духе, случается, что пожарнику совершенно нечего делать, и лично я с удовольствием наблюдаю, как он самосовершенствуется в музыкальном плане. Вы, надеюсь, не против? Вы ведь не антимузыкальны?
Боб. Разумеется, нет... *(Боб и Эд понимающе кивают; Второй Пожарник тем временем канифолит смычок.)*
Первый Пожарник. Простите... *(Решительно направляется к окну. Судя по всему, он готов приступить к делу.)*
Боб. Отличные ребята.
Эд *(также подходит к окну)*. Ну как, горит?
Первый Пожарник *(дотрагивается до стены)*. Совсем скверно. Стена скоро обвалится, но она упадет туда, поэтому все в порядке. *(Выглядывает в окно.)* Эту стену можно поддержать только из соседней комнаты. *(Подходит к двери в левой стене. Когда Эд проходит мимо Боба, тот показывает галстуки.)*
Эд *(рассматривая галстуки)*. Роскошные галстуки!
Первый Пожарник *(Бобу)*. У вас есть ключ от этой комнаты?
Боб. Нет, конечно. Она мне не нужна. Мне и этой комнаты достаточно. *(Говоря, складывает рубашку.)*

Э д. Да, здесь очень уютно.

П е р в ы й П о ж а р н и к. Ах, черт! Я кое-что задумал, мне бы только попасть туда. А кстати, нельзя ли воспользоваться вашим телефоном?

Б о б. Конечно, пожалуйста. *(Эду.)* Ты не мог бы это подержать? *(Указывает на шланг.)*

Э д. Да, но как это сделать?

П е р в ы й П о ж а р н и к. А вы подлезьте под него. *(Показывает, как это делается.)* Благодарю вас. *(В трубку.)* Алло. Администратора, пожалуйста. *(Второму Пожарнику.)* Сыграй-ка нам ту штучку, которую ты играл, когда сгорело здание суда. *(Снова в трубку.)* Вы слушаете? Это один из пожарников. А, вы уже знаете, что мы здесь... Я в номере... в-э... *(Смотрит на Боба.)*

Б о б. Одиннадцать-восемнадцать.

П е р в ы й П о ж а р н и к. Одиннадцать-восемнадцать, и я бы хотел попасть в другую комнату... Ага, отлично. Не могли бы вы прислать кого-нибудь с ключом? Что, никого нет? Ну что ж, отлично! Пока. *(Вешает трубку.)*

Б о б. Вот и прекрасно. *(Пожарникам.)* Может, вы присядете?

П е р в ы й П о ж а р н и к. Благодарю вас.

Э д. Сигару?

П е р в ы й П о ж а р н и к *(берет сигару)*. Премного благодарен.

Б о б. Огня?

П е р в ы й П о ж а р н и к. Да, пожалуйста.

Э д *(не находя спичек)*. Боб, у тебя нет ли спичек?

Б о б *(подходит к столу)*. Да где-то тут были. *(Ищет в карманах.)*

П е р в ы й П о ж а р н и к. Прошу вас, не беспокойтесь. *(Подходит к окну, высовывается из него и появляется снова с дымящейся сигарой. Боб подходит к шкафу; закрывает дверцу. Второй Пожарник стучит смычком по скрипке.)*

П е р в ы й П о ж а р н и к. Мистер Барклай, мне кажется, он готов.

Б о б. Извините.

Все садятся. Второй Пожарник выходит на середину сцены; ведет себя как скрипач, готовящийся к выступлению. Гаснет свет; печально поет скрипка.

Перевел с английского **И. БОГДАНОВ**

Эгон Эрвин **КИШ**

ТАТУИРОВАННЫЙ ПОРТРЕТ

По вечерам, когда все затихало и внезапного налета поверяющего можно было уже не опасаться, я покидал свою одиночку и шел в караульное помещение гауптвахты, где после целого дня сидения в четырех стенах собирались арестанты из разных камер — на людей поглядеть, себя показать, новостями обменяться, а то и в картишки переброситься. Без шума, без драки, все солидно, все пристойно.

Однако стоило появиться среди нас некоему ефрейтору, литографу полковой канцелярии, как настрой наших сборищ резко изменялся. Новый арестант во всеуслышание поносил «старое свиное рыло», которое «за сущий пустяк» завело на него уголовное дело. Под «сущим пустяком» новичок подразумевал свою «невинную» проделку: изготавливая литографию приказа полкового командира, он вписал в него имя своего приятеля и тем собственноручно произвел его из капралов в фельдфебели.

— Подумаешь, дело,— горячился он,— друга своего я назначил! Да он, если хотите знать, в десять раз лучший фельдфебель, чем все, кого назначил сам полковник, это вонючее свиное рыло!

Литографа бесила не только несправедливость, но и черная неблагодарность полковника.

— А и-то, лопух, сколько я этой свиной харе одолжений сделал!

— Ты делал полковнику одолжения?

— А то нет: квартиру ему размалевал, меню к обеду постоянно разрисовывал, а его жене — увеличил портрет отца. Теперь он висит в рамке в их спальне, а я сижу здесь под арестом — нечего сказать, уважили! Эх, выбраться бы мне только снова на «гражданку», уж я бы сумел ему соли под хвост насыпать, борову этому жирному.

Арестанты радовались: слушать, как костерят начальство, да еще столь бурно, с угрозами — всегда приятно. Сам я видел полковника лишь дважды. В первый раз — когда нас приводили к присяге. Во второй — я стоял на часах у ворот казармы, а он прошествовал мимо, бросив на меня презрительный взгляд и не ответив на мой лихой бросок винтовкой «на караул». Да и то сказать, кто я был такой — всего лишь одногодичник-вольноопределяющийся и для него, кадрового офицера, стоял на самой низшей ступени зоологического развития.

Как мы узнали в первые же часы учебных занятий, наш полковник прошел всю службу, начиная с самых малых чинов. Под знаменами фельдмаршала Радецкого восемнадцатилетний капрал Фердинанд Кнопп со своим капральством разгромил в словенском городе Унтерхаузене итальянский кавалерийский патруль. За это он был удостоен медали императора Фердинанда — хоть и не самой высшей, однако достаточно высокой награды. Медаль эта была огромная, диаметром с хорошую крышку для горшка, и, может поэтому, больше его уже ничем не награждали. Дворянство, а вместе с ним и почетный титул по названию места этой героической битвы Фердинанд Кнопп получил сорок лет спустя, уже в чине полковника. Оберст Кнопп фон Унтерхаузен — так официально именовался он теперь. Солдаты же мигом переиначили это звучное имя по-своему и называли его не иначе, как «оберст Кнопф фон Унтерхозен» — верхняя пуговица от подштанников.

Выглядел он довольно карикатурно. Одна знаменитая медаль чего стоила. Из-за нее и весь мундир казался каким-то старозаветным. Низкую каскетку он носил согласно артикулу времен Радецкого: спереди — надвинув на самые брови, сзади — едва прикрывая макушку. Череп под этой каскеткой выглядел, словно оскальпированный. Плюс ко всему, полковник был неимоверно толст и совершенно не имел шеи. Подбородок его упирался прямо в пухлую грудь, а грудь безо всяких промежуточных перекосов переходила непосредственно в неохватный живот, чью окружность не в состоянии была сократить хоть на миллиметр никакая верхняя пуговица от подштанников.

Но самым выдающимся в его облике был нос, собственно даже и не нос, а багровая, размером с добрый кулак шишка, за коей прятался нос. Шишка эта состояла как бы из отдельных красно-фиолетовых ягодок, так что сердитая кличка «свиное рыло», которую то и дело цедил сквозь зубы наш новый сотоварищ по несчастью, была, честно говоря, не очень-то точна.

Этот самый наш новый арестант без устали поносил «свиное рыло» и за картами, и занимаясь искусством татуировки, где он оказался подлинным мастером. Легкими карандашными штрихами он набрасывал сперва рисунки на бумаге. Орел, скрещенные мечи, красотка с весьма реалистично оттененными деталями, свернувшаяся в клубок и извивающаяся змея, надписи, эмблемы и указующие стрелки для той или иной части тела. Облюбованный заказчиком образец накалывался

сапожным шилом на кожу, краской служили загустевшие чернила, обнаруженные здесь же, в караулке. Кровь, брызжущую из проколов, не впитавшиеся в ранки чернила и струящийся изо всех пор клиента липкий пот он то и дело вытирал неописуемо грязной тряпкой.

Мы, арестанты, обступали мастера и его живой мольберт и изощрялись в комментариях по поводу каждой линии, возникающей перед нашими взорами. Да, это был график высокого класса. Меня, правда, слегка подташнивало от вида пропитанной кровью и чернилами грязной тряпки. Не знаю, пошатнулся я, что ли, или, может, побледнел, только один из зрителей вдруг заорал:

— Гляньте-ка на вольнопера, ишь как дрожит!

А другой тут же подхватил:

— А побледнел-то, побледнел как наш одногодичничек!

Внимание зрителей тут же переключилось на меня, все они наперебой иронизировали, сочувствовали, давали советы. Ну и ну, так ведь и опозориться недолго, надо что-то делать, что-то предпринимать. Во имя спасения своей чести, чести звания вольнопера-одногодичника, чести всех интеллигентов, наконец.

— Что за чушь,— сказал я, как можно спокойнее,— вовсе я не дрожу, и не побледнел я совсем. Подумаешь, татуировка! Я, может, и сам хочу сделать наколку.

Кто зааплодировал, кто засомневался.

— Трепотня. Духу у него не хватит.

Солдат, которого как раз сейчас татуировали, самоуверенно буркнул в мою сторону:

— До конца он, уж точно, не продержится. Это чертовски больно.

— Зато по гроб жизни не смоется,— сказал другой.

— Вы что, и в самом деле хотите татуироваться? — спросил меня литограф.

— Конечно, я же сказал,— пришлось ответить мне.

— Хорошо.

Он предложил мне наколоть кольцо на безымянном пальце или часы с браслетом на запястье. Однако делать татуировку на всеобщее обозрение мне не хотелось.

— Идет, я изображу вам что-нибудь на груди,— сказал он,— или... еще лучше, на спине.

В глазах у него сверкнул какой-то адский огонек, но я не придал этому значения. Меня прельстило то, что — на спине. Кому не следует, тот и не увидит. И я согласился. Безобидный натюрморт? Ладно, давай, действуй.

И он начал свою работу. Но не на плечах, не на лопатках, а гораздо ниже, что меня несколько удивило.

— Зато никто не увидит, будь вы даже в одних плавках.

— Не лишено...— сказал я и предоставил себя в полное его распоряжение.

Было очень больно. Болел каждый укол. Я стиснул зубы и только мысленно повторял себе: аато — навечно. Еще хуже, чем при уколах, было мне, когда по свежим ранкам проходились мокрой грязной тряпкой. Однако отвращения своего я старался не выказывать: ведь процедура происходила на глазах у всей арестантской компании.

Спустите штаны чуть пониже,— сказал мастер.

— Зачем?

— Я изобразил фрукты, а теперь надо — вазу, в которой они лежат.

Зрители смеялись. Я не представлял, что в моем натюрморте может быть смешного.

— Ах, что за иблочко, так хорошо удалось, прямо само в рот просится! — и снова все хором регочут.

— Еще немного ниже штаны,— скомандовал мастер.

— Зачем?

— Чтобы виноград свесился через край вазы.

— Так глубоко?

— Вазу я изобразил слишком широкой. Поэтому приходится класть в нее побольше фруктов, а виноградные грозди — свешивать через край.

Спустив штаны до колен, я ощущал, как согласно работают холодная игла и теплая тряпка, а слух мой ловил смешки зрителей. То один пырскнет в кулак, то другой, и вот, наконец, раскатились дружным хохотом все разом.

Но тут, слава богу, сеанс был закончен. Я подтянул штаны, заправил рубаху, поболтался немного приличия ради в караулке и потопал потихоньку в свою одиночку. О сне нечего было и думать. Наколка дьявольски болела, я не мог ни сесть, ни лечь. Железы под мышками вспухли, меня лихорадило. Зато — навечно,— пытался я утешить сам себя.

Наутро я заяаил себя больным и был направлен к медикам. В казарменном околотке правил службу мой давний собутыльник старший врач доктор Бём. Первым делом он рассказал мне, что сегодня ночью деаицы из кафе «Микадо» атаковали его расспросами, скоро ли я появлюсь там снова. Потом спросил, что у меня болит.

— Поделом тебе! — рассмеялся он, узнав, в чем дело.— С неделю, не меньше, будешь испытывать адскую боль. А спиртного выпьешь — еще сильнее болеть будет. Ну, давай, показывай, что у тебя там.

Я показал.

— Ах, негодяй вы этакий! — как гром с иснего неба грянул на меня бас старшего врача Бема.— Скотина вы безрогая!

И самое скверное в этом было не «негодяй» и даже не «скотина», а коротенькое словечко «вы» — обращение строго официальное.

— Фельдфебель! — крикнул он в соседнюю комнату.— Немедленно пишите донесение о воинском преступлении вольноопределяющегося-одногодичника Киша!

Опешивший, сбитый с толку, я жалко лепетал что-то в свое оправдание.

— Господин старший врач, очевидно, шутит. Ну, сделали мне татуировку, так что из того?

— Вы что, дурака из меня строите? Полагаете, я ие разобрал, что там у вас наколото? Может, считаете, я должен по вашей милости похерить свою военную карьеру, хотите сделать меня соучастником вашего преступления против военных законов?

Тщетно пытался я уверить его, что не имею ни малейшего представления о сюжете, изображенном на моей спине,— старший врач Бем продолжал диктовать свое донесение, и лишь из его слов я узнал, наконец, в чем же, собственно, меня обвиняют.

Литограф, вот — мерзавец! Теперь-то я понял, что за идея осенила его, когда он предложил мне сделать наколку на спине. Решил без помех совершить акт мести нашему полковнику. Вместо безобидного натюрморта коварно и вероломно наколол на моем теле злую карикатуру на полковника, вылитый его портрет: перерезанный каскеткой череп, толстая, без шеи, туша, украшенная огромной медалищей, и знаменитый нос — рыхлая шишка из красно-фиолетовых ягодок.

Всего этого, однако, в соответствии с военно-уголоаным правом, для признания преступления было еще недостаточно. Преступление же состояло в том, что полковник на портрете был изображен вниз головой. Изо рта этой перевернутой головы высовывался длиннющий язык, облизывающий ягодицу, заползающий в ложбинку и исчезающий там, в темноте. Ага, значит, этот язык и был той самой «свисающей виноградной гроздью», ради которой мне пришлось спускать штаны. Вот почему так дружно ржали вчера наши ценители искусства, вот почему испугался соучастия в преступлении и написал на меня донос старший врач Бем. Оскорбление начальства, надругательство над высоким чином, над полковым командиром, а может, даже и мятеж — вот что приписывалось мне в этом доносе.

В тот же день после обеда меня привели в комнату военного дознавателя. Комиссия для расследования обстоятельств дела состояла из трех офицеров. Первый, лейтенант из моей роты, был молодым и симпатичным человеком, однако, к сожалению, слишком откровенным и наивным. Едва бросив взгляд на мою татуировку, он сразу заорал, что это — несомненно, вылитый господин полковник. Даже император Фердинанд на военной медали — и тот с оригиналом, как две капли воды.

Выложив подобным образом свое от чистого сердца идущее заключение, он с сознанием выполненного долга скромно отошел в сторонку.

Теперь меня осматривал второй член комиссии, юрист, капитан-аудитор. Этот был — хитрая лиса и поостерегся признавать в татуированной карикатуре сходство со своим начальством.

— Ни малейшего сходства,— заявил он,— и утверждать обратное было бы оскорблением господина полковника.

Юный лейтенант побледнел, как мел: он-то по простоте душевной как раз именно это самое и ляпнул.

— И находить в этой дурацкой роже на медали сходство с мудрым ликом его величества покойного императора Фердинанда — это прямое оскорбление монарха.

Бедный лейтенант слушал, дрожа от страха. Иронии, с какой аудитор говорил о мудром лике императора Фердинанда, он не уловил. Император Фердинанд был заведомо слабоумным и выглядел, по-честному, именно так, как изобразил его на татуированной медали отчаянный литограф.

Майор, подошедший ко мне третьим, был, должно быть, по натуре своей человеком не очень хитрым. Однако усечь, почему аудитор столь упорно отвергает сходство между оригиналом и изображением, хитрости у него хватило. Не успев даже вздеть на нос пенсне, он заявил:

— Ни малейшего сходства. И вообще, говорить здесь о каком-то сходстве — просто наглость и нарушение субординации.

Лейтенант стоял у стены, как приговоренный к расстрелу.

— Эту харю,— орал майор,— эту отвратительную морду сличать с нашим господином полкоиником! Неслыханно! Да наш господин полковник — статный, красивый мужчина, а здесь — черт знает что намалевано!

Но тут, видно, майору и самому все же показалось, что во лжи он-таки несколько переборщил, а стало быть — надо изобразить, что проверяешь первое впечатление повторным, более детальным рассмотрением, и он склонился над татуировкой да так низко, что я ощущал кожей его дыхание.

— Наш господин полковпик...— затянул он снова.

Но тут вдруг распахнулась настежь дверь и в ней появилось не что иное, как сама модель обсуждаемой гравюры. В комнату размашисто и властно ввалился полковник Кнопп фон Унтерхаузен. Глаза его сверкали из-под козырька каскетки. Все офицеры щелкнули каблуками, однако полковник не отреагировал на их приветствие.

— Где этот парень с татуировкой? — с места в карьер спросил он.

— Господин полковник,— сказал майор,— осмелюсь заметить, ни малейшего сходства. Просто хулиганская выходка или глупость...

— Так где же он, этот парень, хотел бы я знать,— прервал его полковник.

«Этот парень» стоял тут же рядышком, застывший, как мраморное изваяние. Ни дать ни взять — Венера Милосская мужского пола. Только вместо ниспадающих одежд — приспущенные солдатские штаны.

— Кру-гом! — скомандовал полковник.

Я послушно повернулся, и в тот же миг, как раскат грома, как звон мечей, как рев шторма, на всю казарму разнеслось:

— Это же я! Клянусь честью, это — я. Экое свинство!

Затем — долгая пауза. В мертвой тишине слышалось только хрипение раненого тигра, скрежет зубовный, стоны ярости и боли. Но вот, чуть отдышавшись, он принялся выступать против чудовищной несправедливости этого пасквильного рисунка.

— Я служил под началом его высокопревосходительства фельдмаршала графа фон Радецкого,— начал он с гордостью и пафосом, и тут же, с неменьшей гордостью и пафосом, пояснил, что даже с самим его высокопревосходительстаом никогда не опускался до того, в чем обвиняет его рисунок.

— Я служил под началом его превосходительства начальника генерального штаба барона фон Бенедека,— продолжал полковник и заверил присутствующих, что и с ним тоже ничего подобного себе не позволял... Далее он принялся перебирать всех своих начальников, строго по рангам, одного за другим, покуда не добрался до основного вывода своих рассуждений:

— И чтобы я теперь этому одногоди...

Он поперхнулся на полуслове. Сама мысль о какой-либо связи его имени с жалким вольнопером-одногодичником была для него столь омерзительна, что даже голос сел. Но он все же собрался с духом и начал сызнова:

— И чтобы я теперь этому одногодичнику-вольноопределяющемуся да лизал з-з-з...

Он снова поперхнулся, так и не выговорив последнего слова. Силы покинули его. Он грохнулся на пол, но все еще надсадно зудел:

— З-з-з... З-з-з... З-з-з...

Все бросились к нему, все наперебой звали полкового врача, ординарца, который должен был разыскать врача, требовали принести лед из офицерского буфета, подушку.

Я тоже хотел было пойти принести что-нибудь, но капитан-аудитор резко пресек мои потуги:

— Вы остаетесь здесь!

Всего несколько минут назад он вынес благоприятное для меня заключение, но теперь дело принимало совсем иной оборот. Полковник сам решил, что на карикатуре изображен именно он, и теперь, стоит взглянуть на него, хрипящего на полу, как сразу же становится ясным, что к преступлению, в коем меня обвиняют, скоро придется сделать приписку: «Со смертельным исходом».

Умирающего полковника унесли в западное крыло казармы, в лазарет; вольнопера-одногодичника, от гнева на которого господина полковника хватил кондрашка, отвели в восточное крыло — на гауптвахту.

Полковник, напутствуемый утешениями полкового капеллана, опочил в тот же вечер; одногодичник-вольнопер, лишенный всяких утешений, всю ночь не мог заснуть. Всю ночь и прошагал взад-вперед по своей камере в такт словам «со смертельным исходом».

Татуировщика-литографа, допросить по моему делу не удалось: еще утром его успели отправить в высшие инстанции. Его обвиняли в изготовлении фальшивых документов, подразумевая при этом отнюдь не то, что он-де сфальшивил, изображая полковника на татуировке, а самовольное производство капрала в фельдфебели.

Новый литограф начал свою деятельность с размножения пригласительных билетов: «Господа офицеры, испытывающие сердечную потребность помянуть в дружеском кругу нашего дорогого покойного, любезно приглашаются на имеющий быть послезавтра (во вторник) в шесть часов пополудни в офицерском собрании торжественный вечер поминовения господина полковника Кноппа фон Унтерхаузена».

Для тех, кто по какой-либо причине таковой сердечной потребности не испытывал, любезное приглашение содержало примечание: «Отказы не принимаются».

Одногодичник-вольноопределяющийся Кизела, по гражданской профессии художник, получил задание написать для означенного торжественного вечера портрет полковника в полный рост.

— Но я же никогда не видел господина полковника,— сказал Кизела.— Во время принятия присяги я стоял в самом хвосте, в шестнадцатой роте, во второй шеренге. Я и представления-то не имею, как он выглядел.

Он потребовал фотографию, но ни одной не оказалось. Люди с наростами на лице не очень-то любят фотографироваться.

Полковому адъютанту не оставалось ничего другого, как намекнуть Кизеле на мою татуировку. Меня вызвали в караулку, в ту самую, где лишь позавчера вечером возник замысел будущего портрета.

— Ах,— с наигранным ужасом воскликнул Кизела, узрев мою татуировку,— картина-то висит вверх ногами. Как же мне ее срисовать?

Адъютант приказал мне лечь на столе спиной вверх, но Кизела сказал, что это ничего не даст. Вот сделай я стойку на руках, тогда еще, может, что-нибудь у него бы и получилось. Но ведь целый час на руках никому не выстоять...

— А нельзя ли привести картину в желаемое положение с помощью зеркал? — спросил адъютант.

Кизела ответил, что ничего в этом не понимает и вообще сделать заказанную копию в красках сможет только в своей студии.

Это что же, выходит, мне, несмотря на подозрение в совершении военно-уголовного преступления со смертельным исходом, мне, убийце полкового командира или по меньшей мере виновному в его смерти, должны разрешить покинуть мою одиночку и даже уйти за пределы казармы? Так оно и вышло. Я получил увольнительную на целых двадцать четыре часа!

Ах, что это были за сутки! Нормальным образом ни один солдат не может после вечерней зори показаться на улице или, скажем, в каком-нибудь кабачке. Разве что по какому специальному делу задержится, имея на то соответствующую увольнительную до определенного часа. На нас же с Кизелой никакие ограничения не распространялись. Наплевав на предостережение, будто от алкоголя наколка станет болеть еще сильнее, я лихо вливал в себя все, что мне подносили. Потом, на губе, времени и досуга для болезни будет хоть отбавляй.

Дотащившись, наконец, к утру до дома, где у Кизелы была студия, мы здорово перетрухнули. У входа в парадное стояли два солдата. За нами, что ли? На губу уведут или здесь караулить будут? Оказалось, ни то и ни другое. Просто полковой адъютант еще вчера послал Кизеле мундир умершего полковника, чтобы художник воспользовался им при написании портрета. Передать его солдатам было приказано только лично самому мастеру. Но Кизелы дома не оказалось, вот они и проторчали всю ночь под дверью.

Не будь этих солдат, Кизела и не вспомнил бы, что еще сегодня должен написать портрет в полный рост. Мундир — это уже кое-что; Кизела мог его срисовать. На изображение военной формы он истребил целых три тюбика берлинской лазури. Потребовался бы и четвертый, не оставь Кизела незакрашенным большой круг для медали. Этот круг он покрыл блестящей бронзовой краской. Теперь три четверти полотна были уже закрашены. Весьма выигрышной была и каскетка, закрывающая почти все лицо, художнику ранее не знакомое.

Для лица Кизела взял за образец мою татуировку. Наглости моему приятелю было, как говорится, не занимать, но здесь он долго прицеливался, не отваживаясь перенести на холст грубую реальность этой физиономии — в масле, во весь рост. На красно-фиолетовый нос Кизела лишь слегка намекнул, отчего портрет на его полотне оказался далеко не столь выразительным, как гравюра на моей коже.

Свеженькую, еще не просохшую картину мы оттащили в казарму. Отпуск кончился. Я вернулся обратно в свою камеру, заявил себя больным и с диагнозом приступа лихорадки был переведен на диету.

Обрамленная в золотой багет и повешенная в офицерском казино, картина произвела заслуженный фурор на траурном вечере. Вдова полковника попросила пригласить художника.

— Картина просто великолепна. Вы, должно быть, очень хорошо знали моего мужа,— обласкала она его.

Кизела возразил, что господина полковника прежде никогда не видел.

— Никогда не видели? Как же вам удалось изобразить его таким похожим? Ведь от него не осталось ни одной фотографии.

Кизела ответил, что он скопировал портрет с татуировки у одного человека.

— Что? С татуировки? Но кто же он, этот человек, пожелавший наколоть себе портрет моего мужа?

Кизела сказал, что это одногодичник-вольноопределяющийся по имени Киш.

— Ах, как это трогательно! — госпожа полковница обернулась к обступившим ее офицерам штаба.— Не правда ли, как это прекрасно, господа: солдат татуирует на теле портрет своего полкового командира, чтобы всегда иметь его перед глазами? Такая любовь, такая преданность.

Офицеры кивнули и подтвердили, что это, действительно, редкостная любовь и преданность начальству.

— Мне так хотелось бы увидеть эту татуировку. Пожалуйста, позовите сюда этого вольноопределяющегося. Я хочу поблагодарить его за любезно предоставленный господину Кизеле образец для этой чудесной картины.

При этом пожелании фрау полковницы согласные кивки офицеров прекратились.

Они неуверенно переминались с ноги на ногу и облегченно вздохнули, лишь когда полковой врач заявил, что одногодичник Киш, к сожалению, серьезно болен — лихорадка, температура сорок четыре градуса — и вызвать его невозможно.

— В таком случае, ведите меня к нему,— воскликнула фрау полковница,— это даже лучше, что я сама приду к нему со словами благодарности. Где он лежит, в лазарете?

— Нет, этот парень лежит на гауптвахте.

— На гауптвахте? Ну, хорошо. Господин майор и вы, господин капитан, окажите любезность проводить меня к нему.

Я лежал в своей камере на животе и трясся от лихорадки. Вдруг дверь распахнулась, и в камеру вошли майор-комендант, капитан — полковой адъютант и между ними — дама под черной вуалью.

Она подошла ко мне.

— Я — фрау полковница фон Кнопп. Я хочу поблагодарить вас за татуированный портрет моего мужа, который вы носите на своем теле.

— О, пожалуйста, фрау полковница,— сказал я сконфуженно,— не стоит благодарности... я просто не знаю...

— Мне бы очень хотелось взглянуть на эту татуировку.

Майор с капитаном аж подпрыгнули: уж это-то абсолютно невозможно.

— То есть как это невозможно, если я во что бы то ни стало желаю?

Голос госпожи полковницы звучал раздраженно и даже угрожающе.

— Извините, фрау полковница,— залепетал майор,— я прошу прощения, но татуировка — на таком деликатном месте...

— Пустяки, я — замужняя женщина!

Она повернулась ко мне:

— А ну-ка, покажите мне свою татуировку.

Приказ есть приказ. Я показал свою татуировку. От алкоголя и лихорадки она заиграла всеми красками цветущей жизни. Но этого мало, и одно это никак уж не объясняет того, что произошло дальше. Кто бы мог предвидеть, что грубая казарменная шутка с татуировкой обернется вдруг лирикой и закончится нежным аккордом любви и умиления.

— Фердинанд,— прошептала госпожа полковница, увидев перед собой мужа,— мой Фердль! — выдохнула она самоотреченно и склонилась над портретом, чтобы покрыть его поцелуями.

Перевел с немецкого Л. Ф. МАКОВКИН

Видимо, все так и происходило в действительности, как изобразил это неистовый репортер, замечательный чешско-немецкий писатель, автор книг «Приключения в Праге», «Высадка в Австралии», «Цари, попы, большевики», «Приключения на пяти континентах», «Открытия в Мексике» и других Эгон Эрвин КИШ (1885—1948). Киш говорил о литературном труде: писать неимоверно тяжело, но... тяжелую работу надо делать легко. У него это получалось.

Письмо в редакцию

В мартовском номере «Невы» за 1990 год опубликована заметка С. Белова «Об одном постановлении ЦК ВКП(б)». Но примерно половина ее посвящена критике некоей недавно вышедшей монографии «Книга в России», название которой указано неточно.

На самом деле речь идет о первом томе большого коллективного труда «Книга в России, 1861—1881», который подготовила Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в рамках деятельности Научного совета по истории мировой культуры АН СССР. Первый том монографии вышел в свет в издательстве «Книга» в 1988-м, второй — в 1990 году.

В 6-й главе 1-го тома имеется раздел об издательской деятельности С. Г. Нечаева. По-видимому, С. Белову не нравится прежде всего сам факт наличия в монографии этого раздела, поскольку Нечаев — фигура одиозная. Но из истории, как из песни, слова не выкинешь: в рамках «прокламационной кампании» Нечаева в 1869—1870 гг. было выпущено 25 листовок и брошюр, которые, как сказано в монографии, «пробили „стену молчания", казалось, столь прочно воздвигнутую царизмом после разгрома освободительного движения первой половины 60-х гг. XIX в. ...». «С чтения и обсуждения „нечаевских" листовок и брошюр начинали свою революционную работу многие будущие деятели русского общественно-политического движения второй половины XIX в.» (т. 1, с. 164—165). Именно поэтому, отметив, что значение возглавлявшейся и вдохновлявшейся Нечаевым издательской деятельности неоднозначно, мы все же считаем, что «прокламационная кампания» 1869—1870 гг. носила позитивный характер. Что же касается террористических действий Нечаева, то в исторической науке уже давно им дана негативная оценка, и это нашло отражение в монографии.

Так что критический пафос С. Белова по поводу этого раздела совершенно безоснователен, а форма изложения в соответствующей части заметки некорректна. Чего стоят, например, такие определения, как «террорист, бандит и уголовник русского революционного движения», «идеологическое словоблудие автора» и обвинение в оправдании насилия, предъявленное Беловым — к тому же в весьма конъюнктурной тональности — авторскому коллективу монографии.

Это оправдание насилия, пишет С. Белов, «получает „научное" обоснование и в предисловии к этой монографии, где, как в „лучшие" годы застоя и культа личности, объясняется, что теоретические построения *народовольцев* (подчеркнуто нами.— Авторы «Письма в редакцию») были гораздо слабее их практической деятельности (очевидно, под «сильной» практической деятельностью авторы предисловия имеют в виду убийство Александра II)...» Но так как в предисловии речь идет о теоретических построениях и практической деятельности народничества в целом, закрадывается подозрение, что С. Белов плохо знает историю русского революционного движения, поскольку отождествляет народовольцев с народниками вообще. Это предположение подкрепляется также содержащимся в заметке утверждением о преемственности в деятельности нечаевской организации и «Большого общества пропаганды».

Фантастически выглядят также обвинения авторского коллектива в подмене общечеловеческих ценностей классовой борьбой и в стремлении «как бы уничтожить» русскую дореволюционную книгу.

Самое любопытное, на наш взгляд, заключается в том, что С. Белов долгие годы был членом авторского коллектива монографии и в автореферате своей докторской диссертации «Издательское дело в России во второй половине XIX — начале XX в. (Основные проблемы и тенденции развития)», защищенной в феврале 1990 года, весьма высоко оценил значение этой работы.

Сотрудники ГПБ, авторы 1-го тома монографии «Книга в России, 1861—1881»

М. А. БЕНИНА, Ц. И. ГРИН, В. Е. КЕЛЬНЕР, В. Н. САЖИН, И. И. ФРОЛОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

Мнения о любой книге могут быть различны. Автор статьи в «Неве» дал негативную оценку коллективной работе сотрудников ГПБ — это его право. Естественно и желание авторов последней защитить свой труд. Для соблюдения справедливости мы предоставили возможность высказаться обеим сторонам — пусть их рассудит читатель. Но та же справедливость требует отметить несостоятельность морально-этических претензий к С. В. Белову, содержащихся в последнем разделе коллективного письма.

С авторефератом диссертации Белова в редакции ознакомились. Мы свидетельствуем: никакой высокой оценки коллективной монографии там нет. Констатируется лишь факт ее выхода в свет. Таким образом, о какой-либо двусмысленности научной позиции нашего автора речи вести не приходится.